

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://bykovvasil.ru/> Приятного чтения!

Подвиг. Василий Владимирович Быков

Повесть

1

Шел снег.

Густо мельтеша в воздухе, снежные крупинки косо неслись по ветру, с тихим невнятным шорохом быстро засыпая иссушенную морозом траву, жухлые заросли осоки на болоте, белыми пятнами ровно устилая замерзшие водяные прогалы, которые, чтобы не оставлять следов, тщательно обходила Зоська. Но этих прогалов в траве было много, и она поняла, что никуда от них не деться на этом мшистом болоте, и пошла напрямик, не разбирая дороги. Местами она неглубоко проваливалась в мох, но до воды не доставала, все-таки болото за последние дни хорошо промерзло. То ли от снегопада или от близости вечера болотно-лесное пространство вокруг все больше мрачнело, хмурилось, наполняя смутной тревогой и без того беспокойную душу. Только что выбравшись из лесных зарослей, Зоська уже раза три оглянулась, хотя сзади никого вроде не было. Чтобы отрешиться от недобрых мыслей, она остановилась, огляделась и, обмахивая себя варежками, смела с плеч снег, отряхнула юбку. Но не прошло и минуты, как снег снова густо залепил ворсистую ткань ее плюшевой куртки, и она подумала, что напрасно отряхиваться, лучше побережь варежки, которые и без того промокли насквозь и не грели. Руки все больше зябли, особенно когда она переходила голые, без кустарников, участки болота, где сильнее становился ветер и, кажется, густел снег.

Снегопад был ей ни к чему, он даже становился помехой; те, что посылали ее в эту дорогу, рассчитывали на черную, без следов, тропу. Но еще часа два назад ничто, казалось, не предвещало непогоды, разве что облачное небо вверху, которое нынешней осенью всегда было облачным.

И вот теперь этот снег...

Оглянувшись, Зоська увидела на забелевшей кочковатой траве заметные издали следы своих ног, обутых в уже отсыревшие и латанные-перелатанные сапожки. Правда, снег засыпал следы, и, если снегопад не прекратится к ночи, следов можно будет не опасаться.

Хуже, что она заблудилась.

Она шла около часа, но ожидаемой лесничевки все не было видно, вокруг тянулось замерзшее незнакомое болото, местами поросшее чахлыми извилистыми березками, кустами лозняка и ольшаника. Теперь ей самой не понять, как она сбилась с тропы, возможно проглядев в кустарнике ее очередной поворот, или, может, та просто исчезла под снегом. Зоська шла наугад, лишь чутьем определяя нужное направление. Впрочем, возможно, она и ошиблась, спросить тут было не у кого, она знала, что ближайшая деревня километрах в восьми за речкой, до деревни надо еще идти да идти. Оружия у нее не было никакого, хотя оружие перед выходом можно было попросить у ребят, но когда она намекнула на то Дозорцеву, тот запретил категорически – в ее деле лучше обойтись без оружия. Компаса ей тоже не дали. Компас, наверно, помог бы в пути, но в случае задержания наверняка бы навел на подозрения, а малейшего подозрения ей надо было избегать. Правда, у нее был паспорт, немецкий аусвайс, но она не очень надеялась на эту тоненькую, с синими печатями книжечку, выписанную на некую Аделаиду Августевич. Аусвайс был старый, потрепанный; видно, не она первая отправлялась с ним из партизанской зоны в немецкую, хотя имя его прежней владелицы Зоське очень понравилось, ей бы такое имя.

А то – Зося Нарейко.

Хотя, что ж, каждому свое.

Зоське бы вот только перейти это болото, где-то перелезть через речку и выбраться на Скидельский шлях – там начиналась знакомая местность, там были люди, там бы она вздохнула. Правда, она понимала, что там ее ждало немало других опасностей, но теперь ей казалось, что здесь страшнее. Она почти уже не глядела себе под ноги, где привычно шумела-шастала жесткая на морозе трава, – она пристально всматривалась вперед, в густевшие над болотом сумерки, пестревшие

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

окрест множеством пятен, тусклых полос вдали, каких-то неясных теней. Казалось, в разных местах, замерев, ее поджидали лесные чудовища, может быть, волки, а может, и недобрые люди, Но всякий раз, подойдя к ним ближе, она обнаруживала, что это темнели высокие кочки жесткого папоротника или кусты можжевельника, а то низкорослые, пересыпанные снегом елочки. Пожалуй, ничего больше и не могло быть в эту пору на мерзлом болоте, однако, по мере того как темнело, привязчивый страх все больше охватывал девушку.

Она упрямо гнала его прочь, мысленно ругая себя за пугливость и то и дело уговаривая: ну, чего ты боишься, дурочка, чего же здесь страшного? Бояться придется там, где люди, дороги, посты у въездов в деревни, проверка документов, полиция. Здесь же безлюдное болото, ненастный осенний вечер, снег – все, хотя, может, и мало расположенное к путнику, зато вполне безопасное. Чего здесь бояться?

И тем не менее здесь ей казалось страшнее, чем там, впереди, вблизи от деревень с постами, полицией и проверками всех подозрительных прохожих.

Она взошла на едва приметный в болоте пригорок, покрытый неболотной, низкорослой, безо льда, травой, с редкими деревцами ольшаника, беспорядочно серевшими на белой земле. Снегопад будто бы поредел, и хотя небо вверху стало темнее, чем прежде, кустарник просматривался далеко, за ним вроде мерещилась стена дальнего леса, и Зоська подумала: не там ли кончалось это болото? Она прибавила шагу, решительно направляясь через грудок по мелколесью, как вдруг почти в ужасе вздрогнула: в пяти шагах рядом метнулось что-то живое и, как показалось, громадное, и только мгновение спустя, совладав с собой, Зоська увидела в отдалении зайца. Большущий русак широкими прыжками размашисто уходил прочь, все дальше в болото, пока не исчез в сумрачной мешанине заснеженной травы и кустарника. Медленно отходя от испуга, Зоська перевела дыхание и нерешительно, сама не зная отчего, оглянулась.

Тут она застыла в немом удивлении, на мгновение, но с достаточной четкостью увидев в порядочном от себя отдалении характерный силуэт человека, как бы с осторожным вниманием наблюдавшего за ней сзади. Испуганно вглядевшись в него, Зоська сморгнула, и силуэт тотчас исчез в густеющих сумерках, слившись с неясными пятнами земли и кустарника. С замершим сердцем Зоська еще полминуты повглядывалась, но тщетно: сзади решительно не было ничего такого, что хоть бы отдаленно напоминало собой человека. Она подумала, что ошиблась, что это ей показалось, и, обругав себя за напрасный испуг, заметно ускорив шаг, пошла вниз с грудка.

Несколько минут она быстро шла мелколесьем, то и дело уклоняясь от холодных ветвей ольшаника и едва сдерживая напряженное желание оглянуться хотя бы затем, чтобы убедиться, что сзади никого нет. Но она не оглядывалась, ока заставила себя смотреть только вперед, где, видно, близко кончалось болото и разреженно тянулись по сторонам кустарники, а под ногами ровно шуршала высокая, присыпанная снегом трава. Но там, впереди, уже угадывался в сумерках широкий прогал, кустарники кончались, до тускло серевшей в ночи стены хвойного леса было рукой подать. Зоська подумала, что, по всей вероятности, где-то здесь должна быть река. Не бог весть какая эта речушка, в которой летом надо было поискать место поглубже, чтобы искупаться, осенью разлилась и теперь с самого начала пути тревожила Зоську – как через нее перебраться? Легко было Дозорцеву советовать там, в лесу, поискать брод, который должен быть где-то возле лесничевки. Но как ей найти теперь этот брод, если она потеряла саму лесничевку и даже не знает, в какой стороне та осталась.

Так оно и оказалось, река была здесь. Еще издали Зоська узнала ее по ряду кряжистых ольх, привольно разросшихся вдоль берегов по краю голой, заболоченной поймы. Между рекой и кустарником лежал открытый, обильно засыпанный снегом участок. Прежде чем выйти на него, Зоська остановилась, взглянула в одну сторону, затем в другую и, не удержавшись, торопливо оглянулась назад. Но в тускло мерцающих снежных сумерках всюду было безлюдно и тихо-покойно, лишь беспорядочные порывы ветра, порошившие на болото снежной крупой, нарушали сонную тишину ночи.

Зоська вышла на пойму, решительно направляясь к ближайшей группе кривых старых ольх, раскинувших на берегу замысловатую вязь своих голых сучьев. Еще издали между их комлей она увидела противоположный в кустарнике берег и припаянный к

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

нему тусклый закраек льда, местами темневший разводами подмокшего снега. Такой же, с плавно выгнутой, будто подтаявшей, кромкой, закраек тянулся и вдоль этого берега, а между ними чернела неровная полоса чистой воды. Была она неширокой, эта злосчастная полоска, местами ледяные закраины почти смыкались, но вода упрямо разъединяла их всюду, и Зоська в нерешительности остановилась. Нет, здесь перейти не было возможности, следовало поискать что-нибудь более подходящее.

Обойдя с наболотной стороны несколько ольх, она снова приблизилась к невысокой, но обрывистой кромке берега. Река здесь круто изгибалась, уходя в сторону леса, и широкая ледяная закраина с противоположного берега почти вплоты подходила к обрыву у самых ног. Возможно, Зоське и удалось бы до нее добраться. Если бы на что опереться. Или еще лучше положить с берега длинную палку и по ней осторожно перейти на ту сторону.

Надо было поискать подходящую жердину.

Сгибаясь, чтобы уклониться от низко нависавших колючих сучьев, Зоська обошла куст из нескольких толстых ольх, пробуя рукой прочность их шершавых комлей, невзначай бросила взгляд назад, на притуманенную даль поймы, и снова в растерянности содрогнулась, застыв в неудобной, с повернутой головой, позе: теперь уже не могло быть сомнения – через пойму из кустарника по ее следам шел человек.

Полминуты она стояла, почти омертвев, не сводя взгляда с поймы. Отсюда было трудно рассмотреть идущего, сумерки туманной пеленой смазывали его очертания, но пестрая от травы белизна снега, а главное, мерные торопливые движения еще издали выдавали человека. Вглядевшись, она поняла, что это мужчина и что он идет через пойму к реке уверенным шагом человека, имеющего определенную цель и, наверно, знающего путь. Руки его размеренно двигались в такт шагу, они не были заняты оружием, но было ли у него что за плечами, она не могла рассмотреть. Тем не менее она остро почувствовала, что он уже видит ее, что ей надо скорее уходить и что уйти в ее положении можно только за реку.

Она испуганно метнулась по берегу, пытаясь соскочить под обрыв, но увидела внизу темную полосу мокрого снега и побежала дальше. Из-под снега у самой воды торчал какой-то корявый сук с налипшей грязной листвой. Она на бегу выдернула его и перебросила через черный поток на край льдины. Однако сук оказался коротким, к тому же здорово выгнутым на середине, он сразу перевернулся и почти весь ушел в воду. Боясь не успеть и лихорадочно работая руками, Зоська выбралась из-под берега и обеими руками вцепилась в нетолстый наклонный отросток в ближайшем кусте. Повиснув на нем, она кинула взгляд на пойму: почему-то замедлив шаг, человек приближался к речке. Их разделяла какая-нибудь сотня шагов, Зоська изо всей силы потянула деревцо, и то неровно выломилось у самого корня. Не пытаясь даже очистить его от ветвей, она соскользнула с обрыва и перебросила над водой эту шаткую, малонадежную опору.

Все-таки она успела, хотя и намочила у берега ноги, в левом сапоге сразу захлюпало, но теперь, наверное, можно было рискнуть. Недолго раздумывая и почти физически ощущая пугающее приближение незнакомца, она ступила на корявый конец деревца и взмахнула руками.

Ей удалось сделать лишь три робких торопливых шага, как верхушка деревца, подогнувшись, соскользнула с закрайка и Зоська очутилась в воде.

Она рванулась к недалекой и такой недостижимой кромке закрайка. Но ее ноги в воде вдруг потеряли опору, дно ушло в сторону, она погрузилась в воду почти до пояса, с ужасом ощутив, как течение туго ударило ее в бедра, грозя свалить с ног. И тогда сквозь шум разворошенной ее телом воды где-то вверху раздалось:

– Зоська, стой! Ты что, сдурела?!

«Антон?!»

В страхе и замешательстве она замерла, узнав голос того, кого меньше всего ждала тут услышать. Но ошибки быть не могло – сноровисто соскочив с обрыва, Антон подхватил из воды ее деревцо и размахисто бросил его мокрой верхушкой ей в руки.

– Держись! Держись, я тяну...

Она уже и сама справилась с довольно сильным на глубине течением и, медленно преодолевая испуг, ухватилась за ветки деревца, сильно потянув за которые Антон извлек ее из воды.

– Давай сюда! Во, на сухое... Эх ты, дурочка! Разве так можно соваться?..

– Ой, и напугалась же, божечка... И откуда ты взялся?

– Взялся... Разве так можно? Тут глубина – во! – отмерил он себе ладонью по грудь, и она, преодолевая холод, пристально посмотрела ему в лицо. Нет, ей не мерещилось, это в самом деле был он, Голубин, партизан из третьего взвода, которого она несколько дней назад стала называть Антоном.

– А я гляжу, догоняет кто-то! Так напугалась, что... Сердце едва не выскочит.

– Промокла здорово? Ну конечно! А ну быстро за мной! – скомандовал он. – Бегом! Тут деревня где-то была.

Она не противилась, сразу подчиняясь его властной строгости, тем более что строгость эта была ей во спасение, она и сама чувствовала, что этак недолго и околеть на ветру. Взобравшись на обрыв, он побежал вдоль реки куда-то по пойме влево, и она, едва преодолевая обжигающий ноги и низ живота холод, побежала следом.

– Руками, руками вот так! – показал он, взмахивая на бегу руками. – Вверх, вниз! Вверх, вниз! Грейся!

Река отвернула в сторону, туда, где был лес, темная стена которого отдалилась и пропала в сугробы, там же где-то исчезли корявые кусты ольшаника. Они бежали открытой поймой к темневшим впереди низкорослым зарослям, и она чувствовала, как все больше деревенеют ее ноги в мокрых отяжелевших сапогах; юбка сначала мокро хлюпала сзади, потом стала жестко лубенеть на морозе, варежки остались в реке, и голых рук сна почти уже не чувствовала.

– Откуда ты взялся? Тебя что – послали за мной?

– Послали, да. Успокойся. Ты же такая разведчица, что...

– А что?

– Да ничего. Хорошо вот – подоспел. А то бы...

Она все еще не могла преодолеть недоумения, понять, почему он оказался тут, за десяток километров от лагеря. Когда ее посылали в эту дорогу, не было и речи о Голубине, готовили к заданию ее одну. Но вот он здесь, и первое ее удивление быстро сменилось радостью. Это была приятная для нее неожиданность, если бы только не тот ее нелепый испуг, сдуру загнавший ее в реку. Но кто знал, что это Голубин, а не какой-нибудь полицай или немец. Принимая упрек, Зоська виновато молчала. Холод все больше сковывал ее движения, ноги выше коленей недобро горели словно обожженные; внутри, правда, от долгого бега становилось теплее, но она чувствовала, что прекращать бег нельзя. В беге было спасение, и она покорно бежала рядом с неожиданным спутником и спасителем, с которым лишь утром рассталась возле отрядной кухни, сказав, что увидятся теперь не скоро, может, через неделю или две. Она не могла сказать, куда и зачем отправляется, Голубин, однако, что-то понял, насторожился, даже попытался ее задержать, Ухватив за рукав, но она вырвалась и с тропки игриво помахала ему варежкой. В последнее время, когда отряд перебазировался в южную половину Сухого бора и она по утрам стала помогать тетке Степаниде на кухне, этот Голубин частенько задерживался возле нее после ужина, раза два они даже недалеко прогулялись вдвоем, и она подумала, что, может, надо бы ему намекнуть, куда она идет. Но тогда возле кухни она ничего не сказала, а потом ей стало не до Голубина, часа три она просидела в штабе, выслушивая инструктаж начальника разведки Дозорцева да заучивая пароли для связи со своими людьми в деревнях, пароль-пропуск через зону соседней партизанской бригады. Путь был на близок, все надо было зазубрить на память – там спросить будет не у кого, и с Голубиным она больше не увиделась.

Чтобы она не отставала, Антон заметно придерживал бег и широким шагом,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

размашисто, с хрустом, мял сапогами подмерзшую траву поймы, уверенно увлекая Зоську в сумерки снежной ночи. Она хотела сказать, что ей надо за речку, но сдержала себя – действительно, сперва надо было обсушиться, и она почти с радостью ухватилась за эту его участливую помощь, которая оказалась как нельзя кстати. А она, дура, боялась.

– Тут где-то деревня. Забыл, как называется. Кондыбовщина, кажется. Не слышала такой?

Она молча повертела головой.

– Что, здорово искупалась? А ну? – Он скинул рукавицы и на бегу пошлепал ее по спине и ниже. – Жакетка вроде сухая. Юбка только. И ноги. А ну живее! Шире шаг, малышка! – бодро закомандовал он.

– Там так глубоко! Никогда не думала, – сказала она, постукивая зубами.

– Глубоко, конечно. Не летом. Надо было у лесничевки переправляться, а ты вон куда шибанула.

– Я и хотела у лесничевки. Да вот... заблудилась,

– Я так и подумал. Еще не вышла из зоны, а уже заблудилась. Как же ты там будешь, разведчица?

Что она могла на это сказать? Начало, безусловно, не удалось, могло быть и хуже, если бы не подоспел он. А может, без него она была бы осмотрительнее и не влезла сгоряча в реку. Но уж заблудилась точно по своей оплошности, тут уж винить было некого.

2

Минуту они молча бежали рядом. Зоська с нетерпением вглядывалась вперед, стараясь в редевшем мелькании снежинок заметить первые признаки деревни, но деревни все не было, даже не начиналось поле, под ногами по-прежнему стлалась некошеная трава поймы. Антон начал поглядывать в сторону и даже оборачиваться назад, где затемнелось в ночи что-то высокое, похожее на пригорочек с хвойной рощицей. Наверно, этот пригорочек был тут единственной видимой приметой на их болотном пути, и Антон, вдруг остановившись, с досадой выругался.

– Ах ты, черт! Вон куда мы зашли. Это же Круглый грудок. Деревня в стороне осталась.

Зоська разочарованно выдохнула, она едва уже держалась на, казалось, отмерзавших ногах, в груди все горело с усталости; а руки и особенно ноги выше коленей совершенно задеревенели от стужи. Юбка быстро смерзлась и жестко терла ее тощие бедра.

– Что ж теперь делать? – растерянно проговорила она, остановившись и чувствуя, что выхода нет, видно, придется ей замерзнуть на этом болоте.

– Да, дела! – сокрушался Антон. – Надо же... Думал, это грудок слева, а он... Наделала ты беды с этой речкой.

Он ворчал недовольно, с явным упреком, и она хотела было озлиться да крикнуть, что это все из-за него, что не появился он у нее за спиной, она бы не сунулась сломя голову в эту проклятую речку, постаралась бы найти переход понадежнее. А то ведь сам ее напугал, загнал в ледяную воду и еще упрекает. Но что-то удержало ее от этого объяснения, все-таки она чувствовала, наверно, и свою здесь вину и потому, пересилив обиду, коротко бросила:

– Ладно! Я уж сама как-нибудь...

Однако в голосе ее уже слышались слезы, видно, он почувствовал это и смолк, снова вглядевшись в сумерки. Что-то там вроде серело в отдалении, но она не могла различить что, – одувевшими пальцами она вытирала глаза.

– Постой! – сказал он. – Гляди, стожок вроде? Действительно! А ну бегом!

Она тоже различила в сером ветряном сумраке сизые копны стожков на болоте возле кустарника. Передний стожок был совсем близко, в какой-то полусотне шагов – покосившийся, с заснеженным боком и черной палкой вверху, он явился для нее очень вовремя; ничего лучшего теперь, наверно, нельзя было и придумать. Антон, опередив ее, первым подбежал к стожку и, ощутив его бока, начал энергично выдергивать сено, чтобы забраться внутрь. Подбежав туда же, Зоська сунула в жесткое шуршащее сено свои онемевшие руки. Но пересыпанное снегом, настывшее сено только студило, к тому же оно было туго спрессовано в этом стожке, и Антон, как ни старался, за десять минут сделал лишь небольшое углубление в его боку.

– Черт! Слежалось – не выдерешь. А ну дергай, тут вроде податливей, – указал он ей место в стожку, а сам побежал к следующему.

Зоська, кажется, совсем замерзала, хотя на этой стороне стожка было затишье от ветра, но мокрые ноги и бедра стыли жестоко. Руки, однако, стали согреваться в сене, из травяных недр которого вместе с душистыми ароматами трав как бы исходило накопленное за лето тепло. Она уже готова была втиснуться телом в небольшое образовавшееся под ее руками углубление, как издали снова донесся голос Антона:

– Эй, сюда иди! Слышь, топай сюда!

Голос был бодрый, призывный, она сразу почуяла в нем надежду и, бросив на снег горсть сена, побежала к соседним стожкам. Возле одного из них стоял Антон и, махнув ей рукой, тотчас куда-то исчез, вроде бы зашел за стожок.

– Сюда! Лезь сюда, – услышала она, подбежав ближе и едва различив в темноте черную дыру в округлом боку стожка, откуда доносился приглушенный голос Антона:

– Зачем дергать, когда готовое ложво есть. А ну, лезь. Хотя погоди – я вылезу.

Он задом выбрался из сенной норы, и она, недолго раздумывая, нырнула в ее душистую темноту, обещавшую какое ни есть укрытие от ледящего ночного ветра. Она уже совсем коченела и не чаяла согреться.

– Вот будем сушиться. Что – еще холодно? – подобревшим голосом говорил он, забравшись следом и шурша сеном у входа. – Ничего! Надышим, знаешь, как тепло станет! Только ты раздевайся. Раздевайся, раздевайся, скидывай с себя все мокрое. Да, вот еще... На мой кожух – укройся. А я лаз заделаю. Тепло будет, посмотришь.

Стуча зубами, она поспешно устраивалась в этом гулко шуршащем, полном травяных запахов укрытии, стараясь не думать о возможных последствиях этой ее ночевки. Кое-как сняла с ног мокрые сапоги, развернула портянки и сунула ноги в ласковое тепло кожуха. Антон тщательно заделывал сеном лаз, и она, недолго размышляя, стащила с себя все мокрое, что только можно было стащить, ту же завернулась в кожух и, все еще дрожа и крупно вздрагивая, никак не могла найти положения, чтобы скорее согреться.

– Вот это ночлег! – удовлетворенно сказал Антон, с шумом устраиваясь рядом. – А что? Не хуже, чем в землянке, правда?

– Правда, – тихонько сказала она и, подумав, спросила: – А ты... по своему заданию или как?

– Я? – неопределенно переспросил он, подвигаясь поближе, вплотную к ее поджатым ногам. – Да почти что по твоему.

– Это как – вместе, значит, пойдем?

– Безусловно. Не возражаешь?

– Нет, что ты!

Зоська горестно вздохнула. Если бы не те ее нелепые страхи, все могло оказаться удачнее и даже интереснее, они бы заночевали в деревне, при людях, а не в этой

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

поре, где хотя и теплее, чем в поле, но... Она, не шевелясь и почти не дыша, в три погребели скорчилась, забившись в самый конец этой прорытой кем-то норы. Все-таки в таком положении они очутились впервые, и она боялась этого непривычного и такого близкого соседства с этим, в общем, симпатичным, хотя и мало ей знакомым мужчиной. Хотя бы он не начал к ней приставать, она просто не знала, как повести себя с ним. С одной стороны, она была обязана ему, вытащившему ее из воды, устроившему в это убежище, согревшему своим полушубком. А с другой – кто знает, что у него на уме. Надо бы от него держаться подальше и вести себя по возможности строже.

– Ну как, греешься? – заботливо спросил он, все ближе придвигаясь к ее мокроватому, настылому боку. Голос его прозвучал совсем не так, как на пойме, – это был совсем другой голос, с нотками доброты и сочувствия, каким его Зоська привыкла последнее время слышать в лагере.

– Греюсь, – сказала она.

– Скоро согреешься, – пообещал он. – Это я знаю. Как-то заночевал осенью. Дождь шел, промок, сухой нитки не было. А в стогу все обсохло. Лучше, чем на печке в избе. Помнишь Заглядки? – вдруг спросил он без всякой связи с их сегодняшним происшествием, и она улыбнулась.

– А, Заглядки? Как же... Такие вечеринки устраивали!..

– Вечеринки на славу. Кузнецов это любил. Умел повоевать и погулять любил.

– Так молодой был.

– Молодой, да. Двадцать четыре года.

– Кажется, когда все было. А уже нет ни Кузнецова, ни многих, – горестно вздохнула Зоська.

– Кто знает, может, и нас скоро не будет.

– Нет! – зябко встрепенулась Зоська. – Не хочется об этом думать. Нельзя об этом. О другом надо.

– Это верно, что о другом, – согласился Антон. – Но о чем ты ни говори, как ни отвлекайся, а это в тебе сидит, как присохло. Как хвороба какая.

– Шумит все, – тихо сказала Зоська.

– Ветер. Шуметь долго будет. Зато нас не слышно. Заглушает.

– Все равно страшно. Тише надо.

– А ничего. Тут нигде никого.

Оба, замолчав, прислушались, но действительно вокруг было тихо, лишь снаружи глухо шумел в сене ветер. Завернутые в кожаные Зоськины ноги стали понемногу греться, влажная ткань исподнего помалу теплела, нора набиралась человеческого духа, и усталость сладкой волной расходилась по утомленному телу девушки.

– А знаешь, – сказал вдруг Антон, и она разомкнула смежившиеся было веки, хотя в абсолютной темноте все равно ничего не было видно. – Я помню, как ты была одета. Там, в Заглядках. На тебе было голубое платье в цветочки. Правильно?

– Правильно, – просто ответила Зоська. И платье в цветочки, и тот, единственный с ним танец под балалайку, когда Антон лихо выхватил ее из группы девчат и минут десять молча кружил по избе, она хорошо помнила и теперь радостно удивилась, что это же вспомнил и он.

– А танцевала ты ладно. В удовольствие.

– Так и ты... Ладный танцор.

– Любил девчат покружить.

- А теперь не любишь?
- Теперь не до того. Теперь самого война закружила.
- А ты это... Забыла, откуда ты родом?
- Да я из Восточной. Борисов, город такой, слыхала?
- Это за Минском, кажется?
- За Минском. А ты местная?
- Из Скиделя. Двадцать восемь километров от Гродно,
- Знаю. Ходил в сентябре. Почти до самого Гродно добрались. Бобики там нас пугнули. В Лососне. А ты с мамой жила?
- С мамой и старшей сестрой. Замужней. А свояка немцы весной расстреляли.
- Хорошо еще, что вас не тронули. Мать и теперь там?
- Там, где же ей быть. С весны не видела, прямо душа чернеет. Как она там?..
- Надо повидаться. Туда же идешь? – спросил он и примолк. Зоська вся подобралась в темноте.
- А ты откуда знаешь?
- Знаю.

Трудно задышав, Зоська не ответила, и он сказал как о само собой разумеющемся:

- Что же ты – почти дома будешь и мать не наведишь? Так не годится.
- Знаешь, не совсем дома. Да и другие дела есть.
- Ну, знаю, надавали тебе заданий, надо выполнять. Но и о себе подумать не грех,
- сказал он и зевнул. – У меня тоже в Скиделе есть знакомый. Бывший дружок даже.
- Живет там?
- Живет.
- Где, на какой улице? Может, я знаю?
- Нет, ты не знаешь. Он человек новый.
- Ну новых я, конечно, не знаю. Которые приехали в тридцать девятом, те не очень знакомы. Я же перед войной в Новогрудке училась.
- Я и говорю: не знаешь, – сказал Антон.

Зашуршав сеном, он переменял положение и вдруг положил руку на ее плечо. Она испуганно-зябко вздрогнула, сделав слабую попытку отстраниться, но отстраниться было некуда.

- Не надо.
- Теплее будет. А то ты в моем колушке, а мне...
- А тебе холодно?
- Ну так, знаешь... Не очень, но все-таки.

Она промолчала, и он удобнее обнял ее рукой за плечи. Его большое и сильное тело источало приятное для нее тепло, и она, притихнув, почти обмерла под его рукой.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Экая ты малышка! – переходя на шепот, сказал он с заметными нотками нежности в его басовитом голосе. Ей вдруг стало смешно – никто не называл ее малышкой, – была она хотя и невысокого роста, но крепко сбитой, ловкой девчонкой.

– Я не малышка, – сказала она. – Я, знаешь, сильная.

– Да ну?

– В самом деле. Могу повалить. Даже такого, как ты.

– Как я?

– Ну.

Кажется, это было уже слишком, она шутливо преувеличивала, потому что чувствовала исходившую от него угрозу и неумело пыталась противостоять ей.

– Что, Дозорцев научил? – заинтересованно спросил он, – Самбо?

– Да, самбо.

– Гляди ты! Ну и разведчица!

– А что? Разве плохо?

– Нет, почему же? Еще бы оружие. Но оружия небось не дали?

– Разведчику необязательно оружие. Лучше хорошие документы.

– Это конечно.

– А у тебя есть документы? У меня какой-то аусвайс потрепанный. Как бы не влипнуть с ним.

– Потрепанный – это хорошо. Надежнее потрепанный.

– По аусвайсу я Аделаида, понял? – сообщила Зоська. – А тебя как по документу?

– А все так же: Антон Голубин.

– А разве не заменили? Полагается же заменить имя и фамилию.

– Зачем менять? У меня документ незаменимый, – он тихонько двинул бедром. – Револьвер системы «наган».

– Ой! – удивилась Зоська. – Как же это? А вдруг проверка?

– На случай проверки это понадежнее твоего аусвайса.

Унимая дрожь, Зоська настороженно примолкла – то, что у Антона оказалось оружие, ей не понравилось. Зачем оружие? Так бы они спокойно пробирались проселками, выдавая себя за селян из какой-нибудь дальней деревни, в случае задержки и обыска – в карманах ничего подозрительного, как и учил Дозорцев. А тут – наган! Как бы через этот наган не провалить задание и самим не погибнуть.

– А в штабе там знают, что ты с наганом?

– Я сам лучше знаю, с чем мне идти.

– Ой, я боюсь...

– А ты не бойся. Ты на меня положишься. Уж мы как-нибудь, – проговорил он игриво и, сжав ее плечи, вдруг поцеловал возле губ.

– Ой! Ты что?

– Ничего, ничего... Знаешь, после той встречи утром я не мог себе места найти.

- Это почему? – в сладком предчувствии спросила Зоська.
- Потому. За тебя испугался.
- О, дурачок! Ну чего ты? – ласково сказала она, невольно прижимаясь в сене к его широкой груди. – Я уже не маленькая. Уже ходила в Михневичи. Помнишь, как там Стукачева повесили?
- Михневичи что? Михневичи тогда рядом были. А тут километров тридцать. По прямой если.
- Так ты за меня испугался? – переспросила она, блаженно улыбаясь в темноте. Это его признание показалось ей таким странным и таким сладостным, что она захотела снова услышать его.
- Ну. А ты это... Уже согрелась, – объявил он, все теснее обхватывая ее за плечи. Она чувствовала на своем лице его разгоряченное дыхание, сердце ее учащенно забило, отходящими от стужи пальцами она молча вцепилась в его сильные руки. Но он с настойчивой силой все больше наваливался на нее, руки его скользнули под колушом к ее бедрам, и она, испугавшись, вскрикнула:
- Ты что! А ну брось! И прочь руки, а то...
- Что?
- Кричать буду!
- Да?
- А ты думал?
- Ну что ж, – сказал он, подумав, и вдруг разнял у нее за спиной свои длинные руки. – Кричать не стоит. Спать будем.
- Зоська промолчала, отходя от минутного возбуждения, удобнее закуталась в полу колушка.
- Ты это не думай. Я не такая.
- Ладно, – сказал он устало. – Считаю, я пошутил. Пошутить же можно?
- Пошутить можно. Но надо знать как.
- А ты, гляжу, злюка.
- Пусть злюка...
- Вот уж не думал.
- Может, пойдешь один? Пожалуйста! Плакать не стану.
- Пока погожу, – не сразу ответил он и умолк. Она тоже умолкла, почувствовав, что такой разговор – почти ссора, а ссориться с ним ей совсем не хотелось.

3

Закопавшись по плечи в сено и вдыхая его крепкий травяной аромат, Антон сделал вид, что засыпает. От Зоськи он слегка отстранился, оставляя ее в належенном им углублении. Конечно, вместе под колушом было бы теплее обоим, но Антон не хотел лезть к ней. Еще подумает, что ему только это и надо, что за этим он и бежал следом, догоняя ее в ночи. Но для него вовсе не это было в ней главное, и не затем он догонял ее, едва не потеряв на болоте. Хотя, разумеется, он был мужчина, и она немало влекла его своей юной женственностью.

Теперь он не помнил даже, когда все началось. Возможно, с той вечеринки в Заглядках, когда он танцевал с нею «страдание», или скорее с того заполошного дня, когда отряд Кузнецова, оставив обжитой лагерь в Селицком лесу, поспешно

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
перебазировался за болото. На новом месте их встретила промозглая глушь старого ельника. Уходя от преследования, они были голодны и устали как черти. После короткого отдыха командир взвода выделил троих партизан оборудовать отрядную кухню. Двое отправились на поиски чистой воды, а Антон принялся за устройство очага-топки, – под их закопченный таган надо было выкопать ямку. Он сразу с запалом взялся за дело, угрелся, вспотел и, подумав, что надо снять полушубок, увидел Зоську. Неслышно подойдя к нему сзади, та стояла и улыбалась.

– Что, помогать пришла? – спросил он, тоже улыбнувшись.

– Ну, такому помогать! Один справишься. Вон ручищи какие широкие, как лопаты, – засмеялась она, и он почему-то с неловкостью посмотрел на свои испачканные землей ладони.

– На пустой желудок любые руки ослабнут.

– Проголодался, бедненький. На вот тебе...

Зоська шагнула поближе и, протянув маленький белый кулачок, отсыпала ему полгорсти крупного сухого гороха.

– Подкрепляйся, завтрак не скоро.

И снова, как-то загадочно улыбнувшись, неторопливо пошла в ельник, где слышались голоса хлопцев, строивших буданы для жилья. Он посмотрел вслед ее маленькой ладной фигурке в сапожках, юбке и какой-то широкой, не по росту, куртке и подумал с завистью: «Славная девчонка!..»

Зоська ушла, похоже, тут же забыв о нем, сразу осажденная другими партизанами – молодыми и постарше, – всеми, кому хотелось обратить на себя минутное ее внимание, потрепаться, тем более что других женщин, кроме ворчливой пожилой Степаниды, в отряде уже не было. Антон не лез впереди других, хотя несколько раз ловил себя на том, что стал думать о ней снова.

Однако видел он ее по-прежнему редко. В октябре два взвода из отряда проводили операцию по поджогу Лукьяновского льнозавода и больше недели отсутствовали в лагере, а в ноябре, до Октябрьских праздников, он дважды с группой Момыкина ходил на шоссейку добывать боеприпасы и оружие. Возвращаясь со второго задания, группа попала в засаду, их обстреляли на деревенской околице, одного парня убили, а тяжело раненного Момыкина он нес на себе километров двенадцать до лагеря, где тот на следующее утро скончался. Хоронили погибших, настроение было паршивое, стало не до этой девчонки, обитавшей при кухне, а потом при штабе, где из нее стали готовить разведчицу. Однажды, правда, встретил на стежке, обменялись двумя-тремя фразами, и все.

Антон по натуре был не из слабонервных, выдержки у него хватало. Засады, бои и постоянные опасности закалили его, и он не припоминал случая, чтобы растерялся или хотя бы сильно испугался в минуту опасности. Даже на злосчастном том хуторе. Хотя кое-кто в отряде и не прочь был обвинить его в гибели командира отряда, но там он ни в чем не был виновен. Напротив, своей находчивостью он спас четверых, первым выпрыгнув из чердака и крикнув остальным: «Прыгайте!» Хата уже всюю полыхала, занявшись с другого конца. Они, задыхаясь в дыму, кое-как отстреливались от наседавших с трех сторон полицаяев, с четвертой ничего не было видно – туда валил дым. Кузнецов с ординарцем редко постреливали из подпола в избе, куда полицайи швыряли гранаты. Наверно, командир был ранен и не смог выскочить, а они, вчетвером, что могли сделать против трех десятков обнаглевших бобиков? Хорошо, дул сильный ветер, который низко стлал дым по огороду, это их и спасало.

Кузнецова Голубину было жалко до слез, это был смелый и толковый командир, Антон любил его, как только можно любить командира в армии. Отправляясь по делу, в разведку, на боевую операцию или гулянку, тот всегда брал с собой шестерых партизан, в числе которых с лета стал ездить Голубин. Теперь уже от этой шестерки, кажется, никого не осталось...

Очень нелегко было вначале, отряд собирался из разных людей – частью из районного актива, партийцев и НКВД, частью из отступавших красноармейцев, а также примарков и даже нескольких смельчаков, бежавших из немецких лагерей для

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
военнопленных. Многие были без оружия, другие – больные или с незажившими ранами, некоторые роптали на партизанские порядки и начальство, неизвестно кем и когда поставленное. Был один, выдававший себя за майора и требовавший командирской должности. Кузнецов в этих случаях придерживался неизменного для всех правила: отличился в бою – получай командование. И это было верное правило, по крайней мере, так думал Голубин. Сам он до войны несколько лет работал налоговым агентом в райфо, в армии никогда не служил, но пришлось пойти на войну – стал командиром взвода, затем командиром подрывников и только со смертью Кузнецова снова понизился до рядового. Но он не обижался, стало не до командирской амбиции, важнее было подумать, чтоб сберечь целой шкуру, как любил говорить Кузнецов.

К осени, однако, люди в отряде более-менее подобрались, притерлись друг к другу, можно было воевать с толком. Если бы не эта нелепая смерть командира.

Видно, действительно, на войне, как и в жизни, последовательно чередуются разные полосы: светлую сменяет черная и наоборот. С сентября отряд вошел в свою темную полосу, и беды так и посыпались на него, одна хуже другой.

Началось с гибели Кузнецова и трех человек его группы. Затем ушла и не вернулась диверсионная группа Кубелкина. Не успели как следует погоревать по ее хорошим, может, самым лучшим в отряде, ребятам, как отряд выступил громить гарнизон на станции и, попав под организованный огонь немцев, понес самые большие потери. Одних убитых в этом бою оказалось столько, сколько их не было за всю весну и лето во всех операциях, вместе взятых. Хлопцы прямо-таки приуныли, хотя и без того настроение в отряде было аховое. У них не было приемника и никакой связи с Москвой, но из разных источников – слухов, случайных немецких газет и сводок Совинформбюро, которые им передавали из отряда Ворошилова, – они со вниманием и растущей тревогой следили за тем, что происходило на юге.

Как-то поздним осенним утром, сменившись с ночного дежурства, Голубин прилег в шалаше и проснулся от тихого разговора двоих. Он узнал голос Ковша, бывшего милиционера из Вилейки, и того самого майора, который требовал себе командирскую должность. Видно, раньше других придя с кухни, они укладывали в сумки свои котелки и разговаривали о Сталинграде.

– Все прет и прет! Ну когда же этому конец будет? – горестно говорил Ковш, стоя на коленях у своей постели из лапника. – Когда же он остановится?

– Теперь чего ж ему останавливаться? – отвечал из дальнего угла майор, пожилой, с отвисшим брюшком мужчина, как оказалось, начфин какой-то разбитой пехотной части. – Теперь ему надо Сталинград взять, чтоб перерезать Волгу. Чтоб бакинскую нефть перекрыть.

– Так разве Баку на Волге? – удивился Ковш.

– Не на Волге – на Каспии. Но путь оттуда один – по Волге. А ну, погляди сюда...

Они умолкли, зашелестев бумагой и, наверно, что-то рассматривая в ней. По части географии Голубин был не силен и слабо представлял себе расположение нынешнего района боевых действий на юге. Поняв, что у майора оказалась карта, он поднялся и сбросил с себя кожушок.

– Вот, видишь? – водил пальцем по карте майор. Это была маленькая, видно, вырванная из школьного учебника карта европейской части Союза, и они начали разбираться в ней, определяя линию фронта.

Увидев расположение городов, Голубин поразился. В самом деле, он даже не мог представить себе, что Сталинград – в самой глубинке России, что Волга – так далеко за Москвой, что Кавказ – на границе с Турцией, а Баку и того дальше – у самой границы с Ираном. С ума сойти можно – как далеко зашли немцы!..

Несколько дней после этого он ходил, что-то делал, разговаривал или молчал, а из его сознания не исчезал болезненный до спазмы в мозгу вопрос: как Сталинград? Впрочем, он уже знал, что судьба этого города решена, что рано или поздно его возьмут немцы, как они взяли Минск, Киев, Харьков и множество других малых и больших городов, и война на том кончится.

Это было страшно, невообразимо, но, по-видимому, избежать этого было невозможно.

Тогда зачем они тут, в этом лесу? Что им тут делать? И что их ждет в скором будущем?

Но, как он ни думал, душевно изнемогая в поисках выхода, никакого выхода не было. Правда, и Сталинград вроде еще держался. Но сколько он сможет держаться? Все это тревожило, угнетало ежедневно и ежечасно, душа ныла в тревожной тоске на заданиях, в шалаше, все холодные дни и ночи поздней ненастной осени.

А тут еще целиком и бесследно пропала группа Кубелкина. Он не спрашивал Зоську, но догадывался, что та шла теперь именно на поиски следов этой группы.

Неладны были дела на фронте, стало не ладиться в их отряде при новом командире, недавнем колхозном председателе Шевчуке: скверные предчувствия охватывали партизана Голубина. А Зоська во время редких с ней встреч была все та же: улыбающаяся и соблазнительная, что-то сулящая и отказывавшая одновременно. Такой она была на кухне, такой оказалась и в день ухода за Щару, где уже нашел себе гибель не один партизан их отряда. А Зоська... Догадывалась ли она, что ее ждет по ту сторону речки?..

Во время той коротенькой встречи на стежке у штабной землянки что-то в душе Антона хрустнуло, да так глубоко и непоправимо, что, кажется, разом перевернуло всю его жизнь...

4

Среди ночи Зоська проснулась, кое-как пригревшись в сене за теплой мужской спиной, сразу напомнившей ей обо всем, что с ними случилось. Чтобы не нарушать мерное дыхание Антона, она кончиками пальцев деликатно коснулась его крутого плеча и усмехнулась себе самой в темноте. Это же надо такому случиться! Выправлялась одна, переживала, страдала от ночных страхов в болоте и не думала, не мечтала встретить тут того самого, кто, кажется, уже заронил в ее сердце маленькую искорку интереса к себе. Почему-то ей очень польстило его неожиданное признание об испытанной им за нее тревоге после того короткого разговора на кухне. Все-таки это приятно, когда за тебя кто-то тревожится, переживает и даже готов бескорыстно помочь. Тут, наверно, уже не простое товарищество и даже не дружба, а наверно, что-то побольше. Может, даже любовь... Все-таки он хороший, этот Антон Голубин, а она уже перестала и думать о нем, хлопоты с этим заданием вытеснили из ее головы все другие заботы, она уже готова была к тому, что никогда больше не увидит его. И вот он явился в трудную для нее минуту и принес с собой радость.

Припомнив теперь его несмелую попытку близости и ее грубоватый отпор ему, Зоська ощутила неловкость. Все-таки, наверно, не надо было так резко, ведь он с добром, с лаской, а она? Но что она могла сделать! Она всегда потом угрызалась, жалела, но в тот самый решительный момент была непреклонной, жесткой и даже грубой – только это помогало ей защитить себя от мужских притязаний.

Что и говорить, очень нелегко девушке среди стольких мужчин, где каждый стремится приблизиться, кто действительно затем, чтобы помочь, посочувствовать, переложить на себя часть ее ноши, а кто и с явной или тайной корыстью, имея в виду свое, кратковременное и оскорбительное. Раньше, когда в отряде была Авдоница, ей было легче, две женщины среди стольких мужчин старались держаться вместе, при нужде выручая друг друга. Но вот уже месяц, как Авдоницу сманил командир соседнего отряда, начальство сговорилось, да и сама Авдоница была не против переехать в Стебровский лес к бравому командиру десантников. А Зоська осталась. Сперва, когда были раненые, помогала в санчасти, а после того как отряд перебазировался в Сухой бор и стало меньше стычек, работала со старухой Степанидой на кухне, пока вот не понадобились ее услуги Дозорцеву.

Конечно, разведка не кухня, приходилось рисковать головой, но тут было интереснее и, конечно, почетнее, чем на отрядной кухне. Она сразу заметила, что с того дня, как над ней взял шефство Дозорцев, мужчины в отряде стали относиться к ней с некоторым даже уважением – все-таки отряд с октября сидел в лагере, изредка высылая группы подрывников в разные места на «железку», а она уже второй раз шла туда, откуда не всегда возвращались. Даже и тот лоботряс Вырвик, который

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

прежде не упускал случая, чтобы поддеть в разговоре или тайком ущипнуть ее, теперь заметно притих и вежливо здоровался при встрече. И только в глазах этого нагловатого парня она замечала никогда не затухающий огонек озорства, готового прорваться в самый неподходящий момент. (Когда-то она дала ему хороший отпор, и он, несолоно хлебавши, с поцарапанной физиономией явился в строй перед командиром отряда, который тут же поинтересовался при всех, чьих это кур ловил ночью Вырвик?)

Стараясь не разбудить Антона, Зоська по возможности тише разгребла сено и вылезла босиком из стожка.

Была покойная ночь, снег перестал сыпать, вроде бы тише стал ветер, чуть-чуть примораживало. Вокруг было белым-бело, казалось, празднично прибрано, как это бывает только в первую ночь зазимка. В снежной сутеме терялись заросли мелкоколесья, на краю луговой поймы тускло дремали осыпанные снегом стожки: только они и были видны на свежем снегу да еще пестрела вблизи присыпанная снегом трава. Весь остальной мир ушел в зимнюю ночь и притих до утра. Вверху расстилалось облачное, без звезд и луны, небо, которое матово-ровно светилось, наверно, отраженным от снега светом.

Зоська забежала по нужде за стожок и снова воротилась к лазу. В еще не просохшей одежке ее сразу прохватил холод, и она на четвереньках поспешно заползла в нору. Здесь было тепло, дыханием они хорошо нагрели это свое убежище, жаль будет уходить из него. Но уходить надо. Утром они найдут брод через речку; наверно, Антон уж сумеет переправиться так, чтоб обойтись без купания, все-таки он половчее, а главное – посильнее ее. Интересно, однако, сколько ему может быть лет, подумала Зоська. Хотя и так видно, что он гораздо старше ее, наверно, уже лет под тридцать, почти что старик против нее.

Она опять забралась под теплую полу колушка, Антон, сонно вздохнув, вплотную привалился к ней, и она блаженно притихла, мелко, едва заметно, подрагивая и согреваясь. Она скоро и крепко уснула, будто сразу шагнув в другой, тягостно-томительный мир снов. Почему-то стало мучительно-тревожно, она неизвестно отчего страдала, хотя долго ничего с ней не происходило, а в сонном сознании все ширилась-росла тревога, причина которой оставалась для нее неясной. Какое-то время, будто помня о яви, она недоумевала: почему так? Ведь все хорошо, плохого пока не случилось, она не одна, с ней тот, о ком она недавно еще мечтала, правда, не Антон, кто-то другой, еще неизвестный, но несомненно хороший для нее человек. Но почему-то он был странно неуловим по своей сущности, будто ангел и дьявол одновременно в одном лице, и самым мучительным для Зоськи была эта его неуловимость. Потом неясные душевные переживания сами собой притупились, началась осязаемо-зрительная часть сна. Зоська увидела себя на краю каменистого обрыва в горах, в которых она никогда в жизни не была и даже не знала в точности, как они выглядят. Но теперь она отчетливо видела перед собой голые шершавые камни с острыми краями выступов, за которые она изо всей силы цеплялась пальцами, едва удерживаясь на крутом обрыве, вот-вот готовая свалиться в бездну. Она не оглядывалась, но спиной явственно чувствовала за собой пропасть, куда все больше сползала. Ей надо было хоть на что-нибудь наступить, опереться ногами, она шарила ими по камням, но опоры не было, и ее падение казалось неотвратимым. Она пыталась кричать, но крик не получался, из ее груди вырывалось невнятное глухое мычание, и никто не спешил ей помочь, хотя, знала она, друг ее был где-то рядом. И вот наконец он появился над пропастью, но она не узнала его, это был кто-то другой, чужой и противный, к ней протянулась его рука-лапа с черными медвежьими когтями. Зоська испугалась этой лапы больше, чем пропасти, сдавленно крикнула и сорвалась с обрыва. Несколько секунд перед тем, как разбиться в бездне, она отчетливо сознавала, что погибает, но за мгновение до гибели в страхе проснулась.

Сквозь разворошенное сено в нору пробивался робкий утренний свет и задувал ветер. Зоська вспомнила, где она, отбросила полу колушка и попыталась вскочить, но лишь села, пригнув осыпанную сеном голову. Антона в стожке уже не было. Еще переживая свой сон, Зоська прислушалась, где-то поблизости раздавались шаги, и она тихонько позвала:

– Антон!.. Антоша...

– Что, проснулась? А ну вставай! Давай на зарядку!

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Медленно отходя от сонного испуга, она стала торопливо собирать свои вмятые в сено пожитки, которые почти высохли, лишь юбка и сапоги были еще сыроваты. Лежа кое-как натянула на себя юбку и с сапогами в руках выбралась из стожка.

Занималось позднее зимнее утро, над поймой светало, четче обозначились тусклые, неопределенные ночью пятна, какими оказались кустарники, вдали темнела полоса хвойного леса. На покрытой свежим снегом траве стояли четыре стожка, и в соседнем из них Зоська узнала тот их стожок, где они вчера тщетно пытались устроиться на ночь. Возле него, подвернув рукава исподней сорочки, натирал снегом шею Антон. Как только она вылезла из норы, он смял в сильных руках снежок и несильно запустил им в нее. Зоська невольно уклонилась, снежок мягко шлепнулся о стожок и распался.

– Быстро умываться, соня! – издали грубовато пошутил Антон. – А то разоспалась, не добудишься. Словно война окончилась.

– Вчера хорошо выкупалась, – сказала Зоська, торопливо натягивая на шерстяные чулки волглые еще сапоги.

– Вчерашнее не в счет. Кто первым снегом умоется, всю зиму простужаться не будет! А ну!

Он поддел горсть снега и, подойдя к Зоське, жестко натер ей лоб и переносицу холодным, сразу растаявшим снегом.

– Ой-ой! Не надо!

– Ничего, привыкай! Пригодится.

Зоська повязала теплый серый платок, украдкой поглядывая на Антона. Ей было немного неловко перед ним за их не совсем обычный ночлег и за свою резкость вчера, но Антон держался деловито, просто, словно они только что встретились, и это успокоило Зоську. Оба будто условились не вспоминать о ночном инциденте, делая вид, что ничего особенного между ними не произошло. Зоське, правда, это удавалось похуже, у него же выходило великолепно. Словно он и не ночевал с ней в этом стожке.

Антон подпоясал военным ремнем свой рыжий крестьянский кожушок, взыскательным взглядом сверху вниз окинул фигурку Зоськи, и в его серых глазах появилась серьезность.

– Ну как? Малость подсохла?

– Подсохла. Только вот юбка влажная.

– Высохнет. На морозе все быстро сохнет. Слушай, а пожевать у тебя не найдется?

– Чего нет, того нет, – виновато сказала Зоська. – Я же в Озерках дnevать собиралась. Там бы и покормили.

– Го! Озерки еще вон где. До Озерков полдня топать надо.

– Теперь уже что! Все равно опоздала.

– А теперь до Озерков куда? – спросил он, осторожно скосив серые глаза.

– Дальше. В сторону Немана. Слушай, в Лунно, говорят, гарнизон? – с тревогой спросила она.

– Гарнизон, конечно. В Лунно ходить нельзя.

– Мне сказали, нельзя. А я думала...

– Нечего думать. Через Неман надо в другом месте переправляться. Тебе же сказали, в каком?

– Сказали, – рассеянно ответила Зоська.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

- Вот там и переправимся. Пароль же имеется?
- Имеется, – сказала Зоська и с тревогой в голосе вспомнила: – Слушай, давай спрячем наган. Вон – в стогу. А потом заберешь, а?
- Ну, придумала! Зачем прятать? Еще пригодится.
- А вдруг обыск? Ведь если найдут, все пропало. А как это Дозорцев тебе разрешил наган брать?
- Буду я спрашивать Дозорцева! Пока на плечах свою голову имею.
- Ой, боюсь я, – тихо сказала Зоська.
- Не бойся. За меня нечего бояться. Если я сам не боюсь.
- К тому же плохой сон видела.
- Ну и чудачка! – развеселился Антон. – Все равно как бабка какая. А еще студентка, в техникуме училась.
- При чем тут техникум. Просто сон плохой. Неприятный.
- Я вот никаких снов не признаю. Если бы я снам верил, давно бы копыта откинул.
- И тебе ничего не снится?
- Снится, почему. Всякое. Но я ноль внимания. Куда ночь, туда и сон.

Зоська засунула руки в маленькие карманчики куртки-сачка, невесело поглядывая вдаль, куда пролегал их путь. Все-таки было холодно, и на ветру в непромокающей одежде ее скоро стала пробирать стужа; неволью подрагивая, Зоська едва преодолевала озноб. Конечно, сны – предрассудки, но все дело в том, что в их положении эти нелепые предрассудки очень просто могли обратиться в злую действительность. Месяц назад в Селицком лесу дождливой ночью Зоське приснилось, будто ее настигает овчарка; закричав во сне, она разбудила Авдоницу, с которой спала в шалаше, и та, посмеявшись над ее детскими страхами, сказала, что немцы в такую погоду в лес вряд ли посмеют сунуться. А они рано утром и сунулись, едва не захватив врасплох сонный отряд, хорошо, что мальчуган-часовой выстрелил на опушке и Кузнецов успел увести людей за болото.

– Что сны! – со вздохом сказал Антон. – В жизни хуже бывает. Вон вчера возле уборной встречаю Куманца, писаря, говорит: «Готовься, Голубин, к бою, на гарнизон пойдем». – «На какой гарнизон?» – «На Деречин, – говорит, – полицаев выкуривать, пособлять первомайцам». Ты слышала: опять, значит, на дядю батрачить. Да еще с таким командиром!

Антон говорил расстроено, почти сердито, и Зоське стало неловко за в общем неплохого, хотя, может, не видного и не всегда распорядительного нового командира отряда, который ласково называл ее дочушкой.

- Так ему же приказывают. Межрайцентр приказывает. Что он – сам все выдумывает?
- попыталась она защитить Шевчука.
- Приказывают, конечно. И Кузнецову приказывали. Однако Кузнецов был такой, что где на него сядешь, там с него и слезешь. Умел отговориться, людей побережь. А этот туха-матуха: приказали – есть, будем исполнять. А как – у него и в понятии нет.
- Вот ты бы и подсказал, – не утерпела Зоська. – Ты же опытный партизан, с самой весны в отряде.
- С весны, да. Навоевался уже – во! – отмерил он себе ладонью до шеи. – Но я что? Рядовой? Мое дело телячье.
- Конечно, какой из него командир! Все-таки он гражданский человек. Хоть и председатель.

– С немцами воевать – не куропаток стрелять. Надо уметь. Их вон сколько наперло. Сила!

Зоська смолчала. Сила – это конечно; она знала, видела и чувствовала эту силу. Но как сладить с ней, с этой силой, захватившей половину России, как вернуть все обратно – этого она не могла себе представить. Зато она отчетливо чувствовала, что в этой войне, кроме как выстоять и победить, другого выхода нет. Иначе не стоит и жить, лучше сразу головой в прорву, чтобы не обманывать себя и не мучиться.

Она была маленьким человеком на этой земле, до войны еще только училась в Новогрудском педтехникуме, несколько месяцев работала пионервожатой в глухой сельской школке, жила трудновато, едва зарабатывая себе на кое-какую одежду, перебиваясь с картошки на хлеб. Но она верила в лучшее будущее, а главное – в усвоенный ею из книг идеал добра и справедливости, который по-хамски и враз растоптали фашисты. Она их ненавидела, как только можно ненавидеть личных врагов: за то, что они убили ее свояка – учителя, уничтожили всех ее еврейских подруг в местечке, пожгли окрестные хутора и принесли столько горя народу. И она сказала себе, что жить на одном свете с этим зверьем невозможно, что она будет вредить им, как только сумеет, если только они не порешат ее раньше, чтобы не опоздать, весной, как только растаял снег, она ушла в партизанский лес, и вот уже восемь месяцев для нее нет другой жизни, кроме лесной жизни отряда с ее постоянными опасностями, голодом, холодом, множеством различных невзгод – кроме войны.

5

– Вот и река. Как переходить будем? – спросил Антон, останавливаясь на невысоком, подмытом водой берегу. – Вплавь? Или по воздуху?

Он, конечно, шутил, сдвинув на затылок облезлую, из овчины шапку с оборванными завязками, и она смотрела на темную в белых берегах неровную полосу воды, и та сегодня не казалась ей страшной. Уж вдвоем они как-нибудь переберутся через эту плюгавую речку, едва не утопившую ее вчера вечером.

Тем не менее как перебраться, еще надо было подумать, и они небыстро пошли вдоль кочковатого, обросшего голым кустарником берега. Ледяные закраины местами были пошире, за ночь их плотно укрыло снегом, на котором кое-где проступали мокрые пятна. В одном месте, где река была уже, крылья льда почти смыкались на середине, но темневшая там промоина указывала на предательскую непрочность этой ледяной перемычки. Надо было искать что-нибудь ненадежнее.

– Может, палку какую положим? – неуверенно предложила Зоська.

– И далеко ты достанешь той своей палкой? – сказал Антон, и в голосе его Зоське послышалась легкая насмешка над ее предложением.

– А что? Я вчера перебросила и чуть не перешла.

– Чуть! Чуть не считается...

Зоська подумала, что, наверное, он лучше знал, что следовало делать, и больше ничего не предлагала, целиком полагаясь на спутника. Хотя ей и казалось, что в нескольких местах стоило попробовать перейти по закраинам, она молчала, ожидая, что скажет он.

– Чертова речка! – ворчал Антон, пробираясь в прибрежном кустарнике. – И не замерзла как следует, и мели залила. Самое хреновое время...

Время для дальних походов, конечно, было не самое лучшее. Едेलю назад ударили холода с ветром, вчера пошел снег, который не переставал и сегодня – снежные крупинки редко, будто нехотя, неслись откуда-то из мутной выси, было неуютно и холодно, Зоська после стожка не переставала страдать от стужи, все время хотелось прибавить шагу, пробежать, чтобы согреться.

Вдруг Антон замер на краю кустарника, тревожно повернув голову, и Зоська услышала впереди тихий, но явственный всплеск воды. Отведя лозину и пригнувшись,

Антон вглядывался сквозь заросли лозняка, и снова где-то под берегом всплеснуло раз и второй. Кто-то там был, и они на минуту замерли, затаившись в кустарнике. Но вот по крупному, с вытянутым носом лицу Антона скользнула добродушная усмешка.

– Бобер! Смотри, вылезает...

Встав на засыпанную снегом кочку, Зоська потянулась выше и увидела в отдалении на речном повороте, как что-то живое и мокрое с широкой лопаткой хвоста неуклюже выбралось из воды на полено у берега и, повернувшись, замерло на задних лапах. Антон тихо присвистнул, и зверек, востроухившись, поспешно скрылся в дыре, черневшей на оснеженной груди беспорядочно наваленных палок.

– Гляди-ка, устроились! – сказал Антон с восхищением и направился через кустарник к бобровой хатке.

– Пусть! Не надо пугать, не надо! – замахала на него рукой Зоська.

– Ничего. Смотри, запруда какая. Вот тут мы и попробуем переправиться.

Действительно, бобры натаскали на береговой мысок изрядную кучу валежника, рогатин, обглоданных, без коры, деревцев, образовавших внушительную, наполовину вмерзшую в береговой лед запруду. Обсыпанная снегом запруда возвышалась над речкой почти на уровне берегового обрыва, и Антон, хватаясь за холодные ветки осинника, осторожно взошел на нее.

– А что? Держит! Ну давай помалу... И не бойся, не бойся, я поддержу! – обернулся он к Зоське. Та тоже ступила одной ногой на голый, присыпанный снегом сук, который угрожающе посунулся под ее сапогом.

– Ой, скользко!

– Ничего... Давай за мной! Куда я стал, туда и ты ступай.

С трудом и опаской, оскальзываясь и то и дело хватаясь за нависшие с берега сучья, они пробрались по завалу почти до середины реки и остановились. Дальше было метра три темной воды, стремительно мчавшей мимо крайних, уходящих в глубину палок, и за ней виднелось упавшее с противоположного берега суковатое гнилое бревно, осклизлый конец которого тихо покачивался на течении. Антон примерился, прикинул расстояние до конца бревна, ловчее устроил ногу в упоре.

– Будем прыгать.

– Ой! А вдруг сорвемся?

– Срываться не надо... Первым прыгаю я. И поддержу тебя. Ну!..

Вся куча палок и бревен качнулась, уйдя одним краем в воду, что-то под ногами хрустнуло, Антон вскинул руки и, легко коснувшись притопленного конца бревна, очутился на том берегу.

– Ну?

Расставив удобнее ноги, он ждал, готовый подхватить ее, но Зоська вдруг потеряла решимость, почувствовав, что для такого прыжка у нее просто не хватит силы.

– Не допрыгну...

– Да ну? Допрыгнешь, давай не трусь! – ободрил он с того берега. Она в который раз примерилась к пугающей водяной Ирине, бросая виноватые взгляды на его оживленное, исполненное нетерпения лицо, и не могла решиться.

– Не могу. Не допрыгну...

– Ну что ж, мне обратно возвращаться? – начал сердиться Антон. – Я же допрыгнул, ты видела?

– Так то – ты!

– А ты? Главное – смело! Ну, толчок – и я подхватываю.

Зоська слушала его и сама отлично все понимала, надо было осмелиться и оттолкнуться... Но прежде следовало соразмерить толчок с расстоянием, и всякий раз, сделав это, она обнаруживала, что до бревна не допрыгнет, значит, опять очутится в ледяной воде. А новое купание никак не входило в ее расчеты – хватит с нее вчерашнего, от которого еще не совсем просохла одежда.

– Ах ты, такую твою маманю! – выругался на том берегу Антон и, ломая сапогами лед, решительно шагнул в воду. Она еще не поняла, зачем он так сделал, и испугалась, увидев его по колени в воде, откуда он требовательно протянул к ней руки.

– Прыгай, ну!

Зоська прыгнула – не на бревно, а в эти его протянутые руки, он пошатнулся, но удержал ее, переступил, едва не свалившись в воду, и сильно толкнул ногами вперед, к самой ледяной кромке берега. Она упала на одно колено, но быстро вскочила и, перепачкав руки, взобралась на невысокий, проросший спутанными корнями берег.

– Спасибо, – смущенно сказала она, глядя, как выбирался из воды Антон, Видно, спешить ему уже не было надобности, обе его ноги до самых коленей были мокрые, с левой полы кожушка лилась на сапог вода.

– Начерпал, да? В оба? Ну вот... Ты прости, пожалуйста.

– Что делать! Зеленая еще ты разведчица.

Наверно, зеленая, подумала она, отчетливо сознавая свою вину и с неприятностью ощущая едва скрываемое им недовольство. Молча она смотрела, стоя в сторонке, как он, присев на берегу, с силой стащил с левой ноги сапог и выжал на снег грязную, в дырах, портянку.

– Вот так! Теперь оба купаные, – впервые поднял он на нее еще строгий, но уже подобревший взгляд, и она поняла, что прощена.

– Так широко, что я не могла, – сказала она. – А в другом сапоге как? Сухо?

– В другом сухо, – сказал он. – Левый дырявый, давно воду пускает.

Тем не менее Антон стащил с ноги и правый сапог. Сухую портянку с правой ноги намотал на покрасневшую от стужи левую стопу.

– Чтоб обидно не было. Мокрый сапог, зато сухая портянка.

Он уже не злился, и у Зоськи отлегло на душе – все-таки он молодчина, этот Антон Голубин.

– Наверно, замерз? Давай пробежим! – предложила она, но Антон не поддержал ее и неторопливо поднялся с берега, тщательно вытер снегом испачканные в грязи руки.

– Согреюсь. Мороз небольшой.

– Куда теперь – не пойму даже. Пуща там вроде, так?

– Там, – подтвердил он. – Где-то тут должна быть дорога. А тебе куда – на Островок?

– Ага, на Островок. Дозорцев сказал. Там ребята на заставе переправят через Неман.

С этой стороны речки заболоченный берег густо порос кочковатым кустарником, среди которого едва ли не до коленей топорщилась пожухлая, засыпанная снегом трава, и они шли, прокладывая между кустов и кочек две пары глубоких следов. Наверно, эти следы следовало как-то маскировать, но Зоська не знала, как тут их можно было замаскировать, и не удивилась, когда Антон ей сказал:

– Ты иди за мной. Чтоб в один след.

– Правильно!

Болото всюду хорошо промерзло и надежно держало человека, в траве было сухо, мелкие лужицы вымерзли до дна, и под ногами иногда жестко хрупало – нетолстый ледок легко ломался в траве.

– Зося! – каким-то особенным голосом сказал вдруг Антон и обернулся. Она едва не наткнулась на него сзади и тоже остановилась, уставясь в его озабоченное и даже омраченное чем-то лицо. – Зося, я должен тебе сказать...

– Что?

– Знаешь... Я – в самоволке, – сказал он и внимательно посмотрел на нее. Она ничего не поняла.

– В какой самоволке? В разведке...

– В том-то и дело, что не в разведке. Я солгал тебе. Меня никто не посылал, я сам...

– Как – сам?

– Сам. Как узнал, что ты идешь на такое дело... Не выдержал. И вот...

Зоська, сдвинув высоко брови, непонимающе глядела в его омраченное переживанием лицо, и смысл его слов не сразу доходил до ее сознания. В самоволке? Почему в самоволке? Почему – она ушла и он не выдержал? Но вот она стала понимать что-то, и смешанное чувство участия и почти испуга охватило ее.

– Что же ты наделал?

– Вот наделал, – развел он руками. – Теперь поздно переделывать.

– Нет, ты должен вернуться! – спохватилась она. – Что ты! Тебя же за такое дело...

– А тебя? – с какой-то непонятной убежденностью прервал он. – Ты же в первой деревне влипнешь. Пропадешь ни за понюшку.

– Почему? – еще больше удивилась она.

– Почему? Тебе объяснить почему? Что ты умеешь? Перелезть через речку ты умеешь? Обмануть полиция сможешь? На документ свой надеешься? Так первый же бобик все сразу поймет. А ну дай твой аусвайс!

Не в состоянии побороть все растущее замешательство, она сунула руку за пазуху и из специально пришитого для того кармашка в сачке достала измятую книжицу аусвайса.

– Ну вот, – разочарованно сказал он. – Кто так документ носит? Разве деревенские девки этак аусвайсы прячут? Надо было обернуть в бумажку да завязать в чистую тряпицу. Да спрятать под седьмую одежду. А у тебя – все наготове. Теперь фотография, – сказал он и умолк, разглядывая фото на документе. – Ну, конечно, сразу видать: паспорт одного возраста, а фото другого. Старое фото с чужого документа. Да и печать... Ну кто так печати ставит?! – возмутился он. – Руки бы тому обломать. Смотри, даже буквы не сходятся.

Она заглянула в развернутую в его руках книжицу: действительно, поддельные буквы на ее фотографии заметно отличались от действительных на странице аусвайса и шли как-то криво, словно расползаясь от влаги. Хотя вчера аусвайса она не намочила нисколько.

– Ну, видишь? Как за тебя не бояться?

Похоже, он был в чем-то прав, ее подготовили не слишком тщательно, и она очень

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
легко может влипнуть. Но как и чем оправдывается он? Ведь целая ночь отсутствия в лагере не останется незамеченной. Как тогда он объяснит эту свою отлучку? Тревогой за Зосю Нарейко? Не будет ли это смешно и нелепо? И кто в это поверит?

Ошеломленная свалившимся на нее открытием, Зоська прислонилась спиной к ольхе и стояла, не в состоянии придумать что-нибудь путное. Она только смотрела на свой злосчастный аусвайс с такой малоудачной фотографией, оторванной от ее довоенного студенческого билета.

– Так что же нам делать?

Антон слегка примял сапогами черный полегший папоротник и пожал плечами.

– Пойдем вместе. Авось я обузой для тебя не стану.

– Ты обузой не станешь, наоборот! – заверила Зоська, – Но...

– Вроде муж и жена, идем в Скидель к матери. Там действительно у тебя мать, могут проверить.

– Ну что ты, какая я жена?..

– Не хочешь женой – сестрой будешь. А что? Вдвоем, знаешь, надежнее.

– Это да. Но...

– Хочешь сказать, как в отряде потом?

– Ну.

– Видно будет. Авось оправдаемся. Ты же меня защитишь?

Зоська все не могла взять в толк, как ей следовало поступить, на чем теперь настоять и даже что сказать Антону. Конечно, смысл его сумасбродного поступка не оставлял сомнения, что он сделал плохо и что по возвращении не избежать скандала. Антон поступил неправильно и даже преступно, самовольно оставив отряд. В какой-то мере его оправдывало лишь то обстоятельство, что отправился он не на пьянку на какой-нибудь хутор, не на гулянку, а пошел с ней на опасное дело, откуда неизвестно еще, как воротиться. К тому же этот его испуг за нее, почти безрассудный риск из-за опасения за ее жизнь ошеломили Зоську. Еще никто в ее жизни не пытался сделать ничего подобного, и это сильнее всего связывало ее решимость, делая нелегальной соучастницей Голубина.

– Ну что задумалась? – похоже, окончательно преодолев затруднение, бодро сказал Антон. – Нечего думать. Теперь уж я тебя не оставлю. Пойдем вместе. Или ты против?

– Я не против, Антон. Наоборот. С тобой мне, сам понимаешь... Но...

– Всяких «но» хватает. Теперь не будем о «но»... Холера, все-таки нога мерзнет, – сказал он, притопывая левой мокрой ногой. – На Островке скажешь, что послали вдвоем. Ты – старшая, я в подмогу. Пропуск дали?

– Пропуск-то дали...

– Вот и добро. Переправимся, а там посмотрим. По обстоятельствам.

Он опять становился уверенным и даже оживленным, будто впереди и не было смертельной опасности, а в отряде не ждали его неприятности по возвращении из самовольной разведки. Но что делать – действительно, она не могла его прогнать от себя, да и не имела никакого желания делать это. Она вспомнила свое одинокое блуждание вчера по болоту, и ей стало тоскливо. А каково одной, по ту сторону Немана, в незнакомых, набитых полицаями деревнях.

– Нечего кручиниться! – подбодрил он и положил большущую руку на ее плечо. – Пошли!

Чтобы окончательно вывести ее из состояния подавленной озабоченности, он шуточно

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

толкнул ближнюю березку, и целое облачко снежинок сыпануло на обоих. Зоська слегка вздрогнула, но даже не улыбнулась, и он, надев рукавицу, небыстро пошел между зарослей, прорывая сапогами глубокий след в засыпанной снегом траве.

6

Антон знал: тут где-то была дорожка, месяц назад он возвращался по ней из Заречья, но теперь дороги нигде не было видно, прямо-таки становилось удивительно, куда она могла деться. По скользкому от снега травянистому склону они поднялись к опушке хвойного леса, слегка углубившись в который и не найдя никаких признаков дороги, Антон круто взял в сторону и так редким сосняком прошел с полкилометра, пока не уперся в овраг. Стоя над его крутоватым обрывом, поросшим кустами орешника, он подождал отставшую Зоську.

– Где-то была дорога. И нет...

– Спросить... – устало произнесла Зоська и осеклась: у кого тут можно было спросить?

Конечно, дорога – не иголка в сене, где-то она найдется, но Антону жаль было времени, немало которого ушло на это дурацкое блуждание, когда впереди еще столько дел и забот. Правда, он мог бы идти и быстрее (он вообще ходил быстро), но Зоська стала отставать, все-таки ее шагок не сравнить с его метровым шагом. Девушка, видно, наконец согрелась, светлые прядки ее волос выбивались из-под серого теплого платка и прилипли к вспотевшему лбу, все лицо ее зарделось и маково горело с усталости.

Антон постоял, подумал, но в овраг не полез – пошел по его краю, сбивая сапогами снег с низких деревцев можжевельника. В лесу стало теплее, ветер стих, лишь голые верхушки орешника легонько покачивались на той стороне оврага. Высокие сосны с посеребренными снегом ветвями чуть шумели вверху. Конечно, он знал направление и мог идти на Островок лесом, напрямик, без дороги, но все-таки до Островка было километров восемь, и он не хотел мучить Зоську. Наверно, где-то поблизости, может, даже в том месте, где кончался овраг, и была дорога, не сквозь землю же она провалилась.

Они, однако, еще не дошли до конца постепенно мелевшего оврага, как Антону показалось, что где-то слышны голоса. Он остановился, послушал, оглянулся на Зоську – та тоже настороженно вслушивалась. Вскоре их слух различил в лесном шуме несколько невнятных звуков – несомненно, где-то поблизости негромко разговаривали люди.

– Ты постой тут, – сказал Антон Зоське, а сам помалу пошел от оврага в глубь леса.

Сосны росли негусто, меж их голых снизу стволов было бы видно далеко, если бы не частые заросли можжевельника и хвойного подроста, привольно раскинувшиеся на нижнем ярусе леса. В этом сухом зимнем бору подрост был неплохим укрытием на случай преследования, засад и слжки. Антон маскировался в нем, переходя от куста к кусту, ненадолго останавливаясь и слушая. Голоса временами пропадали совсем, но вот снова раздались чуть в стороне от избранного им направления, и Антон затаился за корявым комлем сосны. Непохоже, чтоб были немцы или полицаи, подумал он, скорее всего крестьяне или соседи из отряда имени Ворошилова. Но теперь он не хотел встречаться ни с кем. Да и Зоське такие встречи совсем ни к чему, им надо было идти скрытно, встречая как можно меньше людей.

В бору под кронами сосен снега было немного, местами он едва припорошил серый, усыпанный хвоей мох, который делал неслышными шаги человека. И все-таки следовало быть настороже. Остановившись за очередной сосной, Антон вынул из брючного кармана наган и, расстегнув на две верхние пуговицы колушек, сунул его за пазуху.

Людей он увидел неожиданно близко, как только обошел край молодого густоватого березнячка, через который не стал продираться, и свернул в сторону. Сначала бросилась в глаза рыжая лошадь, понуро стоявшая в упряжи в двух десятках шагов от него, за ней на санях с подсанками сидела, отвернувшись, женщина в коричневом, с черным воротником полушубке, и возле, нагнув голову, стоял мужик в

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
серой суконной поддевке, сосредоточенно наблюдавший за тем, чем занималась женщина. Рядом на снегу лежала свежеспиленная сосна, уже раскряжеванная, с обрубленными сучьями, и Антон догадался, что, по всей видимости, это деревенские приехали заpastись дровами,

Сохраняя, однако, осторожность, он вышел из-за березняка на открытое место и спокойно направился к людям. Сидящая спиной к нему женщина не могла видеть его, но мужчина, наверно, слышав шаги, вскинул голову.

– Добрый день вам, – спокойно сказал Антон, подходя ближе, и мужчина поспешно снял ногу с саней, уставясь в него слегка удивленным, даже испуганным взглядом. Это был молодой крепкий парень с легкой порослью на подбородке, в черной шапке-треухе. Из-под поддевки на нем были видны поношенные армейские бриджи с характерными нашивками на коленях, и Антон с неприязнью подумал: примачок, наверно?

Похоже, так и было в действительности, парень держал а руке ломоть хлеба с салом, которым его угощала женщина, как, подойдя ближе, заметил Антон – шустрая черноглазая молодка, недобро и без страха поглядевшая на него. Тут же была и дорога с единственным на снегу следом от этих самых саней.

– Добрый день, – настороженно ответил примак, все держа в руках увесистый ломоть хлеба с положенным на него куском сала. Теперь уже оба они встревоженно смотрели на Антона, который сказал как можно спокойнее:

– Дровишки заготовливаете?

– Приходится, – сказал примак и положил на колени молодки хлеб, который та сразу прибрала в белую холщовую сумку. Антон подошел ближе и ногой в сапоге тронул толстый сосновый комель, едва шевельнувшийся на снегу,

– Ну и толщина? Как вы осилили такую?

– Во, два мужика, да каб не осилили! – неожиданно словоохотливо отозвалась молодка. Из хвойного подростка, подпоясывая веревкой ватник, выходил еще один мужик, значительно старше первого, с коротенькой, густо посеребренной ранней сединой бородкой.

– На строительство, наверно? – догадался Антон.

– Подруб под хату. Сгнила, знаете, товар был не тот. Известно, при царе еще строились, – доброжелательно, без тени настороженности заговорил подошедший и после недолгой паузы осведомился: – Издалека будете, пан-товарищ?

– Издалека, – сказал Антон, сразу отметив про себя эту неуверенность бородача относительно «пана-товарища». Однако вносить какую-то ясность Антон не собирался. – А вы откуда?

– Да вон из Стеблевки.

– Ну, из Стеблевки мы, – подтвердила молодка. Примак молчал, продолжая исподлобья изучать непрошеного лесного гостя.

– А он тоже из Стеблевки? – спросил Антон, кивнув в его сторону.

– Тоже, ага. Муженек мой, – заулыбалась молодка, соблазнительно поигрывая ямочками на щеках.

– И давно муженек?

– Не-а. Вона на спаса поженились.

– Понятно, – сказал Антон и, взглянув на прикрытую полой полушубка холщовую сумку со снедью, подумал: угостят или нет? Хотя, наверно, пока не определяют, пан он или товарищ, не удосужатся.

Но он торопился определяться, он смотрел на молодку с симпатичными ямочками на щеках и на ее муженька, совсем еще молодого парня, который, если бы не война и

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
некоторые сопутствующие ей обстоятельства, наверно, еще бы повременил с женитьбой. Молодка же с такой влюбленной ласковостью поглядывала на него, что Антону стало завидно. Черт возьми – идет война, гибнут, страдают люди, а эти вот женятся и еще надумали менять подруб. Не промах, однако, этот малый в поддевке.

– Ну ешь, ешь, Петя. На вот тебе с любовинкой, – домашним голосом ворковала молодка перед своим Петром. Антон отвернулся.

– А Стеблевка эта ваша где? В какой стороне? – спросил он бородатого.

– А вон, аккурат на взлеси. Вон тут недалечко.

– А тут что будет? – кивнул он в противоположную сторону, куда уходила не тронутая санным следом дорога.

– А туды Замошье, Гузы... Потом эта, как ее... – замялся бородатый.

– Ну, Суглинки еще, – подсказала молодка.

– Да не Суглинки, Суглинки вон куда, в сторону. А туда Загладина, вот!

– И Загладина, и Суглинки, и Островок – все в той стороне, – настаивала на своем молодка, не слезая с саней. Ее примачок принялся молча жевать, все еще бросая сторожкие взгляды на Антона. Антон смекнул уже, в каком направлении следовало держать путь, и, чтобы не выдать своего намерения, о деревнях больше не спрашивал. Спросил о другом.

– Чужие в деревне есть?

Бородатый с примачком переглянулись: молодка стрельнула в него недоуменным взглядом.

– Так ето, знаете, пан-товарищ, – замялся бородатый, – ето как посчитать. Если... Если немцы, так нет вроде, а полицейские бывают. И партизаны бывают.

– Понятно, сказал Антон. – Угостили бы хлебушком, что ли.

– Ай, так у самих мало, – неопределенно завозилась с сумкой молодка, но достала горбушку и, отрезав от нее нетолстый ломоть, протянула ему.

– А сальца там не найдется?

– Ну какое еще сальце? Самим вот по ковалочку...

– Маня, дай человеку, – с нажимом сказал бородатый, и Маня, не вынимая руки из сумки, отрезала там небольшой, длинноватый ломоть белого, наверно свежей заготовки, сала.

– Вот теперь спасибо, – сказал Антон.

– Извиняйте, мы это самое... Думали... – начал и замялся бородатый.

Ни черта вы не думали, подумал Антон, пожалели просто. Не потребуешь, не дадут, что уже он понял давно. Он снял рукавицу и затолкал хлеб с салом в карман козушка. Бородатый, однако, оказался неробким, скромного росточка, мужичком; снизу вверх он открыто и безбоязненно ел взглядом Антона, видно по всему, не прочь поразговаривать со свежим человеком. Он только не мог взять в толк, кто этот человек и как следует вести разговор. Наконец он не выдержал:

– Вы, ето извините, однако интересно: партизан вы или, может, из полиции будете?

– А почему ты так спрашиваешь? – удивился Антон его несколько прямолинейному в такой обстановке вопросу.

– Ну, вижу, оружие у вас. Оружие оно, конечно, в моде теперь, но...

Антон машинально сунул руку за пазуху, подальше задвигая рукоятку нагана. Все трое с недожеванными кусками во рту ждали его ответа.

– А я – человек. Человек просто, Это что – плохо?

– Оно не плохо. Но, знаете... Теперь не бывает так.

– Вот он же, наверно, тоже не партизан? – указал Антон на примолкшего примака. – И вроде не полицай еще. И живет ведь? И, вижу, жить собирается, раз надумал строиться.

– Эт! – пренебрежительно махнул рукой бородатый и поддернул штаны. – Какая это жисть! Разве это жисть? Днем бойся, ночью бойся...

– А чего ж он не возьмет оружие? Да не пойдет в лес? Чтобы не он, а его боялись?

– Во! Во! Во! – вдруг недобро закудаhtала молодка и соскочила с саней. Отставив упитанный зад, сварливо выгнулась перед Антоном, замахала руками. – Во! Во! Я так и знала, агитаторщик! Он его соблазнять буде. И слушать не слушай его! Ого! В лес! А может, у него характер не той? А может, он убивать не хочать? Он тихий, он курицы не обиде, а то у лес!

– Да ладно ты! – лениво протянул молодой увалень, и щеки его покраснели, наверно, от этого непрошеного ее заступничества.

– А вот и не ладно! Тоже мне – партизанщик нашелся! – все больше распалялась молодка. – Сам, как недобитый волк, по лесу шастает и других сманивает. И еще хлеба ему давай... Иди, откуда пришел!

– Ма-аня, да стихни! – снова проворчал примак. – А то вот возьму и надумаю...

Маня на секунду оторопела.

– Ах ты, недоносок! Попробуй мне! Я тебе надумаю! Я тебе покажу! Давно тебя от Параски отвадила, так теперь в лес...

Начиналась семейная ссора, слушать которую Антон не имел времени. Воспользовавшись тем, что молодка переключилась на своего обожаемого, он повернулся и пошел прежним следом назад. Они там ругались, но он не оглядывался, он думал: странная это штука – война. Он давно уже не слышал такого вот сварливого бабьего крика и отвык от каких бы то ни было семейных отношений, почти уже забыл, как огорчали его частые ссоры матери с женой старшего брата, как они ремонтировали свою хату в местечке, меняли этот самый подруб и перекрывали одну сторону крыши дранкой. Последние предвоенные годы он метался по деревням, взыскивал с крестьян налоги, зарабатывал не так много, но на хлеб и на водку хватало. У него была масса знакомых в районе, не было отбоя от девчат, каждая из которых, наверно, с радостью пошла бы за него замуж. Но жениться он не спешил, ему хватало их без женитьбы, считал, еще успеется. Дома с небольшим хозяйством, коровой и огородом управлялась беспокойная, работающая мать, переночевать и поесть он мог в любой знакомой деревне, работу свою, в общем, любил, хотя она и доставляла ему немало беспокойства, но он чувствовал, что подходил к ней характером, не робел, как другие, когда надо было проявить твердость и взыскать с разгильдяев в пользу государства столько, сколько принадлежало тому по закону. Спуску он никому не давал, и его за это уважало начальство в районе, колхозники тоже уважали или, может, побаивались, но для него было одно и то же. Хуже было с теми знакомыми, которые от него не зависели и над ним не стояли, такие почему-то недолюбливали и сторонились его, но ему на них было наплевать, он с ними не знался. К тому же он имел собственную голову на плечах и не хуже других понимал, что хорошо, а что плохо. Не то чтобы он считал себя очень умным – просто он знал, что обеспокоиться общим делом найдутся десятки других, а вот заботиться о нем лично не станет никто, кроме него самого. Потому он старался поступать по своему разумению, насколько это, конечно, было возможно, и не терпел, когда его вынуждали поступать вопреки его воле. Правда, с началом этой проклятой войны все пошло вверх тормашками, все не так, как он думал. Но что он мог сделать? Началось с того, что как-то на исходе прошлой зимы в окно хаты Голубиных тихонько постучали ночью. Антон открыл дверь, и в кухню вошло человек шесть с оружием. В переднем он не сразу узнал районного начальника НКВД, с которым до войны был в некоторой дружбе, и думал, что тот теперь где-нибудь далеко на востоке. Но он оказался здесь и в тот свой приход предложил Антону вступить в партизанский отряд. Антону это мало понравилось, он уже

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
примеривался к новой работе – механиком на лесопилке, но, прослышав, что в отряде много знакомых, решился, собрал «сидор» и несколько дней спустя был в условленном месте на краю пуши. Первое время он занимался ремонтом трофейного оружия, а потом и сам взял в руки винтовку. Потом понеслось–завертелось: стал командиром взвода, телохранителем у командира отряда и вот докатился до рядового, а теперь, словно оголодалый волк, как та молодка сказала, шастает по темным лесам.

Он размеренно шагал между сосен к оврагу, и в нем все росла подступившая к самому сердцу тоска по самой обычной, серенькой, как у всех или у большинства, мирной обывательской жизни под крышей, своей семьей, с такой вот шустрой молодкой рядом, чтоб без страха, войны, крови – в добре и мире.

Но он только вздохнул на ходу – так это было далеко и несбыточно. Хорошо мечтать о такой жизни тому, у кого есть хоть какая-нибудь гарантия относительно жизни вообще – у него же не было даже такой гарантии. Не сегодня, так завтра горячая пуля распластает его на снежной траве, и дело с концом,

Хорошо, если похоронят по-людски. А то никто и не найдет, и он будет лежать под снегом до самой весны. Если оголодалые за зиму волки и лисицы не растаскают его длинные кости по своим лесным норам...

Зоську он увидел еще издали, та терпеливо дожидалась его на краю оврага, где он оставил ее, и Антон, остановившись, махнул два раза рукой – давай, мол, сюда!

7

Они взяли чуть в сторону от оврага и скоро вышли к неширокой лесной дорожке, присыпанной свежим, нетронутым снегом. Антон глянул в один конец дороги, в другой, саней отсюда не было видно, и он уверенно свернул направо, оставляя позади широкие следы на снегу, в которых желтел дорожный песок.

– Вот, разжился, – сказал Антон, вытаскивая из кармана обкрошенный кусок хлеба.
– Молодка не хотела давать, вредная баба. Едва выцыганил.

Зоська невольно сглотнула слюну, получив в руки половину ломтя свежего крестьянского хлеба с узким кусочком сала.

– Вкусно как пахнет! – понюхала она хлеб. – Вот любила такой – на кленовых листочках. Мама пекла.

– Ешь! – просто сказал Антон, с аппетитом задвигав челюстями.

Зоська наконец согрелась, идти по ровной дороге было несравненно легче, чем продираться в кустарнике, она расстегнула верхнюю пуговицу плюшевого сачка и ослабила узел платка на шее. Хвойный оснеженный бор едва слышно шумел на ветру, в воздухе кружились редкие снежинки. Было тихо. Где-то раздавалась прерывистая дробь дятла, но Зоська не обращала на нее внимания, она то и дело поглядывала вперед, куда, извиваясь, уходила дорожка. Туда же устремлял свой взгляд и шагавший впереди Антон, так просто и естественно взявший на себя часть ее дорожных забот и связанных с ними опасностей. Все это в другой раз могло бы порадовать Зоську, но теперь мало радовало, скорее наоборот – она все еще не могла освободиться от терзавшего ее беспокойства. Правда, за себя она меньше боялась – теперь она беспокоилась за Антона.

– Слушай, возвращайся назад. Тут я уже сама выйду, – сказала она, идя сзади, и Антон на ходу обернулся.

– Зачем? Я проведу.

– До Немана, да?

– Там будет видно, – уклончиво ответил Антон, и она не стала настаивать – почувствовала, что он ее не послушается. Она понимала, какими неприятностями угрожало обоим это его упрямство, но противиться ему не могла. А может, и не хотела даже.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Там приехали за сосной. На подруб, – кивнул Антон, слегка придерживая шаг. – Примачок такой и молодайка. Война, а они строятся.

– Да разве мало таких! Думают, отсидаются, переждут. Пусть за них другие воют, – неодобрительно сказала Зоська, и Антон внимательно посмотрел на нее.

– Оно конечно, – согласился он. – Да всем жить хочется.

Жить хочется всем, подумала она, но, пожалуй, не в этом дело. Разве не хотят жить те, кто гибнет с оружием в руках, кого арестовывают и расстреливают за связь с партизанами, наконец, те несчастные, ни в чем не повинные, которых уничтожают только за их происхождение. Разве не хотел жить ее свояк Леонид Михайлович, преподаватель математики в местечковой школе, человек совершенно безропотный и безотказный, до предела затурканный своей властной женой, родной сестрой Зоськи. Казалось Зоське, тихо презиравшей свояка за эту его бесхребетность, что он с легкостью проживет при любой власти, вытерпит все, никому не пожаловавшись и даже ни на кого не обидясь. Но вот не удалось прожить Леониду Михайловичу даже первую военную зиму – в марте его уже арестовало гестапо.

Зоська до сих пор не может себе представить, какую провинность перед немцами совершил Леонид Михайлович и за что они расстреляли его. Но, по-видимому, что-то было, иначе бы он так не прощался с женой, детьми и с Зоськой при аресте – прощался, уходя навсегда, со спокойным сознанием правомерности ареста и неотвратимости своей злой судьбы.

Узкая лесная дорожка вывела их на широкий прогал с большаком и линией связи, под острым углом пересекавшими их путь. Там уже издали были заметны какие-то следы от полозьев или колес, по обочине кто-то недавно прошел, оставляя неглубокие ямки в снегу. Антон только вышел из-за придорожных деревьев и сразу же повернул обратно.

– Давай стороной. Ну ее, эту дорогу...

Они сошли в лес, пробрались через колючую чащобу молодого сосняка и пошли лесом поодаль от большака, однако не теряя его из вида. На большаке было пусто, продираться же через хвойные заросли стоило невероятных усилий, кочковатая лесная земля с пнями, порослью жесткой гравы и валежником весьма затрудняла ходьбу, и Зоська подумала: может, стоило все же рискнуть и пойти большаком? В самом деле, она уже здорово притомилась в этом бездорожье и едва поспевала за Антоном, широкая спина которого, то склоняясь, то выпрямляясь, мелькала впереди в зарослях. Зоська намерилась было окликнуть его, но воздержалась, подумав, что хорошо ей с документом и пропуском, а каково будет ему в случае встречи с полицией или немцами? Один его наган может погубить обоих. И она молчала, терпеливо пробираясь по его следу в немыслимо колючей хвойной чащобе, из которой они наизволок спустились во мшистую, заросшую мрачными елями низинку. Тут было тихо, темно и диковато, как в погребе. Шумно дыша, Зоська вдруг заметила, как Антон замер впереди меж двух обомшелых елей, и она затаила дыхание: со стороны дороги слышался приглушенный гул моторов, он приближался, с ним вместе донеслись голоса, мужской смех. Антон предостерегающе вскинул руку:

– Слышь, немцы...

Зоська прислушалась – гул недолго подержался на одной ноте за ельником и постепенно стал слабеть в отдалении. Похоже, действительно, это проехали немцы, и она подумала: хорошо, что Антон вовремя свернул с дороги. Так безопаснее, хотя и труднее. По-видимому, дороги теперь не для них.

Потом они, кажется, все-таки потеряли большак из виду, потому что за час с лишним лесного пути до них не донеслось ни одного звука с дороги, да и все прочие признаки дороги исчезли. Антон пошел чуть тише, и Зоська обрела более спокойное дыхание. Она уже потеряла всякое представление о местности, никак не ориентируясь в этом диком лесу и полагаясь только на Антона, который, по-видимому, знал, куда вел ее. Они перешли вырубку с рядами штабелей заготовленных сосновых коротышек, перелезли широкий крутой овраг, с ужасно скользкого склона которого Зоська съехала на заду, а потом едва взобралась на противоположную кручу. Рукава сачка, коленки и юбка снова насквозь промокли, вывалянные в снегу. За оврагом большой лес кончился, началось мелколесье, стал

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
задувать ветер, в котором по-прежнему носились редкие предзимние снежинки. Небо недобро нахмурилось, стало холоднее, по каким-то неуловимым признакам чувствовалось приближение реки, рельеф заметно пошел под уклон. И вот впереди между привольно разбежавшихся по склону сосен засерело пустое, притуманенное снегопадом пространство. Воды еще не было видно, но лес кончался, и Зоська поняла: они выходили к реке.

«Молодец, правильно. Не заблудился!» – с удовлетворением подумала она про Антона, бегом догоняя спутника.

– Ну вот, пожалуйста. Вышли! – указал он рукой на открывавшуюся панораму реки.

Они не спеша обошли крайние молодые сосенки и остановились на обрыве. Внизу у их ног мощно гнал студеные воды Неман.

Несколько раз в детстве Зоська видела эту реку в летнее время, и та не произвела на нее впечатления – изрядно обмелевшая, с песчаными зальсынами берегов, она казалась тогда неширокой, спокойной и, в общем, какой-то районной, средней величины речушкой. Теперь же вид ее преобразился до неузнаваемости, словно это была другая река; раздавшаяся от обилия осенней воды, со стремительным и мощным течением, она таила в себе какую-то злую, прямо-таки угрожающую силу. Во всю ее обозримую ширь и длину сверху шло сало – густое крошево льдин с обтертыми, словно в застывшем жиру, краями, которые непрестанно плыли и плыли по водной поверхности, сталкиваясь, расходясь и кружа, и тихий, но властный шорох стоял над рекой. Обрывистые лесные берега почтительно и широко расступились перед напористой мощью стихии, безразличной к их спокойной растительной жизни, занятой только собой и своим вечным движением к морю.

– Островок, кажется, выше будет. Мы ниже вышли, – сказал стоявший рядом Антон.

Очарованная мощным видом реки, Зоська минуту не могла оторвать от нее взгляда, думая про себя, как же им переправиться через этот ледяной поток. Где находится Островок, она не задумывалась, – она уже привыкла, что в таких вещах Антон разбирается лучше, тем более что осенью он исходил тут все стежки-дорожки. Не спускаясь к воде, они пошли верхом по прибрежному обрыву в поисках этого самого Островка.

– Значит, так, – обернулся в ее сторону Антон. – На заставе там Петраков. Или, может, сержант из десантников. Тот, которого летом под Зельвой подобрали. Так вот, ты сообщишь пароль и скажешь, что идем вдвоем. Поняла?

– Значит, ты не вернешься?

– Ты слушай меня. Говори так. А потом сообразим-посмотрим.

Зоська не возражала, кажется, она уже потеряла способность возражать этому человеку, все у которого получалось лучше и сноровистее, чем у нее. Он явно забирал у нее инициативу в этом ее выходе, но она не тревожилась – пусть! Видно, во всем, что касалось войны, он был поопытнее ее.

Однако по берегу они прошли километра два, прежде чем увидели на речном изгибе притопленный половодьем Островок, поросший голым теперь лозняком. Неман тут расходился на два рукава, главное его русло обегало Островок с той стороны, а протока у этого берега была густо забита льдом, заторенным в узкой водяной горловине. Чуть ближе к лесному берегу зияла огромная промоина-овраг, из которого вырывались по ветру едва заметные на притуманенном фоне леса серые клочья дыма.

– Дымят, – сказал Антон. – Наверно, печку раскочегарили.

Не успели они подойти к устью оврага, как откуда-то из-за кустов навстречу выбежала суетливая, черная, как уголек, собачонка и с ужасающе злым лаем набросилась на Антона. Антон остановился, притопнул ногой, но собачонка и не думала униматься и, только когда он подхватил из-под ног камень, бросилась назад к оврагу. Однако оттуда по стежке уже спускался небритый, в стеганых брюках и в какой-то самодельной безрукавке пожилой человек с обвязанной шеей. Он негромко прокашлялся, успокоил собаку. Антон уважительно поздоровался:

– Здравствуй, Петряков.

– Здорово, здорово, – глухим голосом ответил мужчина, стоя на обрыве. За его спиной виднелась дощатая дверь в землянку, ржавая труба над которой коптила сизым дымком.

Антон пропустил вперед Зоську.

– Говори пароль.

Она и сама знала, что прежде надо сообщить пароль, но то ли это надлежит сделать сейчас или потом, она позабыла. Как всегда, выручал Антон.

– Привет вам от Мироныча, – сказала она, выжидательно глядя на исхудавшее, серое, в недельной щетине лицо Петрякова. Тот, тихо крякнув, проговорил отзыв:

– Давненько с кумом не виделись.

Кажется, все было правильно, пароль и отзыв сошлись. Зоська облегченно вздохнула и тут же решила спросить, как насчет переправы, да Петряков повернулся на обрыве.

– Это... Сюда идите. Цыц ты, шварка! – прикрикнул он на собачонку, которая снова попыталась наброситься на Антона. Зоську она игнорировала, Антона же явно возненавидела с первого взгляда

– Вот, пойдите пока... Вот сюда, – отворил Петряков подвешенную на ремешках дощатую дверь землянки, из которой пахло теплом и дымом.

Зоська и следом за ней Антон, пригнувшись, влезли в крохотную, выдолбленную в овражном склоне земляночку с обломком стекла в двери вместо окошка, топчаном и хорошо накаленной железной печкой, дым из которой почему-то упрямо не хотел идти в трубу и то и дело валил внутрь. Петряков протер пятерней слезящиеся глаза и взял с пола сапог с потянувшейся следом дратвой.

– Вот зашить надо... А вы, это, садитесь, – указал он на топчан, пристраиваясь сам на чурбаке возле печки. – Пока Бормотухин лодку пригонит.

Они сели, Зоська поближе к печке, Антон – у двери. Антон беглым взглядом окинул жилище.

– А где же начальник твой?

– А нет начальника, – сказал Петряков, с усилием прокручивая шилом дыру в заднике.

– Как? Был же сержант этот. Из десантников.

Петряков невозмутимо прокашлялся, сплюнул в угол за печку.

– Был. Попался сержант. Теперь я вот.

– Ах вон как...

– Так вот. А вы туда? – поднял он на Зоську измученный взгляд покрасневших от дыма глаз.

– Туда, – скупо подтвердила Зоська. Петряков, сжимая в коленях головку сапога, тихо вздохнул;

– Да-а-а...

– А что? – не поняла Зоська.

– Да ничего, что ж... Вчера вон возвращались хлопцы из Чапаевского. Двое. Третьего привезли в дерюжке. Вот сапоги с него.

Зоська затаила дыхание.

– Что, убили?

– Убили. Две пули. Одна в грудь, другая в живот.

– Да, скверное дело, – поморщился Антон.

Зоська молча сидела, неприятно пораженная этой вестью, хотя, если подумать, чему тут поражаться? Мало ли где кого убили – шла война, и убивали каждый день сотнями. И все-таки она чувствовала, что это мимоходом сообщенное известие имело отношение и к ней, – наверно, убитый переправлялся на ту сторону у этого Островка, да и убили его где-то в тех самых местах, где предстояло действовать ей. К тому же упоминание о пуле в живот всегда вызывало у Зоськи противный озноб внутри. Больше всего она боялась именно пули в живот, хотя отлично понимала, что получить пулю в голову или в грудь несколько не лучше.

Петряков с помощью самодельного шила и дратвы старательно чинил сапог, все время хрипло покашливая, и Зоська, глядя на его толсто обвязанную какой-то суконкой шею, спросила:

– У вас горло больное, да?

– Да уж больное, – сказал он, не отрываясь от своего занятия. – Застудил и вот... Видно, докашляю в эту зиму.

– Ну, почему вы так? – удивилась Зоська, заслышав в его голосе нотки обреченности. Петряков лишь отмахнулся рукой:

– А, все одно! Чем жизнь такая...

Антон в нетерпении резко встал с топчана и, согнув голову под низким потолком землянки, выглянул в неплотно притворенную дверь, из которой несло ветром и холодом.

– Ну где же твой Бормотухин? Или ты перевезешь?

– Бормотухин перевезет. Он теперь перевозчик.

Антону явно не сиделось, да и Зоська едва терпела в этой прогорклой от дыма земляночке. Теперь ее, правда, растрогал обреченный вид Петрякова, и ей стало жаль больного человека.

– Так, может, лекарство надо какое? Может, мед вам помог бы? – сказала она, настывшими руками поглаживая пригретое от печки колено.

– Какое лекарство! Мне уже ничто не поможет, придется того... Чахотка у меня, – просто сообщил Петряков и замолк, глубоко засунутой рукой нащупывая в сапоге конец дратвы.

Зоська смешалась, она не знала, что в таких случаях можно сказать человеку и чем утешить его. Да и следует ли утешать?

Исчезнувшая было собачонка, радостно заскулив, опять появилась под дверью, Антон выглянул наружу и отступил на шаг в сторону. Дверь широко растворилась, и в ее низеньком проеме появился вконец озябший парнишка, с виду подросток, с худенькой шеей, в небрежно запахнутых на груди одежках. На его нестриженной голове, глубоко надвинутая на уши, сидела серая поношенная кепка с пуговкой на макушке.

– Сигнал давали, дядька Микалай?

– Давал, как же. Вот, перевезти. – Взглядом Петряков указал на гостей, и Зоська догадалась, что наконец пришел Бормотухин. А ей думалось, что это будет сумрачный мужик с бородой. Мальчонка, однако, вошел в ставшую совершенно тесной землянку и прикрыл за собой дверь, за которой тоненько заскулила собачонка.

– Заколел. Такой ветер усчався...

– Сало все идет? – спросил Петряков.

- Еще болей стало. Такие льдины – ого!
- Станет Неман, – решил Петряков. – Худо дело будет.
- А нам хуже не буде, – сказал Бормотухин.

Он присел перед печкой, протянул к огню скрюченные стужей кисти, и Зоська подумала: как же он их перевезет в такой ледоход? А вдруг в лодку ударит льдина, и они окажутся в коде. Но Неман – не болотная речка, отсюда не так просто выбраться на берег. Она с беспокойством поглядывала на Петрякова и мальчонку, но те вроде и не думали об этом. Бормотухин, все держа у огня настывшие руки, повернул к ней остренькое, с посиневшим носом лицо и вроде бы подмигнул даже.

- На связь? В разведку?
- Бормотухин! – с хриплой строгостью прикрикнул Петряков. – Не твое дело. За чем надо, за тем и идут.
- А! – разочарованно бросил парень. – Будта неведама, пашто за Неман ходють. Абы варочалися.
- Как-нибудь постараемся, – сказала Зоська.
- Во-о! Так все гаворать. Тольки не все варочаются. В няделю перевозил шастярых, два раза лодку ганяв. А учора вяртающца трое. И то один неживы. Убитый.
- Бормотухин? – снова оборвал его Петряков. – Помолчи лучше.
- Ды я кали ласка, – с готовностью согласился подросток и встал. – Ну дык пошли, что ли?

Плотнее запахнув на груди свои надетые один на другой пиджачки, он ту же затыкнул тесемчатым, от военных брюк, ремешком и ногой толкнул легкую дверь. Они по очереди вышли на узенькую площадку у порога. Зоська, обернувшись, сказала Петрякову:

- Как-нибудь выздоравливайте, дядька.
- Да спасибо, – без видимого желания ответил Петряков.

После дымного тепла землянки на дворе их сразу охватил холод, ветер с реки дунул промозглой стужей, Зоська зябко поежилась. Но Бормотухин уже сбежал по тропинке к берегу, и они поспешили за ним, Зоська вся внутренне сжалась, глядя на ледяную карусель на реке, через которую им, не откладывая, предстояло переправляться.

Бормотухин тем временем, с хрустом обломав тонкий ледяной закраек у берега, столкнул свою плоскодонку на воду и придержал ее за дощатый нос.

- Залазьте!

Антон легко и уверенно перешагнул через борт, протянул руку Зоське, и та со страхом неловко забралась в лодку, на дне которой плескалась вода и плавали прозрачные кусочки льда.

- Проходите далее. Один на корму, другой на середину. И седайте, седайте. Стоять не можно, – привычно распорядился Бормотухин.

Подрагивая от стужи и страха, Зоська опустилась на мокрую поперечину, Антон присел на корме. Бормотухин, поднатужась, столкнул лодку в воду, в последний момент ловко вскочив в нее.

Зоська, полуживая, сидела на поперечине, изо всей силы держась руками за мокрые борта лодки, которая угрожающе зашаталась, ударила о близко проплывавшую льдину, но на дно не пошла и даже не зачерпнула воды. Бормотухин стоя уже уверенно орудовал единственным веслом, во все стороны крутя своей кургузой, в кепчонке, головой. Медленно лодка отходила от берега на стремнину, где ее сразу подхватило течением и, к ужасу Зоськи, резво понесло между льдин. Но Бормотухин,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

отчаянно размахивая веслом, то греб, то проталкивался между тяжелыми льдинами, отпихивая их от бортов, все-таки помалу приближаясь к берегу. Раза два льдины здорово стукнули в борт, вода заплескалась в лодке, Зоська сильнее вцепилась в доски бортов, у нее с непривычки кружилась голова, а лодка казалась такой ненадежной, что просто было удивительно, как она держится на поверхности в этой круговерти льда и воды. Но она держалась, и Бормотухину даже удавалось как-то править ею наискосок к противоположному берегу с лозняком. Поборов первый страх, Зоська робко оглянулась – низкий песчаный Островок и лесной берег с оврагом заметно отдалялись, уже едва заметна стала тропинка на обрыве, и совсем исчезла за овражным выступом землянка; вокруг простиралась вода, и бесконечные вереницы льдин стремительно проносились мимо. Но вот и стрежень остался позади, лодка вошла в более тихое прибрежное течение. Тут льдин стало меньше, они едва двигались, больше раскручиваясь на одном месте, и у Зоськи отлегло на душе. Расталкивая лед веслом, Бормотухин привел лодку в лозняк, где она успокоенно ткнулась наконец в подмытый край берега.

– Фу! – с облегчением выдохнула Зоська. – Ну и натерпелась страха!

– Який тут страх? – удивился Бормотухин. – Хиба тут страшно?

Антон первым выпрыгнул на берег, помог выйти Зоське.

– Ну, перевозчик, спасибо, – сказал он.

– Нема за што, – невозмутимо отвечая Бормотухин. – Вы, гэта самае, направа не ходите: там вёска. И на беразе не идите: небяспечна на беразе.

– Да? Так что же нам – по воздуху, что ли? – удивился Антон.

– Не, не па воздуху, – отвечал Бормотухин, стоя в лодке и усиленно дыша на свои замерзшие руки. – Вунь на дрэва трымайте. Там хутка лес буде.

– Ну что ж, пойдём на дрэва, – согласился Антон.

– А будете вяртаться, вот тут, в лозняку, лодку знойдете.

– Ясно.

Они начали взбираться от реки на некрутой, но скользкий от снега берег, а Бормотухин, слегка отплывая в тихой воде, все дул на свои озябшие пальцы.

– А как зовут тебя? – обернулась с обрыва Зоська.

– Бормотухин.

– А имя, имя как?

– Ды Володька имя.

«Дай бог тебе вырасти, – подумала Зоська. – И еще перевезти нас обратно».

8

Неман остался сзади, они оглядывались на него, идя по полю, хотя реки уже не было видно. Почти не видать стало и леса на том берегу: пропал, утонув меж берегов, Островок; помаячила вдали и скрылась какая-то деревенька пониже острова. Пошел снег. Серое полевое пространство вокруг все больше тускнело, затканное белесой пеленой снегопада. Скоро почти ничего не стало видать, надо было напрячь зрение, чтобы за мелькающей сетью снежинок различить какой-нибудь затемневшийся в поле куст или одинокое деревце на обмелке. Усилился ветер. Порой его суматошные порывы так сильно шибали в грудь, что забивали дыхание, и Антон на минуту отворачивался, подставляя ветру широкую, в колушке, спину.

– О черт, разбушевался!..

Зоська поднимала навстречу покрасневшее от ветра лицо. Снег залепил складки ее платка, прядку волос на лбу, ворсистую ткань плюшевого сачка. Она пыталась

улыбнуться, шатко загребая сапогами в снегу и не попадая в широкие следы Антона.

– Вот же холера! Шли по лесу, тихо было. А в голом поле вон как задуло! – прокричал сквозь ветер Антон. – Замерзла, малышка?

– Не-а! – сказала Зоська и улыбнулась настылыми губами.

– Тебе когда надо быть в Скиделе? Завтра?

– Сегодня ночью,

– Сегодня не выйдет. Отсюда до Скиделя километров шестнадцать.

– Так далеко? – удивилась она, тоже оборачиваясь спиной к ветру. В самом деле, все время идти по полю было изнурительно, а дорог они избегали, все-таки здесь – не то, что на той стороне Немана. Тут всю хозяйничали немцы и полицаи. В одном повеяло – снегопад помогал пройти незамеченными и начисто заметал следы. Если бы не этот ветер.

– Ничего, доберемся, – бодро сказал Антон, оборачиваясь лицом к ветру.

Плохо, конечно, что они не рассчитали свой путь, затянули время на переправе и сегодня не могли попасть в Скидель, куда с самого утра так стремилась Зоська. Впрочем, Зоську можно было понять: у нее задание, сроки и где-нибудь в обжитом натопленном домике – тоскующая по дочке мать. Но не меньше, чем Зоська, торопился в Скидель и Антон, хотя у него не было там ни мамы, ни какого-нибудь задания. Правда, с некоторых пор там объявился его старый, еще борисовский, друг – Жорка Копыцкий, предстоящая встреча с которым теперь всерьез волновала Антона. Конечно, они были друзьями, и Антон по этой причине питал кое-какие надежды, но, кто знает, каким стал Копыцкий за те пять или шесть месяцев, которые они не виделись. Наверно, имея немалый вес в Скиделе, он при желании мог бы помочь Антону. Но поможет ли? – вот в чем вопрос. Тем более что тот явится к нему не один, а с этой вот симпатичной малышкой, на которую у него были свои виды, Антон понимал, что в смутное время войны люди способны, как никогда, круто меняться, и вчерашний друг запросто может обернуться врагом. Но все-таки. Ведь Антон, дорожа старой дружбой, когда-то помог Копыцкому устроиться в секретную спецгруппу, формируемую для заброски в дальний тыл к немцам, и они вместе прибыли на Белосточину. Правда, потом их пути разошлись, но тут уж Антон ни при чем, тут скорее виноват Копыцкий.

В том, что его нынешний путь так удачно совпал с заданием Зоськи, Антон склонен был видеть счастливый знак своей военной судьбы. Сегодняшняя их переправа через Неман, больше всего пугавшая Антона, прошла удачно, на заставе не довелось ничего объяснять, Зоська смолчала. Наверно, для Зоськи он что-то уже значил, если она отнеслась к нему так терпимо, особенно после их малоприятного разговора у бобровой запруды. Зоська – не Копыцкий, думал Антон, будучи почти уверенным, что ему удастся сладить с этой разведчицей. Еще ни одна девка, на которую он кидал глаз, не увертывалась от него. Антон знал силу своего обаяния и умел пользоваться им, если это ему было нужно. Теперь Зоська стала ему необходимой до крайности, и Антон надеялся, что, если постараться, все задуманное им исполнится. Только бы не подвел Копыцкий.

Стараясь держать направление в поле, он упрямо шагал против ветра и думал, что коль до Скиделя сегодня им не дойти, то надо позаботиться о ночлеге. Тем более что короткий день был на исходе, небо на востоке померкло, вроде стало темнеть. Они спустились в ложбинку с кустарником, Антон взял в сторону, чтобы не лезть в его колючие дебри, теперь в голом поле было сподручнее. Державшийся все дни небольшой морозец заметно отпустил, при ходьбе стало тепло, под колушкой даже жарко. Но Антон с раздражением отметил, что ветер все больше поворачивал с запада, откуда он всегда приносил непогоду и слякоть. Сухие крупчатые снежинки в воздухе постепенно превратились в разбухшие, таявшие на лице хлопья, рукава и полы колушка потемнели от влаги. Антон поддел на ходу горсть снега, покомкал в ладонях – снег стал лепиться, и он подумал, что ночью, пожалуй, ударит ростепель, которая вконец испортит их полевой путь. Как бы не пришлось выходить на дорогу.

Он обернулся на косогоре – Зоська все отставала, и, когда догнала его, Антон

тихо, про себя рассмеялся – так ее преобразил налипший на грудь, плечи и голову снег. Антон принялся молча сметать его с девушки, и та, слегка поворачиваясь, покорно подставляла себя под несильные удары его мокрой ладони.

– Устала?

– Немножко...

Весь день Антон намеревался заговорить с ней, подбирал удобный момент и присматривался к обстановке, чтобы сказать ей о том самом главном, ради чего он оказался с ней вместе. Но, как назло, обстановка мало благоприятствовала такого рода объяснениям: мешала то близкая опасность, то присутствие рядом людей. Приходилось обрывать себя на полуслове и ждать более подходящего момента. И Антон ждал, с затаенной тревогой поглядывая на спутницу, то озабоченную, то испуганную, а теперь вот еще и измотанную этой снежной дорогой.

Они прошли от Немана, наверно, километров десять, нигде встретив жилья, и Антон потерял представление, где тут могла быть какая-нибудь деревня. Этот лесной район в излучине Немана он вроде бы знал неплохо, летом изъездив его вдоль и поперек, но теперь не узнавал ничего – так изменила его непроглядная снежная круговерть. Правда, сам он не очень устал и мог бы идти еще долго, однако ему жаль было Зоську. Хотя та и не жаловалась на усталость, но Антон видел, каково ей приходится на этом ветру в легкой одежде и мокрых с ночи сапогах.

Тем временем как-то вдруг стало темно, день незаметно кончился. Правда, ночь обещала быть светлой от массы свежего снега, но снегопад не стихал, и видимости почти не было. Отчасти это хорошо, думал Антон, никто их не обнаружит в метельном поле. Но и они немного могли обнаружить, идя все время вслепую и ежечасно рискуя наткнуться на неприятность.

Напряженно вглядываясь вперед, Антон сквозь мельтешащую сеть снегопада увидел несколько телеграфных столбов поблизости – верный знак проходившей где-то дороги. К счастью, на этот раз дорога была пустая, они второпях перебежали ее скользкий под снегом булыжник, стараясь поскорее отойти подальше. Но за дорогой под ногами оказалась засыпанная снегом пахота или вскопанное картофельное поле, идти по которому было сущим мучением, и Антон взял наискосок, значительно отклоняясь от прежнего своего направления. Когда впереди засерело что-то широкое, он подумал, что наткнулся на опушку леса, но, подойдя ближе, увидел ряд корявых, наклоненных в разные стороны верб, стоявших на одной стороне гати. Присматриваясь к ним, Антон невольно потянул носом и вместе с привычным запахом влажного снега уловил вкусный запах съестного.

– О, сало жарят! – сказал он, остановившись в некотором даже удивлении. – С цыбулей...

Зоська тоже остановилась, они помолчали, и Антон понял, что не ошибся. Действительно, ветер скоро донес и запах дыма, значит, где-то в той стороне была деревня или хутор, наверно, сулившие им пристанище. Антон круто повернул в сторону верб.

Только они взошли на невысокую насыпь гати под вербами, неясно различая справа белую поверхность пруда, как вдруг совсем близко от себя впереди увидели группу построек: под низко осевшей крышей темную стену сарая, заснеженные кроны деревьев вверху. Чуть дальше ютилась, наверно, хата, из ближнего к углу окошка пробивалось слабое пятно света; долетел странный в ночи, какой-то скрипучий звук. Когда звук повторился на более высокой ноте, Антон понял, что это играла гармошка. Предупреждающе двинув рукой, он остановился за дуплистым комлем залепленной снегом вербы. Запах дыма стал явственнее, но гармошка, кажется, умолкла, долетел и оборвался вдали приглушенный смех.

– А ну, постой. Я счас, – тихо бросил Антон замерзшей рядом Зоське, а сам осторожно направился к хате, забирая чуть в сторону, чтобы подойти к ней с огорода.

Летающие в лицо хлопья снега не давали как следует присмотреться к жилью, но он догадывался, что в хате идет гулянка, значит, немцев в деревне не было. Но удастся ли незамеченными устроиться здесь на ночлег, он не был уверен. По-видимому, надо было встретить кого-либо из местных да расспросить про

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
обстановку. Или хотя бы узнать, как называется деревня и какова обстановка в других деревнях по соседству.

На дворе, однако, никого не было слышно, на минуту он затаился за углом сарая, вслушиваясь в беспорядочный приглушенный гомон в хате. Одновременно слышалось несколько мужских голосов, изредка между ними раздавался, по-видимому, женский смех, но что-либо понять было невозможно. Выждав минуту, Антон осторожно пробежал вдоль тына и прижался спиной к бревенчатой стене хаты со стороны огорода. Сквозь оттаявшую шибку из окна на снег падало расплывчатое пятно света, в котором белыми мотылями неслись из темноты и оседали снежинки. Голоса за стеной стали явственнее, он уже поймал несколько обрывков фраз, к кому-то обращались, называя его «пан Юзик», и снова заиграла гармошка. Почти в тот же момент свет в окне исчез, на снегу под окном осталась только неясная косая полоска, которая то чуть расширялась, то совсем исчезала. Антон шагнул от стены и, потянувшись к синему наличнику, заглянул в окно.

За рамой на подоконнике тускло блеснула округлость, наверно, пустой бутылки, стояли миски со снедью, за ними чернела чья-то широкая мужская спина. Эта спина вдруг качнулась, подвинулась, и в окне, прикрыв свет, появился легший на подоконник локоть. Антон слегка отстранился от этого близкого, за самым стеклом, движения, в последнее мгновение схватив взглядом что-то знакомое на рукаве. Снова заглянув из-за наличника, он тихо, про себя, выругался – на темном рукаве поддевки голубела знакомая повязка полицейского,

Антон отшатнулся спиной к шершавым бревнам стены, оглянулся на угол. Заходить в эту дверь было нельзя, судя по всему, там устроили гулянку полицаи или кто-то другой с участием полицеев, что нисколько не лучше. Надо было искать что-нибудь в другом месте.

По своим едва заметным на снегу следам он быстро перешел за сарай и под удаляющиеся звуки гармони пошел к недалеким силуэтам верб у пруда. И вдруг он вспомнил, что когда-то уже видел эти вербы и пруд, кажется, в сентябре они тут проезжали верхом с Кузнецовым. Антон хотел тогда напоить в пруду лошадь, но Кузнецов торопился и не разрешил останавливаться. Правда, он не знал названия деревни, но теперь и без того сориентировался, вспомнив, что недалеко был лес, а наискосок от него за ручьем, кажется, был хутор, на который вела из деревни обсаженная березами, слабо наезженная полевая дорожка.

Зоська стояла возле крайней вербы, и Антон не сразу увидел ее, но вот она нетерпеливо шагнула навстречу, и он молча махнул рукой, направляясь от гати в метельную мглу поля. В этот раз он шел быстро, не приноравливаясь к шагу Зоськи, так как знал, куда надо идти, и ему не терпелось очутиться наконец под крышей. К тому же хотелось есть. Наверно, запах съестного и вид полицейской гулянки в хате разбудили в нем дремавший весь день голод.

Он и в самом деле скоро набрел в поле на ряд молодых березок, ровно выстроившихся вдоль совершенно заметной снегом дороги, и уверенно повернул влево, навстречу ветру. Теперь уже не имело значения, где идти – полем или дорогой, и он пошел вдоль едва приметной в снегу посадки. Зоська старалась не отставать и, нагнув голову, где шагом, а где и бегом кое-как попевала за ним.

Как он того и ждал, из темноты сперва появились две огромные липы у ограды, затем поодаль затемнели постройки – хата, гумно, несколько сараев, среди голой равнины поля образовавших эту хуторскую усадьбу. Хуторок, как с осени помнил Антон, не бросался в глаза благополучием, да и хатенка выглядела довольно убого – вросшая в землю пятистенка с низенькими квадратами окошек. Когда-то тут жил старик с несколькими немолодыми женщинами, мужчин в тот раз, когда они останавливались у него, не было видно, и бойцы ни о чем не расспрашивали горестно вздыхавшего, со спутанной бородой старика, так как вовсе не рассчитывали когда-либо появиться тут снова.

Однако вот появились.

Покосившиеся ворота в ограде были заперты и чем-то завязаны изнутри. Антон, не пытаясь растворить их, перескочил через верхнюю жердь ограды, помог перелезть Зоське. Здесь он мало кого опасался: на этом богом забытом хуторе вряд ли мог находиться кто посторонний. Хорошо еще, если тут вообще кто-нибудь будет. Впрочем, это теперь не имело значения, им надо было прежде всего укрыться от

ветра, обрести крышу над головой и немного перевести дух от изматывающей снежной карусели.

Приземистая хата под огромной шапкой крыши, с поленницей дров у сарая встретила их глухой тишиной и безлюдьем, из окон нигде не пробивалось ни пятнышка света, можно было подумать, что хутор давно заброшен и никого здесь нет. Но каким-то неясным внутренним чутьем Антон все-таки угадывал теплившуюся там жизнь, кто-то там был, хотя ничем и не обнаруживал своего присутствия. Так тихо и незаметно живут, вернее доживают, на свете старые люди – сами в себе, тихо, малозаметно для постороннего глаза.

Зоська след в след шла сзади. Антон молча взшел на каменные ступеньки крыльца и толкнул дверь в сени. Дверь, как он и ожидал, была не заперта. Вытянув руки, он прошел темное пространство сеней и, широко зашарив по бревнам стены, нащупал вход в хату. Легко растворив дверь, сразу шагнул через высокий порог да так и остался у порога в принесенном с собой белом облаке стужи.

Из едва освещенного единственной свечой полумрака к нему повернулось несколько лиц женщин в темных одеждах, их сложенные на груди руки замерли, произнесенная тихим голосом молитвенная фраза оборвалась на полуслове. Антон скользнул взглядом ниже, к трепетному огоньку свечи, робко светившей в изголовье установленного на двух табуретках гроба. С трудом преодолевая замешательство, он нерешительно, со страхом или отвращением взглянул на желтое, сморщенное личико в гробу, забыв закрыть дверь и уже ясно понимая, что явился сюда некстати.

– Да... Ладно, – пробормотал он, пятась к открытой двери, откуда пыталась войти в хату Зоська.

Едва освещенные снизу мигающим огоньком свечи скорбные лица женщин снова обратились к покойнице, с тихой напевностью зазвучали незнакомые слова католической молитвы, и он почувствовал, что следует задержаться хотя бы на одну минуту. Мокрой рукой он стащил с головы мокрую от растаявшего снега шапку и молчал. Зоська большими глазами ошеломленно глядела на покойницу. Наверно, надо было сказать что-то, приличествующее такому случаю, но он решительно не мог придумать, что можно оказать, и все глядел то на свечу, то на мертвое лицо в гробу. По-видимому, это его замешательство женщины поняли по-своему, и одна из них, неслышно нырнув в темноту, тотчас вернулась с чем-то, прикрытым краем передника.

– Вот, не обессудьте на горюшко... Не обессудьте на горюшко.

Она обращалась к Зоське, и та послушно и без слов приняла у нее что-то и, слабо толкнув локтем Антона, первая повернулась к двери. Надев шапку, Антон с облегчением выбрался из темных сеней на белый от летящего снега двор хутора.

– О, черт! – произнес он в сердцах, охваченный прежней заботой. С ночлегом у них упорно не клеилось.

Он не знал, куда идти дальше, не расспросил о том в хате, а снова возвращаться туда у него не хватило духа. Явно подавленная увиденным, Зоська горестно стояла рядом, прижимая голые руки к груди.

– Что это? – спросил Антон. – А, хлеб! А ну, дай сюда. Он взял из ее рук краюшку черствого, как камень, хлеба и четыре сваренные в мундирах картофелины, рассовал их по карманам, а краюшку затолкал за пазуху.

– Ну? Пойдем, авось еще что подвернется.

9

Долго и почти вслепую они шли по голой равнине поля. Снег, не переставая, валил в темноте мокрыми хлопьями. Колени, рукава и ноги у Зоськи давно были мокрые, и она думала: хотя бы не промок сачок, где ей тогда обсушиться? Антон молча, с удвоенной энергией шагал и шагал куда-то, может, зная, а может, в ночь, наугад. Зоська хотела попросить его сбавить этот совсем уж непосильный для нее темп, но не посмела. Он и тут знал местность лучше ее, а главное, лучше ориентировался в этом снежном ночном пространстве, и она изо всех сил старалась не отстать. Она

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

уже притерпелась к ветру, к снегопаду и только сгибала пониже голову, когда лицу становилось невтерпех от стужи. Перед ее глазами продолжала стоять печальная картина ночного хутора. Не раз за войну видела она, как хоронили человека, но такие мирные, «женские» похороны ей довелось видеть впервые. И кажется, никто там не голосил, не плакал, все сосредоточенно, с глубокой верой молились, словно вершили какое-то важное, хотя и маловеселое дело. И ни одного мужчины – только женщины. Нет, Зоська просто страшилась таких похорон, они поражали ее своей непривычной обыкновенностью. И может, впервые она подумала: а какие похороны уготованы ей, Зоське?..

Но нет, ей рано думать об этом, у нее трудное, на несколько дней расписанное задание. Надо побывать в Скиделе, на двух хуторах, съездить в Гродно, может быть, удастся повидать мамусю. Ей еще надо много успеть в жизни, зачем думать про похороны?

Однако она приотстала. Тусклая тень Антона едва просматривалась в ветряных сумерках, слева тянулась стена хвойного леса, и Зоська подумала: неужели придется сворачивать в лес? В лес она не хотела; ей лучше было в этом метельном поле, чем в мрачном, гудящем, неведомо что таящем лесу. Чавкая вконец раскисшими сапогами, она побежала за Антоном, который на этот раз остановился и дал ей подбежать вплотную.

– Видишь? Видишь, куда мы зашли?

Низко надвинув на глаза шапку, он показывал в сторону леса, опушка которого отворачивала куда-то влево, а впереди перед ними тянулась неровная полоса кустарника и невысоких деревьев, – возможно, посадка у дороги. Стараясь что-то понять, Зоська молча вгляделась в слепящие снегом сумерки.

– лес?

– Не лес. Котра, гляди.

– котра?

– Ну. Вон куда вышли! Надо было правее. Теперь такого крюка давать...

Зоська молчала. Все в ней опало внутри от этого неожиданного известия – действительно, если это речушка Котра, то они слишком отклонились в сторону и давно оставили позади Скидель.

– Теперь в Скидель притопаем утром, не раньше, – сказал Антон.

– Мне надо ночью.

– Конечно, лучше бы ночью. Но теперь не успеем.

Нет, в Скидель она не могла соваться в светлое время, когда ее легко могли опознать на улицах, ей надо было в темноте зайти со стороны Озерской дороги, найти крытый гонтом домик под липой и постучать во второе от улицы окошко.

Минуту постояв на ветру, она ощутила легкий озноб в теле, все-таки сачок ее, наверно, стал промокать, тем более что снег начал постепенно переходить в дождь, все уже на ней было мокрым с ног до платка. Антонов колушок тоже потемнел от влаги, хотя Антон, кажется, не обращал никакого внимания на непогоду. Ладонью он небрежно отер влажные капли с лица и звучно высморкался на снег.

– Ладно. Давай жми за мной, – сказал он, круто забирая вправо, в мокрую темень поля, из которой несло и несло по ветру не понять уже чем – дождем или снегом.

Подавляя в себе легкую досаду на Антона, который, как оказалось, все-таки приплутал в этом пути, Зоська пошла следом. Ходьба по мокрому снегу отнимала последние силы, снег налипал к сапогам; местами его навалило много, и она черпала его голенищами; настые ноги даже на ходьбе уже не могли согреться. Поразмыслив, однако, Зоська решила, что досадовать на Антона не следует: при такой погоде заблудиться никому не заказано. Во всяком случае, она могла вообще забрести неизвестно куда, ориентировалась она всегда скверно и в детстве частенько плутала по лесу, когда собирала с бабами ягоды. Правда, там можно было

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

покричать, позвать мамусю или знакомых скидельских теток, здесь же не крикнешь, и никто тебе не откликнется. Тут вся надежда на Антона, и хорошо еще, что он обнаружил ошибку и знал, как ее исправить.

Кажется, он действительно знал, куда идти дальше, потому что не прошли они и четверти часа, как он снова остановился возле каких-то кустарников, поджидая Зоську.

– Вроде нам повезло, – сказал он тихо. – Постой тут, я схожу...

Зоська вгляделась в жиденькие деревца зарослей с облепленными снегом ветвями, поодаль за ними что-то темнело, то ли какая постройка, то ли скирда соломы, похоже, однако, усадьба. Отвернувшись от морозящего дождем ветра, она подождала минуту, другую, все вглядываясь в темень и ожидая увидеть идущего к ней Антона. Вскоре услышала его приглушенный голос:

– Иди сюда...

«Наверно, что-то нашел», – радостно подумала Зоська, быстро выходя из кустарника. Действительно, подле зарослей мелколосья на снегу темнела стена какой-то длинной постройки с обрушенной с одного конца крышей, разломанной и полузанесенной снегом оградой, каким-то инвентарем, разбросанным вокруг и тоже заваленным снегом. Антон деловито обошел постройку, заглянув внутрь, в черный провал настезь раскрытых ворот.

– Вот была усадьба. Сожгли. Одна обора осталась.

Похоже, в самом деле это была старинная хуторская обора – длинное, сложенное из валунов и булыжника помещение для скота с маленькими окошками в стене и зияющими пустотой воротами. Поблизости ничего больше не было видно, только за оборой высилось несколько старых деревьев да серел голый, засыпанный снегом кустарник.

– Иди сюда. Не бойсь, – позвал ее Антон из темного проема дверей, откуда несло горькой вонью пожарища и навоза.

Несмело ступая в снег, Зоська вошла за ним в пугающе пустынную темень оборы и остановилась, не зная, куда ступить дальше.

– Сюда, сюда, – позвал он откуда-то из темноты, и только когда в его руках вспыхнула спичка, Зоська увидела полурастворенную низкую дверь и в ней темную тень Антона.

– Иди, не бойся!

Все борясь с нерешительностью, Зоська переступила высокий порог, не успев еще что-либо рассмотреть, как спичка потухла.

– Так, хорошо, – удовлетворенно проговорил Антон в совершенно глухой темноте и зажег другую спичку, на несколько секунд осветившую закопченный потолок, мрачные каменные углы и, к вящей радости Зоськи, широкую топку печки напротив.

– Вот, поняла? – радостно сказал Антон. – Печка есть, тепло будет. Садись сюда, на солому или что тут... Садись! Сейчас мы разожем печку. Не может быть...

Содрогаясь от все больше овладевавшего ею озноба, Зоська опустилась в темноте на что-то холодное и мягкое, не сдержавшись, раза два звучно клацнула зубами. Мокрые руки сунула за пазуху, сгорбилась, сжалась в единоборстве с обуявшим ее холодом и прикрыла глаза. Озноб колотил ее люто, но здесь не было ветра, а главное – было тихо и больше не надо было идти. Перед глазами ее все вдруг закачалось, поплыло в сладкой дремотной истоме, и она действительно уснула вдруг и так крепко, что сразу перестала ощущать, где она и что с ней происходит.

Спала она недолго, может, несколько минут, не больше. Она поняла это, вдруг пробудившись от яркой вспышки огня, – Антон возился у печки, разжигая какие-то обломки досок, и она опять содрогнулась от стужи и испуга.

– Не бойсь! Это я – пороха из патрона. Не горит, холера...

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Присев возле топки, он яростно дул в нее, обломки досок нехотя тлели квелым огнем, густо коптя сизым дымом, который не хотел идти в печь и кручеными струями валил наружу. И вот Антон дунул сильнее – между досок возникло несколько язычков пламени, и Зоська успокоенно смежила веки...

Снова проснулась она от легкого прикосновения к ней чьей-то руки, но она уже знала, что это рука Антона, и не испугалась, вслушиваясь в его спокойный, как бы подобрешший голос.

– Слышь?.. Давай раздевайся. Будем сушиться.

Она раскрыла глаза, с приятностью чувствуя широко идущее к ней тепло, – в печке вовсю полыхали доски, черные концы которых длинно торчали из топки; по низко нависшему потолку, каменным с морозными блестящими стенам каморки гуляли причудливые огненные сполохи. Антон стоял перед ней на коленях в деревянной вязки шерстяном свитере, а возле топки, распятый на палках, сушился его козушок.

– Слышь? Раздевайся, тепло уже.

Действительно, тесная каморка была полна дымного тепла, парности и тишины, нарушаемой лишь гулом пламени в печке. Зоська стряхнула с себя остатки дремоты и улыбнулась.

– Ну, согрелась?

– Согрелась.

– А ты говорила... Со мной не пропадешь, малышка, – бодро сказал Антон и ударом ладони задвинул подгоревшие концы досок в топку, из которой в темный потолок шуганул косяк искр.

– Ой, как бы пожара не было! – испугалась Зоська.

– Не будет: камень. А сгорит, не беда. Снимай сапоги, наверно же, мокрые?

– Мокрые.

– Снимай куртку, все, – сушить будем. Тут теперь никого. Ближайшая деревня на том берегу, за Котрой.

Она развязала мокрый, измятый платок, который Антон принялся пристраивать возле козушка, сняла сачок, минуту подержала его перед топкой, наблюдая, как от сачка густо повалил в печку пар. Сапоги и подол ее юбки были мокрые, наверно, еще со вчерашнего, она скинула сапоги, а затем, помедлив, стащила и свои шерстяные чулки, Антон умело попристроил все это на палках поближе к печке.

– На вот, садись на кожух – уже высох. О, как нагрелся! Огонь!

Она с наслаждением опустила на теплую шерсть знакомого ей Антонова козушка, подставляя мокрые, раскрасневшиеся колени под живительное тепло из топки.

– Та-ак, – удовлетворенно сказал Антон, устраиваясь подле. – А теперь перекусим. Вот по куску хлеба и по две картошки. За помин души той бабуся, – пошутил он, разламывая в сильных руках сухую горбушку.

Помедлив, они принялись есть хлеб с картошкой и скоро все съели, ничего не оставив на завтра. Конечно, они не наелись, но раздобыть еду тут все равно было негде, приходилось терпеть до завтра.

– Ну вот и поночуем. А что? Лучше, чем в какой-нибудь хате, – сказал Антон и придвинулся к Зоське, слегка задев ее локтем. – Вдвоем, и никто не мешает. Правда?

Она не ответила и не отстранилась; лишь с усмешкой взглянула в его странно заблестевшие в полумраке глаза. Оно, может, и лучше, подумала Зоська, а может, и нет. В этом их уединении было что-то хорошее, что-то и пугало, хотя она старалась не думать о том. Теперь ей было хорошо, тепло и даже какую-то минуту благостно на душе. В самом деле, над головой была крыша, горел в печурке огонь,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

а рядом, сидел тот, кто уже столько раз выручал ее в этом трудном пути. Хотелось думать, что он поможет и впредь, и все обойдется как надо,

– Вот сидишь, а маме, наверно, и не снится, что ее дочка возле Котры ночует?

– Мама меня, наверно, давно уже похоронила. С самой весны не виделась.

– Ну, это еще ничего не значит, – утешил Антон. – Люди все равно скажут. Видели же, наверно, тебя знакомые в деревнях, могли передать.

– Наверное, видели, – согласилась Зоська, не зная еще, как расценить это, – хорошо или плохо, что видели ее среди партизан. Хорошо, если передали маме, но могли передать и кому не следовало. Тогда ее партизанство могло худо обернуться для мамы.

– Мое вот другое дело, – сказал вдруг Антон. – Некого бояться. Никто тут меня не знает, никто не беспокоится.

– А уже узнали, наверно. С Кузнецовым же ты все деревни объездил?

– А в деревнях кто меня приметит? Приехал и уехал. Партизан, как все.

– Не скажи. Девчата приметят. Приметный.

Антон с легкой улыбкой посмотрел ей в глаза.

– В этом смысле согласен. Приметный. Но что мне девчата! Я сам приметил одну.

– Где? – встrepенулась Зоська, вскинув к нему лицо.

Антон легонько похлопал ее тяжелой рукой по плечу.

– А в отряде. Разведчицу одну. Славненькую такую малышку.

– Ай, неправда, – намеренно с недоверием сказала Зоська, почувствовав, как сладко защемило у нее под ложечкой.

– Нет, правда. Сама же понимаешь, на что пошел. И ради кого. Зосятка ты моя...

Он глядел на нее уже без тени иронии. Крепкое его лицо с тронутым щетиной подбородком стало серьезным и придвинулось вплотную к ее лицу. Зоське стало неловко, и она сконфуженно взяла его левую руку, легшую ей на колени, деликатно пожалала ее.

– За это спасибо. Только...

– Не надо теперь про только. Дело, видишь ли, в том... – сказал он и, притихнув, осторожно, будто в раздумье, обнял ее. Она вздрогнула, напряглась и молчала. – Дело в том, что...

Она напряженно ждала, замерев в его странно томящих объятиях, а он вдруг запрокинул к себе ее голову и с каким-то отчаянием, резко поцеловал в губы.

– Антон!

– Что я могу поделать, – прерывисто вздохнул он, не расслабляя на ней своих цепких рук. – Полюбил я тебя.

– Правда? – изумленно прошептала она, огорошенная этим его признанием. Никто еще не объяснялся с ней так серьезно и такими словами, она вся обмерла в ужасе, в совершенном, ни с чем не сравнимом, восторге.

– Да, знаешь, теперь я готов на все, – еще решительнее сказал он, и голос его странно дрогнул. Она, не шевелясь, сидела в его теплых, уютных и таких сладостных теперь объятиях, с удивлением слушая, как сильно стучит ее сердце.

– Вот я сказал тебе все, знай. А ты что мне скажешь?

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Зоська помедлила, с трудом собираясь со своими смятенными мыслями. Ей было очень непросто так вот, в глаза, сказать обо всем, что она чувствовала к этому человеку, и даже самой до конца понять свое к нему чувство. Ей было и приятно, и радостно, и одновременно страшно чего-то, и она не знала, какому из этих чувств отдать предпочтение. Но, кажется, в эту минуту он понимал ее лучше, чем она могла разобраться в себе сама.

– Ведь ты меня тоже... знаю я, любишь?

– Знаешь, я тоже, – тихо сказала она. – Хороший ты...

– Ну вот, спасибо, – жарко выдохнул он у самого ее уха и снова поцеловал ее в щеку, в переносье, а потом длинным продолжительным поцелуем – в губы.

– Ой, так не надо! – задохнулась Зоська.

– Нет, надо. Надо...

Печка с огнем качнулась, уходя в сторону, Зоська ощутила близкое тепло кожанка и странно сковавшую ее мужскую силу Антона, поспешные движения его властных рук, от которых у нее не было чем защититься.

– Антон!.. Антоша...

– Все хорошо, все хорошо, малышечка, – прошептал он.

– Не надо, Антон... Не надо...

Он, однако, уже не ответил, и она с отчетливой безнадежностью поняла всю неотвратимость его властной силы. Ее же сила и воля пропали, уйдя все в страх и теплое блаженство его объятий. Она лишь чувствовала, что так не надо, что они поступают плохо, затуманенным сознанием она почти отчетливо понимала, что погибает, но в этой гибели была какая-то радость, а главное, было сознание, что погибала она вместе с ним. В этом было единственное ее оправдание и ее утешение, а может, и единственное ее счастье.

Она не помнила, что было потом. Возможно, наступил сон или странное всеобъемлющее небытие, когда совершенно исчезают память и чувства, несколько долгих часов она перестала ощущать себя в этом мире, словно отсутствовала в нем, лишившись сознания.

...Проснулась она так же, как и уснула, – вдруг от какого-то тревожного толчка изнутри и, боясь шевельнуться, раскрыла глаза. В тесной каменной камерке было темно, но несколько щелей в заткнутом соломой окошке уже рассветно светились, концы соломин там беззвучно трепетали от задувавшего снаружи ветра. Было прохладно, в черном прямоугольнике топки не светилось ни одного уголька, тускло серел обшарпанный закоптелый бок печи и зловеще чернели закопченные углы камерки. Не шевелясь, Зоська обвела их пугливым взглядом, догадываясь, что когда-то тут была кубовая или котельная, где запаривали корма и грели для скота воду. Потом она перевела взгляд ниже, почувствовав на себе знакомое прикосновение кожанка и рядом – источавшую живое тепло широкую спину Антона, его спокойное дыхание. Антон спал, и Зоська боялась пошевелиться, чтобы не разбудить его. Ей надо было чуток времени, чтобы собраться со своими невеселыми мыслями, понять, что с ней случилось. Случилось, конечно, скверное, она была виновата и корила себя как могла. Но она понимала, что теперь было поздно угрызаться, случившегося не исправить. И, поразмыслив, она утешилась единственной возможной в ее положении мыслью, что с каждой девушкой это должно когда-либо случиться. Может, правда, не так, – иначе и красивее, но теперь все в жизни не так, как заведено испокон веков, хуже, потому что теперь – война. К тому же с Октябрьских праздников ей пошел девятнадцатый год, она уже не девочка, так, чего доброго, недолго и состариться в девках или, что еще хуже, погибнуть, никогда не узнав ни любви, ни мужчины. Во всяком случае, полежав немного и обдумав свое положение, Зоська успокоенно-робко вздохнула с ощущением того, что ее, казалось, непоправимая беда вроде бы оборачивалась хотя и неожиданным, но, может, еще не наихудшим образом. Одно было бесспорно: на ее нелегком, полном многих страхов военном пути появился этот решительный симпатичный парень. Пусть не навсегда, ненадолго. Но что теперь навсегда и надолго?

Свернувшись калачиком, в ласковом тепле Антонова колушка, она тихонько вздохнула: что ж, чему быть, того не миновать. Конечно, было удивительно и необычно все, что произошло с ней за эти две ночи. Она встретила на болоте своего суженого, испугалась, обрадовалась, разделила с ним на двоих этот ее полный опасностей путь, приведший их наконец к одинокой ночной оборе. Но что ей, мокрой, замерзшей, еще оставалось? Он славный, видный из себя мужчина, смелый и не охальник, а в том, что произошло между ними, наверно, большая доля вины падает и на нее тоже. Видно, такова воля случая. Зоська уже слышала от умных людей, что с того дня, как разразилась война, в мире воцарились сплошные случайности, одна из которых, видно, выпала и на ее долю. Поэтому стоит ли очень расстраиваться, не лучше ли спокойно, без сомнений пережить все случившееся и продолжать свое дело – выполнять задание, которое, чувствовала она, еще принесет ей немало других бед, и среди них эта, может, не самая худшая.

И все же ей было крайне неловко перед Антоном, особенно когда она представила себе, как он проснется и они выберутся из этой темной обору. И еще она чувствовала свою вину перед Сашкой, с которым дружила перед войной и даже собиралась за него замуж. Уходя по мобилизации, Сашка наказывал ждать, и вот дождалась... Правда, ей теперь стало ясно, что Сашку-то она и не любила по-настоящему, скорее это он к ней присох и однажды предложил пойти в сельсовет, расписаться. Сашка тоже был, в общем, неплохим, общительным парнем, они вместе росли на одной улице, но что-то ее удерживало тогда от замужества, и она все откладывала. Но вот, странное дело, подумала Зоська, предложи ей такое Антон, не стала бы тянуть и недели – согласилась бы тотчас, хоть в первой попавшейся на их дороге деревне. Что значит любовь с первого взгляда или что-то еще, чему и названия, наверно, не придумали люди. С Антоном она готова была хоть на край света, особенно теперь, после этой дороги и этого ночлега в оборе.

Стараясь не потревожить сонного спутника, Зоська по возможности тише повернулась на бок. Ее глаза уже привыкли к едва поредевшим в каморке сумеркам, и она снова увидела его запрокинутое на соломе лицо и его четкий, словно вырубленный из твердого камня, профиль с прямым, ровным носом и мускулистым подбородком, который, словно осколком, был помечен на конце маленькой ямкой, – такие подбородки у мужчин всегда нравились Зоське. Ощувив прилив ласковости к нему, она тихонько высвободила из-под колушка свою теплую руку и кончиками пальцев дотронулась до его плеча. Он не почувствовал ее прикосновения и продолжал мерно дышать во сне. Она подумала: пусть спит, время, наверно, еще раннее, и только попыталась убрать под колушок руку, как в глухой тишине обору услышала какой-то долетевший снаружи звук. Она еще не поняла, что это был за звук, и обмерла, вся уйдя в слух. Но вот звук повторился, он был похож на несильный, отдаленный удар по мягкому, и тотчас до нее отчетливо донеслось восклицание: «Но-о, пошел, падла!».

– Антон! Антон, слышь?

Резко сбросив с себя колушек, она подхватила и села, опять замерев, Антон тоже вскочил на соломе и с расширенными от сонного испуга глазами затих, соображая и вслушиваясь. Потом, не сказав ни слова, сунул в сапоги ноги и в одном свитере широко шагнул за порог. Дверь за ним медленно широко растворилась, и порыв ветра, дунувшего в каморку, сразу вынес из нее все накопленное за ночь тепло. Вздрогнув, Зоська стала поспешно натягивать ссохшиеся, покореженные у огня сапоги, ежесекундно ожидая, что Антон крикнет и надо будет бежать.

Но продолжительное время Антон не подавал голоса, и она кое-как успела обуться, повязала платок и надела просохший, задубевший на плечах сачок. Снаружи ничего больше не было слышно, и это немного успокаивало. Но Зоська все вслушивалась, стоя возле настезь раскрытой двери за притолокой. Свернутый Антонов колушок она держала в руках, не зная, выходить из каморки или дожидаться Антона здесь.

Выходить ей не пришлось. Минуту спустя Антон воротился с наганом в руке, прикрыл за собой дверь и молча засунул наган в карман брюк.

– Ну? Кто там? – тревожно спросила Зоська.

– Садись. Куда собралась? – вместо ответа бросил Антон и сел на солому.

Мало что понимая, Зоська во все глаза смотрела сзади на его сильные плечи под свитером, круглую голову со всклоченными, без шапки волосами. Лицо у Антона

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
выглядело крайне озабоченным или злым, и она повременила с расспросами. Антон рассеянно заглянул в потухшую печку.

– Полицай, кто же, – запоздало ответил он с раздражением, уронив с коленей длинные руки, Зоська шагнула от двери и накинула ему на плечи еще теплый его кожушок.

– Что же теперь делать? – озабоченно спросила она.

– Что сделаешь? Сидеть надо.

Он с потерянным видом глядел перед собой в потухшую топку, и Зоська не могла взять в толк, что с ним случилось. Неужели тут так опасно сидеть и так его напугали полицаи? Или он недоволен ею? Может, он жалеет и раскаивается, что пошел за ней из отряда? Что с ним случилось за это утро, почему он так вдруг переменялся, обвял и стал так мало похож на себя прежнего? – думала Зоська.

10

Пока Зоська обувалась в каморке, Антон, перебежав через наметенный в обору сугроб, глянул в одну дверь, в другую и вдруг, подавшись назад, обмер за обгорелой притолокой. В полутора шагах от обору небыстро тащились по раскисшему снегу двое саней с седоками в черных шинелях, Антон сразу понял: полицаи. В обору долетали обрывки их разговора, смех, кто-то, матерно выругавшись, с ожесточением хлестнул кнутом лошадь.

Стоя за притолокой, Антон, однако, быстро отошел от первого испуга, поняв, что полицаи направлялись не к ним, а мимо, по какой-то своей надобности, в сторону Немана. На обору никто из них не обратил внимания, ночных следов в снегу нигде не осталось, все хорошо заровнял снегопад. Антон перевел дыхание и вслушался в долетевшие с дороги слова, но смысл разговора уловить было трудно. Однако первое услышанное им слово заставило его насторожиться. Он явственно разобрал «Сталинград», потом еще раз произнесенное кем-то из полицаев это же слово и едва различил затем «дали» или, может быть, «взяли». Это его заинтересовало. Он напряг все свое внимание, но ветер относил слова в сторону, и ему удалось разобрать еще лишь «наступление». Далее, сколько он ни вслушивался, понять ничего не мог – сани отъехали далеко и вскоре совсем скрылись на повороте дороги за каменным углом обору.

Опасность вроде бы миновала, полицаи уехали, но Антон все еще стоял у притолоки, озадаченный и заинтригованный тем, что услышал. В каком смысле они упоминали о Сталинграде? Что значит «дали»? Сдали или, может быть, взяли? И что может означать «наступление»? Чье наступление? А возможно, они говорили: отступление? Нет, скорее всего смысл был в том, что немцы предприняли новое наступление на Сталинград, где всю осень шли ожесточенные бои, и, наверно, взяли наконец этот далекий город на Волге. По всей видимости, случилось именно это, решил Антон, что и вызвало такой оживленный разговор полицаев.

Но что же тогда получалось?

Совершенно растерянный и озадаченный, он вошел в каморку, все продолжая ломать голову над этой полицейской шарадой. Зоська принялась спрашивать о чем-то, но он не слушал ее, он думал, что все это может означать для него лично. Конечно, сколько-нибудь убедительных фактов у него не имелось, были только загадки. Но он особенно и не нуждался в фактах, он уже был подготовлен к единственно приемлемому для него выводу: надо спешить! Надо, пока не поздно, кончать с партизанством, позаботиться о собственной голове, пока она еще на плечах, и внедряться в новую, на немецкий лад, жизнь, коль ничего не вышло с советской.

– Зось, ты понимаешь? – сказал он, не поворачивая к ней головы. – Немцы Сталинград взяли.

Он думал, что Зоська начнет сокрушаться или даже заплачет, он бы тогда ее утешил. Но, к его удивлению, она только сморгнула своими глазищами и с наивным видом спросила:

– Это когда?

– Не знаю, – пожал он плечами. – Слышал, полицаи там разговаривали.

– Враки, наверно, – подумав, сказала Зоська. – Хотя, может, и правда. Столько понахапали, что им. Сила!

– Сила, да, – согласился Антон, не совсем представляя, как ему вести разговор дальше. Он не ожидал со стороны Зоськи такой легкости по отношению к главной сути его вопроса и мучительно подыскивал в уме возможные подходы к главному. Зоська же, вроде безразличная к его известию, деликатным прикосновением холодных пальцев запахнула на нем кожушок.

– Застегнись, а то холодно. Полицаев много поехало?

– Человек шесть, наверно.

– Поехали мимо?

– Ну. Тут рядом дорога.

– Это хуже. И печку затопить нельзя?

– Печку нельзя, – сказал он и добавил не очень решительно: – Может, выйдем и потопаем в Скидель?

– Днем? Ну, что ты...

Нет, кажется, она осталась при прежнем решении, подумал Антон, и намерена выполнять данное ей задание. А то, что вот-вот могла окончиться война и немцы всей своей мощью навалются на их пущу и, как зайцев, перестреляют всех партизан, этого она вроде бы не допускала и в мыслях.

– Слушай, а ты знаешь, где находится Сталинград? – спросил Антон.

– Далеко, – сказала Зоська.

– Вот это ответ! – кисло усмехнулся Антон. – В школе за такой ответ ставили двойку.

Антон встал, надел в рукава кожушок. Зоська, стоя напротив, обеими руками взяла его за рукава выше локтей.

– Мы же не в школе, Антоша. Мы свой экзамен сдали, – сказала она со вздохом.

– Как бы не так, – сказал он и нетерпеливо высвободил руки. – Кажется, главный экзамен еще впереди.

– Наверно, – охотно согласилась Зоська. – Так трудно добраться до этого Скиделя, а там что будет – одному богу известно.

– Вот именно, – подтвердил он и спохватился, поняв, что каждый из них имеет в виду свое. – Поэтому слушай. Давай, пока есть время, обмозгуем все. Чтоб в дураках не остаться.

– Давай! – сказала она. – Только... Ты побудь, я на минутку.

Лукаво улынувшись ему, она выскользнула из каморки, тщательно притворив за собой дверь. Он стоял, рассеянно глядя в порог. Мысли его теперь кружились возле Зоськи, от благоразумного поведения которой слишком многое зависело в его решении. Конечно, он понимал, что прямолинейности партизанского мышления в ней будет достаточно, видно, не так просто склонить ее к единственно правильному выводу, придется, пожалуй, начать издалека и постепенно подвести к неизбежному. Главное, чтобы она поняла всю безнадежность их партизанских мытарств, несравнимость их скромных сил с силой фашистского гиганта, с которым не может справиться вся Красная Армия. Зоська к тому же не вправе забывать, что в Скиделе у нее мать, и должна понимать, какой опасности подвергает ее как партизанка. Если до сих пор все в этом смысле сходило благополучно, то это вовсе не значит, что немцам или полиции в конце концов не станет известно, где находится доченька

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

одной скидельской мамы. Антон чувствовал, что в этом был его главный козырь, и он выбросит его под конец, если не подействуют все прочие козыри. Правда, в его неплохом продуманном плане было одно уязвимое место: то, что касалось Копыцкого. Как он отнесется к Голубину и его подруге, когда те явятся на жительство в Скидель, все-таки оставалось неизвестным. И даже если сам он отнесется к ним благосклонно, то как на это посмотрят его начальники, немцы?

Антон задумчиво топтался на примятой соломе каморки. В глаза ему попался на полу старый растоптанный окурок, нагнувшись, он подобрал его и понюхал. Это был окурок немецкой сигареты – тонкий, из желтоватой бумаги, хотя, конечно, курить его тут мог кто угодно – от немцев до партизан, наверно, народу тут перебивало немало. Беглым взглядом Антон окинул выпиравшие из стены гранитные бока камней и под окошком в углу увидел грязный обрывок бинта. Потянул за него – из-под соломы вытянулась целая связка старых, замусоленных, ссохшихся от крови бинтов, которые он брезгливо отбросил в сторону и носком сапога стал заталкивать поглубже в солому. В это время в каморку вбежала Зоська с неестественно побледневшим лицом, и Антон вопросительно вскинул навстречу голову.

– Антон! Там...

– Что такое?

– Там убитые!

Убитые – не живые, убитых можно было не бояться, подумал Антон, убирая руку из кармана с наганом. Зоська выскочила из каморки, и он не спеша пошел за ней через языки снежных суметов в дальний, с обрушенной крышей, конец оборы.

– Вот, видишь? Я гляжу, думала – камни, подхожу, а это убитые. Глядь, боже! Да это же наш Суровец! – вся содрогаясь от волнения, говорила Зоська.

Антон подошел к стене, где в сумраке нависшей, полуобвалившейся крыши за грудой камней лежали убитые.

Действительно, один из них был Суровец. Антон сразу узнал его по венгерскому песочного цвета кителю со множеством пуговиц по борту – такого шикарного кителя не было ни у кого в отряде. Других признаков удалого подрывника осталось немного, разве что его непокорная, всегда распадавшаяся надвое шевелюра, которая теперь была примята и смерзлась от залепившего ее снега. Суровец лежал на спине вдоль стены, раскинув босые, в грязных потеках ноги, с правого бока чернела у него рваная дыра в кителе. Видно, еще у живого из нее наплыло много крови, которая темной лужицей смерзлась на грязном, в навозе, земляном полу. Рядом, привалясь правым плечом к стене, сидел, согнувшись и низко уронив голову, другой партизан в грязной голубой майке. Все верхнее с него было снято, и в майке на спине чернели три кровавых дыры от пуль, вышедших где-то спереди, – все там у него на груди, животе и коленях было залито заскорузлой спекшейся кровью. Этого второго Антон знал мало, даже не помнил его фамилии, он появился в отряде недавно, говорили, какой-то комсомолец из местных.

– Вот видишь? Антон! – схватила его за руку Зоська. – Это как же? Ведь это же их убили?..

– Ну понятно, убили. Не удавили же, – сказал Антон и тронул сидящего за плечо. Труп, качнувшись на коленях, мягко завалился на бок, не двинув ни одной костяной конечностью, – поджаты к животу руки и согнутые в коленях ноги так и остались в прежнем, согнутом, положении.

– В спину. Видишь, из автомата сзади. Полицейская работа, сразу видать, – сказал Антон и посмотрел на Зоську, которая изменилась в лице; Антон переживал тоже, но не очень чтоб сильно. Он уже разучился сильно переживать за других, настало время позаботиться о себе. Чтобы тоже не пришлось кому-либо переживать за него самого.

– Антоша, как же так? Они ведь пошли в Лиду, как же они оказались здесь? И где остальные? Ведь никто же из шестерых не вернулся.

– Теперь как узнаешь? – сказал Антон. – Теперь тут все – темный лес.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Слушай, а почему полицаи их не забрали? Почему здесь оставили? – не унималась с вопросами Зоська, кажется, готовая вот-вот заплакать. Обеими руками она вцепилась в козушок Антона.

– А я откуда знаю? Может, для приманки. Вот мы пришли, а они и нагрянут. Кто их, сволочей, знает.

Зоська, побледнев, во все глаза смотрела на Антона.

– Что же нам делать, Антон? – испуганно вопрошала она.

– Черт его знает, что делать. Пойдем пока отсюда.

Они перелезли через обрушенную со стены груды камней и вернулись в свой конец оборы. Зоська все оглядывалась, остро переживая гибель знакомых людей, у Антона же было такое чувство, словно он попал в западню и не спешит из нее вырваться. Он уже знал по опыту, что промедление никогда не сулит хорошего и запросто может погубить любого. (Не оно ли погубило в этой оборе и Суровца?) Вполне возможно, что полицаи при случае или регулярно навещают в это одинокое в поле убежище и кое-кого застает тут. Нет, надо скорее смыться отсюда, думал Антон. Но как смеешься, когда в этом поле ты виден на пять километров и в любой момент тебя могут настичь полицаи?

– Придется пока торчать тут, – сказал он, заглядывая в широкий проем сорванных с петель ворот. – Только наблюдать надо. А то...

Зоська поняла и тоже остановилась, выглянув на ветреный снежный простор. Поле перед оборой лежало пустое, с едва заметным отсюда следом саней на дороге; в ворота задувал промозглый, насыщенный влагой ветер; рыхлый, нападавший за ночь снег всюду осел, будто подтаял; кустарник возле оборы резко зачернелся на его белизне; с толстых сучьев мощного вяза то и дело валились вниз мокрые комья снега. Там где-то, на невидимой из оборы верхушке, возилась и громко кричала ворона.

– Цыц, зараза! – сказал Антон, подумав, что ворона теперь ни к чему, ворона может их выдать. Подняв из-под стены обломок стропила, он ступил на шаг из ворот и замахнулся. На вязе, оказывается, расположилась целая воронья стая, Антон запустил палкой – вороны одна за другой нехотя снялись и низко полетели куда-то за обору.

– Зося! – сказал Антон, возвращаясь в обору. Зоська все еще с бледным лицом внимательно посмотрела на него, и в этом взгляде была бездна безысходной печали. – Зося! Ты понимаешь наше положение? – сказал он, тоже заглядывая ей в глаза.

– Ну, понимаю, – тихо ответила она.

– Нет, ты не понимаешь, – сказал он. – Если действительно Сталинград взят, то... войне конец. Или они замиряются, или... Ведь России ничего не остается. Сибирь? Но что в той Сибири? Ведь они зашли вон куда, за Москву. Ты понимаешь?

– Я понимаю, – по-прежнему тихо ответила Зоська.

– Поэтому, чего же мы дождемся в этой Липичанской пуще? Они же нас собаками перетравят. Если мы раньше с голоду не дойдем.

Зоська слегка отвернулась от него и с прежней горькой тоской в глазах глядела из ворот в пасмурную даль поля, на котором поблизости решительно ничего не было, лишь вдали по горизонту тянулась сизая полоса леса.

– Может, и так, – горестно сказала она.

– Так вот, малышка! У тебя в Скиделе мать, у меня там, я говорил тебе, начальником полиции Копыцкий, мой землячок из Борисова. Он должен помочь. Давай останемся у тебя. Будем жить как люди, как муж и жена. Я же люблю тебя, Зоська.

Кажется, он сказал все и, осторожно обняв ее за плечи, привлек к себе, не почувствовав, однако, ответного ее движения. Зоська, словно ей стало плохо, ни

жестом, ни движением не высказала ни своей радости, ни несогласия. Она будто одеревенела в его руках, и он тихо воскликнул, вложив в свое восклицание всю ласку, на которую был способен:

– Зоська!

– Да, – вздохнув, сказала она. – Ты это пошутил? Ведь пошутил, правда? – И отстранилась, деликатно, но настойчиво высвобождаясь из его рук.

– Нисколько! Я вполне серьезно.

Она сделала три вялых шага и остановилась у притолоки, все наблюдая за полем. Антон снова порывисто обнял ее сзади и легонько поцеловал в щеку.

– Не надо, Антон.

– Ну как же... Ведь я люблю тебя.

– За это спасибо. Но... То, что ты предлагаешь, в другое время было бы... было бы счастьем. А теперь...

– Ну а теперь что?

– А теперь подло. И даже больше, чем подло.

– Чудачка! – сказал он, почувствовав, что начинает нервничать. – Вот ты наслушалась пропаганды... А ты не подумала, кроме всего, о своей матери. Что с ней будет?

– Не знаю, что будет, Антон, – каким-то чужим, изменившимся голосом сказала Зоська. – Но в такое время бежать из отряда... Знаешь, так даже шутить нельзя. Это чересчур страшно.

– А я тебе говорю, самое время. В отряде оставаться больше нельзя.

– Время действительно трудное. И потому бежать – это предательство. Это ты сказал, не подумав.

– Нет, я все хорошо обдумал. Я хочу сохранить тебя, и твою маму, и себя, конечно. Иначе, ведь ты понимаешь, мы все обречены на гибель. Как те вон, – кивнул он в дальний конец оборы.

– Что ж, возможно, – согласилась Зоська, во второй раз ставя его в тупик. Он больше всего боялся, что она не поймет его доводов, а она, оказывается, доводы хватала на лету, но никак не могла принять следовавшие за ними выводы.

– Возможно, возможно! – начал терять рассудительное спокойствие Антон. – Так что же ты хочешь? Погибнуть? Может, тебе жить надоело?

Зоська со вздохом повернулась к нему лицом и взяла его за большую пуговицу на колушке.

– Антон, ты понимаешь... Кому жить не хочется! Я совсем и не жила еще. Но что же ты предлагаешь? Идти к фашистам? Что же это такое? Это же хуже смерти. Тут надо потерять всякую совесть. Они же чума двадцатого века. Против них поднялся весь мир. С ними жить невозможно, они же звери.

– Ну, это смотря для кого звери. Если с ними по-хорошему...

– Ты смеешься: по-хорошему? Они вон перебили столько и тех, кто к ним по-плохому, и тех, кто по-хорошему, и тех, кто никак. Люди для них – скот на убой, а не люди.

– Ну ладно! – сказал он нетерпеливо. – Я разве говорю, что они золото? Но у нас нет выбора. Что же нам делать? Они – сволочи, но они побеждают. И мы вынуждены с этим считаться.

– Во-первых, еще не победили. И победят ли, это еще неизвестно. Даже если взяли

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
Сталинград и если возьмут Москву. Есть еще Урал. Сибирь...

– Что в той Сибири...

– Мы – люди. И мы никогда их не примем, даже если они и победят. Ты говоришь: нет выбора. Выбор есть: или мы, или они. Вот в чем наш выбор.

– Да-а, – сказал он, помолчав. – Здорово, однако, тебя напропагандировали.

– Пропаганда тут ни при чем. Я сама это знаю. Потому что глаза имею и уши. Поэтому давай не будем. Давай забудем этот дикий наш разговор.

– Разговор можно забыть, – упавшим голосом сказал Антон. – Да от этого легче не будет. Надо делать что-то.

Он был разочарован и опасался, что все испортил, пойдя вот так, напрямик. Кажется, надо было иначе, тоньше и с подходом. А он в лоб ляпнул свое предложение. Теперь вот получай. Теперь он и не знал, с какой стороны к ней подступиться. Кажется, все свои козыри он уже выложил в этой игре и ни на шаг не придвинулся к цели.

Антону надоело топтаться на мокром снегу у ворот, и он, отойдя подальше, нашел подходящий камень, подкатил его ближе к выходу и сел, прислонившись к стене. В трех шагах от него с подавленным видом стояла Зоська. Было очевидно, что отношения между ними обретали новый характер и следовало немедленно что-то предпринять, чтобы еще спасти их и заодно себя тоже. Но Антон, кажется, зашел в тупик и просто не знал, что можно было предпринять, чем подействовать на эту строптивую упрямыцу.

– Зось! – сказал он после длительной паузы. – Я думал, что ты меня действительно любишь.

– В том-то все и дело, – быстренько обернулась она. – Иначе был бы другой разговор.

– Это какой же?

– Простой. Разве бы я смогла с тобой так разговаривать?

– Как?

– Так терпеливо. Переубеждать тебя.

– Меня, знаешь, переубеждать не надо.

– Нет, надо, Антон, – сказала она, опускаясь перед ним на корточки. – Это у тебя блажь. Минутная слабость. Это убитые на тебя так подействовали. На меня, знаешь, тоже... подействовали. Может, в обратном смысле.

– В каком же?

– А, знаешь, самой жить захотелось.

– Вот это и видно!

– Нет, ничего тебе не видно, Антон. Знаешь, иди-ка ты назад в отряд. В случае чего, я подтверждаю, что ты был со мной. Скажу, что я попросила тебя проводить...

– Чудачка! – невесело усмехнулся Антон. – Ты сначала вернись после всех твоих заданий.

– Постараюсь, – сказала она.

– Постарайся! Этого мало. Суметь надо. А ты такая умелая...

– Да, я не очень умелая, признаюсь. Но...

– Вот. И не агитируй меня. Я в отряд не вернусь, – жестко сказал Антон. – С меня

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
хватит. Я воевал честно все восемь месяцев. Но – буде! И тебя не пушу.

– Ты шутишь? – сказала она странно похолодевшим голосом.

– Нисколько!

Антон вскочил с камня, выглянул из ворот. В нем явились решимость и твердость. Только они могли помочь ему сладить со своей судьбой и с этой упрямой девчонкой. Пусть вопреки ее воле. Но он знал, что с девчонками всегда обращаются вопреки их воле и те потом не обижаются. Некоторые даже благодарны всю жизнь. Надо лишь действовать решительнее, меньше слушая их неразумный лепет и причитания.

11

Остаток этого ветреного зимнего дня они проторчали на стуже за притолокой широких ворот, не сводя глаз с поля и дороги. Но в поле везде было пусто, а на дороге лишь один раз проехали сани с двумя мужиками, и больше никто не показывался. Зоська, немного всплакнув, чувствовала себя совершенно убитой, соседство мертвых подрывников, которых они не могли даже захоронить, подействовало на нее удручающе. Но больше всего ее заставил страдать Антон. В том, что он задумал злую нелепость, у нее не было никакого сомнения, но она не находила способа, как отворотить его от этой нелепости. Все ее доводы он тут же отвергал с легкостью, руководствуясь собственной, в общем, неплохо отработанной логикой, за которой было естественное для человека желание выжить. Но каким образом?

Зоська тоже очень хотела выжить, но тот способ спасения, который усиленно навязывал ей Антон, она принять не могла. Он же упрямо не соглашался ни на какие ее уговоры и не внимал никаким ее увещаниям.

И стало так, что за время, когда они, то и дело опасливо возвышая голоса, спорили и когда подолгу угрюмо молчали за своей притолокой, Зоська почувствовала, как в ее глазах начала убывать человеческая ценность Антона. Порой он вызывал в ней жалость обидным неразумием простых, как снег, истин, а порой и презрение своим явно сквозившим расчетом. Боясь окончательно поддаться этому недоброму к нему чувству, Зоська сдерживала себя, ей начинало казаться, что в основе конфликта между ними лежит не его намерение, а какое-то недоразумение, что стоит ему что-то объяснить, как он станет прежним. И она, все пытаясь растолковать ему его заблуждения и не в состоянии сладить с его упорством, думала: какой же он в самом деле? Такой, каким ей показался вначале – сильный, участливый, все умеющий партизанский парень или напуганный за свою жизнь шкурник, который вознамерился и ее склонить к шкурничеству? Правда, пока он не сделал ей ничего плохого и вел себя, как обычно, только говорил не совсем обычные для нее слова. Но от этих слов ей становилось страшно.

Так что же ей делать, что делать?

Было, однако, очевидно, что, кроме как сидеть тут в ожидании ночи, пока ничего сделать нельзя, и они то молчали, то вполголоса спорили, то зябко топтались за притолокой, стуча зубами на промозглом сквозном ветру. Но вот день подошел к вечеру, в поле стало заметно темнеть, дорога, ведущая на далекий большак, лежала пустая, и Антон глубже надвинул на голову шапку.

– Так, ладно, – сказал он в ответ на какие-то свои мысли. – Пошли!

Зоська сильно озябла и едва сдерживала дрожь в настылом теле, все в ней рвалось из этой проклятой оборы, чтобы на ходу подвигаться, пробежать, согреться. Но она не сразу вышла из ворот, что-то в ней воспротивилось этому, ноги вдруг потеряли легкость и она робко ступила на мокрый осевший снег. Ее прежнее расположение к Антону катастрофически убывало по мере того, как убывал этот день, и к вечеру его осталось немного. Ей уж не хотелось идти за ним, в мыслях царило смятение, ноги стали словно чужие, в пору было поворачивать назад, за Неман, в отряд.

Но она попыталась отогнать плохие предчувствия, сказав себе, что рано еще отступить от этого человека, оставляя его в нелепейшем заблуждении; надо еще попытаться переубедить его, не дать сделать последний опрометчивый шаг, за которым – гибель. Все-таки он был неплохой партизан и симпатичный парень, этот

Антон Голубин, решившийся на такое отчасти и из-за нее тоже. И она схватилась за последнее, еще доступное ей средство.

– Антон! Пстой... .

Он быстро шагал по насыщенному влагой снегу, направляясь вдоль кустарника поодаль от дороги, и нехотя остановился возле кольев ограды. Весь его угрюмый, взъерошенный вид говорил: ну, что тебе еще надо? Зоська подбежала ближе, чтобы в сгустившихся сумерках лучше видеть его лицо, и не узнала его: таким оно стало чужим и недобрим.

– Антон, ты подумай... Я, знаешь, даю слово... Я никому не скажу. А ты иди назад. Хочешь, я напишу Шевчуку... Карандашик у тебя найдется?

– Что ты напишешь? – холодно спросил он, стоя к ней боком.

– Ну, что я тебя уговорила проводить меня. Чтобы тебя там за самоволку...

– Тоже мне скажешь!.. – пренебрежительно буркнул он и, как всегда, споро зашагал вдоль кустарника.

«Что же мне делать? Что делать? – едва не со слезами в который раз спрашивала себя Зоська. – Неужели он уйдет? И куда? Ведь его же немцы повесят. Как он не понимает этого?»

Еще подсознательно, но все определеннее она чувствовала, что идти с ним дальше нельзя, что так она просто завалит задание, подведет под петлю людей, себя и, вполне вероятно, – маму. Что Антон в таком его состоянии – словно бы пьяный или хуже пьяного, что он может натворить такого, чего сам не ожидает. Но он, как и вчера, казалось, нимало не беспокоясь, уверенно шагал по снежной целине к недалекому уже Скиделю. Заволоченное облаками небо быстро темнело, снег внизу лежал белой нетронутой целиной, дул свежий западный ветер, принесший промозглую ростепель и за день превративший свежесвыпавший снег в хлюпкую кашу, в которой быстро промокли Зоськины ноги. Идти было трудно, ноги проваливались до самой земли, но она немного согрелась и пошла медленнее. Антон ушел далеко, однако она видела на снегу глубокие его шаги и не боялась отстать, а догонять его ей не хотелось. Она даже подумала, что, может, он так и уйдет один, оставив ее в ночи, и не испугалась этой своей мысли. Чем-то она даже понравилась ей, эта мысль.

Но он не ушел один. Шагая впереди, он все-таки находил время оглянуться и, наверно, заметив, как далеко она отстала, приостановился возле опушки. Впереди был молодой хвойный лесок, справа лежало голое равнинное поле. Зоська не помнила этих мест, но чувствовала, что Скидель совсем где-то рядом. Идти оставалось час или два, и за это время ей предстояло что-то решить. Она уже знала, что идти с ним в Скидель просто не имела права.

– Ну, что ты отстаешь? – спросил он с упреком, когда она подошла ближе. – Или устала?

– Ногу натерла, – неохотно ответила Зоська. Действительно, в левом ее сапоге толстым узлом сбилась портянка, которая больно натирала стопу на подъеме.

– Так переобуйся.

Еще не зная, что предпринять, Зоська быстро огляделась окрест – далеко впереди на лесной опушке, ей показалось, блеснул огонек.

– Там что – деревня?

– Там? – Антон вгляделся в уже плотно осевшие на снег зимние сумерки. – Деревни тут не должно быть. Хутор, наверно.

– Зайдем на хутор, – сказала она.

– Зачем? До Скиделя вон пять километров.

– Ну зайдем. Мне надо.

– Вот еще! Зачем тебе хутор? Придем на место, там можно посушиться и вообще...

Но она быстро пошла вперед вдоль опушки на робко мерцавший вдаль красноватый огонек под лесом. Она не знала, зачем ей был нужен этот одинокий хутор, но чувствовала, что нельзя ей теперь идти в Скидель и надо протянуть время.

Они долго шли по раскисшему снегу вдоль леса на то исчезающий, то снова появляющийся далекий огонек в чьем-то окне. Зоська уже не старалась заговорить с Антоном, она тихонько плакала, украдкой смахивая пальцами слезы. Это же надо так все испохабить в ее и без того непростой дороге, думала она про Антона, чувствуя себя глубоко уязвленной и обманутой. Оказывается, она нужна была ему для шкурнического его намерения, а вовсе не потому, что он полюбил ее. Хотя... Все-таки он не отказывался от нее – наоборот, он готов был разделить свою судьбу с ней, и она была не против, она даже была бы рада. Если бы только он оставался прежним партизанским парнем Антоном Голубиным. Но ведь он вознамерился перемениться – как с этим могла согласиться Зоська?

И, помимо всего прочего, он порол явную глупость со Скиделем, потому что немцы никогда ему не простят его партизанства и рано или поздно повесят с биркой на шее. Напрасно он надеется на какого-то своего земляка. В таком деле никакой земляк не поможет.

Надо было задержать Антона. Как это сделать, Зоська еще не знала. В то же время она чувствовала, что сама уже сильно опоздала, что так могут пройти все сроки ее задания. Но теперь ей было не до сроков. Под угрозой находились она и ее задание.

Огонек вдаль исчез, они долго ничего не видели в темноте, кроме неясного серебристого в ночи снежного поля и шумящей на ветру хвойной опушки рядом. Но опушка тянулась и тянулась куда-то в снежные сумерки, пока за очередным поворотом перед ними опять не появился крохотный красноватый огонек в окошке. Под самым лесом ютилось несколько хуторских построек, чернел на снегу пунктир изгороди, и в темном небе на сучьях старых деревьев тускло белел снег. Антон остановился, Зоська тоже придержала шаг – с хутора донесся скрип колодезного журавля и неясно послышался шум переливаемой из ведра воды.

Антон, ничего не сказав, направился вдоль ограды к постройкам, и Зоська, немного отстав, пошла следом. По-видимому, они зашли с тыльной стороны усадьбы, от леса; хату и окошко с огоньком скоро прикрыли снежные крыши сараев, появилась банька на отшибе. Под низкой стеной у избы лежала, покрытая снегом, куча бревен, видно, заготовленных на дрова или на какую-нибудь постройку. Антон только обошел эти бревна и почти столкнулся с человеком в кожухе, несшем в обеих руках два деревянных ведра воды.

– О, полные, удача будет! – вместо приветствия шуточно воскликнул Антон. Человек остановился, молча поставил ведра на снег, рассматривая в полумраке ночного прищельца. – В хате чужих нет? – тихо спросил Антон.

– Не, нема, – глухим голосом ответил человек.

– Хозяин? – кивнул Антон.

– Так, так.

– Ну, приглашай в хату. Погреться надо.

– Проше, проше пана, – не очень, однако, обрадовано проговорил хозяин. Оставив на снегу ведра, он поспешил к дощатому очищенному от снега крыльцу, открыл низкую дверь. – Проше, пана.

Переступив вслед за Антоном порог, Зоська очутилась в просторном тристене, хозяин закрыл за ней дверь, и она огляделась. Напротив от входа топилась печь с большими закопченными чугунами у огня – наверно, на корм скоту, подумала Зоська. Возле печи с ухватом в руках стояла не старая еще, белолицая женщина, спокойно и молча оглядевшая Антона, потом скользнувшая взглядом по Зоське. Из-за стола удивленно глядел на них сидевший над раскрытой книгой мальчуган-подросток, перед ним хлипко мигал огонек коптишки, той самой, наверно, которая и привела их сюда.

В избе царил полумрак, тянуло стужей от двери, дрова в печи, наверно, только еще разгорались.

– Вот передохнуть, – сказал Антон, стоя под несмутившимся взглядом женщины.

– Проше, проше, – тихо сказала хозяйка и поставила в угол ухват.

Зоська попыталась понять, куда они попали, что за люди на этом хуторе, но сразу понять что-либо было трудно. Кажется, хозяин и хозяйка разговаривали по-польски, значит, были, видимо, из местной шляхты, как понимала Зоська, всегда имевшей свое особенное отношение к миру. Светловолосый мальчишка выскочил из-за стола и услужливо придвинул поближе к гостям стоявшую у стенки скамью.

– Проше пани и пана сядать, – с ласковой напевностью в голосе сказала хозяйка.

– Сядем, – сказал Антон. – Садись, Зоська, переобувайся. Погреемся немного.

Зоська с удовольствием опустилась на гладкую дубовую скамейку, стянула раскисший сапог. Мальчик опять сел на свое место у коптишки.

– Что читаешь? – спросила Зоська, заглядывая в книгу.

– Я? – преодолевая смущение, переспросил мальчик. – «Таямничий острав», – ответил он по-белорусски.

– Знаю. Хорошая книга.

– Ага. Только конца нет. Конец тут выданный, – сказал, смущаясь, мальчишка.

– Конец, проше пана, выданный, так он ее четыре раза прочел. Уже почти наизусть знае, – сказала от печи хозяйка.

В ее тоне Зоське послышалось чуть-чуть прикрытое удовлетворение необычным пристрастием сына-читателя.

– Так если бы конец был, – грустно протянул мальчишка, играя с потрепанной книгой. Зоська поправила портянку и с усилием натянула мокрый сапог.

– Так ты и не знаешь, чем кончилось? Я тебе сейчас расскажу. Тебя как звать?

– Вацек.

– А ну дай книгу, Вацек.

Она придвинулась ближе к коптилке, взяла у мальчика книгу. Хозяйка подошла к столу и с явным интересом наблюдала за гостьей и сыном. Глянул в книгу и Антон. За их спинами в полумраке таилось заросшее щетиной лицо хозяина.

– Так, на чем тут обрывается? Ага, взрыв острова. Ну вот. А дальше люди бросились в море. Корабль ведь они достроить не успели и спасались на рифах. Гибель, казалось, была неотвратимой. Но в самый последний момент на горизонте появился корабль капитана Гранта. Грант плыл за Айртоном...

– А, чтобы снять его с острова? – догадался Вацек.

– Вот-вот. И капитан Грант спас всех.

С редким для подростка вниманием в серых, широко раскрытых глазах Вацек следил за каждым движением ее лица, ловя каждое ее слово, и этот его взгляд и его внимание живо напомнили Зоське довоенных ребят в Скиделе, которым, случалось, она тоже читала интересные книжки. Всего полтора года прошло с той мирной и полной надежд поры, а как все круто изменилось в мире. И, наверно, изменилась она сама. Куда только девались ее молодой задор, постоянная легкость в жизни. Все придавила, оплевала, растоптала война...

– Любишь книжки читать? – спросила Зоська.

Вацек протяжно, по-взрослому вздохнул и закрыл книгу.

– Люблю, но негде взять книжек. У Стасика Кемпеля было три, так я их уже прочитал...

– Проше пани, пробачить, – мягко вмешалась в разговор хозяйка. – Вацек был отличник в школе, грамоту имеет. Стэфан – в несколько другом тоне обратилась она к мужу. – Покажи пани грамоту.

– Так, кохана...

Стэфан послушно исчез где-то во второй половине избы, и хозяйка спросила у Зоськи:

– Далеко пани идет?

– Нет, не далеко, – ответила Зоська. – Тут рядом. Да вот ногу натерла.

– Ой, ой, так не добже в дороге. Надо ехать, пани.

– Ну зачем? Мы пешком...

– Наверно, пани с паном ядять хотят? – с ласковой певучестью в голосе спрашивала хозяйка.

– Спасибо. Мы, знаете...

– А что? Мы не против, – подхватил Антон. – Грех от еды отказываться.

Из другой половины избы вышел хозяин с завернутой в старую газетку школьной грамотой сына, но не успел он развернуть газетку, как хозяйка распорядилась:

– Стэфан, несь млеко, сало...

– Так, кохана, – заученно ответил Стэфан, почти выбегая из тристана.

Зоська не очень внимательно пробежала несколько строчек грамоты отличника пятого класса и передала грамоту Антону. Кажется, они сделали правильно, зайдя на этот хутор. Судя по первому отношению, хозяева были приветливые и добрые люди, а главное, ни о чем не спрашивали и, наверно, мало интересовались, кто их ночные гости. Только хозяйка спросила, куда идут, но это – слишком обычный вопрос в таких случаях, за которым, пожалуй, не было ничего, кроме простого любопытства.

Хозяйка тем временем стала быстро накрывать на стол, разостлала коротенькую льняную скатерку, достала из шкафчика несколько чистых глиняных мисок, деревянные ложки. Потом взяла краюху ржаного хлеба и стала ее кроить, приставив к груди – в точности, как это делала Зоськина мама. Платок она сдвинула с головы на плечи, и ее белое моложавое лицо с тонкими морщинками у губ светилось спокойной сдержанной добротой. Такие женские лица всегда нравились Зоське, хотя и встречались они в это суровое время нечасто.

– Проше сядать, пани. И пана, – приветливо пригласила хозяйка Антона.

Зоська подвинулась дальше за стол, из-за которого сразу, как только стали его накрывать, скромно удалился Вацек, рядом уселся Антон. Трудно дыша от спешки, в хату ввалился хозяин с кринкой молока и большим куском сала в заскорузлых пальцах. Хозяйка, как покачалось Зоське, со стыдливой поспешностью выхватила у него этот кусок и не спеша отрезала от него на столе несколько крупных ломтей.

– Проше ядять, проше. Мы люди не богатые, но гостям радые.

Зоська про себя усмехнулась наивной, хотя и чистосердечной претензии на шляхетско-польское обращение их хозяйки, польский язык которой, изрядно пересыпанный местными белорусскими речениями, выдавал в ней здешнюю уроженку, разве что католичку. По тому, как покорно и молчаливо стоял в стороне хозяин, словно ожидая ее распоряжений, Зоська поняла, кто здесь главнее. Впрочем, главенство хозяйки не казалось грубым или оскорбительным, она исполняла его с вполне подобающим в таких случаях тактом. Хозяин к тому же, видно, привык к своей участи подчиненного и не очень страдал от того.

Они быстро съели по миске гречневой с молоком каши, выпили горячего, заваренного сушеной малиной чая. Вацек деликатно стоял в сторонке, и Зоська пригласила его к столу, где он за компанию с гостями тоже принялся пить чай. Все тут было легко и, в общем, приятно у этой опрятной гостеприимной хозяйки, которая угощала их душевно и просто, словно давно и хорошо знакомых людей. Зоська старалась не разговаривать с Антоном, который тоже молчал и с озабоченным видом ел все, что было на столе. Зоська напряженно думала, что делать, когда ужин будет окончен? Здесь, при свидетелях, они не могли больше объясняться, хотя все объяснения, кажется, были окончены. Важно было определить также, за кого их принимает хозяйка: за партизан или каких-нибудь полицейских агентов. А может, ни за тех и ни за других, а просто за двух мирных людей, направлявшихся по каким-то своим делам и застрявших в дороге. Это было бы самое лучшее. А если не так? Все-таки хутор у самого леса и поблизости от местечка, наверно, они тут не первые гости.

Душевная тревога сильно омрачала эту неожиданную теплоту гостеприимства, которое все же кончалось. Зоська, однако, хотела как можно дольше протянуть время на этом хуторе, может, даже заночевать тут. Но Антон, по-видимому, был настроен иначе и, съев вдобавок ко всему кусок хлеба с салом, принялся благодарить хозяйку.

– Ну, пани, спасибо! Так накормили, дай вам бог здоровья.

– И пану нех бог дае здровья.

– Пану бог даст, куда денется. Как говорится, обогрелись и пора в путь-дорожку.

Он начал выбираться из-за стола, и у Зоськи тревожно забилось сердце при мысли, что сейчас надо решиться. Надо отказаться идти с ним дальше, пусть идет, куда хочет, один.

– Может, у пана и закурить найдется? – обратился Антон к хозяйке.

– Ест, ест, – подтвердила та. – Стэфан, дай пану пшипалить.

Исполнительный хозяин без слов метнулся в другую половину хаты и вернулся с кожаным кисетом в руках. Мужчины не торопясь свернули сигарки, потом Стэфан достал на конце лучины огонек из печи, и они прикурили.

– Ну, как живется на хуторе? – поинтересовался Антон, сквозь дым испытующе следя за хозяином. Тот, вроде затрудняясь с ответом, почесал затылок.

– Так пан. Как когда. То добже, то кепско.

На его заросшем густой щетиной лице действительно отразилось затруднение, и он тоже с подчеркнутым вниманием посмотрел на собеседника.

– Не беспокоят под лесом?

– Так. Коли не беспокоят. А коли и беспокоят.

– А кто беспокоит? Немцы? Партизаны?

– Як пану сказать? Коли так, а коли этак.

Однако тактичный мужичок, не глядя, что простоватый с виду, подумала Зоська, глядя на большую, с дымящей сигаркой руку присевшего у печки хозяина. Рука его, однако, была спокойна, и вся внешность выражала уважительное ожидание. Хозяйка убирала со стола посуду, переставила в печурку коптюшку, чтобы в тристене было светлее, и не вмешивалась в разговор мужчин. Вацек низко сидел на чем-то в дальнем углу, не спуская внимательного взгляда с гостей.

– Ну что ж, нам пора. – Антон затушил в пальцах сигарку. Остаток ее он сунул за измятый отворот шапки и надел шапку на голову. – Зося!

Зося, уронив голову, неподвижно сидела в конце стола.

– Давай, потопали. Отдохнули, поели, – сказал Антон и поднялся, загородив собой

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
половину тристена.

Медленно подняв голову, Зоська увидела обращенные к ней вопросительные взгляды хозяйки от печи, хозяина с табуретки напротив. Что-то, видно, они почувствовали в ее поведении, и это насторожило их.

– Ты иди один, – хриловато от волнения выдавила она. – Я здесь останусь.

– Хе! – сказал Антон. – Новость! Как это – останусь? Просто. Останусь на хуторе.

Она уже справилась с первым обезоруживающим ее волнением и обрела твердость. Главное было сделано – они размежевались, и, кажется, навсегда. Допущенное ею легкомыслие следовало исправлять, и как можно скорее.

– погоди, – спокойно сказал Антон после недолгой паузы и сделал шаг в ее сторону. – Ты это что – серьезно?

– Вполне серьезно.

– Не понимаю.

– Что понимать? Я с тобой не пойду.

– Это почему?

– Ты знаешь почему.

Как в мелком ознобе, в ней все дрожало от напряжения. В ответ на деланное его спокойствие ей хотелось закричать, заплакать, но она сдерживалась, все-таки рядом были люди, которые неплохо отнеслись к ней и не знали причины того, что произошло между ними. Антон в раздумье недолго постоял у стола, потом шагнул назад и сел на скамью.

– Нет, так дело не пойдет! – со спокойной твердостью объявил он, – Так ничего у тебя не выйдет.

Хозяйка жестом услала Вацека во вторую половину избы, хозяин отошел к хозяйке, и оба они с удивлением глядели на Зоську, будто приросшую к скамье за столом. Стало тихо. Разгоревшиеся дрова в печи гоняли по потолку и бревнам стены багровые блики. Зоська поняла, что предстоит бой, но она твердо решила не уступить.

12

Сев на скамью, Антон почувствовал, как тягуче загудело в его голове – такое с ним случалось нечасто. Пока он не счел себя одураченным, но с особенной ясностью понял, что эта строптивая девчонка еще наделает ему хлопот. Тем более, затащив его на этот идиотский хутор, к этим неизвестно в чью пользу настроенным хозяевам. Впрочем, хозяев он мало опасался, он был уверен, что с ними сладит хотя бы с помощью оружия. Было бы, однако, лучше, если бы они вели себя тихо, сохраняя нейтралитет к его драме.

А драмы, пожалуй, не избежать, думал Антон. Как он не воздерживался, а кажется, придется употребить силу, другого выхода у него не оставалось. Бросить ее тут одну он не мог: что ему было делать без нее в Скиделе? О возвращении его в отряд не могло быть и речи – из леса он уже ушел окончательно и бесповоротно. Но он рисковал оказаться ни с чем – уйдя из леса, не дойти до местечка, – а так жить было невозможно. Так что же ему было делать?

Хозяева о чем-то тихо перешептывались у печи, украдкой бросая осуждающие взгляды то на него, то на Зоську, которая словно окаменела за концом стола. Пока они не встречали в чужой для них и, наверно, малопонятный конфликт, и Антон подумал, что, возможно, удастся настроить их в свою пользу, против Зоськи.

– Вот! – кивнул он в ее сторону. – Заупрямилась женка. Понравилось ей у вас, не хочет идти.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– я тебе не женка! – тут же резко ответила из-за стола Зоська.

– Как это – не женка? – удивился Антон. – Во, дает баба! От мужа отказывается.

– Врешь! Ты никогда не был мне мужем! – с надрывом выкрикнула Зоська и заплакала.

Антон слегка растерялся. Он всегда терялся при виде плачущей женщины и не знал, о чем говорить дальше. Но все-таки он решил придерживаться того варианта, что Зоська – его жена, затеявшая недостойную ссору с мужем.

– Ну, что возьмешь с бабы! – снисходительно сказал он, обращаясь к хозяину, который с озабоченным видом топтался возле печи и никак не отреагировал на его обращение.

Зоська, однако, скоро перестала плакать, пальцами вытерла слезы, поправила сбившийся платок на голове. Антон украдкой поглядывал на нее, и несколько раз в его душе предательски шевельнулась жалость – зачем столько упрямиться? Уж он-то постарше ее и лучше разбирался в жизни, возможно, он спас бы ее от гибели и, глядишь, устроил ее судьбу. Только бы она доверилась ему. Так нет. Довела все до скандала, который неизвестно как уладить теперь при посторонних.

– Зосья! – сказал он и встал со скамьи. – Ну, не хошь идти в местечко, доведи меня хоть до околицы. Потом пойдешь, куда хочешь.

В этом была его хитрость – на окраине местечка уж он бы с ней справился. Зоська на минутку притихла, словно обдумывая его предложение, и ответила, как отрубил:

– Нет!

– Я не знаю, с какой там стороны и войти, – хитрил он.

– Дорога приведет.

– Дорога-то приведет, но... Не с руки по дороге.

– У людей спросишь.

Однако, черт возьми, пока ничего не получалось. Неужели действительно ничего и не получится, и ему придется одному идти в Скидель? И одному заявиться к Копыцкому? Но как бы его, одного, не приняли за партизанского шпиона, получившего задание устроиться в местечке! Копыцкий ведь тоже может в нем усомниться, не гляди, что земляк. Все-таки своя рубашка каждому ближе к телу, а в такое проклятое время недолго расстаться как с рубашкой, так и с собственным телом тоже.

Нет, ему обязательно нужна была она – как жена, хозяйка будущего дома и, что важнее всего, – как заложница. Заложница, какая ни есть, – гарантия для немцев и для того же Копыцкого, особенно если взять в расчет еще и ее мать. Антон уже знал, что к человеку с заложниками – семьей, матерью, детьми – немцы относились с гораздо большим доверием, чем к одиночке, у которого ни кола ни двора, а только одни, пусть самые благие, намерения. Как все деловые люди, немцы обожали гарантии.

Но вот возьми ее, эту гарантию, окаменевшую в своем диком упрямстве на скамье за столом.

Шло время, наверно, уже была близка полночь. Антон непростительно терял одну за другой все, и без того немногочисленные, свои возможности и начинал волноваться. Так, черт возьми, недолго и вовсе остаться с носом. Особенно если щепетильничать с этой упрямницей да оглядываться на хозяев. Но уж с хозяевами он щепетильничать не имел намерения.

– Эй ты! – резко обернулся Антон к Стэфану. – Давай веревку!

– Что пан хцэ? – удивилась хозяйка, выступив вперед и как бы загораживая собой мужа.

– Давай веревку! Быстро!

Хозяйка побледнела, уставясь в его исполненное мрачной решимости лицо, а хозяин, уронив руки, стоял за ней, видно, не решаясь выполнить его требование без дополнительной команды жены.

– Я что вам сказал! – со сдержанной угрозой проговорил Антон и вытащил из-за пазухи наган.

Тихонько ахнув, хозяйка отступила назад, а хозяин, нагнувшись в темный угол возле двери, молча подал ему недлинную спутанную веревку. Антон приказал:

– Разбери! Разбери, распутай! Что, не понимаешь?

Дрожащими, ставшими совсем непослушными руками хозяин кое-как разобрал веревку, Антон сунул наган за пазуху.

– Ну, – сказал он Зоське, в ужасе откинувшейся за столом. – Пойдешь?

– Нет! Нет!! Ты не посмеешь!

– Я? Я посмею, черт тебя возьми! – выкрикнул он, распаляясь от своего угрожающего крика, и хватил за угол стола. Рывком он отшвырнул стол в сторону, услышав, как сзади сдавленно вскрикнула хозяйка, но он уже схватил Зоську за руку и одним точным движением подломил руку за спину. Зоська ойкнула, выгибаясь от боли и знакомо оборачиваясь к нему спиной, он сильно толкнул ее грудью на пол и, поймав вторую руку, тоже заломил за спину. Пока она причитала и дергалась, пытаясь вырваться, он быстро обмотал ее кисти веревкой, затянул узел. Она сопротивлялась, как только могла, но что для него было ее сопротивление! Связать человека он мог за пару минут. Чтобы она не отбивалась сапогами, другим концом веревки перехватил еще и ноги у щиколоток.

Изрядно, однако, запыхавшись, он поднялся с пола, стараясь не слушать Зоськиных причитаний, обернулся к хозяевам. Те, прижавшись друг к другу и, наверно, помертвев от страха, стояли у печи. Но теперь он не намерен был с ними объясняться, тем более оправдываться – пришла пора действовать.

– Запрягай лошадь! Живо! – скомандовал он хозяину. Тот снова немым истуканом глядел на него, не в состоянии двинуться с места.

– Лошадь, говорю, живо!

– Так нема, пан, лошади, – наконец пробормотал он, и Антон почти закричал:

– Как нет? Запрягай, говорю, лошадь!

– Пане, не маю лошадь. Забрали лошадь...

– Кто забрал? – спросил Антон, почувствовав, однако, что его замысел еще более усложняется, если не совсем летит в тартарары. – Кто забрал лошадь?

– Не знам, пане. Люди пришли, забрали.

– Врешь! – выпалил Антон первое, что в таком случае пришло ему в голову, и снова выхватил наган из-за пазухи.

Хозяин беспомощно развел руками, вроде испуг его проходил, но появилось какое-то ранее не замечаемое в нем упрямство или даже непослушание. Кажется, он тоже переставал подчиняться.

– Пан можа стшэлить, але...

– А ну пошли! – подтолкнул его Антон, которому вдруг показалось, что все-таки он хитрит – где-то в сараях, во дворе, наверно, спрятана его лошадь. – А ты – марш туда! – указал он хозяйке на дверь в другую половину избы. – живо!

Хозяйка без слов прошмыгнула в дверь, Антон прикрыл дверь сильнее и, пошарив рукой возле печи, нашел ухват. Кажется, он хорошо подпер им дверь, туго подсунув

ручку ухвата под верхнюю планку двери.

– Зажигай фонарь!

– Так, пан, нема лихтара, – снова развел руками хозяин. – Пан сам будет видеть.

«Черт возьми, увидишь там что без огня!» – выругался про себя Антон. Но у него еще было в кармане несколько плоских немецких спичек, и он толкнул дверь на выход.

– Пошли!

Пропустив хозяина вперед, он вышел за ним и задержался: входную дверь тоже надо было запереть. Но она открывалась внутрь, подпереть ее было нельзя и, кажется, нечем. Видя, как Антон возится с дверью, хозяин на ощупь нашел накидную планку и сунул ему в руки большой замок без ключа.

– От так, пане, так...

Антон запер дверь, просунув дужку замка в пробой, и они направились в хлев.

Да, в хлеву коня не было. Одна загородка совсем пустовала, в другой, когда он зажег спичку, к проходу повернула голову пестрая, лениво жевавшая жвачку корова, где-то тревожно закудаhtал петух на насесте. Антон с досадой бросил в навоз догоравшую спичку.

– А с той стороны?

Другой конец хлева, отгороженного бревенчатой переборкой, вела низкая дверь со двора. Они обошли кучу навоза у входа, и хозяин, отбросив запоры, отворил и ее. Здесь воняло свиньями, слышна была их сонная возня в соломе, вряд ли тут могла находиться лошадь. Для верности Антон все-таки посветил через порог спичкой и понял: напрасно.

Но это было совсем уж нелепо. Зачем же тогда он устраивал весь этот спектакль, вязал на полу Зоську? Не нести же ее на себе пять километров в Скидель... Однако неужели же это исправное кулацкое хозяйство действительно обходилось без лошади? Или его все-таки надували, где-то упрятав лошадь, которую он просто не мог найти?

Они вышли во двор, Антон остановился. Остановился и хозяин в молчаливом ожидании того, что должно последовать дальше. Но Антон теперь решительно не знал, что предпринять. Действительно, лошади на хуторе могло и не быть, ее могли спрятать в лесу, у соседей, в ближайшей деревне. Где еще можно было искать? Антон окинул взглядом тусклые в ночи силуэты сараев и заметил на отшибе еще какую-то постройку – ток или пуню.

– А там что?

– Там? Там, пане, сено, але... – с затруднением начал объяснять хозяин.

– Ах, сено! Сено, значит, имеется, а коня нет? А ну посмотрим!

Он быстро прошел по мокрому снегу к сараю, отворил легкую, пугающе скрипнувшую в тиши дверь. Тут действительно сильно и знакомо запахло пересохшим сеном, но было совершенно темно, и он снова сунул руку в карман за спичкой.

– Не, не! – встрепенулся хозяин, предупреждающе хватая его за руки. – Не можно палить...

– Не бойся, не сожгу, – сказал Антон и все же посветил спичкой. Весь конец сарая был забит сеном, рядом стояли вилы, грабли, какие-то прислоненные к стене доски – похоже, коня не было и тут.

– Нет?

– Нема. Я пану мувил: забрали коня.

Чертовщина какая-то, подумал Антон, не зная даже, что думать дальше. Похоже, он по-настоящему влип на этом проклятом хуторе, завяз, как в болотной трясине, – ни назад, ни вперед. Оставалось разве что идти на мировую с Зоськой, может, как-нибудь улестить ее. Но для этого придется ее развязать, какой же разговор со связанной?

Узкой тропинкой они повернули к хате. Антон на минуту прислушался: не едет ли кто по дороге? Но везде было тихо, над лесной равниной лежала глубокая ночь, сильно дул западный ветер, снег под ногами таял, было сыро и зябко.

13

Когда Антон запер двери, Зоська осталась на затоптанном земляном полу и, зажав в зубах плюшевый конец воротника, беззвучно рыдала. Никогда еще за все восемнадцать лет ей не было так больно и так мучительно обидно. Короткая борьба с Антоном совершенно обессилила ее. Как ни отчаянно она сопротивлялась, все же не могла противостоять его злой мужской силе, он расправился с ней в считанные секунды, и теперь она не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой – так он туго скрутил их веревкой. Из разговора Антона с хозяином Зоська поняла его намерение и поняла также, что она пропала. Как самая последняя дура она доверилась этому шкурнику, а потом полдня сомневалась в его предательстве, еще пытаясь в чем-то переубедить его, не дать совершить свой последний губительный шаг. Теперь вот ее ждала расплата. Он купит себе жизнь ценой ее: как глупую телку, повезет и сдаст ее на расправу полиции. Что ж, итог достоин его вероломства, равно как и ее беспросветной глупости.

Раздираемая обидой и запоздалой ненавистью к Голубину, она корчилась на боку в темном промежутке между столом и скамьей, на которой недавно сидела. Под ее мокрым плечом хлюпала холодная лужица, натекая с ее ног, и ей так хотелось завывать, кричать, позвать на помощь людей, открыть им глаза на этого лжепартизана. Но что толку было кричать, звать тут было некого. И, лишенная способности шевельнуться на полу, она горячечно металась в мыслях в поисках хоть какой-нибудь возможности выхода. Но, кажется, выхода не было, и оттого было нестерпимо обидно и больно.

По всей видимости, теперь для нее начинался другой отсчет времени, которым она не распоряжалась, наоборот, время стало распоряжаться ею, и ей оставалось лишь покориться его немилосердному ходу. Но она не могла покориться, все-таки она жаждала совладать с бедой, тем более что Голубин ушел, конечно, предусмотрительно заперев дверь снаружи. Она слышала его шаги на крыльце и его короткий разговор с хозяином, затем их шаги пропали во дворе, и она, перестав плакать, вслушалась. Ей показалось, он возвращается: стукнула дверь. Но это была не та дверь, за которой исчез Голубин, а та, что вела в другую половину избы. Она действительно тихонько задергалась, словно затряслась под чьей-то невидимой рукой. Зоська удивленно приподняла голову с пола – слабый огонек коптилки в печурке едва освещал мрачный потолок тристена и серый прямоугольник двери, подпертый ухватом. Но вот верхний конец ухвата будто сам по себе пополз в сторону, медленно освобождая дверь от подпора, и та наконец растворилась. В тристен проскользнул Вацек, за ним вбежала хозяйка, оба бросились к Зоське.

– Ой, панечка, панечка, тикайте...

Сглотнув соленые слезы, она встрепенулась, неудачно попытавшись сесть, ноги сразу подвернуло веревкой, за которую тут же ухватился Вацек. Упав возле нее на колени, он начал яростно дергать туго затянутый узел, и хозяйка, метнувшись к печи, сунула в его руки нож.

– Бежите, бежите, панечка!..

Мальчишка быстро перерезал веревку, ноги ее освобождено распрямились, она вскочила, сбрасывая с перетянутых кистей намотанные остатки веревки. Она еще не вполне осознала, что это спасение, она лишь почувствовала, что возможности ее вдруг увеличились, и особенно остро поняла, что у нее появились союзники. Это сразу удвоило ее силы, она скинула с себя обреченность и устремилась к неясной еще, едва блеснувшей вдали надежде.

– Сюда, сюда...

Где-то в запечье хозяйка отбросила в сторону полосатую занавеску-дерюжку. Вацек знакомо стукнул клямкой двери, и на нее пахнуло холодом улицы и – свободой. «Спасибо!» – бросила она сдавленным шепотом и, наткнувшись на что-то в темноте и едва не упав, рванулась к спасительно замерцавшему проему раскрытой во двор двери.

Ну, конечно, здесь был ранее не замеченный ими черный ход из хаты во двор с дровосеком возле порога и разбросанными вокруг толстой колоды поленьями; чуть в стороне громоздились заснеженные комли сложенных под стеной бревен; она бросила взгляд в другую сторону – за плотом в снегу темнела на отшибе банька, мимо которой они проходили, направляясь к усадьбе.

– Туда, туда бегите! – махал ей с порога Вацек, и она через пролом в изгороди побежала к баньке.

Она бесконечно долго бежала по свежему снегу каких-нибудь пятьдесят метров к баньке, ежесекундно ожидая услышать крик или даже выстрел сзади, теперь она знала, что пощады от него ей не будет. Но приземистая длинная хата с тристенном, наверно, прикрывали ее от двора, или, может, Антон был в хлеву, искал лошадь. Странно, но в эти секунды она почти жаждала его окрика, она хотела засвидетельствовать его растерянность, пусть бы себе стрелял, черта теперь он попадет в нее. А в беге она еще могла посоревноваться с ним, пусть попробует догнать ее...

Но пока он не крикнул и не бросился ее догонять, очевидно, он все еще не заметил ее побега, и она с распиравшим грудь дыханием забежала за баньку. Далее за изгородью и неширокой полосой огорода темнела в ночи высокая стена леса, который готов был спасти ее, надо лишь не терять время, пока не спохватился Голубин. Но то ли с усталости или еще почему она не бросилась дальше, в лес, а прижалась спиной к шершавым бревнам стены, и слезы снова покатались по ее щекам.

– Ах, ты ж подлец! Ах, подлец... – сказала она себе, всхлипнув, и обмерла – со двора донесся знакомый голос Антона. Но голос был в меру спокоен, без крика и тревоги, что-то он спрашивал там, и ему тихо отвечал хозяин. Кажется, он все еще не обнаружил ее побега – они говорили о лошади. Но что будет, когда он вернется в избу и не найдет ее там? Ведь он может перестрелять всех, поняв, что она бежала с их помощью. Боже, что ожидало эту несчастную семью?..

Она выглянула из-за угла, но во дворе между темных стен хаты и сараев ничего не было видно. Антон с хозяином куда-то исчезли, может, уже вернулись в избу. Конечно, ей следовало без промедления бежать в лес, авось он не сразу бросился бы за ней по следам, но она медлила. Ее опять словно парализовало за этой провонявшей копотью и дымом банькой, вся она тряслась от охватившей ее на ветру стужи и с ужасом ждала криков и выстрелов – теперь уже не со двора, а в избе.

– Ах, подлец! Ах, предатель!..

Не в состоянии что-либо решить и вся нервно трясясь от стужи и страха, она стояла у стены уже минуту, если не больше, чувствуя, как убывают ее с таким желанием обретенные шансы спастись... Вдруг она снова услышала голоса во дворе, и это вернуло ей часть самообладания – значит, они еще не в избе, и самое страшное откладывалось еще на две-три минуты. И тогда, все вглядываясь из-за неровного угла бани во двор и постройки, она увидела на сером снегу две неясные вдали фигуры: высокую – Антона и пониже – хозяина, которые уходили куда-то к сараям. Тут только она смекнула, что он будет обыскивать сараи, что лошади пока не нашел. Тем самым он дарил ей еще несколько скупых минут, и она вдруг поняла, что сейчас сделает.

Чуть забирая в сторону, чтобы снова прикрыться избой, она бросилась назад ко двору. Минуту назад, выбежав из двери, она видела на дровосеке вогнанный в колоду топор. Теперь, по-кошачьи крадучись возле стены, она вбежала на дровосек и схватилась за гладкое холодное топориче, обеими руками с усилием выдернула топор из колоды. Потом обогнула с другой стороны избу, перелезла через невысокий штакетник ограды, взбежала на знакомое крыльцо с увесистым замком на двери. Но на крыльце спрятаться было негде, все тут было открыто, а снова бежать через дровосек в избу у нее не было времени. Конечно, она ничего не обдумала и даже не осмотрелась как следует, но иначе она не могла. По-прежнему ее душила обида,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

слезы то и дело застили ее взгляд, и она с трудом принуждала себя к осторожности. Пробежав по двору до угла, чтобы взглянуть на сарай, она тут же отшатнулась к стене – они уже шли по снегу от сараев к избе. Зоська прижалась спиной к стене и занесла топор. Их шаги приближались, сердце ее глухо стучало в груди, отдаваясь в бревнах стены, давящий комок застрял в горле. Но она не заплакала, она лишь сглотнула слезы и, как только он шагнул из-за угла, со всей силой взмахнула из-за плеча топором. Тут же она поняла – неудачно, Антон круто, по-волчьи, вывернулся и сильно ударил сам. Занесенный во втором взмахе топор стукнулся о стену и отлетел к ногам, Зоська вскричала, и он, матерно, со злобой выругавшись, опрокинул ее на снег, ударил раз и другой, приподнял, встряхнул и снова ударил.

– Ах ты, курва твою мать! Что удумала... Ах, курва!..

Недолго, но жестоко избив ее на снегу, Антон вволол Зоську в тристен. В этот раз она не сопротивлялась, сразу сокрушенная не столько его озверелым напором, сколько своей роковой неудачей. В мыслях ее зло загорелось: «Убивай, гад!», и она сперва даже не почувствовала боли, поняв наконец, что теперь уже все. Теперь уж надежды у нее не оставалось.

– Мерзавка, что удумала! Ах, курва! – в то остывающем, то снова вспыхивающем бешенстве хрипел Голубин, бросив ее на пол. Я к ней по-доброму, а она... А вы! – вдруг вывернулся он на притихших у печи, растерянных и перепуганных хозяев хутора. – Ты ее выпустила, стерва! – закричал он, угрожая шагнув к хозяйке.

– Не, не, пан! Ниц не ведам...

– Не ведам! Я тебе покажу – не ведам! Враз прикончу тут! Вместе с твоим гаденышем! Падла! И с ним тоже! – грозно обернулся Антон к хозяину. – Лошадь спрятал-таки, подлец! Теперь сам ее понесешь.

Медленно, без сил приподнявшись на полу, Зоська сплюнула кровавую слюну. Кажется, он выбил ей зуб, очень болела челюсть, заложило в боку, дышать было нечем. Пока он распинался, угрожая хозяевам, она села, немощно опершись рукой, уронив низко голову. Из рта все шла кровь, и она думала: что будет дальше? Обозленный неудачей, он мог в любую минуту порешить всех в этой хате. Правда, за наган он еще не хватался, наверно, живые, они были ему нужнее, и прежде всего, конечно, была нужна ему Зоська. Иначе с чем он предстанет перед полицией в Скиделе? Значит... Значит, будет лучше, если он ее не доведет до Скиделя. Ей надо умереть раньше. Так будет лучше для нее самой, для тех, кто в отряде, для связанных в деревнях. Наконец – для ее матери в Скиделе. Зоське надо как можно скорее умереть и тем отвести позор и большую беду от многих.

Новый поворот в ее положении осветил все другим светом, придал новый оттенок всем ее помыслам, по-иному перестроил ее намерения. Она вся притихла, собралась, сосредоточилась на своей новой цели. Теперь уж ей стало не до задания, которого она не смогла выполнить, отпали заботы о сроках, даже пропала жалость к этой вот доброй женщине и ее сыну Вацеку. Чтобы не причинить им несчастья, она должна как можно скорее уйти из жизни, в которой ее ждало худшее, чем сама смерть.

Но как это сделать?

Ее долго и подробно инструктировали, посылая на это задание, она выучила наизусть все пароли и отзывы, запомнила много имен людей, названий деревень и улиц. Она старалась узнать и запомнить все, что могло ей понадобиться, и узнала многое, кроме самого важного: как умереть в последний момент, когда жизнь обернется для нее бедой? Сидя на полу, она украдкой оглядела мрачные углы тристена, заглянула в темень под лавкой, под стол, раза два бросила взгляд на стену у порога. Там висели какая-то одежда, коромысло, старый картуз на гвозде, но не было ничего такого, что могло бы пригодиться ей. На полу валялся обрывок веревки, перерезанной Вацеком, но что теперь проку из веревки! Оставалось одно – выхватить у Антона наган и застрелить его и себя. Это было бы куда как удачно... Но если убить его, то зачем убивать себя? Ведь тогда можно будет спастись. Значит, так: убить его и спастись. Одна попытка не удалась, авось удастся другая.

Кажется, опять появилась хоть слабенькая надежда, и Зоська, немного отдышавшись, стала втихомолку следить за Антоном, который расхаживал по тристену. Она ждала,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

что он приблизится в ней, и тогда... В руках у нее была еще сила, пожалуй, она бы смогла выхватить наган, рукоятка которого всегда немного торчала у него из-за пазухи. Но Антон пока был занят хозяевами и на нее почти не обращал внимания, его снова заботила мысль о лошади.

– Так где взять коня? – строго спросил он, останавливаясь перед хозяином. Тот недоуменно пожал плечами.

– Не ведам, пан. Нема коня. Пан видел...

– Видел! Спрятал, зараза! Теперь ты вот что... Деревня далеко?

– Яку пан мыслит деревню?

– Любую. Какая поближе. Сколько километров?

Хозяин молча переглянулся с хозяйкой.

– Деревня? Деревня ест близко. Пенть килёмэтров, – сказала хозяйка, и оба они уставились на Антона, видно, не понимая, что тот надумал.

– А хутор? Хутор ест ближе?

– Хутор ест.

– Сколько километров?

– Килёмэтров два бэндзе, – сказал хозяин. – Близко ест хутор.

– Ага! Значит, так! – обрадованно решил Антон. – Ты топай на хутор и чтоб через час был здесь с лошадью. Понял?

Хозяин вздохнул и помялся, прежде чем что-либо ответить.

– Так, пан. Але сосед не бардзо дасть конь. Много лепш бэндзе, если пан сам сходит на хутор.

– Нет, так не выйдет. Ты пойдешь, а я останусь. Понял? А будешь хитрить, не приведешь коня, – сожгу хутор. Понял?

Хозяин вздохнул, хозяйка заплакала, закрыв аккуратным передничком лицо, и хозяин тихо обнял ее за плечи.

– Не тшэба, кохана. Нех бэндзе, як пан сказал. Я пшиведу коня. Нех пан чека.

– Это другой разговор, – спокойнее сказал Антон. – Только живо мне! Даю час времени.

Зоська попыталась удобнее сесть на полу, но только шевельнулась, как сильно заболело в боку, и она тихонько застонала. Она поняла, что этот час времени стал мерой и ее возможностей. За этот час ожидания обязательно надо предпринять что-то, потом, наверно, уже будет поздно. Потом возможностей у нее не останется, время будет служить только ему, работая против нее.

Но что она могла сделать?

Хозяин удобнее застегнул свой кожух, надел рукавицы и, что-то тихо сказав жене, пошел к двери. Антон придирчивым взглядом проводил его до порога и, как только дверь за ним затворилась, круто обернулся к хозяйке.

– А ну марш в ту комнату! И не шевелись мне!

Хозяйка не заставила себя ждать и сразу исчезла за филенчатой, оклеенной блеклыми обоями дверью. Антон окинул взглядом тристен и, наверно, не найдя того, что искал, схватил обеими руками стол, который размашисто, через все помещение двинул под дверь, надежно подперев ее из тристена.

– Вот так! Теперь пусть попробует выйти.

Они снова остались вдвоем. Зоська продолжала сидеть на едва освещенном земляном полу, стараясь не глядеть на Антона, она и без того ощущала каждое его движение рядом. Челюсть белела, наверно, напухла щека, и она тихонько поглаживала ее рукой. Подперев дверь, Антон подставил к столу топчан, ощупал и запер на крюк наружную дверь, заглянул в темное окно с запотевшими стеклами и присел на скамью. Однако что-то ему мешало, он заметно беспокоился о чем-то и, вскочив, рукой нащупал на лопатке прореху, прорубленную в коже топором.

– Зараза! – сказал он и выругался. – Убить хотела?

– Хотела! – не сдержалась Зоська. – Жаль, не удалось.

– И не удастся, – сказал он, расстегивая ремень. Однако, еще не расстегнув его, вынул из-за пазухи наган и старательно затолкал его в тесный, чем-то набитый карман брюк. Зоська во второй раз едва не застонала с досады, поняв, что вся задумка ее пошла прахом, что из кармана нагана не выхватить. И зачем она отвечала ему, может, он не обратил бы внимания на эту прореху, лучше бы отвлечь его на что-либо другое.

Антон тем временем снял кожушок и при скудном свете копилки принялся рассматривать косую через всю спину дыру. «Может, он станет ее зашивать, повернется боком, – подумала Зоська. – Может, рискнуть?» Но уверенности в успехе на этот раз у нее не было, она просто могла не успеть.

Нет, он не стал зашивать прореху – он отодвинул стол и приоткрыл дверь.

– Эй ты! Поди-ка сюда! Вот тебе задание – зашить дыру. Поняла?

– Добже, пан, – пролепетала из-за двери хозяйка.

– Десять минут времени. Поняла?

– Добже, пан.

– Давай шей! – сказал он и, захлопнув дверь, снова вплотную задвинул ее столом.

Сидеть на полу в неудобной позе стало утомительно, Зоська попыталась переменить положение и подвинулась, чтобы прислониться к стене. Но только она приподнялась, как Антон вскочил с топчана.

– Эй, куда? А ну стой! Ишь пряткая какая...

Он грубо толкнул ее снова на освещенную середину пола, подобрал откуда-то из-под скамьи обрывок, наверно, все той же веревки,

– Руки! Руки давай. Свяжем, чтоб спокойнее было.

– Гад ты! – сказала она, уже не сопротивляясь, и он начал туго крутить ее кисти веревкой. Она только болезненно морщилась, едва сдерживая в себе боль и обиду,

– Больно же...

– Ничего, потерпишь. Больнее будет.

– Нет уж. Больнее, чем от тебя, мне никогда не будет.

– Будет. В полиции будет больнее, – просто сказал он, с силой затягивая узел.

– И ты отведешь меня в полицию? – спросила она дрогнувшим голосом.

– А куда же прикажешь тебя отвести? Я хотел – к матери. Но ведь ты – против.

– Мало того, что подлец, так ты еще и предатель, – сказала она, снова не сдержав быстро навернувшихся на глаза слез.

Антон тщательно затянул узел, проверил его надежность, поднялся с корточек и сел у стола. Он недобро молчал. Глотая слезы, чтобы не разрыдаться перед ним,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

молчала и Зоська. Ни одному из ее намерений, видно, не суждено было сбыться, видно, предстояло готовиться к самому худшему, что только могло случиться в ее положении. Скосив взгляд, она продолжала, однако, следить за Антоном, который, сдвинув на затылок шапку, откинулся спиной к столу и устало вытянул длинные ноги. Коптюшка из печурки слабо освещала его туго обтянутые свитером плечи, одну сторону крепкого вытянутого лица, на котором теперь бугрилась недобрая злая решимость.

– Вот ты говоришь: предатель, – вроде даже с обидой заговорил он. – Верно, может, даже придется и предать. Но кто меня вынудил на это?

Зоська кисло усмехнулась.

– Тебе нужны оправдания? – сказала она, чувствуя, однако, что не надо вступать с ним в разговор – гадко все это и противно. Все разговоры уже переговорены, теперь между ними – пропасть, в которую очень скоро, наверно, придется свалиться ей.

– Мне наплевать на оправдания. Но ты испортила всю мою жизнь. Я уже не говорю, что ты пыталась меня убить. А я ведь чего хотел? Я хотел с тобой жить. Как полагается, по-людски. А ты предателя из меня делаешь.

– Ты до меня стал предателем!

– Ошибаешься! Я не предатель. Я еще никого не предал. Разве что начну с тебя первой. Раз ты меня на это толкаешь...

– Что ж, предавай! – зло сказала она, чувствуя, как все ней затряслось от бессильной злой ярости. – Предавай. Не первый. Но помни, самый первый давно подавился тридцатью сребренниками. И за ним подавятся же все остальные.

Антон, казалось, пропустил мимо ушей эти ее слова, его не трогали древние аналогии, так же как перестали трогать и Зоськины слезы. Похоже, он сам был уязвлен не меньше ее и теперь дал выход своим обидам.

– Ты наплевала мне в душу. Подняла на меня топор!

– А ты не наплевал мне в душу? Не опозорил меня?

– Нет. Я тебе помогал. Без меня ты бы давно уже влопалась.

Зоська подумала, что в этом отчасти он, может, и был прав. Все-таки на протяжении последних двух дней он немало помогал ей. Но после того, что случилось, ее благодарность к нему пропала. Она уже готова была возненавидеть себя за то, что принимала эту его некогда необходимую ей помощь.

– Я не просила тебя помогать.

– Мало что не просила. Я по своей воле. Потому что любил тебя.

– Сволочь ты!

– Спасибо. Но теперь ты мне поможешь. Ведь тебе все равно пропадать. Так послужи мне хоть напоследок.

– Нет! Нет!! – выкрикнула она, содрогаясь на жестком полу. – Этому не бывать. Не надейся. Я тебя покрывать не стану.

– А я и не прошу покрывать. Ты только потерпишь маленько. До Скиделя. Вот и вся твоя задача.

Зоська в отчаянии уронила голову и замерла. Значит, она не ошиблась, разгадав его замысел, значит, он ее обрекал. Удивительно только, как она не поняла это в самом начале. Поддалась его обаянию, вняла его любовному лепету, растаяла от его ласк. Вот это любовь! А она думала... Сколько она перечитала о ней в книжках, нагладелась в кино, сколько перемечтала в девичестве, до войны, да и в отряде в лесу. Какой она представлялась красивой! А ей выпала хуже и подлее, чем сама жизнь. И кто виноват? Немцы? Война? Время? Он уверяет, что во всем виновата она.

Она же уверена, что виной всему он и его так далеко идущие планы. Зачем же они сошли в тот ночной час возле незамерзшей Щары, зачем она позволила вытащить себя из реки... Не лучше ли было бы тихо и незаметно уйти под лед, чтобы избежать стольких пережитых и еще предстоящих мучений?..

14

Антон все прислушивался к немой тишине ночи, ожидая услышать во дворе знакомый лошадиный топот, времени уже прошло достаточно, должен был воротиться хозяин. Но он не возвращался, хотя, наверно, уже перевалило за полночь. Свернувшись калачиком, Зоська лежала на полу, и Антон изредка поглядывал на нее – чтобы не развязалась. Он уже вынес ей приговор, и, как ни удивительно, ему не было жаль ее – пусть пропадает. Пусть пропадает, если она такая беспроблемная дура, ни черта не понимающая в жизни. Действительно, много ли нашлось бы в отряде мужчин, которые ради такой соплячки стали бы рисковать головой, спасти ее от войны. А он вот решился. Он ушел из отряда, провел ее сквозь осиные полицейские гнезда, оберегал, согривал. А она? Чем за все это отплатила ему она?

Как последняя идиотка, напичканная копеечной пропагандой, она не способна увидеть разницы между жизнью, войной и тем, что о них писалось в газетах и говорилось на митингах.

А еще студентка! А может, именно потому, что студентка? Образованная, начиталась книжек. Он вот не очень любил читать книжки, зато он хватал все на ходу. Он понимал все практически и давно знал, что практика – вот единственно стоящая школа жизни, потому что в книжках все не о том и не так. Надо смотреть, как делают жизнь другие, и поступать если не лучше, то и не глупее остальных. И еще не медлить, не тянуться в хвосте, не явиться к шапочному разбору. Хотя и спешить не годится, надо хорошо оглядеться. А она: «Предатель, изменник...» Куда как грозно и страшно, но все глупо и в корне неправильно. Теперь, когда из его замыслов ничего не вышло, что же ему оставалось? Отпустить ее с богом в Скидель, а куда самому? И что от нее будет проку в этом ее Скиделе? У первого же контрольного пункта ее остановит полиция, передаст гестапо и – прощай Зоська. Изуродуют и повесят на площади перед костелом. Или расстреляют в овраге. И кому от этого польза? А то еще вытянут на допросе адреса, явки, имена связных и агентов, начнут хватать семьями, погубят массу людей...

Так не лучше ли будет для нее и для всех, если она, не успев ни с кем встретиться в этом ее Скиделе, попадет прямо к Копыцкому и тем окажет хорошую услугу Антону. Уж, наверное, начальник полиции не усомнится в намерениях своего земляка, когда тот предстанет перед ним с приведенной из-за Щары разведчицей. Наверно, это ему зачтется. Да и ей будет легче, ведь никаких встреч в Скиделе у нее еще не было, никаких заданий она еще не успела выполнить – он за это поручится. Может, даже ее и не повесят – отправят куда-нибудь в лагерь. Совесть? Конечно, он не стал бы утверждать, что совесть его спокойна, было вроде не по себе, что-то его тревожило. Но что он мог сделать? Он давно уже знал, что если прислушиваться к совести, то скоро откинешь копыта. Не так просто с этой самой штуковиной, которая называется совестью, сносно прожить даже в мирное время, не говоря уже о войне. Ведь тут борьба. Кто – кого. Он не слабак и не неудачник, но почему бы ему в трудный час не заполучить частичку того, с чем все время носятся эти пропагандисты совести? Пусть вот тем самым и докажут свою готовность к самопожертвованию во имя ближнего. Ведь теперь он для нее – самый ближний. Тем более что именно среди женщин широко распространена прямо-таки врожденная потребность жертвовать ради ближнего всем, вплоть до собственной жизни. Пускай вот и пожертвует для него этой жизнью, если в тягость этой образованной дура. Он ей предоставлял такую возможность. Хотя бы по своей темноте и малограмотности. Пусть пользуется им. Антону не жалко.

Но что-то долго не возвращался хозяин. Может, и на соседнем хуторе не оказалось лошади, пошел на следующий. Скорее всего так и получилось. В том, что хозяин вернется, у Антона не было ни малейших сомнений: он достаточно полагался на силу своей угрозы. Эти хуторяне пуще жизни дорожат своим хутором и отлично понимают, что для такого, как он, поднести спичку под стреху – дело пяти секунд. Тут уж покрутишься, но исполнишь все, что потребуют.

– Эй! – крикнул он в затворенную дверь хозяйке. – Твой куркуль не сбежал?

– Ой, не сбежав, пане. Скоро пшиведе конь, пане.

– Кожух готов?

– Скоро, скоро готов.

– Давай скорей! А то холодно стало...

Действительно, в тристене стало прохладно, дрова в печи прогорели, от наружной двери несло стужей. Коптюшка в печурке стала постепенно меркнуть, наверно, нагорел фитиль или кончалось горючее. Антон подошел к печи и, вынув булавку, подтянул фитилек. Стало вроде светлее.

В это время где-то в сарае голосисто, хотя и хрипловато, спросонья закричал петух, и Антон вздрогнул: так недолго досидеть до утра. «Вот же сволочь, – подумал он про хозяина. – Как бы не подвел под монастырь. Ну пусть только вернется...»

15

Как это случилось, Зоська сама не заметила, но вскоре она задремала, скорчившись на затоптанном холодном полу, со связанными на животе руками. Все ее горькие беды остались в тридевятом царстве, далеко, в другом мире, в другом времени и месте. Она не признавала во сне, то ли это была война, или, может, довоенное время, или она выпала из всякого времени и очутилась в каком-то новом временном измерении. Однако она ни на секунду не расставалась со своими ощущениями, которые и во сне оставались полными мук и тревоги. Она не знала, что было причиной этой ее тревоги, но ей было плохо, очень беспокойно; скверное ожидание чего-то еще худшего непрестанно угнетало ее. В поле ее зрения, однако, не было ничего плохого, наоборот, перед ней расстилалась весенняя благодать поля с зеленой травой и какими-то цветами на ней, вблизи высилась удивительно белая, словно из сахара, остренькая колокольня костела или, может быть, церкви, где вот-вот должен был появиться Он. Кто Он – Зоська не знала, она не представляла даже его облика, но в точности знала, что Он – существо одушевленное, очень строгое и, несомненно, доброе. Правда, с ним надо быть очень почтительной и вести себя скромно, как со школьным директором по меньшей мере, – это она чувствовала с предельной четкостью.

В то же время она никак не ощущала себя физически, она даже не знала, как и во что она одета и есть ли у нее руки и ноги, словно она совсем без плоти, без своего прежнего облика или потеряла способность зрительно воспринимать этот облик. Что касается окружавшего ее внешнего мира, то он с достаточной полнотой воспринимался ею во всей своей вещности, она видела вокруг каких-то людей, идущих, стоявших и разговаривавших, словно на базаре в праздничный день. Возможно даже, это происходило на их рыночной площади или где-то на краю местечка. Несмотря на беспорядочную суету и говор вокруг, люди тоже ждали появления Его, хотя, может, и не так напряженно и томительно, как ждала Зоська.

Но произошла странная перемена в этой атмосфере всеобщего ожидания, почему-то никем, даже самой Зоськой, никак не замеченная, – просто одно состояние незаметно сменилось другим, и вместо бесплотного Его вверху оказалась сама Зоська. Она легко и свободно парила в высоте над землей, деревьями, людьми, какими-то крышами построек, озером и извилистой лентой реки. Это был радостный, пьянящий полет, сладостное ощущение простора и беспредельной свободы в нем. Зоська легонько взмахивала руками, чтобы держаться на высоте, где она не чувствовала ни собственного веса, ни притяжения земли, ни даже сопротивления воздуха. Внизу были, наверно, все те же люди, одиночки и разрозненные группки их, но теперь ей не было дела до этих людей, ей хотелось без конца предаваться благодатному чувству парения в этом теплом и ясном воздушном пространстве.

Однако что-то уже изменилось то ли в ней самой, то ли в этом пространстве, какая-то сила властно повлекла ее вниз, она почувствовала все прибывающий вес тела и сильнее замахала руками. Но удержаться на высоте она уже не могла и катастрофически быстро снижалась; земля, крыши, деревья и телеграфные столбы на дороге все приближались, она изо всех сил работала руками, но прекратить снижение не могла. Ее с властной неотвратимостью влекло вниз, где уже бежали, крича и суетясь, какие-то люди в черном, протянутыми руками они вот-вот готовы

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
были схватить ее за ноги, и ей требовалось огромное усилие, чтоб уберечься от их длинных хватистых рук. Предчувствуя, что ее ждет на земле, она изо всех сил работала руками, и эти руки почему-то вдруг превратились в крылья – широкие черные крылья птицы, в которую превратилась и она сама.

Но крылья не помогли ей взлететь, она уже была на земле, в огромном сугробе среди снежного поля, и, цепляясь грудью за снежные комья, отчаянно пыталась оторваться от снежной земли, но тщетно. Огромные крылья лишь разметали сыпучий снег, махать с каждой минутой становилось труднее, силы ее кончались, и в сознании бился испуг от мысли, что если она не взлетит, то погибнет.

Потом она вроде бы отделилась от черной птицы, увидела как бы со стороны – распластанной на снегу, с распростертыми, пересыпанными снегом крылами и поникшей головой на склоненной, со всклокоченными перьями шее. Птица делала последние конвульсивные взмахи и отчаянно билась острой грудью о снег. Она уже не взлетала – она умирала, эта огромная черная птица на морозном снегу, и вместе с ней в безысходной тоске, казалось, умирала Зоська...

Но нет, она не умерла – она вдруг проснулась с сознанием того, что вокруг что-то изменилось, может, даже случилось что-то. В накинутом на плечи колушке Антон открывал дверь, из которой в облаке стужи в тристен ввалился хозяин, за ним какой-то низкорослый человек в шинели, с красным от ветра лицом, толстяк в суконной поддевке и чернобородый мужик в армяке и с винтовкой. Зоська метнулась с пола к стене, пытаясь подняться на непослушных ногах и не понимая, что происходит. Антон отступил к печи под направленным на него автоматом переднего из вошедших, который с незлобивой уверенностью командовал:

– Руки вверх! Вверх, вверх! Во так! Пашка, обыскать!

Зоська с бьющимся от сонного испуга сердцем жалась к стене и не знала, что делать. Она только глядела, как толстячок в серой поддевке, которого передний назвал Пашкой, решительно сдернул с Антона его колушок, лапнув по брючным карманам, вытащил из правого кармана наган, начал что-то нащупывать в левом. Внешне почти спокойный, Антон стоял, небрежно приподняв руки, и несколько растерянно бормотал:

– Ребята, да что вы? Ну что вы? Своего не признали? Я же из Суворовского...

– Это мы посмотрим еще, из какого ты «Суворовского», японский городской! Чем тут занимаешься? – строго спросил маленький с красным лицом и подобрал автомат. – А она? Кто она такая?

Тут они все враз обернулись к ней, рассматривая ее при едва мерцавшем огоньке коптилки, и до сознания Зоськи медленно, как после обморока, стала пробиваться мысль, что это же свои, наверно, из какой-то Липичанской бригады, ребята-партизаны. Но, почти поверив в свою догадку, она почему-то не обрадовалась, тут же смекнув, что хорошего из этого выйдет немного. Скорее опять будет плохо.

– Она тоже из Суворовского, – сказал Антон и припустил руки. Никто из них не заметил этого, все смотрели на измученную, прильнувшую к стене Зоську. Зоська между тем молчала, не вправе называть себя, хотя и чувствовала, что сейчас, видно, начнется разбирательство и надо что-то ответить.

– А почему связана? Это что – ты ее связал? Японский городской!.. – хмуря светлые бровки на еще юном лице, допрашивал тот, что стоял с автоматом. Видно, он тут был старшим.

– Я связал, – просто сказал Антон, и хозяин, стоявший позади всех, едва заметно кивнул головой, подтверждая его слова.

– Почему связал?

– Видите ли, – помялся Антон и бодро объяснил: – Мы были на задании, ну и она решила переметнуться к немцам.

– Врешь!! – вся содрогнувшись, исступленно крикнула Зоська. – Врет он!

Она опять готова была зарыдать от беспредельной обиды и этого нового коварства спутника. Антон, нисколько не смутившись от ее крика, передернул плечом в сторону хозяина.

– Вон – свидетель.

– Вот как? – краснолицый внимательно посмотрел на Зоську.

– Постой! – вдруг другим тоном сказал толстяк Пашка. – Я ее знаю. Она в самом деле из Суворовского. Зося, кажется.

Зоська, не ответив, только прервала свой тихий плач, вытерла о плюшевое плечо мокрую щеку и внимательнее взглянула на своего заступника. Нет, он был ей незнаком, кажется, она видела его впервые, хотя вполне возможно, что где-то с ним и встречалась.

– Это он решил переметнуться к немцам, – сказала она спокойнее. – Вон пусть хозяин скажет.

Все враз повернулись к хозяину, но тот, не поспешая с ответом, помялся, поморщился, потом заговорил на своей смеси белорусского с польским:

– Я, пан, мало разумею... Так, штось пан говорил. В Скидель быдто идти. Пани не хотела идти. Почему – не разумею.

– Ну, это враки! – с уверенностью сказал толстяк Пашка. – Товарищ сержант, ей-богу, это наша девка. Я ее знаю.

– Японский городской! – в явном затруднении воскликнул краснолицый и скомандовал: – Развязать!

– Хорошая девка, ей-богу, – сказал толстячок и ступил к Зоське.

Повозившись с минуту над ее узлом, он развязал веревку, и Зоська с облегчением опустила затекшие кисти. Чернобородый с винтовкой молча стоял у выхода. Хозяин отодвинул стол к печи, и в отворившейся двери появились испуганная хозяйка с Вацеком. Они молча наблюдали за тем, что происходило в тристене, на стенах которого непрестанно шевелились-мелькали мрачные тени людей. Стоя чуть в сторонке, сержант пристально следил за каждым движением Зоськи и Антона, что-то глубокомысленно обдумывая и то и дело хмуря тонкие бровки на строгом молодом лице.

– Так! А того связать! – указал он на Антона, и толстячок повернулся к нему с веревкой. Антон растерянно развел руками.

– Да что вы, ребята? Я – свой!

– Это еще мы посмотрим, какой ты свой. А ну, руки назад!

Делать было нечего, Антон с неохотой заложил назад руки и спиной полуобернулся к толстенному, который обмотал кисти веревкой.

– Вот так.

– Это безобразие, сержант! Мало что оружие отобрали, так еще и вязать! За что? Что эта сказала? И вы ей поверили? Может, у меня с ней особые счеты.

– Это какие еще счеты? – ехидно поинтересовался сержант.

– Хотя бы любовные. А она...

– Японский городской! Ты не темни нам тут про любовь! А ну, марш!

Они расступились, пропуская Антона вперед на выход, и тот заколебался.

– Куда?

– Куда надо. Ну! Марш!

– Дайте хоть полушубок надеть, – заметно занервничал Антон, и толстячок набросил ему на плечи его колушок. Антон шевельнул плечами и после секундного колебания решительно шагнул к двери.

– Ты тоже! – бросил Зоське сержант, и она пошла за Антоном.

На дворе висела предрассветная темень, в которой едва серел снег и совсем сникли, ссутулились темные силуэты сараев. Холодный, промозглый ветер недобро дунул Зоське в лицо, неприятной изморозью остудив ее щеки, и она с упавшим сердцем подумала, что ее тоже ведут как арестантку. Но куда они поведут их, эти липичанские ребята? Уж не собираются ли они ускорить скорый суд и расправу над Антоном, а заодно и над ней тоже? Но, по-видимому, суд-расправа пока откладывался, для этого надо было выйти из опасной зоны или зашиться поглубже в лес. Хотя, судя по мрачной решимости этого сержанта, он мог их с легкостью прикончить где хочешь.

Скорым шагом они прошли мимо колодца и вышли в ночное поле. Злосчастный хутор скоро без следа растворился в серой промозглой тьме ночи, слился с сумеречной стеной хвойного леса. Зоська, однако, не оглядывалась, она едва поспевала за Антоном; пустые опущенные рукава его колушка металась по ветру, словно крылья подстреленной птицы, и Зоське на минуту припомнился ее загадочный сон перед пробуждением. Сон, несомненно, имел какой-то зловещий для нее смысл, в другой раз она бы долго ходила под его впечатлением, теперь же размышлять о нем не было времени. Действительность была мало приятнее сна, и снова было неясно, чем все окончится.

Оки быстро шли ночным полем по неглубокому, чуть причерствевшему к утру снегу. Антон старательно шагал за идущим впереди всех чернобородым, которого сержант называл Салеем, и Зоська догадалась, что этот – ее землячок, из местных. Но рассчитывать на него не приходилось, она поняла, что здесь всем заправлял этот молодой сержант, к которому неизвестно как было подступиться. Впрочем, она получила возможность перевести дыхание, все-таки она избежала гибели, Антоновы планы рухнули, и Зоська с благодарностью запомнила хозяина хутора, этого безропотного исполнителя воли жены, который не растерялся, спас хутор и Зоську. Но, странное дело, Зоська не ощущала в себе облегчения, скверные предчувствия продолжали ухватисто властвовать над ее сознанием.

Они все шли полем, мимо каких-то кустарников, сверху из темного неба падал невидимый в ночи редкий снежок, отдельными снежинками таявший на ее лице, и она совершенно не представляла, куда их ведут. Теперь, когда опасность слегка отвела свою занесенную над ней косу, Зоська все больше стала думать о том, что ей все-таки надо в Скидель. Все-таки задание оставалось в силе, и теперь вроде бы отпало то, что не давало возможности его выполнить. Об Антоне Зоська старалась не вспоминать даже, он перестал для нее существовать и, хотя шагал в трех шагах впереди, он теперь был – ничто. Стремление окончательно освободиться от всего, что там позорно связалось с ним, и делать свое дело все настойчивее овладевало ею, и она не утерпела.

– Ребята, а куда вы нас ведете? – спросила она по возможности беззаботнее.

– Куда надо! – холодно бросил сержант, идущий последним в этой цепочке.

– Тут такое дело, – сказала, подумав, Зоська. – У меня задание.

– Какое задание?

– Ну... Я же не могу вам объяснить, какое. Мне надо в сторону Скиделя.

– К немцам?

– Ну почему к немцам? – готова была обидеться Зоська. – У меня задание.

– У нас тоже задание, японский городской! – недружелюбно парировал сержант. – А мы вон вожаемся с вами, время тратим. Вот возьмем и шлепнем обоих к чертовой матери.

– За что? – оглянувшись, попыталась улыбнуться Зоська.

– За то! Война, задание, а они тут любовь крутят. Да мародерством занимаются по хуторам. А теперь – задание...

Нет, он был невыносим, этот молодой задавака, и заслуживал того, чтобы его хорошенько отчитать. Но теперь Зоська решила промолчать, черт с ним! Куда-то же в конце концов они их приведут, не будут же они днем тащиться среди снежного поля, значит, к утру где-то укроются. Действительно было видно, что они торопились, сержант несколько раз тихо, но требовательно покрикивал на направляющего: «Салей, шире шаг!», и тот ускорял и без того весьма торопливый свой шаг. Зоська уже вспотела, но старалась не отстать от шагнувшего перед ней Антона, который, нагнув голову, с оттопыренным на спине кожаным, споро шел за передним. Там, в хате, когда она корчилась на полу со связанными руками, а он всевластно распоряжался ее судьбой, они были разделены неодолимой непримиримостью, и думалось, что помирят их разве что смерть. Но с появлением партизан положение их изменилось. Антону связали руки, но и ей вроде не развязали, оба они оказались под конвоем в этом ночном поле, судьбы обоих затянуло дымкой неопределенности, и эта неопределенность снова как бы объединила их обоих. Зоська подсознательно чувствовала все это, это ее угнетало. Хуже всего, однако, что с ними почти не разговаривали, никто их ни о чем больше не спрашивал, и Зоська не знала, как все объяснить этим суровым малоразговорчивым людям. Она просто не находила, с чего начать.

Похоже, однако, они держали путь в лес, который уже проступил поодаль в рассветных сумерках, – снова в сторону Немана, удаляясь от Скиделя. Зоська с тоскливой озабоченностью заметила это, но что она могла сделать? Ее вели как арестованную и даже не хотели объяснить – куда. Но все-таки она чувствовала, что с ней плохого не сделают. На ее стороне была правда и, кажется, появился заступник, вот этот проворный толстячок Паша, который ее где-то видел.

Тем временем почти совсем рассвело – из серой тьмы выплыло такое же серое зимнее поле, – голая ровня с недалеким впереди леском. От этого леса в поле врезался неглубокий овражек с кустарником, завидев который Салей взял в сторону, и они стали приближаться к овражку. Шедшие сзади сержант с толстячком о чем-то тихо переговаривались, Зоська, отрываясь от своих переживаний, раза два вслушалась, но расслышать ничего не могла, а Антон вдруг дернул шеей и вроде споткнулся даже. Зоська придержала дыхание – похоже, сзади говорили о каком-то наступлении, и Антон с интересом спросил:

– Ребята, не слышать, что на фронте?

– А тебе зачем? Чтоб немцам передать?

– Нет, правда? Как Сталинград? – добивался на ходу Антон, и Зоська заметила, как он весь подобрался и затих.

– Сталинград дал фрицам в зубы, – сказал Пашка. – Поперли немцев под Сталинградом.

– Да ну?! – с открытым от изумления ртом обернулся Антон.

– Ты шагай, шагай! – прикрикнул сержант. – А то удивился, японский городской!..

– Нет, в самом деле? Ведь немцы говорили, что Сталинград взяли.

– Взяти! Подавились там твои немцы. Вон на шестьдесят километров отбросили. фронт прорван, наши наступают.

– Ай-яй! Гляди ты! – совсем уже изумился Антон.

– Вот, вот, – сказал сержант. – Но тебе-то чего радоваться? Ты же другого ждал.

Зоська не вмешивалась в разговор и ни о чем не спрашивала – после недолгого замешательства все в ней возликовало. Слово что-то свалилось у нее с плеч, давившее ее долгие месяцы, и она явственно почувствовала, как ей недоставало именно этого известия из-под Сталинграда. Хотя она, может, и не понимала военной важности этого далекого города, но всегда чувствовала, как нужна там победа. Если это только не слухи. Если это на самом деле. Но ребята, должно быть, знают,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

они даже передают подробности: прорван фронт, и наши продвинулись на шестьдесят километров. И она, заметив, как сник Антон, со злорадством подумала: пусть вот утешится! Ведь он так переживал эту неудачу под Сталинградом, толкнув его вчера на измену, теперь пусть возрадуется. Неудачи нет – есть победа! Что же он так померк, ссутулился и опустил свои круглые плечи? Ничего у него не вышло из его коварных шкурнических замыслов и ничего не выйдет, думала Зоська почти со сладострастным злорадством.

Салея привел их в едва заметное на равнине углубление все расширявшегося и уходившего вглубь овражка, они дошли до редкого, расползшегося по склону кустарника, и сержант сзади скомандовал:

– Стоп! Посидим здесь. А ты, – кивнул он Салею, – давай дуй. Двадцати минут хватит?

Салея помялся в своем подпоясанном широким офицерским ремнем армяке, пятерней отер мокрую черную бороду. Неподвязанные уши его черной шапки небрежно топорщились в стороны.

– Попробую...

– Ну и добро. Давай дуй, – распорядился молодой командир, по виду годившийся в сыновья этому Салею.

Осклизаясь на снегу, Салея пошел вверх по склону, а они остались стоять внизу. Толстенький Пашка полез в карманы и стал собирать закурку. На его полноватом, каком-то добродушном лице не было ни озабоченности, ни даже малейшей серьезности, в уголках губ таилась мягкая улыбочка, будто он занимался чем-то малосерьезным, хотя в общем ему интересным. На остром, свежепокрасневшем, словно обожженном лице сержанта, напротив, отражалась крайняя степень важности, какое-то желчное недовольство собой или скорее – другими, и Зоська подумала, что с ним надо держать ухо востро. Такие в своей озлобленности способны на все, а озлить их всегда легче легкого, и по первому поводу они вспыхивают как порох.

– Вот. А теперь мы порубаем, а вы посмотрите, – без тени юмора сказал сержант, доставая из кармана что-то завернутое в бумажку, и Зоська отвернулась. Еда ее мало интересовала, она все думала, как бы ей вызволиться от опеки или ареста этих людей.

16

Стоя на снегу в овражке, Антон не смотрел ни на отвернувшуюся рядом Зоську, ни на двух партизан, которые принялись закусьвать из бумажки, и запах вареного мяса мучительно дразнил его обоняние. В который раз за сегодняшнее утро и ночь он был оглушен, почти раздавлен свалившимися на него неожиданностями. Мало ему было скандального упрямства Зоськи, вероломной выходки хозяина хутора, пошедшего за конем, а приведшего партизан, так теперь еще и Сталинград. Город, который, по его мнению, был обречен и со дня на день должен был пасть, тем самым знаменуя конец проклятой войны и победу немцев, оказывается, не только выстоял, но и дал в зубы немцам. Теперь там наступление, война затягивалась, победа еще неизвестно кому достанется. Не о том ли говорили и полицаи, разговор которых так нелепо недослышал Антон и по этой причине едва не сделал свой опрометчивый шаг. Может, теперь он должен благодарить Зоську за ее спасительное для обоих упрямство, простить ее выходку с топором, вообще попытаться примириться с ней? Действительно, новый поворот в войне вынуждал Антона пересмотреть кое-что из своих прежних решений, перестроиться в соответствии с новыми обстоятельствами.

Если только позволят эти обормоты из Липичанской пуши, связавшие его руки и ведшие неизвестно куда. Уж не на ту ли сторону Немана? В таком виде он не мог появиться в партизанской зоне, где его сразу возьмут под арест, уж там ему не избежать обвинений. Всякую возможность обвинений надо было погасить тут. Но как? С этим озлобленным недомерком, которого они называют сержантом, даже и поговорить невозможно, он заранее все знает и уверен, что Антон – враг. Да и Зоська тоже окрысилась против – не подойдешь. Но, поразмыслив, Антон пришел к выводу, что в его положении, как ни странно, выручить его сможет именно Зоська. Может утопить окончательно, а может и вызволить, – это уже будет зависеть от ее к нему отношения.

Сержант с толстяком тем временем, наверно, доели мясо (по крайней мере, от них перестало нести раздражающим запахом) и теперь лениво дожевывали хлеб, поглядывая на обрыв, где должен был появиться посланный куда-то Салей. Зоська, отвернувшись, сосредоточенно ковыряла носком сапога в снегу. В овражке было затишно, падал редкий снежок. Ноги в постоянно сырых сапогах скоро начали зябнуть на несильном морозце. Антон напряженно соображал, что делать, с какой стороны подойти к сержанту или хотя бы к Зоське. Он чувствовал, что пока была такая возможность, потом она может исчезнуть и он ни к кому ни с какой стороны не подступится.

Но он ничего не надумал, хотя прошло, наверно, побольше двадцати минут, и Салей не возвращался. Это его невозвращение стало заметно тревожить сержанта, который, стоя на дне овражка и заложив руки в карманы поношенной, с рыжими подпалинами от костров шинели, все поглядывал на обрыв и нетерпеливо топтался в снегу – уже вытоптал небольшую, с квадратный метр, площадку. Наконец, потеряв, наверно, терпение и в который раз недобрый словом помянув японского городского, он начал взбираться на склон. Там, за овражком, где начиналась пашня, было ровнее, и наблюдать оттуда было сподручнее. В минутном озорстве запустив в их сторону ком снега, сержант скомандовал:

– А ну давай все сюда! Все, все! И вы тоже.

Зоська, за ней толстячок Пашка и последним Антон стали взбираться по склону вверх. Лезть по скользкой, засыпанной снегом траве было вообще неудобно, а со связанными руками и подавно. На середине склона Антон поскользнулся и довольно беспощадно грохнулся грудью о землю, сразу почувствовав на губах соленый привкус крови. Сержант наверху злорадно хохотнул, и Антону понадобилось порядочное усилие над собой, чтобы не поддаться нахлынувшему на него бешенству. Им смешно! Связали, обезоружили, куда-то волокут силой и еще потешаются над его немощью. Умышленно не торопясь, с расстановкой, он поднялся с коленей, кое-как утвердился на разъезженном косяке; возле на снег упало несколько алых капель крови. Они все втроем спокойно стояли сверху над обрывом и с насмешливой издевкой смотрели на неуклюжее его восхождение, и он со вкусом продемонстрировал им свое унижение – пусть порадуются. Это падение зубами о землю уже мало прибавляло к той сумме неудач, которые обрушились на него сегодня, и без того он чувствовал себя несправедливо обиженным и пострадавшим. Под их злорадными взглядами он кое-как выбрался из оврага, оставляя за собой алые на снегу пятна, и покорно остановился перед конвоирами.

– Что, раскровенился?! – недовольно сказал сержант, перестав улыбаться. – А ну утрись. Неча тут кровью сморкаться.

Антон стоял молча и не шевельнулся даже, когда сбоку к нему неожиданно шагнула Зоська. Протянув руку, она рукавом сачка коротко отерла его подбородок, сделал это в совершенном молчании двумя небрежными движениями руки, и Антон едва удержался, чтобы не вздрогнуть от ее прикосновения, только когда она отошла с таким видом, будто ей нет до него больше дела, что-то внутри у него шевельнулось – тоска по утраченному или, может, надежда.

– Так, так! – язвительно ухмыльнулся сержант. – Теперь вижу, японский городской!..

Он недоговорил – все враз обернулись к недалекой вершине холма, где чуть в сторонке от цепочки своих уходящих следов появился Салей. Он быстро шел вниз к овражку, местами широко осклизаясь по снегу, и сержант с толстяком, наверно, что-то учуяв, насторожились. Антон, чуть отвернувшись, вытер о воротник кожанка кровь, все еще пльвущую из ссадины на подбородке, и тоже смотрел на быстро подходившего Салея. Он чувствовал, что тот несет весть, которая и для него может оказаться важной.

– Ну что? – нетерпеливо окрикнул сержант подошедшего шагов на двадцать посыльного, но тот только махнул рукой.

– Что, не дошел? – спросил толстяк Пашка.

– Дошел! Да что толку?

– А что?

– Серого взяли! – объявил Салей, подошедши, и скинул винтовку прикладом в снег, сдвинул на затылок шапку. От его мокрого лба шел пар.

– А эта?.. Баба его? – напомнил сержант.

– Баба осталась. От нее и узнал. Через березнячок не пройти.

– Да ну?

– Облава там! Полиция и жандармерия. Как раз в березах устроились.

– А если правее? Подем?

– А там деревня. Из деревни все на виду. Не пустять.

– Дела, японский городской! – уныло ругнулся сержант и обернулся назад, к оврагу. Полминуты он суженными глазами вглядывался в серое, притуманенное пространство.

– Что ж нам теперь, дневать тут? – обращаясь к нему, тихо сказал Пашка.

– А хрен его знает.

– Я так думаю, – после паузы запаренным голосом сказал Салей. – Можно попробовать возле чугулки. Насыпка там невысокая, но... Каких полверсты.

– А через насыпь не увидят? – усомнился Пашка.

– Нет, не увидят. Ползком если.

– Ползком! С этими вот? – зло кивнул сержант в сторону Антона.

– Если только ползком, – настаивал Салей.

– Ну и задача, японский городской! – выругался сержант и сел задом в мягкий, еще не слежавшийся снег.

Антон настороженно вслушивался, стараясь понять что-то из их разговора, но понял только, что пройти где-то нельзя, что где-то на их пути немцы. Теперь он даже не знал, как отнестись к этой задаче. С одной стороны, он почувствовал невольную радость оттого, что у этих оборотов что-то не получалось, – и пусть, не только же его настигать неудачам. Но, поразмыслив, он ощутил смутное опасение, как бы все это не обернулось для него еще худшим.

Недолго посидев на снегу, хмуря свои тонкие бровки, сержант кивнул Пашке, и тот опустил напротив на корточки, со вниманием уставясь в его острое, по-заговорщически оживившееся лицо. Вскоре толстячок уже понимающе закивал головой. Салей, опершись на винтовку и стоя вполборота, вслушивался в их разговор. Антон издали тоже попытался кое-что услышать, но сержант вовремя учуял его интерес и обернулся.

– Ну, ты! А ну, отойди! Отойди, отойди! На пятнадцать шагов марш!

Делать было нечего, Антон не торопясь отошел немного и остановился, искоса поглядывая на партизан. Неясная тревога начала будоражить его и без того беспокойные чувства. Он не разобрал ни одного слова из сказанных сержантом двух-трех отрывистых фраз, но заметил, как вытянулось на минуту обычно добродушное, мягкое лицо толстяка Пашки, которое, правда, скоро опять стало прежним. Салей, поморщившись, вполголоса подтвердил:

– А что ж, можно...

Не столько поняв, сколько догадавшись, Антон сперва почти помертвел от страха, а потом в сознание его кипятком шибанул испуг, и он бросился грудью вперед к сержанту.

– Нет! Что вы делаете? За что? Я партизан, я с немцами с весны дрался, а вы? Не имеете права!

– Ты чо? Ты чо? – медленно поднялся сержант. – А ну, тихо!

– Это безобразие! Я честный человек! Я свой, советский, а вы...

– Ти-хо! – крикнул сержант. – Японский городской! Ты что разошелся? Ты же вон к немцам деру дать собирался. Ты же их агент!

– Я не агент! Я партизан из Суворовского. Это она по злобе, – кивнул он в сторону Зоськи. – Между нами там произошло... Пусть она подтвердит! Зося! – обернулся он к Зоське с такой болезненной тоской в глазах, что, кажется, камень не остался бы безучастным. Зоська, однако, посмотрела на него, сузив глаза, и промолчала.

– Что же мы на руках тебя понесем? – язвительно растягивая слова, проговорил сержант. – Там, может, с боем пробиваться придется. И ползти надо.

– Понятно, ползти, – согласно подтвердил Салей.

– Ну что ж! Я поползу. Я умею. Доверьте, ей-богу. Зачем же губить безвинного! Я же ничего не сделал!

В нем все напряглось и вибрировало от предчувствия того, что сейчас, видно, все для него и решится. Видно, последнее слово будет за этим сержантом. Но почему бы не вступить за него Зоське? Почему она молчит, как воды в рот набравши? Ведь эти его видят впервые и по наговору принимают за какого-то агента, но ведь она может сказать, что он не агент. Ведь он партизан! Из той же Липичанской пуци, из того же отряда, что и Зоська. Почему же она не заступится за него? Неужели она не понимает, что они надумали с ним сделать?

– Зося, скажи им: я же не враг! Ты же знаешь, я честно воевал и честно воевать буду. Мало ли что между нами случилось! При чем же тут они? Скажи, Зося!

Стоя чуть в стороне, Зоська отрешенно смотрела куда-то в нетронутый, с редкими былинками снег, и сержант вдруг вспомнил:

– А что ей говорить? Она уже сказала. Там, на хуторе. Что ты к немцам перебежать собрался.

– Нет! – запальчиво перебил его Антон. – Нет! Это ошибка. Сплошное недоразумение...

– А ведь ты и говорил, будто она тоже решила перебежать? Так как тебя понимать?

– Это неправда! Я ошибался.

– Хорошая ошибочка, японский городской! А если бы мы ее шлепнули? Послушав тебя?

– Ну что вы! Я это со зла. С обиды! Потому что она... Мы с ней поругались. Ведь я... Ведь мы полюбовно. Зося, скажи им. Что же ты молчишь? Ведь они хотят меня застрелить!

Зося, как ему показалось, немного смягченным взглядом повела по его расхристанной фигуре, потом взглянула поодаль на троих партизан. Видно, она колебалась, и сержант, которому стало надоедать это разбирательство, крикнул:

– Так что? Он правду говорит? Или демагогию разводит?

Теперь они все уставились в мучительно напрягшееся лицо Зоськи, и Антон смекнул, что от ее ответа будет зависеть, жить ему или умереть тут же. Но, будто окаменев лицом, она продолжала молчать.

– Что ж, предавай! – с отчаянием обреченного процедил он сквозь зубы. – Пусть убивают! За мою любовь...

– О, он уже про любовь! Ловкач, японский городской! – съязвил сержант и

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
привычным движением плеча скинул в руку автомат. Обветренные губы Зоськи вздрогнули, и, словно боясь не успеть, она пролепетала:

– Ладно, не надо. Он свой...

– Так какого же черта?! – взъярился сержант, держа в руке автомат. – Какого черта ты нам мозги там мутила? То кричала: перебежать надумал, а теперь наоборот. А то вот – обоих, к чертовой матери...

– Я со зла, – тихо сказала Зоська.

– Товарищ сержант! – взмолился Антон, почувствовав, что, несмотря на взрыв гнева, сержант заколебался и надо не дать ему вновь обрести уверенность. – Товарищ сержант, я же говорил... Развяжите меня, я докажу. Ей-богу! Ведь я свой, советский...

– Вот видишь! – сказал сержант Зоське. – Он уже и развязать просится,

– Пусть, развяжите, – сказала Зоська.

– Чудеса! Стэфан говорил, на хуторе с топором бросалась, а тут – развяжите! Ну и женская логика! Ладно, что ж, действительно... Пачкаться тут об него! Пашка! – кивнул он толстому. – Развяжи! Но имей в виду, чуть что – сразу очередь в спину. Я цацкаться не люблю, японский городской!

– Ну что вы, товарищ сержант...

Легким движением Антон скинул с себя незастегнутый колушок, и Пашка развязал сзади веревку. «Как здорово, черт возьми, иметь руки несвязанными, – подумал Антон. – Словно обрести свободу». Но свобода была еще не полная, хотя и появилась надежда. Быстро успокаиваясь, Антон надел в рукава колушок, продрогнув, тщательно застегнул его на все пуговицы.

– Отдали бы и оружие, а, товарищ сержант, – вспомнил он про наган.

– А шиш не хочешь! Еще ему и оружие! – рассердился сержант. – Вот придем, разберутся, тогда и получишь.

«Значит, еще на подозрении. Еще будут держать на прицеле, – думал Антон. – Ну что ж, пусть пока так. Еще неизвестно, голубчики, как вам удастся пройти мимо немцев. Это еще мы посмотрим...»

– Итак, шагом марш! – сказал сержант, закидывая на плечо автомат. Салей с Пашкой уже стояли в готовности двинуться, Антон тоже теперь не медлил, только Зоська что-то замешкалась.

– Погодите, – сказала она. – Мне надо в Скидель.

– Вот те и раз! – зло обернулся сержант. – Опять ей в Скидель. А этого я куда поведу? Что я скажу там? Нет, сперва дойдем до Липичанки, разберемся, а потом куда хошь. Хоть в Берлин к Гитлеру!

– Вы сорвете задание.

– Вы сами сорвали свое задание. Чего стали? – крикнул он на своих. – А ну марш! Салей – вперед!

Салей послушно зашагал по склону наискосок к вершине холма, за ним тронулся Антон. Сержант, выждав, пропустил впереди себя Зоську, толстяка Пашку и сам пошел замыкающим.

17

«Вот же послал бог спасителей, как только от них отвязаться?» – думала Зоська, снова шагая по склону вслед за Антоном. Ей так не хотелось тащиться неизвестно куда, беспокойство за невыполненное задание охватило ее с новой силой, она едва подавляла в себе нетерпение, но что она могла сделать?

Она давно упустила все сроки, нарушили всякий порядок, напутала и все усложнила до крайности. Конечно, у нее не хватило опыта, знаний, а больше всего – характера, простой человеческой твердости. Она уже раскаивалась, что заступилась за Антона, наверно, теперь без него было бы легче, наверно, он заслужил того, чтобы его расстреляли. Но в судьи ему она не годилась, она вообще никому не годилась в судьи, потому что сама во многом чувствовала себя виноватой. К тому же в случае с Голубиным она не была лицом беспристрастным, скорее заинтересованным, а теперь, когда немного поостыла от происшедшего ночью на хуторе, почувствовала, что честнее будет устраниться от этого малоприятного дела. Вот приведут в отряд, и пусть тогда его судят. На то есть начальство, товарищи, люди поумнее, а главное – более решительные, чем она. Зоська не хотела больше связываться с ним и его судьбой. Хватит с нее того, что у них уже было.

Быстрым шагом они перешли равнинное поле и углубились в такой же равнинный сосновый лесок. Идти было легко. Еще нестарые, редкие, без подростка сосенки, хотя и плохо скрывали людей, зато позволяли хорошо видеть вокруг. Салей впереди беспрестанно крутил головой, но, кажется, в лесу было пусто. Они все молчали, только смотрели и слушали. Но лесок скоро кончился, впереди опять раскинулось притуманенное пространство поля, и Салей, не дойдя шагов двадцати до опушки, остановился.

– Товарищ сержант!..

Сержант быстро прошел вперед, вместе с Салеем укрылся за низкорослой молодой сосенкой. Впереди в поле что-то происходило, кажется, там были люди, но отсюда Зоська ничего еще не могла увидеть и следила только за тем, как сержант сторожко наблюдает из-за сосенки. Возле нее, скинув к ноге немецкий карабин, стоял толстяк Пашка. Тревожное беспокойство Зоськи за невеселые свои дела слегка унялось, вытесненное тревогой другого рода, тем более что теперь все зависело от этих людей, она же была лишена и возможностей, и инициативы и ничего предпринять не могла.

– Идите сюда! – негромко позвал их сержант, и они все подошли к его низкорослой сосенке. – Вон, видите?

Вглядевшись через поле в растянувшуюся опушку дальней сосновой рощи, Зоська увидела там людей, лошадей с повозками, очевидно, там проходила дорога, и люди зачем-то остановились на ней и ждали. С этой стороны, от поля, дорогу и людей слегка прикрывала редкая березовая рощица, сквозь которую, однако, просматривалось все на дороге. Откуда-то справа в ту сторону бежала наискосок невысокая насыпь железной дороги с рядом телеграфных столбов и жиденькой полоской кустарника. Наверно, это и была та самая «чугунка», о которой говорил в овражке Салей.

– Видели? – кивнул, оглянувшись, сержант. – Попробуем по «железке».

– Понятно, – сказал Антон таким тоном, словно он был тут равноправный боец, а не человек под арестом. – Только перебежками надо.

– Не перебежками, японский городской, а на пузе! По-пластунски, ясно? – свирепо поправил его сержант.

– Можно и по-пластунски. Лучше всего по канаве.

– По канаве, вот именно. Значит, так! – обернулся сержант. – Я иду первым. За мной – ты! – указал он на Антона. – Потом Пашка и ты, – ткнул он пальцем в Зоську. – Салей, будешь последним. В случае чего – огонь и рывком в лес. Понятно?

– Ясно! – прежним тоном ответил за всех Антон.

Они свернули между сосен вправо и, не выходя на опушку, направились в сторону железнодорожной линии. В леске их не было видно, но лесок не достигал железной дороги, опушка скоро свернула в сторону, впереди был голый участок поля, который предстояло переходить в открытую. Сержант раздосадованно помянул японского городского, помедлил, и Зоська подумала: пошлет кого-нибудь первым. Но не послал. Оглянувшись по сторонам и слегка пригнувшись, помчался по полю сам. За

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

ним, так же пригнувшись, широко засигал по снегу Антон. Пашка-толстяк выждал, пожалуй, больше, чем требовалось, и, когда сержант уже достигал невысокой железнодорожной насыпи, по-бабьи поводя задом, потрухал по свежим его следам. Зоська не стала ждать, когда он отбежит далеко, и побежала за ним. Хотя и было далековато, но она видела за насыпью лошадей и повозки, стоящие возле такой же сосновой опушки, там же виднелось несколько человеческих фигур, но разобрать отсюда, чем они занимались, было невозможно. Тем не менее с дороги, кажется, их не заметили, они благополучно перебежали от леса к насыпи, не услышав ни крика, ни выстрела. Пока вроде бы все обошлось...

Кажется, и действительно обошлось, она поняла это с облегчением, когда сама добежала до жиденьких колючих кустиков придорожной посадки и когда туда, вроде не очень пригибаясь, скорее ссутулясь, притрухал Салей. Сержант боком лежал на снегу и жестом положил всех подле.

– Всё тихо? Так... Теперь на коротких дистанциях...

Сильно пригнувшись, он вскочил на ноги и побежал вдоль кустиков, за ними побежал Антон. Зоська почувствовала, как сердце ее забилось сильнее то ли с усталости, или оттого, что опасность все увеличивалась – теперь им предстояло прошмыгнуть под самым носом у немцев. Ах, если заметят! Действительно, было бы оружие, а то... Разве что проявит свое умельство этот строгий сержант. Насколько он был ей несимпатичен прежде, настолько сейчас на нем сошлась вся надежда.

Может быть, километр они, сильно пригнувшись, бежали вдоль невысокой насыпи. Но вот насыпь почти вовсе сошла на нет, а главное, кончились кустики, сержант упал грудью на бровку канавы, и они попадали тоже. Они не решались выглянуть из-за насыпи и только прислушивались, но вроде на той стороне их еще не заметили. Что ж, предстояло самое трудное – дальше надо было ползти.

Рыхлый неглубокий снег занялся под утро тоненькой ломкой коркой, которая, однако, больно царапала покрасневшие Зоськины руки; ее юбка и колени очень скоро намокли, но она не ощущала холода. Напротив, ей стало душно под теплым платком, и она сдвинула его на затылок, она едва успевала за безостановочно мелькавшими в канаве сапогами Антона, боясь отстать и тем нарушить порядок. К тому же сзади, шумно пытая, на нее наседали Пашка – она раза два оглянулась, и его вспотевшее лицо оказалось возле самых ее ног. Где-то за ним, вскидывая обсыпанный, в армяке зад, ворошился Салей.

Так, воткнувшись лицом в снег и ничего не видя вокруг, они проползли с полкилометра, и Зоське уже начало казаться, что она больше не выдержит. В груди у нее горело с усталости, спина, плечи и живот – все обливалось липким горячим потом. Сбоку снова пошли реденькие кустики, кажется, уже недалеко был соснычок, как она едва не наткнулась в канаве на замерший Антонов сапог и тоже замерла, чуть приподняв голову. Только она обрадовалась неожиданной передышке, как сержант, обернувшись, яростным шепотом бросил: «Быстро! Вперед!» – и сапоги Антона замелькали с такой быстротой, что она сразу отстала. Из всех сил перебирая руками и размазывая коленями грязь под снегом, она бросилась за ним, больно ударилась коленом о какой-то камень в снегу, сжала зубы от боли. И все-таки она отставала. Она чувствовала близко притаившуюся опасность и понимала, что надо быстрее. Но быстрее она не могла. Она только закусил губу, когда, толкнув ее сапогом, через нее в какой-то непонятной спешке перевалился Пашка, она думала: перевалится еще и Салей, и приготовилась оказаться последней. Но Салей не стал ее обгонять, он упорно полз сзади. Антона она уже не видела, она безнадежно отставала и, чтобы убедиться, что она пропала, набралась решимости и выглянула из канавы.

Она не могла видеть вправо – все-таки их прикрывала невысокая насыпь «железки», зато одного взгляда влево было достаточно, чтобы похолодеть от страха. Совсем недалеко впереди с поперечной дороги тянулось к «железке» несколько возов с седоками. Пока они, наверно, ничего не замечали в канаве, но, подъехав ближе, несомненно, увидят в ней все. Сержант, по-видимому, рванулся проскочить раньше, может, под носом у этих саней, но проскочить он уже не успеет. На несколько коротких секунд Зоська обмерла от увиденного, не имея сил догнать ушедших вперед и не зная, что делать. Хватая ртом воздух, она лежала ничком в канаве, пока не почувствовала сильный толчок в сапог.

– Бягом! Бягом, ты не видишь?! – прикрикнул на нее Салей, и она вскочила.

Низко пригнувшись, она побежала в канаве за уходящими к сосняку тремя фигурами сержанта, Пашки и Антона, охваченная единственной целью – догнать. Самое страшное теперь для нее было отстать, потерять тех, от кого еще десять минут назад она готова была сбежать. Теперь она видела в них единственную для себя защиту, потеряв которую была обречена в этом поле.

Однако бежать было ненамного легче, чем ползти, она совершенно вымоталась и загнанно дышала открытым ртом. Сильно пригибаясь, она не могла видеть вправо, откуда как-то угрожающе гулко бабахнул первый винтовочный выстрел. Она не знала, стреляли по ней или, может, по тем, что ушли вперед, но она сразу упала, тут же вскочив от сердитого крика Салея:

– Бягом ты, раззява, туды-т твою мать!..

Не зная, кого больше опасаться – тех, что открыли огонь за насыпью, или совсем уже близко подъехавших по дороге, она, заплетаясь ногами, снова побежала по истоптанной следами канаве. Ушедших вперед она уже не видела, перед ее лицом лишь мелькал разрытый ногами снег, и она, низко склоняясь, бежала по этому снегу. Но выстрелы из-за насыпи загремели чаще, одна пуля, видимо попав в рельс, с пронзительным треском обдала ее щебенкой и снегом. Но Зоська не упала. Она только удивилась, увидев невдалеке по кювету попадавших партизан. Кажется, однако, они были живы, и Пашка даже стрелял через насыпь, остальные просто устало лежали. Зоська тоже упала возле знакомых растоптанных сапог Антона. Несколько минут хватала ртом воздух и слушала. Сержант все ругался, остальные молчали. Кажется, вперед ходу не было, путь к лесу уже был отрезан. Выпустив куда-то обойму, Пашка сполз задом с насыпи и убрал за собой винтовку.

– Собаки! – сказал он и вздрогнул от близко ударившей пули.

– Что? – спросил сержант с потным, совсем покрасневшимся лицом лежавший на бровке канавы.

– Вон, к лесу бегут!

Как поняла Зоська, это было и еще хуже. Если бегут к лесу, значит, хотят перехватить их на опушке. Куда же тогда им податься?

– А ну, дай! – протянул руку сержант и схватил у Пашки винтовку. – Салей! Жхни по тем, пусть испугаются! – кивнул он за канаву, а сам всполз выше к рельсу и, быстро прицелясь, выстрелил. Рядом в другую сторону выстрелил Салей, горячая гильза из его винтовки обожгла Зоськину руку. Пашка с Антоном лежали не шевелясь и только, приподняв головы, напряженно вслушивались в перестрелку. Сержант быстро выпустил обойму и вдруг крикнул:

– Бегом вперед! Быстро!!

И, вскочив, опрометью бросился по канаве, за ним с неожиданной прытью припустили Пашка и Антон. Зоська с Салеем снова оказались последними. Но Зоська теперь пуще всего на свете боялась отстать и, осклизаясь по откосам канавы, побежала так, как, казалось, не бегала никогда в жизни.

Однако через сотню метров они снова попадали возле маленького черно-белого столбика с цифрой 7 на боку. Частая винтовочная стрельба гремела, казалось, по всему полю. Сперва Зоська не слышала пуль, но когда на ее глазах от столбика взлетел вверх бетонный осколок, она тотчас ощутила их злую силу и теснее прижалась к земле. Спасала канава. Только долго лежать в канаве, наверно, было нельзя, они и без того потеряли много драгоценного времени; полицаи уже сжимали их с обеих сторон.

– По одному! – сказал, задыхаясь, Антон. – Короткими перебежками...

Сержант зло оглянулся на него, поискал глазами Салея.

– Салей, огонь!

Салей снова начал стрелять с колена по тем, что подбирались с дороги. Наверно, они там были уже близко, но Зоська не выглядывала, она только вздрагивала, когда

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

близкая пуля вонзалась в насыпь, обдавая ее щебенкой и снегом. Но вот, выбрав, наверно, момент, сержант рывком вскочил на ноги и, что-то прокричав, головой вперед бросился через рельсы, сразу исчезнув на той стороне однопутки. За ним, оглянувшись, менее ловко перебежал рельсы Пашка. Зоська лежала рядом с Антоном. Теперь, наверно, черед был за ним, но Антон почему-то медлил, и она, не поняв причины его промедления и чувствуя, что опять может отстать, на руках и коленях выскочила из канавы.

Она благополучно перебежала наискосок рельсы, ухватив взглядом уже вбегавшие в соснячок знакомые две фигуры ребят, и выпрямилась, чтобы перескочить неглубокую с этой стороны канаву. Но в этот момент что-то непонятное с чугунным звоном ударило ее в голову. Зоська пошатнулась, но не упала, в недоумении схватилась рукой за голову и, увидав на ладони кровь, поняла, что ранена. Она вяло перебежала канаву, влезла в засыпанные снегом заросли будылей и, зажимая ладонью рану повыше виска, побежала к недалекой опушке рощи.

Она боялась упасть и не оглядывалась. Только когда сзади и близко грохнул винтовочный выстрел, она на бегу оглянулась – это, пригнувшись, стрелял Антон. Салея не было видно, и она, шатаясь и очень боясь, чтобы не запнуться и не упасть, бежала по чистому снегу. Правая сторона головы как-то странно пухла от глубокой звенящей боли, кровь заливала ухо, щеку и шею под сбившимся на ворот платком, но она бежала к спасительной опушке рощи, где уже скрылись сержант и Пашка.

Антон догнал ее в двадцати шагах от опушки и снова на бегу выстрелил куда-то из винтовки. Впервые одним глазом (второй уже заплыл кровью) она взглянула в ту сторону, куда он стрелял, и ужаснулась: их настигали полицаи. Двое из них бежали с винтовками почти по пятам, один, остановившись, стрелял в Антона. Опушка молчала, сержант с Пашкой исчезли. Как-то увернувшись от пули, Антон перегнал Зоську и тотчас скрылся между сосенок. Зоська снова оказалась последней, полицаи были в ста метрах сзади. Боль пухла в голове, охватив всю правую сторону, обида терзала ее сердце, она чувствовала, что погибает глупо и совершенно напрасно. Но все же она заметила то место на опушке, где скрылся Антон, и под выстрелы и крики сзади тоже вбежала в сосняк. Теперь ее надежда была на Антона. У него была винтовка, он был ближе других. И Зоська бежала, как только могла бежать в чаще – раздирая руки, грудь, плечи, оберегая лишь голову от торчащих со всех сторон сучьев. Сзади слышались выстрелы и голоса, но, кажется, полицаи отстали и видеть ее не могли. Она побежала медленнее и, выбиваясь из сил, постепенно перешла на шаг.

На узкой полянке она увидела знакомые следы сапог на снегу и слепо побрела по ним. Чтобы не упасть, она то и дело хваталась рукой за ветки, другой зажимая рану. Теперь ей ничего не оставалось, как постараться догнать Антона, если он не ушел далеко, чтобы с его помощью перевязать рану. Сама она не могла этого сделать и боялась потерять сознание от потери крови. Она плохо видела в этой чаще своим одним глазом и обрадовалась, когда услышала за сосенкой треск ветки.

– Антон!..

– Ну что? Иди сюда...

С затянутого тучами неба сыпался мелкий снежок...

18

Антон подождал Зоську – а что ему оставалось делать, не бежать же ему вдогонку за этим баламутом-сержантом. Конечно, и сержант и Зоська теперь были ему ни к чему. Кажется, он выкрутился из беды, избежал самосуда, ушел от полицейской пули и даже вооружился винтовкой убитого на «железке» Салея. С Зоськой, наверно, все уже было кончено – зачем ему Зоська? Хотя... Кто знает, что будет дальше, но вот она выбежала из сосняка с залитой кровью щекой, и что-то в Антоне болезненно сжалось при виде ее недавно еще привлекательного, а теперь искаженного гримасой боли лица.

– Бинт есть?

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Бинта, однако, у нее не оказалось, у него тоже не нашлось в карманах ничего подходящего для перевязки. Надо было разорвать что-нибудь из белья, но не раздеваясь же тут, под носом полицаев. Прежде всего следовало унести ноги, коль уж оторвались от погони; каждая минута была дарована им для спасения.

– Вот черт! – выругался Антон, вслушиваясь в долетавшие с опушки голоса полицаев, – еще, чего доброго, кинутся по следам вдогонку.

Зоська, все зажимая ладонью рану, загнанно дышала, и он схватил ее за свободную руку.

– Как, терпеть можешь?

Она что-то сказала, но он, не расслышав, поволок ее сквозь туго пружинившие ветви сосенок – прочь от опушки, дальше, в глубь этой молодой рощи, пока ту не окружили полицаи. Окружат, тогда снова придется пробиваться с боем, что всегда пахнет кровью.

Но как-то неожиданно скоро роща кончилась, они выбежали на опушку, и Антон позволил себе остановиться, чтобы перевести дыхание. Зоська сразу упала на присыпанный снегом мох, а он сперва огляделся. Впереди лежало неширокое снежное поле, за ним темнела полоса новой рощи. Рассмотреть ее издали было трудно – сверху всюду сыпал снег. Но, может быть, снег теперь к лучшему, подумал Антон, он укроет следы, будет легче уйти от преследования. Слегка отдышавшись, Антон повернулся к Зоське, которая, уронив голову, боком лежала между сосенок.

– Ну, ты как?

Она не ответила, лишь простонала, сжав зубы. Плечо ее плюшевого сачка было в крови, платок с правой стороны тоже пропитался загустевшей кровью, на которую налипали снежинки. Антон прислонил к сухому сучку винтовку и решительно распахнул свой кожушок. Вытащив из-под свитера подол нательной сорочки, он отодрал от нее неширокую полосу и присел перед Зоськой.

– А ну, дай!

Кажется, девке здорово повезло сегодня – пуля слегка задела голову по касательной, а взяла бы на какой-нибудь сантиметр глубже, и перевязка уже не понадобилась бы. Морщась при виде сочившейся из раны крови, Антон обмотал свой лоскут поверх залепленных кровью и снегом волос, кое-как скрепил толстым узлом концы. Зоська, сильно побледнев, тихо постанывала, ее правый глаз, надбровье и даже щека заплывали мягкой синюшной опухолью. Перевязывая ее, Антон все время испытывал какое-то странное, неподвластное ему чувство, состоящее из жалости и почти непреодолимой безразличности.

– Ничего, – слабо утешил он, закончив перевязку. – Главное – ноги целы. Куда-нибудь да дойдем.

Она сама осторожно повязала поверх его лоскута свой платок, отчего ее голова стала непомерно большой и уродливой. С Антоном она не разговаривала, видно, едва преодолевая боль, и он не стал приставать к ней с вопросами. Он больше вслушивался в неясные звуки леса и однообразный шум сосен, с тревогой ожидая услышать голоса полицаев. Но полицаи, видно, отстали, лес был спокоен, ровно шуршала снежная крупа по кожушку на плечах.

– Как, идти можешь?

Зоська вместо ответа сделала немощную попытку подняться, и он, подав ей руку, помог встать на ноги.

С короткими остановками они перешли поле и достигли следующей сосновой рощи, делавшей здесь округлый изгиб. Держась поближе к опушке, только они начали обходить этот изгиб, как Зоська вдруг остановилась, переломилась вся в пояснице, и Антон, оглянувшись, понял: ее тошнило. Пока она содрогалась в судорогах, он растерянно стоял напротив, думая, как бы не пришлось нести ее на спине. Но нет, не пришлось, Зоська справилась с недугом, распрямилась, и они пошли дальше. Правда, она все время отставала, вынуждая Антона придерживать свой шаг, и шла, словно бы пьяная, то и дело оступаясь, вот-вот готовая упасть. Руку не опускала

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

от головы, смотрела лишь себе под ноги. Кроме того, она все время молчала, и Антон не окликал ее, терпеливо поджидая во время остановок. Наверно, ей надо было отдохнуть, но он стремился уйти подальше от полиции, а потом... Но он и сам толком не знал, что будет потом.

Миновав рощу, они долго брели по голой снежной равнине неизвестно куда, Антон давно уже не узнавал местности, наверно, он здесь никогда прежде не был и шел наугад. Снегопад не прекращался. Снежная крупа с ветром стегала с обеих сторон, чаще, однако, заходя сзади, и он думал, что направление выдерживал правильно. Видимость была скверная, а среди равнинного поля и вовсе ничего не стало видеть – в сплошной белой мгле лишь мелькали, крутили, носились снежинки. Но вот чуть в стороне от его направления что-то засерело неясным округлым пятном – показалось, стожок или, может, скирда соломы. Однако, взглядевшись, Антон догадался, что это – одинокое дерево в поле. Подумав, что пора отдохнуть, он свернул к этому дереву и, немного пройдя, сквозь сеть снегопада увидел вдаль и другое высокое дерево, а за ним ряд деревьев пониже, приземистые силуэты построек, соломенную крышу с трубой. Похоже, они вышли к деревне. Деревня теперь была кстати, в ней, наверно, придется оставить Зоську. Но если бы ночью. Днем появляться в незнакомой деревне всегда большой риск, тем более под носом у немцев,

Широко ступая в неглубоком снегу, Антон подошел к дереву и остановился. Это была роскошная груша-дичок с богатой, прямо-таки художественно сформированной кроной, раскинувшаяся на меже двух земельных владений. Ниже под деревом, полузаметенная снегом, горбилась большая куча камней, собранных с этого поля. На языке местных крестьян она называлась крушной. Если присесть пониже, за крушной можно было укрыться от ветра и постороннего глаза, другого укрытия поблизости не было.

– Вон деревня, видишь? – кивнул он Зоське, когда та притащилась к дереву.

– Княжеводцы, – каким-то странно изменившимся голосом тихо сказала Зоська, и Антон, внимательно посмотрев на нее, догадался: это от опухоли, уже охватившей всю правую сторону ее лица.

– Что, знакомая деревня?

– Знакомая. Летом тут у подруги была...

– Вот и хорошо. Будет где перепрятаться. Потемнеет – пойдем. А пока садись, надо ждать.

Он вывернул из-под снега большой плоский камень на краю крушин, и Зоська с готовностью опустилась на него, снова, как при зубной боли, уронив на руки голову ее левой, здоровой, стороной.

– Лягнуло твое задание, – сказал Антон, садясь на другой камень рядом. – И мое тоже. Что теперь делать?

Зоська, тихо постанывая, молчала, и он, приоткрыв затвор, заглянул в магазинную коробку винтовки. Там было всего два патрона и стреляная гильза в патроннике. Гильзу он выбросил на снег, патроны утопил глубже в коробку. Два патрона, конечно, мало, почти ничего, разве что на крайний, критический случай. Хорошо, однако, что раздобыл винтовку. Правда, сам едва не угодил в полицейские лапы, но винтовочку все-таки прихватил. Жаль, не успел поворошить у Салея в карманах, наверное, там нашлась бы пара обойм. Но и так едва добежал до опушки. Во всяком случае, с винтовкой уже можно будет возвратиться в отряд. Только что он скажет в отряде о своем трехдневном отсутствии?

Черт, как нескладно все получилось!

И надо же было ему выбрать такой неподходящий момент, нет чтобы переждать пару дней в лагере и услышать, что произошло в Сталинграде. Действительно, поспешишь – людей насмешишь. Но кто знал, что дела в Сталинграде обернутся таким неожиданным образом и в такое именно время. Да и Зоську никогда прежде не посылали в Скидель, как он мог упустить такой благоприятный момент?

Эх, Зоська, Зоська! Как она глупо разрушила все его замыслы и едва не погубила его и себя тоже... А может, она спасла себя и его? – вдруг подумал Антон. Если иметь в виду Сталинград, то действительно удержала от губительного последнего

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

шага. Знала ровно столько, сколько знал он, а поди вот... Что значит чутье! у него же такого чутья не оказалось, и он едва не сунулся в этот полицейский гадюшник в Скиделе. Теперь нетрудно было представить, чем бы все кончилось, окажись он у того же Копыцкого. Вот и выходит, что Зоська была осмотрительней и косвенным образом спасла Антона.

Отвернувшись от ветра, Антон терпеливо сидел на камне, подняв воротник кожушка, винтовку положил на колени. В этой суете, беготне и перестрелке он не заметил, сколько прошло времени, и думал, что скоро, пожалуй, начнет смеркаться. Но пока было светло, все сыпал снег, и в каком-нибудь километре от груши серели голые кроны деревьев и крыши хат в Княжеводцах. Надо было еще подождать. Он не чувствовал холода, и если бы не ветер, то в кожушке ему было, в общем, терпимо среди этого метельного поля под грушей.

Вот только как Зоська?

– Она где живет? Подруга твоя? – Антон обернулся к Зоське. – С какого конца?

Зоська медленно подняла осыпанную снегом голову и коротко взглянула на него со страдальческим выражением на искаженном лице.

– А тебе зачем?

– Ну как подойти? Если с этого конца, то можно рискнуть и теперь. Не тянуть до ночи.

Она опять уронила уродливо обвязанную голову левой стороной на колени и чуть слышно спросила:

– Ты спешишь?

– Спешу, конечно. Погулял, хватит. Пора и честь знать.

– Скидель недалеко. Пятнадцать километров.

– А зачем Скидель? Мне в отряд надо.

– Вот как! Значит, передумал?

– Ну хотя бы и передумал. Ты же слышала: заминка в войне получилась. Немцев от Сталинграда погнали. А там у них лучшие силы.

Зоська смолчала, и он стал подтягивать самодельный ремень на винтовке. Видно, этот Салей был такой партизан, как и его винтовка с ржавым, забитым грязью затвором, приклад был расколот продольной трещиной, ремень вместо тренчика привязан к ложе бечевкой. Надо будет все это привести в божеский вид, иначе какой же он партизан с никудышным оружием? Теперь, когда, к беде или к счастью, у него сорвалось с этим Скиделем, Антон даже как-то оживился, несмотря на пережитое, все-таки он возвращался к трудной, но уже ставшей привычной жизни в лесу, среди своих, знакомых людей. Вот только как они примут его после столь длительной самовольной отлучки – этот вопрос, как заноза в теле, торчал во встревоженном его сознании. Он еще не додумал ничего до конца, но уже и без того чувствовал, что все будет зависеть от Зоськи. Зоська может его спасти, а может и погубить, когда он вернется к своим. Значит, прежде всего надо поладить с Зоськой.

– Зось, а Зось! Ты на меня не злись, – сказал он примирительно, почти с просьбой в голосе. – Я же хотел как лучше. Для тебя и для себя.

– А я и не злюсь. Что на тебя злиться...

– Вот молодец! – сказал он обрадованно. – Выйдем к своим, поправишься... Мы еще поладим с тобой, правда ведь?

– Нет уж, мы не поладим.

– Это почему? Ведь я же тебя...

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Помолчи лучше, – глухо перебила она, и он подумал: неужто обиделась напрочь? Или очень болит рана? Рана, конечно, скверная, как бы Зоська, если даже и выживет, не осталась навсегда дурочкой. Голова все-таки не мягкое место сзади. Голову прежде всего беречь надо, потому солдатам на фронте выдают каски. Умные люди придумали. Если поврежден череп, то можно и умереть, это неважно, что пока стоишь на ногах и при памяти. Помер же вон от такой раны партизан из первого взвода Сажнев, хотя перед тем трое суток был на ногах и чувствовал себя неплохо.

– Слушай, Зоська, – сказал он помягче, почти ласково. – Ты вчера предлагала написать командиру. Ну обо мне, в общем...

– Что написать? – не поняла она.

– Ну, ты говорила. Что я помогал тебе и прочее. Что прикрыл группу там, на «железке». Ведь если бы не я, они бы всех, как Салея. Ведь так же?

– А зачем писать? – холодно сказала Зоська. – Ты что, меня уже хоронишь?

– Я не хороню. Но ведь ты остаешься, – кивнул он в сторону деревни, – а мне топать в отряд.

– Уж как-нибудь и я доберусь в отряд.

– Но пока ты доберешься, меня могут... Как я там оправдаюсь?

– О чем же ты раньше думал?

– Раньше о другом думал. О тебе, между прочим! – начал раздражаться Антон.

Он в самом деле чувствовал себя обиженным ее несговорчивостью. Вот же привел бог связаться с этой упрямницей, ни в чем невозможно с ней сладить. Прямо-таки странно, откуда это у нее берется? Судя по миловидной внешности, никогда не предположишь в ней этой твердости, с виду такая покладистая, улыбающаяся, без грубого слова, всегда с готовностью понять и поддержать шутку. А тут... Язва стала, а не девка. Такие ему еще не попадались. Всегда он умел договориться с любой если не сразу, то погодя, добиться своего с помощью ласкового слова и веселой шутки. С женщинами ему в общем везло, и он нередко полагался на них в трудный миг своей жизни. А тут сорвалось...

Снег продолжал сыпать, но вроде тише стал ветер и, кажется, начало смеркаться. В поле вокруг потемнело, померкло заволоченное тучами небо. У Антона озябли в сырых сапогах ноги, и он, встав с камня, начал, притопывая, разминаться под грушей. Деревья и крыши в Княжеводцах все еще тускло серели за полем, он знал, что через час-полтора станет темно. Он отведет Зоську в деревню, разыщет ее подругу, авось там будет спокойно и Зоська отлежится у знакомых. Ему же надо пробираться в отряд. Снег пока неглубокий, за ночь он сможет отмахать километров тридцать, местность по ту сторону Немана ему хорошо знакома. Но, прежде чем расстаться с Зоськой, надо добиться от нее свидетельства, что он помогал ей в разведке, а не околичивался неизвестно где трое суток. Конечно, он понимал, что даже и с таким свидетельством будет нелегко избежать скандала, но с помощью Зоськи все, может быть, обойдется. Без нее же ему капут, самому ему не оправдаться.

– Уже темнеет, – измученным голосом сказала Зоська, приподняв голову.

Да, пожалуй, уже можно было, не боясь быть замеченными, выходить в поле. Покамест они подойдут к деревне, стемнеет еще больше, но Антон тянул время: ему хотелось напоследок окончательно договориться с Зоськой.

– Сейчас пойдем, – сказал он. – Давай руку, вставай, погрей ноги.

Он помог ей подняться с камня, и она, пошатнувшись, едва удержалась на ногах. Антон подхватил ее под руку, но нетерпеливым движением локтя она отстранила его.

– Я сама.

Что ж, пожалуйста, подумал он, давай сама, если сможешь. Но она не спешила сама, повернув набок голову, сперва неловко взгляделась в едва различимые в сумерках

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
очертания Княжеводцев.

– Я пойду в деревню, – глухо сказала она, не оборачиваясь. – А ты иди за Неман.

– Зачем? – удивился Антон. – Сперва доведу тебя, устрою.

– Нет, – сказала она.

– Это почему? – насторожился он. Упорное неприятие его помощи чем-то озадачивало Антона, но он еще не догадывался, что тому было причиной.

– Я пойду одна.

– Нет, одну я тебя не пущу.

Она еще постояла, горбясь и болезненно прижимая руку к повязке, и вдруг молча опустила обратно на камень.

– Вот еще фокусы! – сказал он. – Ты что, ночевать тут собралась?

– Иди за Неман! – тихо, но твердо сказала она. – Потом я пойду в Княжеводцы.

– Ах, вот как! – догадался Антон. – Не доверяешь, значит?

– Не доверяю.

– Да-а, – несколько растерянно сказал он и тоже опустился на камень повыше.

Оказывается, возможно и такое, подумал Антон. Он прикрывал ее огнем на «железке», не бросил в лесу, увел от преследования полицаев. Он, можно сказать, спас ее, рискуя собой, а она ему не доверяет. Она не хочет показать, куда пойдет в Княжеводцах, чтобы он не выдал подругу, что ли? Но он уже не собирался идти к немцам, он возвращался в отряд – чего же ей еще надо?

С трудом подавляя в себе озлобление против Зоськи, которая сегодня не переставала удивлять его своими необъяснимыми выходками, он вдруг почувствовал степень ее враждебности к нему, и ему сделалось страшно. Ведь с таким чувством к нему она запросто выложит в отряде все, что с ними случилось, и ему наверняка несдобровать. Если там узнают о его неосуществленном плане относительно Скиделя, услышат о его намерения обратиться к Копыцкому, его просто сведут в овраг, где он и останется. Но это было бы ужасно! Именно теперь, когда дела на фронте вроде вдохнули надежду, когда он решился до конца оставаться партизаном, когда он навсегда размежевался с немцами и с Копыцким, он может погибнуть от рук своих бывших товарищей. И всего лишь потому, что где-то усомнился, по молодости захотел выжить и в трудный момент не совладал с нервами...

И погубит его та самая, с которой он готов был связать себя на всю жизнь и из-за которой, может, едва не совершил свою самую большую глупость.

Но ведь не совершил же – вот что, наверно, главное. Говорил, да. Но мало ли что может наговорить человек, когда жареный петух ему в зад клюнет!

– Хорошо! – примирительно сказал Антон после долгого тягостного раздумья. – Хорошо... Я пойду за Неман. Но ты обещаешь мне помочь.

– В чем? – отрывисто спросила Зоська, не подняв головы.

Обеими руками она опиралась о камни.

– Не говори никому, что я хотел с тобой... в Скидель.

Ока сделала попытку повернуться к нему на камне, но только повела плечами. Тяжелая ее голова упрямо тянула всю ее книзу.

– А что я вместо скажу? Что проспала с тобой ночь в оборе? Что не дошла до Скиделя, потому что заночевала на хуторе? Что провалила это задание, доверяясь тебе? Что круглая дура, идиотка и преступница, которую только под суд?

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Кажется, она заплакала, совсем уронив голову и подергиваясь плечами, и в этот раз он не пожалел ее – он почувствовал жалость к себе самому. Действительно, перспектива перед ним очерчивалась более чем незавидная, надо было срочно предпринимать что-то для своего спасения. Но он не знал что и угрюмо сидел под крушней, тоскливым взглядом обшаривая вечерний простор. В поле почти уже стемнело, деревья и крыши в Княжеводцах тонули в быстро надвигавшемся сумраке, снежная крупа сонно шуршала в колючем сплетении ветвей груши.

– Вот ты, значит, какая! – с медленно нараставшим негодованием сказал Антон. – За себя дрейфишь! Провалила задание! И хочешь провалить мою жизнь?..

– За свою жизнь ты сам ответчик. Ты ее так направил. Разве я тебя не отговаривала?

– Допустим, я ошибся. Признаю. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Кто на печи сидит. А мы на ошибках учимся. Кто это сказал? Ты же образованная, должна знать. И ты еще женщина, ты должна быть доброй. А не такой непримиримой.

– Моя доброта меня и погубила, – тихо сказала Зоська.

– Ну вот! – подхватил Антон. – Сама признаешь. Так почему же ты и меня загубить хочешь? Я же тебе не враг!

– Бывают свои хуже врагов, – тихо сказала Зоська. – Врага можно убить. А в своего не так легко выстрелить.

– Ах, вот как! Ты уже готова и стрелять! Это за что? За мою заботу?! За то, что я тебя спас?!

Антон вскочил на ноги – ее обвинения привели его в бешенство. Он – хуже врага?.. Он весь дрожал в гневе от одних только воспоминаний обо всем пережитом с ней за последний сутки. Сколько раз он ее выручал, сколько помогал ей, сколько пережил из-за ее глупых выходов! Конечно, он не забыл, что было и другое, что он допустил грубость, и она вправе была обидеться. Но теперь он не хотел помнить это. Он помнил лишь содеянное им добро и возмущался от мысли, что за это его добро она все время пыталась отплатить ему злом. И еще сожалеет, что не имела возможности выстрелить.

– Сука ты подлая! – крикнул он с тихой яростью, и она, отшатнувшись, замерла на камне.

Минуту спустя, не сказав ни слова в ответ, Зоська с трудом поднялась на ноги и, поддерживая рукой голову, куда-то побрела в обход крушни. Антон с ненавистью смотрел на нее сзади, она была ему омерзительна, и он в мыслях сказал себе, что не окликнет ее никогда. Пусть как знает спасает себя сама, а хочет, пусть гибнет, его дело малое. Скорее всего и погибнет. За первым же углом в деревне напорется на полицая, и завтра со связанными руками очутится в Скиделе. Но пусть, он горевать не станет. С него уже хватит. Отныне он ей не товарищ и знать ее больше не хочет.

Искоса проследив, как она шатким шагом обогнула крушню, направляясь к деревне, Антон со злостью закинул за плечо винтовку. Ему надо было в обратную сторону – к Неману, в лес. Пути их навсегда разошлись, и он не жалел ни о чем.

Он прошел десяток шагов от груши и остановился в растерянности, пораженный новой мыслью: а вдруг ей повезет? Она разыщет в деревне знакомую и расскажет ей обо всем, что произошло между ними? Рано или поздно об этом станет известно в отряде... Нет, он не мог допустить, чтобы она появилась в деревне. Для него это равносильно самоубийству...

– Зося! – крикнул Антон дрогнувшим голосом. – Зося!

Зоська словно не слышала и не обернулась. Ее темная с уродливой головой фигура медленно отдалялась от груши, и Антон вскинул винтовку. Он помнил, что в магазинной коробке всего два патрона, но глаз у него был всегда зорек, а рука сохраняла твердость. Боясь упустить ее в сумерках, он торопливо прицелился в черную спину и плавно нажал на спуск.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Выстрел, сверкнув красным огнем, на секунду ослепил его, Антон опустил винтовку и пристально взгляделся в сумрак. Зоська темным пятном мертвенно лежала на снегу, раскинув в стороны руки. Не сводя с нее взгляда, он перезарядил винтовку, но второго выстрела, наверно, уже не потребовалось. К тому же последний патрон было разумно сберечь на какой-нибудь крайний случай.

– Вот! Так будет лучше, – зло сказал он себе, выругался, сплюнул и быстро зашагал через поле к лесу.

19

Ей было плохо, очень болело в боку и трудно было дышать, она все время пыталась сбросить с себя какую-то непонятную, давившую ее тяжесть, но у нее не доставало усилий, и тяжесть продолжала ее давить – мучительно и непрерывно. Слабые проблески ее сознания то и дело затягивались мутным наплывом беспомощности, она переставала ощущать себя, забываясь в немощи и боли. В короткие моменты прояснения лишь острее становилась боль, через которую едва пробивались невнятные обрывки яви, и Зоська не могла понять, что с ней случилось.

Но безотчетная работа сознания все-таки побуждала ее очнуться. Она ощутила, что умирает, и вся встrepенулась в испуге. Страх смерти вынудил ее на новый отчаянный рывок сознания, она вдруг очнулась, чтобы тут же опять погрузиться в беспомощность от сильной, охватившей ее всю боли.

Однако главное, наверно, все-таки было сделано, она уже осознала грозящую ей опасность и набралась решимости противостоять ей. Она очень боялась смерти и очень хотела жить. Новым подсознательным усилием она прорвалась сквозь боль и вернула себе ощущение окружающей ее реальности.

Она еще не могла раскрыть глаз, но уже поняла, что лежит на снегу и замерзает. В довершение к боли стужа жестоко терзала ее израненное, обескровленное тело, она вся сотрясалась в дрожи, и первым ее побуждением было унять эту дрожь. Но дрожь еще усилилась, охватив конечности, вместе с тем она почувствовала руки, ноги и попробовала повернуться, но только немощно простонала от боли в боку. И без того нечеткое сознание всегда обрывалось на этой боли, и она не могла вспомнить, почему тут лежит. Наверно, стужа и боль вышибали все из ее памяти, и она, как младенец, начинала постигать мир с того, что было в непосредственной от нее близости.

Прежде всего это был снег, она бессознательно сгребла каждой рукой по горсти. Одуревшие пальцы плохо ей подчинялись, но она все-таки чувствовала в них холодную влажность снега. Такая же холодная, знобящая влажность была у нее под боком, отчего морозною стужей зашло бедро, на котором она лежала. Сквозь боль ощутив мокроту, она снова напряглась в усилиях повернуться и приоткрыла глаза.

Вокруг было темно, с сумрачного неба сыпался мелкий снежок, рядом на ветру трепетала склоненная над снегом былинка. Зоська перевела взгляд ближе и не узнала собственных рук – так густо их засыпало снегом. Испугавшись, что скоро ее совсем занесет в этом метельном поле, она двинула одновременно двумя ногами и снова потеряла сознание.

Она не могла знать, сколько на этот раз пролежала в беспомощности, но, когда сознание снова воротилось к ней, она уже вспомнила, где лежит. И она почувствовала еще, что особенно сильная боль, обессилившая ее тело, исходит из левого бока. Боль эта не дает ей вздохнуть, не дает резко двинуться, она же давит ее непосильным удушающим грузом, распластав на морозном снегу.

Но почему она одна? Почему она ранена в этом ночном снежном поле? Где люди? Где партизаны и как она здесь очутилась?

Потребовалось несколько долгих минут и немалые усилия памяти, чтобы она медленно восстановила в сознании разрозненные моменты прошлого, предшествующие ее ранению. Она вспомнила Антона и поняла, что его рядом нет. Память ее, ухватившись за конец этой ниточки, потянула за нее дальше, и через несколько невнятных картин Зоська вспомнила полевую грушу и крушню под ней, потом – последний разговор с Антоном... Еще она куда-то пошла... Да, она же направилась в княжеводцы! Ведь тут же за полем, совсем близко от груши, видны были

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
княжеводские крыши, и она пошла к ним, бросив Антона... А потом... что же было потом?

Потом был выстрел сзади...

Зоська не хотела плакать, но слезы сами собой полились по ее лицу, и она не вытирала их. Она снова, перестала что-либо видеть впотьмах и едва удержалась в сознании. Превозмогая острую боль в боку, она уперлась правой ногой в слежавшийся снег и попыталась сдвинуться с места. Тело ее и в самом деле немного подвинулось, но Зоська тут же и выдохлась, опять и надолго замерев в неподвижности. И все-таки она очнулась, собрала в себе жалкие остатки сил, нащупала правым коленом ямку в снегу и продвинулась еще на полметра.

Она поползла – медленно, с продолжительными остановками, едва превозмогая приступы слабости, от которых мутилось сознание. Теперь, когда она вспомнила, как близко была деревня, она не хотела умереть в поле, она рвалась к людям. Но где они, люди? Как долог к ним путь и сколько еще надо силы, которой у нее почти не осталось?

Она ползла долго, казалось, целую вечность, временами теряя сознание. Иногда болевые удары с такой злобной яростью вонзались в ее бок и спину, что она беспомощно замирала на месте, долго не решаясь снова шевельнуть рукой или ногой. В голове ее что-то болезненно дергалось, казалось, там выдирали из черепа мозг, но к боли в голове она кое-как притерпелась. Хуже было с болью в боку, которая подкарауливала ее ежесекундно и коварно сражала под дых, стоило только ей неосторожно двинуть левой ногой. Это была подлая и жестокая боль, и Зоська боялась, что она, видно, не даст ей доползти до деревни.

Но она должна доползти. Мысль об Антоне сильнее всего другого гнала ее в Княжеводцы. Она понимала, что может скоро умереть, но прежде она должна предупредить своих об этом перевертыше. Иначе он вернется в Липичанку, вотрется в доверие и снова предаст в удобный для него момент. Предать, обмануть, надругаться ему ничего не стоит, потому что для него не существует моральных запретов, он всегда будет таким, каким его повернут обстоятельства. А обстоятельства на войне – вещь слишком изменчивая, и такой же скользко-изменчивый по отношению к людям будет Голубин.

Но почему он такой? Или он таким родился, унаследовав характер от предков? Или таким его сделала жизнь? Но разве жизнь его была труднее, чем жизнь Зоськи с ее повседневным трудом ради куска черного хлеба? Но так жило в этих местах большинство здешних людей, и любой самый забитый бедняк из богом забытой деревни знал, что нельзя поступаться совестью, нельзя идти против своих. Почему же Голубин не усвоил этого?

Зоська жестоко страдала от боли, душевные муки, однако, терзали ее не меньше. У нее не было никакой уверенности, дотянет ли она до деревни, доберется ли наконец до людей. Но ей очень нужны были люди, только они могли помочь ей. Было бы ужасно по отношению к себе, к матери, к товарищам, пославшим ее из леса, пойти и не вернуться, как не вернулся с задания их прежний командир Кузнецов, не вернулась, загадочно сгинув, группа Суровца, никогда не вернется убитый на «железке» Салей, да и мало ли еще кто. Нет, она должна собрать в себе силы, не поддаться смерти и вернуться к своим. Хотя бы затем, чтобы рассказать, что случилось и почему она не смогла сделать то, что должна была сделать.

Она помнила: деревня была совсем недалеко от груши, но не знала, сколько она проползла в этом снегу. Ветер все сыпал и сыпал мелкой крупой, заматавая ее след в поле, но совершенно заметет он его, наверно, не скоро. «А вдруг сюда вернется Антон?» в ужасе подумала Зоська. Вернется, чтобы добить ее, – ведь это вполне логично. И так удивительно, как он не прикончил ее: может, посчитал убитой? Или торопился уйти?

Зоська давно плохо видела одним левым глазом, да и было темно. Боль в голове не дала ей обернуться, и она только прислушалась, замерев на снегу. Но, кроме порывов ветра и привычного шума метели, кажется, ничего не было слышно.

Ее временами поташнивало, как после угара, сознание снова начало меркнуть, и она подумала, что, видно, не доползет. Видно, тут и останется. Но пока она еще что-то могла, она из последних сил подвинула себя в рыхлом снегу один, второй,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

третий раз и замерла в неподвижности. Впереди что-то чернело в метельных сумерках, но, падая в забытьё, она не успела рассмотреть что. Потребовалась долгая мучительная пауза, прежде чем притупилась острота боли в боку, и, чуть повернув голову, она увидела впереди ограду. Парные кольца с жердями-перекладинами изломанной линией тянулись от нее к деревне. Это была летняя, ограда в конце огородов, значит, дома уже близко. Зоська обрадовалась этому открытию, будто предвестнику ее спасения, и, сделав невероятное усилие, достигла наконец угловых кольев ограды. Чтобы помочь себе проползти еще шаг-другой, она ухватилась за тонкий конец нижней жерди, и тот, тихо хрустнув, сломался. Больше силы у нее не осталось. Обескураженная неудачей, она полежала немного и, подняв в руке обломок, ударила им по жерди повыше. Ее удар гулко отдался в ночной тишине, и тотчас где-то вдаль послышался визгливый собачий лай.

Зоська внутренне встрепенулась – это была удача; она подняла над собой палку и постучала несколько раз сильнее. Сигнал ее передался по ограде дальше, показалось, лай послышался ближе. «Лай же, лай, милая собачка! – подумала Зоська с нежностью. – Лай! Авось нас услышат...»

В счастливой уверенности, что доползла и что сейчас кто-то к ней выйдет, она вся обвела и надолго потеряла сознание.

20

Навсегда разделавшись с Зоськой, Антон почувствовал облегчение, почти успокоение, словно свалил с плеч заботу, которая долго не давала ему покоя. Теперь свидетелей не было, никто не мог знать о его намерениях, его постыдной попытке улизнуть от войны. Он опять был чист, честен, безгрешен в отношении к Родине, людям и своим товарищам. Подогреваемый медленно остывающей злостью на Зоську, он не чувствовал никакого угрызения – подумаешь, убил девку. В мире, где шла война и каждый день убивали тысячами, где каждую минуту могли убить его самого, это маленькое убийство вовсе не казалось ему преступлением – убил потому, что иначе не мог. Сама виновата. Погибла через свой дурацкий характер, который, в такой обстановке рано или поздно привел бы ее к могиле. Не застрелил ее он, ее все равно убили бы немцы, вытянув вдобавок кое-какие партизанские сведения, – кому от этого было бы лучше?

Скорым шагом Антон пересек померкшее поле и вышел к хвойной опушке рощи. Невысокие густые сосенки плотно смыкали свой ряд, и он с усилием пролез между ними, стряхнув, на себя белесую в ночи тучу снега. Низко сгибаясь, почти на ощупь, он начал пробираться в глубь рощи. Он думал, что вдаль от опушки сосняк станет реже, но вся роща оказалась плотно сросшейся хвойной чащобой, пробраться через которую даже днем стоило большого труда, не говоря уже о ночи.

Продираясь сквозь хвойные заросли, он больно расцарапал руку, разодрал кожушок на плече и стал думать уже не о том, чтобы выдержать направление к Неману, а хотя бы выбраться из этой чащобы. Но, круто взяв в сторону, он угодил в какой-то хвойный сушняк, оставшийся, наверно, после одного из летних пожаров, где и вовсе невозможно было ни пройти, ни пролезть из-за сплошного густосплетения колючих и твердых, как стальные спицы, ветвей. Поняв, что это место лучше обойти стороной, Антон повернул обратно, потом снова начал забираться влево. Но куда бы он ни подался, всюду его подстерегала непролазная чаща из колючек, ветвей и сучьев, отчаянно цеплявшихся за кожушок, обдиравших лицо, руки, то и дело срывавших с головы шапку. Он устал, разогрелся, взмок от пота и набившегося в каждую прореху снега.

Уже потеряв надежду когда-либо выбраться из этих колючих дебрей, Антон, сгибаясь в три погибели, преодолел очередную делянку особенно густого подроста и очутился наконец на опушке. Впереди было поле, он стряхнул с себя снег, ощущая на разгоряченном лице упругие удары ветра, по-прежнему сыпавшего впотьмах снежной крупой. Он пошел по полю, дав себе слово не лезть больше в заросли, где в такую ночь и такую погоду можно разве что скрываться от врагов. Ему же надо было поскорее попасть на Островок или, может быть, переправиться через Неман в другом подходящем месте. Теперь это заботило его больше всего другого, потому что задержка с переправой грозила завтра новой бедой в этом малознакомом приречном районе с его полицией, засадами, патрулями по деревьям, хуторам, на дорогах.

В поле стояла ночная тишь, идти было легко, Антон понемногу пришел в себя и

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

почти успокоился. Он старался не думать ни о недавнем убийстве, ни о том, что ему пришлось пережить с Зоськой. Что было, то все прошло, внушал он себе, в его положении разумнее позаботиться о будущем. По всей вероятности, придется разыскать того баламута-сержанта и его друга Пашку, хотя Антон даже не знал их фамилий и не имел представления, из какого они отряда. Но они бы смогли подтвердить его отважный поступок при переходе «железки», все-таки он прикрыл их огнем и тем дал возможность спастись. Правда, они же могут рассказать и о неприятном конфликте с Зоськой на хуторе... Может, лучше не ссылаться на этих людей, это хотя и усложнит объяснение причин его самоволки, зато позволит ему отречься от Зоськи: ее он не видел, не встречал, ничего о ней не знает. Пошла и пропала, мало ли что может случиться с партизанской разведчицей во вражеской зоне... Внешне такая позиция выглядела вполне убедительной и не должна была вызвать больших подозрений, надо лишь вести себя твердо и нахраписто. Где был трое суток? Ходил в деревни, пытался разжиться обувкой. Сапоги совсем развалились, сколько раз говорил комзвода – никакого внимания. А какой же из него партизан зимой без обуви? Почему не доложил начальству, не попросился отпустить? Шиш бы его отпустили, если бы он попросился.

Авось не застрелят.

После непролазных зарослей роши шагать в ночном поле было одно удовольствие. Занятый своими мыслями, он отмахал километра три, если не больше, как вдруг обнаружил, что переменялся ветер. Сперва дул вроде слева, а потом стал заходить сзади. Или, может, он сам, а не ветер переменял направление? Антон остановился, прислушался. Но в поле ничего не было слышно, кроме привычных порывов шуршащего снегом ветра. Тогда он вгляделся в снежные сумерки, в которых тонуло вокруг равнинное полевое пространство, и тоже не смог различить ничего определенного. Все же он взял чуть в сторону, показалось, там что-то возвышалось над горизонтом, хотя это мог быть мрачный край неба, и скоро, к его удивлению, из сумрака выплыла темная стена роши. Но, по его представлениям, здесь не должно быть никакой роши. Похоже, что он заблудился.

Слегка озадаченный, он остановился в нескольких шагах от опушки, оперся на снятую с натруженного плеча винтовку. Взглядом он попытался проникнуть дальше в ветреные ночные сумерки, но взгляд схватывал каких-нибудь сто метров, не больше. На протяжении этих ста метров впереди и стольких же сзади была заметна лишь плавная кривизна опушки, которая почему-то показалась ему знакомой. Да они же сегодня проходили тут с Зоськой! Еще тут ее вытошнило, и он, не в состоянии помочь ей, стоял и смотрел на покалеченную огнем сосну на опушке. Вон, кажется, и та погорелица, голые сучья которой черными вилами торчат в притемневшем поле. Черт возьми, куда его занесло!

Надо было заворачивать обратно, обогнуть рошу и выходить к Неману, но Антон, еще не давая себе отчета зачем, пошел к опушке. Возле деревьев было затишнее от настывшего в поле ветра, он подошел к сосне и прислонился спиной к ее черному шершавому боку. Все-таки давала о себе знать усталость, слегка кружилась голова, тягучий ветреный гул не прекращался в ушах. Позволив себе непродолжительный отдых, он почему-то перестал думать о том, как выйти к Неману и где перебраться на его левый берег. Его мысли уже занимало другое, а перед глазами стояло знакомое закругление роши и за ней – памятное поле с грушей, где полузаметенное снегом лежит теперь остывшее тело Зоськи. К утру его, наверно, заметет совсем...

Странно, но он уже не испытывал к ней прежней неприязни, в глубине его чувств родилось новое отношение к ней, похожее скорее на сожаление и тихую безотчетную грусть. Он сокрушенно вздохнул, подумав, что все могло сложиться иначе, если бы... Но слишком много различного включало в себя это «если бы», чтобы здесь размышлять о нем. Одно несомненно: война порушила все вековые отношения между людьми, поставила человека в условия, когда не подчиниться ее злой воле не было никакой возможности. Вот и здесь: разве он хотел ее убивать? Просто он сам хотел выжить, а выжить вдвоем сделалось невозможным.

Ночь нещадно отмеривала свои минуты, ему надо было уходить, а он все стоял под сосной, хоронясь от холодных порывов ветра, монотонно стучавшего по коре снежной крупой. Что-то мешало ему повернуть в обратную сторону и навсегда покинуть эти места. Чуть смежив глаза, он видел в ветреных сумерках поля знакомую грушу с грудой камней на меже... Это было совсем недалеко отсюда, сразу за рошей. Если идти скорым шагом, вся дорога туда займет минут двадцать. Робко заявив о себе, странное это желание стало быстро набирать силу и охватило его целиком. Он

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

понимал всю бессмысленность этой затеи и спрашивал себя: зачем туда идти? Но робкий голос сомнения скоро умолк, капитулировав перед желанием. Антон еще колебался, но уже знал, что долго не выдержит. Ему стало необходимо еще раз побывать на том месте, взглянуть на мертвое тело Зоськи, убедиться, что она долго не мучилась, что вокруг все тихо-спокойно, его никто не разыскивает, и потом с облегченной душой убраться за Неман.

Нервно содрогнувшись от нетерпения, он понял бессмысленность сопротивления желанию, ставшему сильнее его, и закинул за плечо винтовку.

Весь дальнейший путь к груше был ему хорошо знаком, да и линия опушки не дала потерять направление, он обогнул рошу и оказался на княжеводском поле. Здесь предстояло пройти по прямой не более одного километра. Темная беззвездная ночь, кажется, и еще потемнела, не прекращаясь, сыпался снег, колючие его крупинки больно стегали по настывшим рукам и лицу. Мороз, по-видимому, усиливался. Антон пристально вглядывался в полумрак и еще издали узнал раскидистую крону груши, в ветвях которой неприятно посвистывал ветер. На прежнем месте под грушей горбилась заметенная снегом куча камней. Но он, только мельком взглянув на грушу и камни, пробежал мимо них в поле, где, однако, не увидел того, что ожидал увидеть. Очень хорошо помнил, как Зоська упала, раскинув на сером снегу черные руки, и лежала так, видная издали. Теперь же приблизительно на том самом месте ничего вроде не было, и он подумал: как быстро ее занесло снегом, но снег с самого вечера сыпался мелкий, даже на неровностях его намело не так много, под межой и крушной он был только по щиколотку. Немного встревоженный, Антон пробежал дальше, чем требовалось, повернул обратно. Странно, подумал он, неужели он ошибся в определении расстояния? Но он хорошо помнил, что Зоська отошла перед выстрелом метров на пятьдесят от груши, иначе в сумерках он бы в нее не прицелился. Так где же она могла быть? Неровной восьмеркой Антон обежал поле, снова зашел от груши, поточнее прикинул направление выстрела. Но на том месте, где она упала, сраженная его пулей, ее определенно не было.

Почуввав неладное, он пригнулся, чтобы различить на снегу следы, и увидел темное небольшое пятно, сгреб его в горсти вместе со снегом – несомненно, это была смерзшаяся кровь Зоськи. Но где же тогда сама Зоська?

Он упал на колени и обеими руками стал ощупывать снег, сразу наткнувшись пальцами на едва заметную для глаз, широко промятую в снегу борозду с ямками от коленей и понял, что она уползла. Это открытие ошеломило его. Со смешанным чувством испуга, облегчения и страха он вскочил на ноги и, забыв на прежнем месте винтовку, пригибаясь, побежал по неровной разрытой борозде – через бурьян, мимо полузаметенного полевого куста в направлении невидимой отсюда, но недалеко деревни. Когда все стало ясно, Антон вяло распрямился, замедлил шаг, остановился совсем и тоскливым потерянным взглядом уставился в сумрак. Он ее не убил, только ранил, и она уползла в деревню, где у нее знакомые, связные, подруги. Ему туда хода нет.

С трудом пытаясь осмыслить новый поворот в своем положении, он вернулся назад, подобрал винтовку. Называется, пожалел патрон, и погубил жизнь. Проклятая Зоська! Сколько же это может еще продолжаться? Посчитав ее убитой, он скоро утратил свой гнев против нее, он даже готов был полюбить ее, мертвую, могущую своей смертью сослужить для него добрую службу. Но теперь он ее ненавидел снова. Она явилась чудовищно непреодолимой преградой в его и без того запутанной жизни. Как ему избавиться от нее?

Но избавиться, наверно, было уже невозможно, упустив ее, он терял над ней свою власть. Напротив, уйдя в Княжеводцы, она обрела грозную власть над ним и теперь может сделать с ним все, что захочет. Наверняка в это самое время, когда он мечется по темному полю, она уже рассказывает кому-то о его злодействе. Спустя несколько дней обо всем станет известно в отряде.

Неровным усталым шагом Антон шел против ветра, не чувствуя его ледящих порывов, понуро уронив голову, засунув в карманы руки. Плевать ему было на стужу, на этот проклятый ветер в голом промерзшем поле. Война загоняла его в тупик, из которого не было выхода. Куда он теперь мог податься, где обрести пристанище? Он даже не знал, где переночевать, поесть, обогреться; опасность угрожала ему с обеих сторон. По привычке он продолжал опасаться полиции и немцев, но и партизаны с нынешней ночи становились для него врагами. Теперь было бессмысленно искать переправу за Неман – в Липичанку ему путь заказан.

Но куда же тогда не заказан?

Все яснее сознавая безысходность своего положения, он видел немало виновников своих неудач, среди которых, однако, не было его самого. За тридцать без малого лет своей жизни он не привык признаваться себе в прегрешениях, и если случались накладки, любую вину готов был переложить на других. Сам же он в собственных глазах всегда оставался безгрешным, так как, будучи строгим к другим, был великодушным к себе самому. Себя он любил и уважал, хотел только добра, которого, случалось, его лишали другие – немцы, партизанское начальство, иногда женщины. В данном случае поперек его жизни роковым образом встала партизанская разведчица Зося Нарейко, виновница всех его бед.

Антон брел в ночном поле, лишенный всяческой цели, душевно опустошенный, обозленный против других и, конечно, прежде всего против Зоськи. Правда, теперь он корил и себя за оплошность, за то, что пожалел патрон и воздержался от второго выстрела. Зачем теперь ему этот патрон, зачем эта винтовка? Разве для того, чтобы убить себя? Но – дудки, убивать себя он не станет. Он еще молод и еще почти не жил. Несмотря на войну, хотел начать жить, как испокон веков живут люди, но не удалось. Видно, нельзя так все сразу – жить для себя, для других, воевать, любить женщину и быть счастливым. Жаль, поздно он убедился в этом. На кровавом собственном опыте, за который как бы не пришлось заплатить все той же собственной жизнью. Но жизнь у него одна, почему он должен в молодые годы расставаться с нею?

Отупев от неумного встречного ветра, снега и усталости, Антон наткнулся в ночи на невысокую железнодорожную насыпь, почти не остерегаясь, перешел ее в рост и побрел дальше, стараясь не сбиться с направления, взятого от Княжеводцев. Не сразу он понял, что имеет целью тот польский хутор, где так неудачно провел последнюю ночь с Зоськой. Почему именно тот, а не какой-нибудь другой хутор, он не мог дать себе отчета. Может быть, он шел туда потому, что там все же были знакомые ему люди и он рассчитывал перекусить у них и обогреться. При этом ему было неважно, как они отнесутся к нему, он зла против них не питал, хотя прежний урок намеревался учесть на будущее. Теперь он не выпустит из избы никого, пока сам из нее не выйдет. Но прежде всего он поест и чуток отдохнет в тепле, а потом будет видно. Потом он что-либо придумает.

Ему следовало что-то срочно придумать ради спасения, но мысли никак не шли дальше ближайших забот этой ночи и того в общем знакомого хутора, а что делать дальше, он не мог взять в толк. Ясно было лишь то, что к партизанам ему пути нет, к Копыцкому тоже. К Копыцкому был некоторый смысл явиться с Зоськой, без нее же в полиции его не ждет ничего хорошего. Вот же чертово положение, в которое загнала его война!

По-видимому, он все-таки ослаб за эти сутки непрерывной ходьбы по снегу без сна и без пищи. Несколько раз он замечал, что начинает дремать на ходу, ощущение ежеминутной опасности притупилось в его сознании, он не узнавал местности и, кажется, снова не выдержал направления. С усилием стряхнув с себя дрему, он огляделся и понял, что снова сбился с пути. Как и позапрошлой ночью, перед ним лежала на пойме котра.

«Это же надо дважды заплутать на одном месте», – думал он, глядя на извилистую полосу кустарника вдоль речушки. По всей видимости, хутор остался правее, ближе к Скиделю. К тому же стало светать. Недавно еще плотный, затканый снегопадом сумрак заметно редел, снежные сумерки подернулись прозрачной рассветною синькой, долгая зимняя ночь тихо уступала свои права дню. Антон не заметил даже, когда прекратил сыпать снег, которого здесь намело почти по колено. Сзади за ним тянулись свежие, видные даже во мраке следы, и он думал, что с такими следами далеко не уйти, так его быстро настигнут в поле.

Как и позапрошлой ночью, ему ничего не оставалось, как повернуть вдоль реки вправо. Правда, он мог повернуть и влево, но там, на узком мысу при впадении Котры в Неман, была большая деревня, а в большой деревне всегда недремно несет службу полиция. Антон предпочел не искушать судьбу-мачеху и держаться от деревень подальше. Но и до хутора было далековато, затемно он просто мог не успеть. И тогда он с облегчением вспомнил, что где-то поблизости отсюда ютилась та самая развалюха-обора. Другого пристанища в этих местах, наверно, сыскать не удастся.

Недалеко отойдя от реки, он скоро нашел эту обору, еще издали увидав над ней старое, обсиженное вороньем дерево. Уже совсем рассвело, поле вокруг лежало пустое, дул морозный северный ветер. Антон осторожно выбрался из кустарника, вслушался. Было чертовски холодно, даже воронье сидело на дереве, зябко нахохлясь, без своего извечного грая. Человеческих следов возле оборы вроде бы не было видно, и он с неизвестно почему дрогнувшим сердцем вошел в ее широко распахнутые ворота.

За ночь снежный сугроб возле дверей сильно увеличился и достиг противоположной стены, возле притолоки виднелись полузасыпанные следы, но, кажется, это были следы его и Зоськиных ног. Низенькая дверь в кубовую была растворена, и он нерешительно переступил высоковатый порог.

Тут было немного затишнее от ветра, но холодно, как и в поле. Антон опустился на слежалую гнилую солому, прислонился спиной к обшарпанному боку стены. Руки сунул за пазуху, колени прикрыл полой кожушка. Было бы неплохо вздремнуть хотя бы на недолгое время. Двадцати минут ему бы, наверно, хватило, чтобы снять отупение и обрести прежнюю бодрость. Большого он не мог позволить себе.

С покорностью отдаваясь сразу охватившей его приятной истоме, он какое-то время еще напрягал слух, боясь прозевать опасность. Но, кроме невнятного шелеста соломы на крыше, сюда не проникало никаких больше звуков, было покойно, тихо и глухо. Готовясь уснуть, Антон думал, что не прошло еще двух суток, а как все катастрофически изменилось в его судьбе. Два дня назад с ним была Зоська, и с ней в нем жила надежда. Пусть глупая, несбыточная надежда, но ею тешилась его очерствевшая в лесных дебрях душа. Но вот стало так, что они разошлись врагами, жить на этой земле вместе с Зоськой сделалось невозможным. Он обрел одиночество, Зоська навсегда ушла из его жизни, но ему оттого легче не стало. По-прежнему он пребывал в безысходности и перестал понимать почему. Неужели все дело в Зоське? Но как тогда понять, что он, здоровый, неглупый мужик, попал в такую зависимость от этой сморчки? Разве Зоська сильнее его, умнее или более приспособлена к этой кровавой войне? Ведь после своего ранения она уже дышала на ладан, одной ногой стояла в могиле, и он лишь тихонько толкнул ее. И тем не менее она выжила, где-то укрылась, и по-прежнему власть над его судьбой находилась в ее руках.

Он задремал, как ему показалось, не более чем на пять минут и тут же проснулся от близкого голоса за стеной. Кто-то, вяло матерясь, беззлобно понукал лошадь. Как и два дня назад, Антон испуганно выскочил из кубовой и сразу же в проеме ворот увидел на дороге сани. В них, стоя на коленях, какой-то мужичок в стеганке глухим голосом материл рыжую, с облезлыми боками лошадку. Правил он в сторону Скиделя.

– Эй, стой! – крикнул Антон, появляясь в проеме ворот.

Мужичок оглянулся на обору и придержал коня, не зная, однако, как поступить дальше. Антон тоже не знал, зачем он остановил его, разве чтобы разжиться поесть? Или разузнать про обстановку в окрестностях и принять какое-либо решение. Он чувствовал, что без определенного решения протянуть долго не сможет. Невозможно жить между землей и небом, надо поскорее спускаться на землю. Где только лестница на эту утраченную им землю?

В поле и на дороге вроде никого больше не было, можно было выйти из оборы, но Антон предпочел позвать мужичка к себе,

– Ты, давай сюда!

Он не сомневался, что мужичок без промедления исполнит его команду, и для пущей убедительности удобнее перехватил винтовку. И в самом деле мужичок бросил на солому вожжи и, оставив на дороге сани, не спеша, с явной опаской пошел к обору. Пока он шагал по свежему снегу, Антон рассматривал его самодельный, из овчины трех на голове, старую латаную стеганку и лапти-чуни с обернутыми поверх грязных портянок веревками. Маленькие, часто мигающие глазки на заросшем лице еще издали настороженно уставились в вооруженного человека у оборы.

– Стой! – приказал Антон, когда мужичок шагов на пять не дошел до ворот, и тот послушно остановился. – Хлеба нету?

- Не-а, – удивленно сказал мужик. – Яки ж хлеб? Дома...
- Ясно. И ничего больше? В смысле пожрать...
- Ничого. Дорога ж не дальняя. Так што ж...
- А куда едешь?
- Так в Скидель, – махнул он рукой на дорогу и замер в ожидании новых вопросов.
- На базар?
- Не. Яки ж базар в понедельник? К доктору еду.
- Заболел?
- Ды не. Я не заболел. Але...
- Баба, значит? – вел малоинтересную беседу Антон, имея в виду исподволь выпытать у этого случайного проезжего кое-что из того, что его интересовало в первую очередь.
- Не баба – девка.
- Ах, девка... А там, на дороге, не видел – полицаев нет?
- Не, не видел. Мож, где и есть, а на дороге не видел.
- И партизанов не слышно?
- Не-а. Не слышать. У нас, знаете, не слышно ничего. Глухо живем.
- А ты из какой деревни?
- Да из Княжеводцев, – сказал мужичок и показал в обратный конец дороги.

Антон испуганно замер. Упоминание о Княжеводцах заставило его забыть все другие вопросы – кажется, появилась возможность выяснить, может, самое для него главное, и он, сузив глаза, резко спросил мужичка:

- Ах, за доктором едешь?
- Ну.
- К девке?
- Ну.
- К дочке?

Моргнув слезящимися глазами, мужичок вдруг замялся, словно поперхнулся перед ответом, и Антон, не давая ему оправиться, схватил за куцый отворот стеганки.

- Говори, к кому доктора! Быстро!
- Так к девке, сказал...
- Какой девке? К Зоське из Скиделя? Ну? Раненой в голову? Да? Да? Говори скорее!..

Но скорее говорить, наверно, уже не было надобности. Мужичок, беспомощно заморгав глазами, казалось, в мгновение лишился речи, руки его затряслись, растерянным взглядом он бессмысленно водил по рассвирепевшему от роковой догадки, обросшему колючей бородкой лицу Антона. Антон тоже зашелся в странной, охватившей его лихорадке, смекнув яростно и самоочевидно, что судьба в последний раз бросала тонущему свой спасательный круг, за который он должен схватиться или пойдет ко дну. И, не размышляя долго, он из последних, еще оставшихся у него сил рванулся к этому кругу. Пока Зоська жива, он должен настичь ее в этих лесных

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Княжеводцах. То, что ему не удалось на хуторе, должно удалиться теперь. Конечно, это не очень красиво по отношению к девушке, которую он любил, но в этом его спасение. В конце концов, не он придумал эту проклятую войну, где если не предашь – не уцелеешь. Что еще ему остается?

– Так, ясно! – сказал Антон, резко оттолкнув от себя мужика. – А ну – в Скидель! В Скидель скорее! – закричал он. – Быстро!!!

В испуге и явном смятении мужичок повернул к дороге, но Антон обогнал его и, подбежав к саням, схватил вожжи. – Но-о! Скорей, рысью!

Хлестнув лошадь, он ввалился на ходу в розвальни, мужичок едва успел ухватиться за поперечину сзади, лошадка натужно рванулась по переметенной за ночь дороге, и Антон, став на колени, принялся нахлестывать ее вожжами. Главное для него было – успеть.

21

Все последующее доходило до Зоськи в неясных, порой кошмарно-пугающих образах, бессвязных урывках чужих разговоров. Она слышала, как кто-то окликнул ее, как громче залаяла собачонка. Потом ее бережно подняли на руки и долго несли куда-то.

Она все время молчала, не находя сил ответить на тревожные чьи-то вопросы, да к ней и не очень приставали с вопросами, видно, скоро поняв, что она чуть жива. Зоське ничего не оставалось, как целиком положиться на этих людей, зная, что в Княжеводцах ей плохого не сделают. В Княжеводцах всегда помогут, если только ей еще можно помочь.

Она пришла в себя снова от острой, ударившей под самое сердце боли, раскрыла глаза и увидела близко над собой лампу с надбитым закопченным стеклом. Свет лампы поначалу ослепил ее, но все-таки она успела заметить рядом чье-то немолодое, озабоченное, со сведенными бровями лицо. Чьи-то холодные руки деликатно касались ее обнаженного бока, и она поняла: перевязывают. Зоська с напряжением стонала, не в состоянии молча выдержать боль, и женский, обращенный к ней голос сочувственно заговорил:

– Болит, девчатка? Такая рана!.. Потерпи, девчатка.

Конечно, она будет терпеть, она стерпит все, только бы остаться жить. Как никогда прежде, именно теперь она очень хотела жить. Если это еще возможно...

– И кто тебя так? – голосом погромче участливо спросил мужчина, но она только промычала в ответ. Разговаривать она не могла. Даже сама удивилась: слышать – отлично все слышала, а сказать ничего не могла. Как во сне.

Новый болевой приступ отбросил ее в забытие, долгий промежуток времени она нестерпимо мучилась в фантастическом мире кошмаров. Наверно, она стонала, возможно, у нее начался жар, потому что, когда она снова очнулась, услышала все тот же ласковый голос женщины:

– На девчатка, молочка попей. Тепленькое молочко, гляди полегчает...

Она сделала усилие и чуть приподняла голову. Чужими иссохшими губами не сразу нашла край шершавой посуды и торопливо сглотнула что-то безвкусное.

– Ну, еще немножко попей... Молочко те-еплое... «Молочко те-еплое», – звучит милым голосом мамы, которая третью неделю хлопочет возле пятилетней Зоськи и тихонько украдкой плачет. Зоська тяжело больна, вся в жару, ничего не ест, только пьет молочко. Она пластом лежит в углу на кровати, укрытая кожушкой поверх лоскутного маминого одеяла, и очень ослабла. Но у нее ничего не болит, только все время хочется спать. И она спит – днем, утром, ночью, просыпаясь лишь затем, чтобы попить молочка. Болеть ей, однако, нетрудно, даже в общем приятно, потому что все к ней предупредительно-ласковы, добры и с радостью исполняют каждое ее желание, главное из которых – чтобы не плакала мама. Но это желание редко сбывается, и коротенький мамин всхлип резкой тревогой вырывает девочку из сна, вернее, из тягостно-липкой дремы, Зоська пугается и тоже хочет заплакать.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Но она такая слабачка, что только тихонько шепчет обметанными губами: «Не надо, мамочка... Мамочка, не надо...» И мать, слышав ее, сразу утихает, приходит за занавеску и, склонясь над дочерью, бережно гладит ее заостренное исхудавшее личико шершавыми, не по-женски большими руками. Зоська успокаивает, хочет улыбнуться в ответ и слабым голосом пытается утешить маму:

«Мамочка, я не умру. Я не умру, мамочка...»

Но ее наивное утешение вызывает у матери новый, безудержный приступ плача. Уронив на постель голову, мать долго сотрясается в безутешном рыдании, и Зоська с недетской решимостью думает: нет, она ни за что не умрет, она будет жить, потому что как же тогда ее любимая, бедная мама?

...Потом в полудреме она слышит чей-то тихий недалекий разговор-шепот, но там уже новые голоса, похоже – мужские, и до сознания ее доходит обеспокоенное слово доктор. Она догадывается, что это значит, и хочет сказать, что не надо ее везти к доктору, который ей неприятен с детства, потому что доктор – человек из другого, неизвестного ей мира и с ним связаны новые малоприятные для нее переживания. Теперь у нее другие, не менее важные причины избегать доктора, но у нее нет сил сказать об этом, и она лишь тихонько стонет.

– Попей молочка, девчатка. Попей тепленького...

– Ну что ты пристала к ней с молочком? Видишь, не может! – раздраженно гудит мужской голос, в котором Зоське слышатся знакомые ноты, и она вся напрягается. Но нет, это не отец...

Отца она меньше любила, наверно, потому, что он был неразговорчив и строг, а иногда круто обходился с матерью. Но в раннем далеком детстве Зоська, может, больше других боготворила именно отца, особенно в редкие для него минуты досуга, когда он не был занят работой и находил возможность заняться детьми. Из каких-то глубоких уголков ее памяти выплывает давнишний день кануна праздника троицы в начале лета, полузаросшая муравкой дорога в теплой мягкой пыли за околицей, и они с сестрой, семенящие за отцом. Вытянутой в сторону рукой Зоська ведет по стеблям колосющейся ржи, вспугивая осевших на ночлег серебристых бабочек, острохвостые ласточки лихо носятся в погожем предвечернем небе, и за отцом тянется горьковатый аромат березовых веток, целую охапку которых они наломали в роще. Дома их ждал предпраздничный порядок в избе, только что вымытый мамою пол был густо забросан пахучими стеблями аира, они сразу принялись украшать хату ветками и обильно понатыкали их всюду, где только могла держаться хотя бы самая малая веточка. Всю ночь в хате стоял удивительный аромат леса и луга, Зоське снились счастливые сны, и вся ее детская жизнь была преисполнена предвкушения какой-то огромной и скорой радости.

...Она снова ощущает себя во власти знакомой с детства болезненно-немошной расслабленности, когда хочется только покоя, тишины и небытия, потому что в яви – страдания и боль, и вместе с тем в ней немая апатичная успокоенность за свою судьбу, которая теперь от нее не зависит.

Со временем она замечает, что ритмично раскачивается и плывет куда-то, словно во сне. Но сна нет, это уже явь. Зоська полураскрывает глаза, перед которыми – косматый край укрывшего ее колушка и яркая синь рассветного неба. Мерные плавные толчки куда-то влекут ее, и ей даже приятно от этого ровного убаюкивающего движения в неизвестное. Не сразу она догадывается, что ее везут по полевой санной дороге. Она не может спросить куда, но она и не тревожится. Значит, так надо, она лишь хочет понять, кто с ней? Чувствуется чье-то присутствие рядом, наверно, это возница, но кто? Ей бы только взглянуть на своего спасителя и ничего больше. Об Антоне она не думает – будь он проклят, убийца! Главное, она спасена, даст бог – поправится, и тогда она с ним посчитается. Она посмотрит в подлые его глаза, еще он повалется у ее ног. Если раньше не перебежит к немцам.

– Но-но, шевелися, милая...

Это все та же, поившая ее молочком тетка, и Зоське становится покойно, она уже привыкла к ее, схожему с материнским голосу. Невысказанная благодарность щемящей тоской сжимает то-то внутри, и из Зоськиных глаз скатываются к уголкам губ две щекотные студеные слезинки.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Ничего, девчатка, все будет хорошо. Перепрячем тебя в хорошее место, как-нибудь очуняешь. Молодая еще, жить будешь, деток родишь. Не век же этой проклятой войне продолжаться, – как свежий родничок в летний полдень, обнадеживающе звучит рядом, и Зоська благостно успокаивается под теплым кожушкой.

Авось в самом деле правда: страшное позади, и она как-нибудь еще выкарабкается из своей беды.

1977 год

Перевел с белорусского автор

П.ШЕСТАКОВ

ВЗРЫВ

РОМАН

Советские войска в Сталинграде вели ожесточенные бои за центральную и южную части города. На отдельных участках фронта противнику удалось выйти к Волге...

После долгих и жестоких пыток в тюремной больнице Харькова скончался секретарь Харьковского подпольного обкома КП(б)У И. И. Бакулин. В тот же день гитлеровцы расстреляли членов подпольного обкома: бывшего секретаря Старо-Салтовского райкома КП(б)У А. А. Корзина, А. М. Китаенко, хозяйку явочной квартиры М. А. Омельченко, связную Барановскую, братьев Першиных...

Белорусский подпольщик-партизан И. Б. Коноподский взорвал кинотеатр в Микашевичах. Во время взрыва погибло 152 фашистских карателя...

Во время тяжелого боя с карателями был тяжело ранен и вскоре умер командир партизанской бригады К. С. Заслонов...

Советское правительство сделало заявление «Об ответственности гитлеровских захватчиков и, их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы».

Из краткой хроники «СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (сентябрь – ноябрь 1942 г.)

Лаврентьев летел в этот город через тридцать с лишним лет после того жаркого летнего дня, когда советские танки уже прорвались на окраины, угрожая перерезать последнюю дорогу, что шла вдоль морского берега, а они еще не выехали со двора тюрьмы. Солдаты зондеркоманды со злыми, озабоченными лицами швыряли в раскрытые двери газового автомобиля, окрещенного душегубкой, мешки с пожитками; в воздухе кружились хлопья пепла от сожженных документов, а штурмбаннфюрер Вайнерт, сменивший после взрыва убитого Клауса, внешне спокойный, только расстегнувший кобуру на впалом животе, говорил, держась за открытую дверцу «оппель-капитана»:

– Скорее, Отто. Мы вас ждем.

Лаврентьев забрался на заднее сиденье, и машина тронулась, объезжая трупы расстрелянных. Это были в основном случайные, захваченные в облавах люди, но танковый прорыв заставил ускорить ликвидацию, и ночью их расстреляли. Ему запомнилась женщина в длинной крестьянской юбке. Ее худые босые ноги с загрубелой, привыкшей подолгу обходиться без обуви кожей мелькнули возле самых колес машины, странно неподвижные в суматохе бегства.

Потом они проехали полуразрушенный центр и выбрались на магистраль, мощную плохим булыжником. Вдоль дороги горели хаты, крытые камышом, с телеграфных столбов свешивались перерезанные провода. Обочиной шли отступающие солдаты – пыльные, усталые, в заношенных полевых мундирах, но шли организованно, уступая превосходящей силе, еще не понявшие, что уходят навсегда и мало кому из них суждено добраться до своих, таких непохожих на эти домов. До конца войны оставалось почти два года...

– Вы не уступите мне место у окошка?

Лаврентьев поднял глаза. Посадка еще продолжалась, и в салон вошла высокая девушка с сумкой через плечо. Красивая девушка, из тех, кому не принято отказывать. И хотя Лаврентьеву хотелось увидеть город сверху, он подчинился и уступил место.

Она уселась удобно и захватила длинными пальцами горстку конфет, предложенных бортпроводницей.

– Обожаю аэрофлотские конфетки...

Лаврентьев пристегнул ремень и закрыл глаза, дожидаясь скверной, требовательной боли в висках. Собственно, ему не стоило лететь; но поехать поездом и целые сутки приближаться к этому городу, думать о нем он тоже не мог. Самолет между тем начал маневрировать, выбираясь на взлетную полосу. Там он, как положено, притормозил, и тут же гул двигателей резко усилился. Когда Лаврентьев открыл глаза, самолет уже казался неподвижным, а салон заливало заоблачное солнце. Боль на этот раз оказалась снисходительной.

– Какая жалость, – сказала девушка, прижав нос к стеклу, – ничегошеньки не видно. Сплошная вата.

– К югу рассеется, – пообещал Лаврентьев.

Девушка натянула на загорелые коленки край короткой юбочки с вышитым ярким цветком и достала из сумки книжицу в голубой обложке, необычного служебного формата. Лаврентьев не заметил, что было написано на обложке, – девушка быстро раскрыла книжку на заложенной обрывком газеты странице, – но страницу видел хорошо. Она была типографски расчерчена сверху вниз, и каждая графа заполнялась соответствующим текстом. Дальнозоркий Лаврентьев пробежал глазами крайний.

«Камера начинает панораму... Фокус переводится на фотографию... Камеры «Конвас», «Родина». Кран-стрелка, тележка, рельсы».

И рядом:

«Гестаповец вытягивает руку с фотографией в сторону Лены.

– Кто это? Отвечай немедленно! Ты знаешь этого человека?!

Лена качает головой. Говорит твердо:

– Если бы я и знала его, то никогда бы не предала.

Гестаповец в ярости:

– Мы заставим тебя говорить!»

Лаврентьев прикрыл глаза. Боль, пощадившая на взлете, вернулась, чтобы взять свое. Он вытер платком повлажневший лоб.

- Вам плохо? – спросила девушка.
- Спасибо. Я неважно переношу взлет.
- Хотите кисленькую конфетку?

Он не расслышал. Другая фраза, звонко прозвучавшая по-немецки в его памяти, заглушила слова попутчицы. «Ты будешь жрать свое дерьмо в душегубке!» – вот что должен был сказать гестаповец.

- Возьмите. – Она протягивала ему конфету.
- Спасибо. Сейчас пройдет, я знаю.

Нужно справиться! Он же готовил себя к этой поездке, к этому стремительному перемещению во времени и пространстве... Готовил, но долго откладывал, сначала говоря себе твердо: ехать не нужно, потом мягче: еще не пришло время. И вдруг решился: поеду. Почему? «Когда я итожу то, что прожил?..» Но разве уже пора? Ему еще далеко до шестидесяти. Он хорошо выглядит. Он может прожить еще... Сколько? Нет, лучше не считать. Как не считал он дни осенью сорок второго, когда время, казалось, остановилось...

Недавно, уже готовясь, он заглянул в справочник. Сейчас в городе живет почти миллион людей, вдвое больше, чем до войны. А в те дни было тысяч двести, остальные сражались в армии, эвакуировались, спасались в селах, многих угнали в Германию. Половина ютившихся в пустом городе – старики и дети. Старики умерли, дети не помнят. Значит, остается сто тысяч. Сколько из них уехало, переселилось в другие города и места!.. Кто же помнит? Несколько тысяч пожилых, занятых внуками и пенсионерскими проблемами? Капля в городе, где половина жителей родилась после войны и живет в ином историческом измерении. Это они трудятся, любят, заполняют улицы, а тех разве что в сквере на скамеечке увидишь... И никто из них ничего не знает о нем.

Почему же он так волнуется? Почему ему так трудно подавить боль? Что из того, что случайная девчонка-попутчица держит на коленях сценарий о войне? Сколько этих картин, глупых и неглупых, крутятся в темных залах, а теперь и с доставкой на дом, серия за серией демонстрируя под вечерний чай красавцев в отглаженных мундирах, без страха и упрека, не знающих сомнений и поражений... Ну и пусть крутятся! Пусть нравятся. Ведь минуло больше трех десятков лет, ушло так много, остался исторический итог – Победа, и хорошо, что людям нравятся герои, пусть отутюженные чуть лучше, чем это возможно на войне, удачливые чуть больше, чем это случается в жизни, побеждающие всегда, будь враг глуп, как в старых фильмах, или хитер и коварен, как в новейших... Наверно, это исторически справедливо. Трагедия уходит, миф утверждается. Что мы помним о наполеоновских войнах? Картинно скачущие эскадроны? А десятки тысяч трупов, разорванных ядрами, исколотых штыками за один световой день Ваграма или Ватерлоо? Их помнили только те, кто видел. Запомнили до конца дней. И хватит...

Лаврентьев постарался улыбнуться, открывая глаза. Девушка смотрела на него озабоченно:

- Прошло?
- Проходит.
- А меня никогда не укачивает, – сообщила она. – Наверно, это очень мучительно? Вы так изменились...
- Да?
- Да... Были таким...
- Каким же?
- Мужественным... – Она замялась.
- А стал жалким, – подсказал Лаврентьев.

– Нет. Я хотела сказать, мужественным, но высокомерным, а стали беззащитным.

Высокомерным? Он не впервые слышал такое и всегда спрашивал себя: что это – старая маска, до конца дней искажившая лицо, или защитная реакция человека, который не может откликнуться на душевный порыв с равноценной искренностью? Человека, который однажды и навсегда вынужден был закрыться в себе и никогда, нигде и никому за все эти тридцать лет – ни другу, пришедшему поделиться бедой, ни женщине в постели, ни случайному соседу в вагоне-ресторане дальнего поезда – не мог рассказать о том, что пережил в этом городе и что определило его судьбу и сделало таким, каким его считали многие: сухим, необщительным и кажущимся высокомерным человеком, устроившим себе удобную, спокойную жизнь холостяка, свободного от долгов, и денежных и моральных... Он привык к этому и не протестовал, даже видел определенные преимущества такого отношения к себе: оно ограждало, предохраняло от неожиданностей человеческого общения... Но вот пришла минутная боль, и незнакомая девчонка, живущая в таком далеком от него, инопланетном мире, подсмотрела то, чего не подозревали другие, знавшие или считавшие, что знают его много лет...

– Вы наблюдательны, – сказал он.

– Ужасно люблю наблюдать за людьми. Это мне нужно. Профессионально.

Когда-то это было необходимо и ему, однако в другой профессии.

– Вы, кажется, актриса?

– Да. Хотя и не совсем еще. Я учусь. Но меня пригласили сниматься.

– Поздравляю. Наверно, был конкурс?

– Вы не поверите! Я не проходила кинопроб. – Она засмеялась. – Они там запутались со знаменитостями, кого брать на главные роли, а о моей забыли. Думали, всегда успеют, найдут, упустили все сроки и... вызвали меня просто по фотографии. Представляете? А я на снимках совсем непохожа на себя. Совсем! Страшно подумать, что будет, когда они меня увидят! – И она всплеснула руками, явно не веря в собственные опасения.

– Могут и назад отправить? – спросил Лаврентьев, тоже не веря в неудачу этой оптимистичной девушки.

– Меня? Ни за что! Я везучая. Мне всегда везет вот так – по-сумасшедшему... Если бы кинопробы, тогда другое дело... А так наверняка. Я верю в везение. Снимусь назло всем врагам.

– У вас их много?

– Не иронизируйте! Достаточно. Но я их всех... – И она, как мальчишка, вытянув указательный палец, «выстрелила»: – Кх-х! Кх-х! Кх-х!

Почему люди так любят стрелять? У него промелькнули в памяти радостные мальчишеские лица возле тира, оглашающего рыночную площадь бодрой призывной музыкой, киноковбой, сокрушающий из кольта бутылку в салуне, фотография наемника, опоясанного пулеметными лентами от шеи до коленей, облетевший весь мир снимок знаменитого писателя с пулеметом у распахнутой двери вертолета... И наконец, оттуда, из того времени, когда он сам ходил с тяжелой кобурой на поясе... Но не выстрел, нет, а только прикосновение к затылку пальца пьяного Клауса и хохот... «Геникшус!» Это шутка, конечно, профессиональная шутка на товарищеской вечеринке – камарадшафтс-абенд. Геникшус – выстрел в затылок.

– Вам и по сценарию придется стрелять?

– Нет. По сценарию убьют меня. Какая жалость, правда?

Эта девушка все время менялась. То казалась болтливой и глуповатой, то вдруг в болтовне ее чувствовалось нечто иронично-серьезное, будто она просто играет недалекую болтушку, а на самом деле подсмеивается над собой, над чем-то в собственном характере, с чем не может справиться, хотя и знает, что это не

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
украшает ее. Но Лаврентьев думал не о ней.

– Вы будете играть молодую партизанку?

– Представьте себе! Вот уж не думала.

– Почему?

– С моим-то характером? Я бы моментально провалилась в подполье... А может быть, и нет. Не знаю. Это ведь другая жизнь, совсем другая.

– Многие ее хорошо помнят.

– Помнят? А может быть, просто выдумывают? Это их молодость, романтика. Все в голове перепуталось. Мой отчим, например, с каждым годом рассказывает о войне все красивее. Какие они были храбрецы, какие замечательные друзья, какие прекрасные девушки их любили. Не война, а кино какое-то...

– Как же было, по-вашему, на самом деле?

– Я же сказала, что не знаю. Понимаете, не знаю! Думаю только, что ужасного было гораздо больше... Я недавно катастрофу видела. Две машины... У одного человека из брюк торчала большая раздробленная кость. Как на рынке, в мясном павильоне... А на войне такое видели каждый день. Я бы с ума сошла. – И, словно перепугавшись по-настоящему, она резко сменила тон: – То ли дело играть в мушкетерском фильме! Например, госпожу Бонасье. Как она красиво умирает, отравленная злодейкой миледи!..

И девушка показала, как, по ее мнению, должна уходить из жизни очаровательная госпожа Бонасье, – томно склонила голову на плечо и перекинула на щеку золотистые волосы.

Лаврентьев невольно улыбнулся.

– Но как же вы все-таки предполагаете играть свою героиню?

– Как скажет режиссер. Если б вы знали, как я его ненавижу!

– Ну, с вами не соскучишься! За что вы его так строго?

– Сколько вы знаете режиссеров? – ответила она вопросом.

– Лично ни одного.

– Ваше счастье, а по фильмам? Дай бог, десяток, верно?

– Не считал.

– Хорошо, пятнадцать, – уступила она. – А их еще двести. Сколько серости наклепали.

– В том числе и ваш?

– А вы думаете, меня Феллини пригласил? Дудки! Косоворотов. Я его видела один раз в Доме кино. Самодовольный меланхолик.

– Может быть, вы судите пристрастно? – спросил Лаврентьев. Ему не приходилось слышать фамилию Косоворотов. Впрочем, он редко ходил в кино.

– Пристрастно? Да я сама снисходительность! Но когда я представляю, как такой человек будет мне приказывать, диктовать, умничать: «Не вижу!», «Не верю!..»

И она передразнила неизвестного Лаврентьеву режиссера.

– Тяжелое у вас положение, прямо безвыходное, – посочувствовал Лаврентьев.

– Ну что вы! Безвыходных положений не бывает.

«Откуда ей знать, что бывают!»

– Где же выход?

– Всю свою ненависть к режиссеру я изолюю на гестаповцев. На их месте я буду видеть его и поражу всех своей искренностью.

– Не упрощаете ли вы свою задачу?

– Почему? В конце концов, гестаповцы тоже были бездарные люди, которые хотели всех заставить делать по-своему. Конечно, всякое сравнение хромает, но для меня это важная мысль.

Однако для него важнее было другое.

– Почему вашу картину решили снимать именно в этом городе?

Он все еще надеялся...

– Да ведь там все это и происходило! Хотя, я уверена, совсем не так, как в сценарии.

Значит, напрасно надеялся. «Повезло, ничего не скажешь, – подумал он о себе, как привык, о холодной иронией. – Тридцать лет собирался и не смог выбрать лучшего времени. Но самолет не поезд. С него не сойдешь, чтобы вернуться с полпути. А, впрочем, какая разница? Эта девушка и не подозревает, как она права. Все будет не так... Во всяком случае, то, что касается меня. Просто еще одна картина, «в основу которой положены...». Но что положено? – Ему стоило труда не попросить полистать сценарий. – Я не должен в это вмешиваться».

Лаврентьев спросил только:

– Кто же написал об этом?

– Местный музейный работник. А вы не читали в «Экране»?

– К сожалению...

– Не жалеете. Ничего особенного.

«А прочитать все-таки стоило...»

– И кто же у вас в центре событий?

– В центре, конечно, герой, наш разведчик.

Лаврентьев не смог не спросить:

– Наверно, он работает в гестапо?

– Нет. После Клосса и Штирлица это уже не кушается.

«Слава богу!»

– Он приезжает в город, чтобы произвести шикарный взрыв. Ба-а-бах! – У нее была страсть к озвучиванию. – На воздух взлетает целый театр с фашистами.

Вот оно что! Ну как же он сразу не сообразил?! Нервы подвели... Конечно же, это о Шумове. Но ведь есть и Лена... Эта девушка будет играть Лену? Неужели Лену?

– А что делает ваша героиня?

– По правде сказать, это второстепенная роль. Но ведь маленьких ролей не бывает. Бывают плохие актеры...

– Разумеется. И она погибает?

– Да. Хотя расстрел решили не показывать. Это уже столько раз было, и всем

надоело.

«Пожалуй... Если только тут уместно слово «надоело»... Значит, расстрела нет. Что же есть?»

– В последней сцене она в камере накануне казни. Пишет письмо.

– Письмо? Кому?

– Соратникам, подпольщикам, конечно.

«Совсем не «конечно», совсем...»

– Кто же мог передать такое письмо?

– Наверно, кто-нибудь из охранников. У них там всевозможные типы служили. Подкупила какого-нибудь подонка...

Лаврентьев вспомнил, как опустил листок с письмом в карман мундира. Письмо к отцу, а не к подпольщикам...

Он постарался погасить воспоминания.

Важно, что картина о Шумове, о взрыве. А это был подвиг. Настоящий. О нем нужно рассказывать.

– Кто же играет главного героя?

Она назвала известного актера.

– Любопытно.

– Ну вот, и на вас действует магия имени. А внешние данные? Разве он похож на смельчака?

Тут она была не права. Во внешности Шумова не было ничего героического. У него было простое, грустноватое лицо человека, которому нечасто приходится смеяться. Кроме того, ему уже стукнуло сорок, а в то время сорокалетние выглядели постарше нынешних, что все еще числятся да и сами себя неизвестно почему принимают за молодых. И даже теперь, когда Лаврентьев был на полтора десятка лет старше погибшего Шумова, тот не вспоминался ему молодым, а тем более лихим и отважным. Он был иным, был человеком долга, а это совсем другое, это не так-то просто читается на лице. Однако известный актер, непохожий на смельчака, мог раскрыть то, что не бросается в глаза, и Лаврентьеву выбор показался удачным. Но он не стал спорить с девушкой. Он чувствовал усталость и понимал, что волнения только начинаются.

Лаврентьев взглянул на часы:

– Подлетаем, кажется.

Она выглянула в солнечное пространство.

– Какая красота! Небо чистенькое, без облачка. И море уже видно. Ой, люблю море...

Запоздавшая бортпроводница, далеко не юная, но со следами былой плакатной привлекательности, появилась в проходе с подносом...

Заходя на посадку, самолет накренился, и Лаврентьев увидел внизу край зеленоватого моря и белые высокие здания на берегу. Меньше всего эта нарядная картинка в пластмассовой рамке иллюминатора была похожа на то, что хранилось в его памяти... Потом все заторопились к выходу, нарушая положенный порядок, попутчица-актриса проскочила вперед, а Лаврентьев оказался на высокой площадке трапа почти последним. Отсюда он оглядел летное поле с большими, кажущимися на земле неповоротливыми воздушными машинами, стеклянную стену аэровокзала с мигающим циферблатом современных часов, ярко окрашенные автопоезда, развозящие

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
пассажиров, и испытал недоумение человека, опасаящегося, что он ошибся адресом.

Пройдя через центральный зал, со схемой воздушных рейсов, выполненной в виде большого мозаичного панно, в верхней части которого были изображены олени, а внизу, на юге, верблюды, Лаврентьев вышел на площадь и по пути к стоянке такси еще раз увидел актрису. Она стояла возле микроавтобуса с эмблемой киностудии на дверце.

Было жарко. Однако здесь, за городом, в пропитанный запахом машин воздух еще примешивались и сухой аромат нераспаханной вокруг аэропорта степи, и свежесть близкого моря. Они как бы доносились из прошлого, вселяя надежду, что не все подвластно быстротекущему времени, так усердно поработавшему в этом обновленном городе.

Таксист, разбитной южанин, одной рукой придерживая баранку, а другой ловко орудуя сигаретой и спичками, покосился на Лаврентьева и, заметив, как смотрит тот в окно, заговорил обрадованно:

– Приезжего сразу видно... Ну как дорожка наша? – спросил он, кивая на широкое шоссе, по которому машина катилась легко и свободно. – Весной закончили. Теперь благодать, а раньше что было!.. Асфальтик узенький, выбоина на выбоине... Не представляете!

Нет, асфальтированную дорогу с выбоинами Лаврентьев здесь не представлял. Он помнил булыжник, деревянные столбы и давно не беленные мазанки. А теперь они мчались по ровному бетону между рядами стройных стальных мачт с сигарообразными светильниками. Не было и хат под соломой. На их месте расположились современные сооружения, построенные и раскрашенные каждое на свой манер: «База отдыха «Чайка», «Пионерский лагерь «Салют», «Водник», «Изумруд», «Солнечная»...

– Зона отдыха, – с удовольствием пояснил шофер.

За пестрыми заборчиками бронзовые люди играли в волейбол, пили пиво, нежились в гамаках и шезлонгах.

– Впервые у нас?

– Нет. Во время войны довелось.

Шофер присвистнул:

– Давненько. Освобождали?

– Отступал.

Точнее он ответить не мог.

– Ну, тогда вам вдвойне приятно смотреть. Не зря кровь проливали. Я-то помоложе. Только развалины чуть-чуть помню. А потом как начали строить! Да увидите...

И он свернул на незнакомую Лаврентьеву дорогу, тоже удобную, широкую, пересекавшую скопление уже построенных и строящихся жилых домов. Среди этих похожих друг на друга зданий Лаврентьев потерял ориентировку и с трудом представлял, откуда подъедут они к гостинице, где для него был заказан номер и которая, как он знал, находилась в центре.

Последний дом микрорайона мелькнул справа, и машина вырвалась на обширное, еще не застроенное пространство. Таким оно показалось Лаврентьеву в первые секунды, но он тут же понял, что пространство это не пустырь, дожидаящийся команды на застройку, а нечто организованное рядом сооружений, которые он воспринял сначала по отдельности и лишь потом объединил в целое, в ансамбль, спускавшийся слева от шоссе в воронкообразную обширную котловину, некогда естественную, а теперь заметно подправленную человеческими руками – склоны были заботливо одеты ярким непривычным для сухого юга дерном, по краю их опоясывали ровные ряды недавно высаженных деревьев. И из-за этих деревьев вдруг вырвалась, ударила в глаза Лаврентьеву огромная скульптура, поднимавшаяся со дна котловины. Три бетонные, грубо обработанные фигуры серыми глыбами застыли там в предсмертной муке: солдат вскидывал над головой обмотанные колючей проволокой руки, сраженный, лежал

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
старик, и женщина прижимала к груди поникшего ребенка.

– Остановите, – попросил Лаврентьев.

– А тут и стоянка специальная есть, – охотно согласился шофер. – Многие интересуются. В прошлом году открыли. К годовщине...

И он притормозил на площадке, над которой возвышался указатель: «Мемориал «Злодейская балка» – 400 метров».

Видимо, стоянку сознательно расположили в отдалении, чтобы люди подходили к этому скорбному месту пешком; и Лаврентьев тоже пошел пешком. Впереди спешила туристская группа с экскурсоводом, приехавшая в красном автобусе с большими зеркальными стеклами; рядом шумливые дети норовили вырваться из рук родителей, чтобы пробежаться по спускающейся под гору дорожке; пожилые иностранцы бродили с фотоаппаратами и кинокамерами, выбирая удобные точки для съемок. Но Лаврентьев не замечал неизбежной суеты. Он смотрел вперед, пытаясь узнать это страшное, некогда так знакомое ему место. Дорога вывела его к приземистому строению, облицованному черным гранитом. Строение, стилизованное под блиндаж или бункер, было маленьким музеем, откуда начинался осмотр мемориала. Но, только подойдя к музею, Лаврентьев наконец понял; музей стоял на месте салотопки, старого, дореволюционной еще постройки, ветхого здания, вынесенного в свое время далеко за город, чтобы не беспокоить жителей вонью вывариваемого сала. В этой бывшей салотопке размещалось постоянное подразделение зондеркоманды, потому что со времени первой большой акции немецкие власти сочли балку подходящей для дальнейших ликвидации. В свободное время солдаты зондеркоманды пили – им полагалась дополнительная норма – и всегда находились во взвинченном, искусственно подогретом состоянии. Злобно бросаясь к прибывающим машинам, они вытаскивали людей с руганью и били их, прежде чем начать стрелять. Особенно охотно тащили женщин, срывая платья, хотя насиловать и даже снимать нижнее белье запрещалось – ведь здесь завершалась политического значения работа...

Гранитными ступенями Лаврентьев спустился в тесное, с низким потолком помещение музея, оформленное строго, почти аскетично. На стенах висели увеличенные фотокопии документов и снимки, сделанные в свое время комиссией по расследованию немецко-фашистских преступлений; на снимках – разрытые рвы с человеческими останками. На противоположной от входа свободной стене бронзовыми буквами был выложен текст: «Здесь, в бывшей Злодейской балке, в течение 1942-1943 гг. немецко-фашистскими оккупантами были расстреляны 27 тысяч советских граждан». Узкое продолговатое окно, напоминавшее бойницу, открывало вид на бывшую балку. Напротив монумента из дерна поднимались пять пилонов, красными пятнами разрывавших изумрудную зелень, а между ними, окруженное сомкнутыми стальными штыками, трепетало пламя Вечного огня.

– Пять пилонов, облицованных алым мрамором, символизируют пять лет войны, – услышал Лаврентьев голос экскурсовода, сопровождавшего туристскую группу. – В склонах мемориала расположено восемнадцать радиодинамиков, непрерывно транслирующих классическую музыку...

Музыка действительно доносилась снизу; спокойная и трагичная, она не заглушала голоса людей и гул машин, проносившихся вверху по шоссе, но как бы отделяла эти случайные шумы от главного, ради чего было построено все, что видел сейчас Лаврентьев.

Однако сам он испытывал странное ощущение: эти зеленые газоны, и отполированные мраморные плиты, и поблескивающий вокруг огня металл, и цветы, высаженные густым ковром у подножия монумента, и пестро, по-летнему одетые люди, непрерывнодвигающиеся по кольцевой дорожке, – все это не увязывалось в памяти Лаврентьева с теми осыпающимися стенами заброшенного оврага, со дна которого тысячи людей в последний раз видели небо и вдыхали последний глоток воздуха.

Страшного воздуха...

На стене в зале висела фотокопия письма окрестных жителей, просивших у бургомистра разрешения принять участие в похоронах расстрелянных людей, ибо, как говорилось в прошении, «погода стоит жаркая, и от невыносимого запаха жить в ближайших домах тяжело, а также опасно ввиду возможных заражений...»

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Он помнил эту бумагу в подлиннике, написанную от руки, с ошибками, бумагу, вызвавшую усмешку не склонного к юмору Клауса: «Эту просьбу следует обязательно удовлетворить, Отто. Но с одним дополнением – всех добровольцев после окончания работ «переселить»! «Переселить» означало на их деловом языке «расстрелять». «Свиньи! – бурчал Клаус. – Не хотят дышать вонью, пусть воняют сами...» Но, кажется, тогда обошлось, и жителей переселили в прямом смысле: повыгоняли из окрестных домов...

Рядом с Лаврентьевым прошение читали парень и девушка. Читали, как и все, – притихшие, потрясенные. Но может ли нормальный человек, выросший после войны, воспринять все это как подлинную реальность? Или где-то в подсознании такое выстраивается в один ряд со страшными сказками о людоеде? Лаврентьев вспомнил, как невероятно давно, в детстве, когда он только научился читать и проглатывал все, что попадало под руку, рядом оказались сказка о Мальчике с пальчик и брошюрка о трипольской трагедии – о комсомольцах, замученных на берегу Днепра. Ночью, в снах, эти страшные вещи смешивались, объединялись, и он просыпался, дрожа от ужаса, увидев людоеда, вырезавшего огромным ножом красную звезду на худенькой спине малыша. Но, проснувшись, он уже не верил, что такое возможно наяву, и не подозревал, разумеется, что не так-то много лет отделяют его от гораздо худших реальностей.

– Ну как мемориал? – спросил шофер такси, ожидая одобрительных слов. – Красиво?

– Красиво, – ответил Лаврентьев.

Новая гостиница щеголевато поблескивала на солнце этажами стекла и так же щеголевато выглядела внутри – вся современная, с чеканкой, резным деревом и литыми чугунными светильниками. Лишь в администраторе, женщине, плотно обтянутой кримпленом, с густой копной крашенных волос над широкоскулым непреклонным лицом, чувствовалось нечто не поддающееся времени. Она была занята, брюзглива, недовольна толпящимися у окошка людьми, и Лаврентьеву вместе с другими пришлось выслушать продолжительный разговор по телефону с невидимой подругой, в котором женщина-администратор облегчала утомленную служебными обязанностями душу.

– Живу как? А то ты не знаешь!.. Сегодня снимают кино, завтра соревнования по домино... Им что? Приехали-уехали. А Анна Петровна будь добра устрой... Да что они понимают?..

Так приблизительно проходил этот неторопливый обмен мнениями о трудностях гостиничного сервиса, но, видимо, он был необходим, снимал с души опасное стрессовое состояние, потому что, повесив трубку, Анна Петровна улыбнулась умиротворенно и сказала без всякого раздражения:

– Мест, товарищи, нет и не будет. Не ждите.

Конечно же, ни один человек из плотно прижавшихся к стойке не отступил. Здесь собрались закаленные путешественники, и только поджарый грузин с синеющей на гладко выбритых щеках неукротимой растительностью укоризненно покачал головой:

– Такой симпатичный женщин, а так агарчительно гаваришь!

Реплика повисла в воздухе, не получив отклика.

– У вас должна быть бронь, – назвал себя Лаврентьев. – Посмотрите, пожалуйста.

Анна Петровна долго перебирала пачку листов пальцами с массивными кольцами, а найдя нужный, задумалась, будто принимая решение; но это уже была игра во власть, дань тщеславию, и, выждав необходимую для самоуважения паузу, она сказала:

– Повезло вам. Рядом с режиссером жить будете.

«Этого еще не хватало», – подумал Лаврентьев и спросил серьезно:

– А подальше нельзя?

Анка Петровна поняла его по-своему:

– А вы в стенку стучите.

– В стенку?

– Ну да. Если ночью шуметь будут, стучите, не стесняйтесь. Говорите: «Не нарушайте правила, а то пожалуюсь администрации!» Их распускать нельзя.

– Спасибо, – поблагодарил за совет Лаврентьев.

Оформив бумаги, он пошел к лифту, провожаемый завистливыми взглядами. Дверцы автоматически раздвинулись навстречу ему, и из кабины выпорхнула девушка-артистка. Она обрадовалась Лаврентьеву, как старому знакомому.

– И вы здесь? Как хорошо! Говорят, это лучшая гостиница в городе. А я на рынок. Говорят, тут шикарный рынок. Они называют его базар. Вот такие помидоры!

И она показала, расставив длинные пальцы, нечто совершенно неправдоподобное.

– Уже повидались с режиссером?

– Ждите! – Девушка сделала замысловатый жест, выразивший целую гамму неодобрительных чувств. – Его высочество заняты. Не знаю чем, но не была допущена. Сказали – вечером. И прекрасно. Я иду на рынок. На базар. – Она расхохоталась, ее очень смешило это южное слово. – Я ужасно люблю помидоры. Обожаю. А они здесь такие... разломишь, а внутри сахар. Нет, белый иней. Красотища! Вкуснятина. Пойдемте на базар?

Лаврентьев покачал головой.

– Понимаю. Спешите в главк?

– Главк?

– Ну в трест. Ну куда спешат все командированные? Сначала в трест, а потом напиваются и звонят незнакомым женщинам в номера... Ой, простите, я, кажется, глупость сморозила?

– Я не в командировке.

– Слава богу! Я так мучаюсь, если сболтну не то... Извините! Мы еще увидимся здесь. До свиданья.

И она умчалась, размахивая сумкой, на этот представлявшийся ей экзотическим базар, а Лаврентьев вошел в кабину, поднялся на восьмой этаж, получил у дежурной традиционную «грушу» с ключом и прошел в свой номер, очень приличный номер, с телевизором и изящным пейзажиком-репродукцией на едва начавшей трескаться стене.

В номере было душно, и он открыл дверь в лоджию, впустив в комнату вместе с жарким воздухом гул улицы – большого проспекта, на котором умудрялись сосуществовать не только автобус и троллейбус, но и немодный трамвай. Потом Лаврентьев повесил пиджак на вешалку в шкаф, развязал галстук и, сняв влажную рубашку, вошел в ванную. Из крана с красной ручкой немедленно хлестнула горячая струя, но из соседнего, с голубой, донеслось только грустное шипение. Обжигая руки, он с трудом умылся, вытер лицо большим и мягким полотенцем и вышел в лоджию.

Облокотившись на перила, Лаврентьев смотрел с высоты на город, но и отсюда узнавал немного. Только купол собора, не сразу замеченный им между новыми высокими зданиями, подсказывал прежнее расположение улиц, но это были незнакомые улицы – даже центр изменился гораздо больше, чем ожидал Лаврентьев. «Что же они тут снимут?» – подумал он, невольно возвращаясь к мысли о кино.

И, словно в ответ, Лаврентьев услышал:

– По-вашему, это прихоть, каприз, а для меня решение творческой задачи. Я так вижу этот план. Только так!

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Не понимаю, почему вы не видите его с балкона?

– Вы не можете этого понять, потому что вы не творческий человек. Вы чиновник от кинематографа!

– Прошу не оскорблять меня! Я работал на двенадцати картинах. Я работал с режиссерами, которых знает вся страна...

– Меня это не интересует. Они делали свои картины, а я делаю свою. Мне необходим суперкран.

– Суперкран будет готов через два дня.

– Прекрасно. Будем ждать. А пока я дам на студию телеграмму о вынужденном простое по вине администрации.

В соседней лоджии, отделенной от лаврентьевской только листом прозрачного пластика, громко говорили два человека. Один молодой еще, в льняной, расстегнутой до живота рубашке и джинсах, перехваченных широким кожаным ремнем, другой пожилой, с круглым животиком и седыми усами над мясистыми влажными губами.

– Не понимаю, зачем нам ссориться? – пожал он плечами.

– Я уже сказал: вы многого не понимаете. Вы даже не понимаете, зачем мы сюда приехали, – горячился молодой.

– Вам и об этом донесли?

– Мне ничего не доносят. Просто товарищи удивлены вашими, мягко говоря, парадоксальными высказываниями.

– Это не парадоксы, а забота о народных деньгах, которые мы тратим. Какую неповторимую натуру вы здесь нашли? Да тут ни одного кирпича от тех лет не сохранилось!

– Я не кирпичи приехал сюда искать, а атмосферу! – закричал, как начал догадываться Лаврентьев, режиссер, взмахнув руками. – Но как я могу показать это слепому человеку?!

Оба они могли видеть Лаврентьева, однако его присутствие их ничуть не расхолаживало. А говорили они о том, о чем сам он только что думал, поэтому он остался в лоджии, невольно прислушиваясь к спору. Что сохранилось? Что осталось? Что уцелело за этими громадами бетонных каркасов от низкорослого южного города, от его заплетенных виноградом дворики, бывших купеческих особняков с облупившимися кариатидами на фасадах, претенциозных конструктивистских сооружений первых пятилеток, звонкой брусчатки на главной улице и вымытых дождями ериков на окраинах? Атмосфера? Воздух? Он вдохнул запах машинной гари, поднимавшейся с проспекта. Зачем, в самом деле, они приехали сюда? А он?

– Нет, с вами невозможно разумно разговаривать, – махнул рукой пожилой.

– Да, невозможно, потому что вы считаете разумным то, что я разумным не считаю.

– Ладно, не будем пререкаться. Посылайте телеграмму, но учтите: я тоже пошлю, и еще неизвестно, к кому прислушаются. Вы добьетесь, что картину закроют!

Он повернулся и выскочил из лоджии, а режиссер, тяжело дыша от волнения и жары, начал шарить в карманах джинсов.

– Черт побери, – бормотал он. – Черт-те что делается, какой-то бардак, сплошной бардак... Светлана!

В лоджию вышла худая высокая женщина с коротко остриженными, выбеленными волосами. Она была тоже в джинсах, но без ремня.

– Да, Сергей Константинович? – произнесла она неожиданно спокойно, даже флегматично, будто все происходившее в лоджии ее совершенно не касалось.

– Возьмите блокнот и запишите текст телеграммы.

Светлана послушно повернулась к двери.

– Подождите! Дайте мне сигарету.

– Сигареты кончились, Сергей Константинович.

– Ну купите в буфете!

– Если вы дадите мне деньги...

– Вы прекрасно знаете, Светлана, что денег у меня нет.

– У меня тоже.

– Одолжите у кого-нибудь! Господи, сколько можно говорить о такой чепухе!

– Это не чепуха. Вся группа сидит без денег. Завтра обещали зарплату, но вы опять поссорились с директором, и я не уверена...

– Ну, поступаться принципом за чечевичную похлебку я не собираюсь!

Он отвернулся в волнении и увидел Лаврентьева.

– Послушайте, – сказал режиссер, обращаясь к нему, как к старому знакомому, – у вас не найдется сигареты?

– Я не курю.

– Жаль, чертовски жаль. – Режиссер задумался на минуту. – Послушайте, а вы не уезжаете завтра?

– Нет.

– Отлично. Тогда вы, может быть, одолжите мне на сигареты?

– Пожалуйста, – ответил Лаврентьев, немного удивленный такой неожиданной формой контакта.

Он вошел в комнату и взял из кармана пиджака бумажник.

– Сколько вас устроит?

– Если можно, рубля три... Нет, пятерку лучше, – поправился режиссер, увидев в руках у Лаврентьева синюю бумажку.

Лаврентьев протянул деньги через перегородку.

– Огромное спасибо. Вы меня просто выручили, – обрадовался режиссер. – Светлана, с телеграммой повременим. Это серьезное дело, нужно тщательно продумать текст. Сходите лучше пока в буфет. Возьмите сигарет и еще что-нибудь, что будет...

– Понимаю, Сергей Константинович.

И лаврентьевская пятерка перешла в руки Светланы.

– Вы слышали? – спросил режиссер, вновь повернувшись к Лаврентьеву. – Слышали? Это же осел, саботажник, вредитель! – Он все еще не остыл от спора с директором. – Вот вам кинематограф! Надеюсь, вы не имеете никакого отношения к кино?

– Никакого.

– Счастливей человек! Я вам завидую. А где вы работаете?

– Преподаю в институте.

- Точные науки?
- Немецкий язык и литературу.
- Вы знаете немецкий?
- Да...

Он знал немецкий...

Первые слова на этом языке маленький Вовка Лаврентьев услышал в их тесной, но с высоким лепным потолком, уютной комнате на Шаболовке в Москве. Комната была частью обширной квартиры некогда богатого человека, доживавшего свои дни в бедности в Париже. Впрочем, судьба бывшего квартировладельца Володьку никогда не волновала. Ему, советскому мальчишке довоенных лет, было трудно и даже невозможно представить себе, что огромная густонаселенная квартира с велосипедами, подвешенными на стенах в прихожей, стареньким бухгалтером Никольским, ходившим в общий туалет с собственным деревянным стульчаком, и множеством других специфических примет коммунального быта могла принадлежать одному человеку, что медные ручки отливали когда-то почти золотым блеском, а по лестнице до самого подъезда спускалась красная ковровая дорожка. Все это было от него так же далеко, как гестаповская кроваво-бюрократическая рутинная от молодой актрисы, его сегодняшней попутчицы. Володька Лаврентьев жил в новой, революционной эпохе, его поколение мыслило не кухонно-коммунальными, а глобальными масштабами, и подрастающему пареньку не было тесно на общей кухне, ибо в мыслях своих он жил делами всей поднявшейся на мировой переворот планеты.

В этом Лаврентьев ничем не отличался от своих сверстников. Но была одна характерная особенность, определившая всю его дальнейшую судьбу. С детства пробудился в нем и постоянно рос интерес к жизни и истории нации, которую он выделял и предпочитал другим вопреки бытовавшим в народе предрассудкам.

Отношение к Германии складывалось и изменялось на Руси веками. Топил в Чудском озере псов-рыцарей князь Александр Ярославич, но уважал и не прочь был поучиться немецкому трудолюбию царь Петр. Коренная немка Софья Ангальт-Цербская на русском троне соотечественников демонстративно не жаловала, а суворовские шутки относительно «прусских» вошли в фольклор, на котором выросли и классические строки толстовской диспозиции Вейротера и «Железная воля» Лескова. Неодобрительное отношение это достигло предела в начале нашего столетия, когда два кайзера пошли войной на славянство и, казалось, ничто уже русских с немцами примирить не сможет, как вдруг революция, сметая многое железной рукой, опрокинула и это великое недоброжелательство. Вошли в быт слова «Рот фронт» и «юнгштурм», и ожидалось, что вот-вот встретятся в центре Европы мозолистые рабочие руки и «путь земле укажут новый» два вчера еще враждовавших народа.

Впрочем, первые немецкие руки, которые увидел Володька, были не мозолистыми, хотя и крепкими, привычными к труду. Принадлежали они инженеру коммунисту Альберту Францевичу, который приехал помогать русскому пролетариату; замыслившему грандиозный пятилетний план. Работал он на заводе вместе с Володькиным отцом, тоже инженером, крестьянским сыном из Ярославской губернии, мужиков которой еще Гоголь называл расторопными. Этот упорный потомок расторопных крестьян волей своей пробился в люди, окончил гимназию на казенный счет, убедив попечителей в своих недюжинных способностях, и завершил образование в Германии, откуда вывез уважительную симпатию к стране, где люди умеют и любят трудиться.

Таким образом, ко времени знакомства с Альбертом Францевичем Володька о Германии был наслышан и знал немало немецких слов, которые в речи настоящего немца особенно привлекали его своеобразной музыкальностью, и даже усложненная длина этих слов, вызвавшая в свое время едкие реплики Марка Твена, Володьке нравилась деловой концентрацией смысла. Он повторял их с удовольствием, вызывая приятное удивление и живое одобрение Альберта Францевича, который говорил ласково:

- Ты есть настоящий талант к языку, Володька.

Лаврентьев стал часто захаживать к инженеру: ему нравились его аккуратность, ровное и спокойное настроение, рассказы о чудесной природе Германии, о

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
величественном Рейне, пробивающем дорогу меж легендарных скал, о прекрасных горах Саксонии и одетых камнем улочках древних ганзейских городов. Вечерами Володька подолгу просиживал над картой Германии, читал «Историю тридцатилетней войны» Шиллера и другие книги о прошлом и настоящем страны, рылся в статистических справочниках и, на удивление взрослых, без ошибки мог назвать, сколько стали выплавляется в Руре, какие государства входили в Северо-Немецкий Союз и с какими землями граничит Бавария или Шлезвиг-Гольштейн.

Вначале все эти познания носили характер обычного увлечения. Об их практическом применении он не думал, пока немецкий народ не попал в тяжкую беду. И вот тогда-то Володька Лаврентьев, русский паренек с Шаболовки, решил дальнейшую свою жизнь посвятить освобождению этого народа. Тогда услышал он впервые и слово «гестапо» и, не раз представляя себя посланцем Коминтерна в Германии, переживал в мальчишеском воображении свое недалекое будущее: вот он скрывается от тайной государственной полиции, вот дерется с гестаповцами, обманывает их, вот в опаснейший момент выручают его немецкие друзья-подпольщики... Многое еще виделось в пылком воображении, но никогда самая необузданная фантазия не рисовала того, что ждало его в действительности; да и где было взять такую фантазию, чтобы представить себе гестапо – пусть даже полевое, «гехайме фельдполицай», в южнорусском городе за тысячу с лишним километров от границы?..

Да, многое происходит не так, как представляется в мечтах. Вместе с миллионами соотечественников студент иныа Владимир Лаврентьев верил, что двадцать второго июня сорок первого года началось не вторжение, а долгожданный и быстрый крах фашизма, ждал с часа на час сообщений о том, что полки вермахта вонзают штыки в землю, что самолеты люфтваффе перелетают на наши аэродромы, что танкисты глушат моторы... Но шли дни, и двигались на восток танки, подминая гусеницами нескошенные хлеба, «юнкерсы» сбрасывали бомбы на отступающих красноармейцев, а солдаты вермахта с веселым хохотом отбирали у перепуганных женщин сало и ловили визжащих поросят.

Потом настал день, когда Лаврентьев переступил порог кабинета, на стене которого висел портрет Дзержинского. Отсюда его направили под видом военнопленного в лагерь, где испытал он первую горечь, слушая, как даже эти побежденные в бою немцы бредят скорой победой и заключают пари, сколько дней продержится Москва. Москва выстояла, но летом они опять прорвались, правда, теперь только на юге. В сорок втором на юге решалось все, и именно здесь ночью перешел фронт Владимир Лаврентьев, а точнее, и переходить-то не пришлось, он просто остался в донской станице, из которой ушли наши войска, и после ряда перемещений в немецком тылу добрался до приморского города, куда уже несколько недель не доносилась фронтовая канонада и «новый порядок» утверждался со всеми необходимыми атрибутами и учреждениями, среди которых было и то, где ему предстояло служить.

В надежном месте Лаврентьева снабдили необходимой форменной одеждой и документами, и вот с трепетом перед неизвестностью и твердой решимостью выполнить долг и оправдать доверие тех, кто послал его, подходит он к зданию, в котором до революции находилась гимназия, перед войной была образцовая средняя школа, а ныне истязали людей. Он проходит мимо часового в каске с ремешком, натянутым под подбородок, и протягивает свои бумаги дежурному, пожилому службисту в таком же, как и на Лаврентьеве, мундире. Дежурный рассматривает документы строго и тщательно, но у него нет оснований усомниться, и он пропускает Лаврентьева внутрь. Там Лаврентьев поднимается на второй этаж и идет коридором, где совсем недавно озорничали на переменах школьники и до сих пор стоит старый пожелтевший фикус в деревянной кадке. Сразу за фикусом Лаврентьев видит дверь, которую назвал ему дежурный. Он протягивает руку чтобы открыть ее, и слышит стон. Впервые в жизни слышит Владимир Лаврентьев стон истязаемого человека, и, хотя готовил себя и знал, что ждет его здесь, он какое-то время не может поверить в реальность этого стога; в нем живет еще мальчишеское, книжное представление о пытках в мрачных застенках, палачах в масках и о каменных сводах, в которые ввинчены цепи... А стон несется из-за двери, с которой совсем недавно сорвана табличка «Учительская». Усилием воли открывает он эту дверь и прежде всего видит не истерзанного, окровавленного человека, а миловидную девушку за маленьким столиком. На столике листы бумаги, а в руке у девушки ручка, возможно, из школьных запасов, и она пишет сосредоточенно, озабоченная тем, чтобы не пропустить важное, работающая немочка, стенографирующая допрос и не подозревающая, что вошедший в комнату человек в мундире унтерштурмфюрера мечтал спасти ее и вывести к новой, светлой жизни.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

А он заставляет себя спокойно оглядеть комнату, затем вскинуть, как положено, руку и сказать бодро и энергично:

– Хайль Гитлер!

В тот день ему еще не исполнилось двадцати двух лет...

– Вы знаете немецкий язык? Просто замечательно! Послушайте, вы не зайдете ко мне на минутку? Я вас очень прошу.

– Пожалуйста, – согласился Лаврентьев, не совсем представляя, зачем он понадобился режиссеру, и вопреки намерению держаться подальше от людей, первое знакомство с которыми производило впечатление расхожей пародии.

Номер Сергея Константиновича был гораздо больше лаврентьевского. Он состоял из двух комнат. Как выглядела за дверью спальня, можно было только догадываться, но в гостиной господствовал беспорядок. Махровый халат лежал на журнальном столике, а большая картонная папка – на полу возле дивана, на спинке которого была пристроена тарелка с окурками. На диване, вытянув ноги на соседнее кресло, полулежал молодой человек с длинными черными волосами, похожий на Иисуса Христа периода первой проповеди в Назарете, не испытывавшего еще предстоящих разочарований. Голову он положил на спинку рядом с тарелкой-пепельницей и смотрел в потолок. Покатывая ногой по ковру пустую бутылку, на письменном столе сидел широкоплечий крепыш, подстриженный под горшок, в огромных зеркальных очках. Оба они, занятые своими мыслями, уделили Лаврентьеву минимум внимания в отличие от режиссера, который тут же заговорил, шагая от лоджии к двери:

– Вот кто нам нужен, вот этот человек, специалист. Я подозреваю, что наши вывески – безграмотная липа. Федор, покажи тексты.

Черноволосый неохотно оторвал голову от спинки дивана и молча развязал тесемки картонной папки, где между ватмановскими листами с эскизами декораций нашел листики с вырисованными тушью немецкими готическими буквами.

– Это должно быть написано на стенах, – начал было режиссер, но решил, что необходимы некоторые пояснения. – Мы снимаем картину. То есть должны снимать. Уже все сроки нарушены. По вине администрации. Они привезли поломанный суперкран. Да вы это знаете, слышали. И вам это неинтересно. Картина будет о войне, о подполье. В город проникает наш человек, чтобы взорвать театр, где собрались эсэсовцы, гестапо и разные фашисты. Картина об этом человеке. Ну как бы вам попроще?.. Это, если хотите, вестерн. И этот человек – молчаливый, одинокий ковбой. Таким я его вижу. Он идет по улицам. А вокруг чума. То есть определенная атмосфера оккупации. Федор – он наш художник – считает, что эти вывески на голых стенах подчеркнут...

– Их никто и не заметит, – бросил крепыш, катавший бутылку.

– Да! Если ты так снимешь, – сразу утратил флегму художник.

– Я сниму... Что мне стоит... А вот что получится, это уже экран покажет.

– Не заводитесь! – пресек режиссер возникшие дебаты. – Экран покажет то, что мы сделаем, Генрих!

– А я что говорю? – пожал крепкими плечами оператор с не подходящим к его мужиковатой внешности именем.

Режиссер выдернул из пачки один лист и показал его Лаврентьеву:

– Вот это важный текст: «Нищенствовать запрещено». Он будет написан на стене собора. А под ним – нищие, калеки, инвалиды... Надпись нависла над ними как проклятье или как насмешка, если хотите... Понимаете мою мысль? Это правильно написано? Я сам по-немецки, кроме «шпрехен зи дойч, Иван Андрейч», ни бельмеса. Но автор утверждает, что тут все правильно.

– Да, правильно, «BetteIn verboten». Но обычно такие надписи делались латинским, а не готическим шрифтом, – сказал Лаврентьев.

– Нет-нет, – запротестовал Федор. – Латинский не годится. Тут важно настроение, а не внешнее правдоподобие.

– Ваше преподобие, не бойтесь правдоподобия. И не марайте строение под собственное настроение, – скаламбурил Генрих и сам расхохотался.

Режиссер вскипел:

– Прекратите сейчас же! Вам дело говорят. Названия улиц напишем латинским, а вот на соборе я бы все-таки оставил готический. Черные, похожие на насекомых буквы на желтом фоне. По-моему, неплохо. Создает атмосферу.

Лаврентьев не возразил, но режиссер почувствовал его несогласие.

– Да вы только представьте! С высокой точки – огромная площадь, бульжник и маленькая фигура человека... Он идет долго... Мы не знаем, куда и зачем... И вдруг собор, и нищие, и эти буквы крупно, а?

– Но снимать нужно с суперкрана, – заметил Генрих каким-то неопределенным тоном, то ли уточняя мысль режиссера, то ли иронизируя над ней.

– Зачем ты это сказал? – вспыхнул режиссер. – Зачем ты меня заводишь? Ты слышал разговор с Базилевичем? Слышал? Сидел и помалкивал, бутылочку катал. Тебе это до лампочки, да?

– А почему не посылаешь телеграмму?

– Пошлю-пошлю. Будь уверен. Текст продумать нужно.

– Пока мы будем продумывать, они свою пошлют.

– Ну и пусть. Сейчас придет Светлана, и пошлем. Имею я, в конце концов, право выкурить сигарету?

– Где она там копается?

– В буфете в очереди стоит. А ты бы вместо цирковых подначек пошел бы да помог.

– Дотащит. Не так уж много на пятерку купишь.

И он был прав. Светлана оказалась на пороге с немногочисленными свертками и бутылкой портвейна «Гзыл-шербет».

– Нужно было взять «семьдесят второй», – пробурчал Генрих.

– Этот на восемнадцать копеек дешевле, – отпарировала она.

– Финансовый гений! Тебе бы во Внешторгбанке работать.

– Да уж там таких свинтусов, как ты, наверняка поменьше.

– Не уверен, не уверен, – не сдался Генрих.

– Господи! Будет этому конец? – воззвал режиссер. – Что вы купили, Светлана?

– Вы же знаете их репертуар. Эстонская колбаса жирная...

– Б-р-р... – скорчил гримасу Федор.

– Жареная печень...

– Интересно, на чем они ее жарят? У меня после этой печени чудовищная изжога, – вздохнул художник.

– Значит, от печени отказываешься? – спросил Генрих.

– Не надейся. Только соды проглотить нужно. Светлана, не откажите. Я видел у вас

пакетик...

Пока Светлана искала в сумке соду, Генрих слез со стола и смел рукой на пол засохшие крошки. Федор, прищурился одним глазом, разлил вино в стаканы.

– Прошу с нами, – предложил режиссер Лаврентьеву.

– Спасибо, я не голоден.

– Обижаете, обижаете, – сказал Генрих безо всякой, впрочем, обиды.

– А вы, Светлана, позвольте себе стаканчик? – спросил Федор.

– Я выпью. В этой жаре и нервозности я совсем развинулась.

Они выпили.

– Вот теперь немного легче, – сказал Генрих, жуя печенку.

– И ты прекратишь бурчать? – поинтересовался Федор.

– Не обещаю, не обещаю.

– Пока не починят суперкран... – начал режиссер.

– Сейчас я набросаю текст телеграммы, – предложила Светлана.

– Действуйте, – поддержал Федор, снова усевшись на диван и вытягивая ноги. – Дай сигарету, Сергей!

Режиссер надорвал пачку.

– А откуда он, между прочим, идет? – спросил художник.

– Кто?

– Да наш одинокий ковбой? Как он попал в город?

– Какое это имеет значение? Это за кадром. Забросили, как полагается.

– С парашютом?

– Возможно. Спроси у автора.

– В этом что-то есть, – произнес Федор задумчиво. – Ночь, самолет...

– Так все шпионские киношки начинаются, – сообщил Генрих.

– Разве? – удивился Федор.

– Снова на арене? – спросил режиссер, щелкая американской зажигалкой, но спросил миролюбиво. – Больше вы меня не заведете. Мне наплевать на парашют, и зрителю наплевать. Мы не знаем, откуда он идет. Нам важно, что он пришел, чтобы сделать свое дело. Пришел в незнакомый город...

Это было не совсем точно.

Андрей Шумов хорошо знал город, и ему не пришлось прыгать с парашютом. Он приземлился на партизанском аэродроме, а оттуда добирался вначале на быках, в крестьянской арбе, а последний участок пути проделал в товарном вагоне, где пахло конским потом, пол был покрыт затоптанным сеном, а на пустом ящике из-под снарядов сидел немолодой обер-фельдфебель в очках и излагал свои мысли по поводу различных исторических событий.

Поезд медленно полз вдоль моря, обильно напигованного минами и потому пустынного, несмотря на погожий осенний день. С другой стороны полотна желтели высохшие кукурузные стебли, роняли пожухлую зелень редкие в степи деревья,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
чернели обгоревшие домики на полустанках, и вдруг появилось и ушло щедро заросшее, бесстыдно цветущее кладбище со свежееобструганными некрашеными крестами.

Фельдфебель говорил длинно, тщательно выговаривая слова, чтобы Шумов мог понять все, о чем ему говорилось:

– Существует большой смысл в том, что украинский крестьянин называет немецким словом «крейда» мел, которым он пишет первые буквы на классной доске. В этом есть символ полученной из Германии цивилизации. Россия была дикой до Петра, но этот великий человек протянул руку Европе, то есть в первую очередь Германии. Мы дали вам ученых и администраторов. Эта земля, по которой мы едем, присоединена к России Екатериной, немецкой принцессой. Вам было всегда хорошо, когда вы дружили с Германией, и плохо, когда вы близоруко расторгали эти узы. Мы вместе победили Наполеона, но когда вы объявили нам войну в четырнадцатом году, то получили не победу, а большевистскую революцию. – Он снял очки и протер их чистым носовым платком. – Но теперь все станет на место, – заверил фельдфебель Шумова. – Посмотрите на этих молодых людей – немецких юношей и славянских девушек, разве это не символ будущего?

Немецкие юноши – трое солдат из команды фельдфебеля в ловко подогнанных кителях, со щеголевато засунутыми под погоны пилотками – тем временем пытались привлечь внимание двух женщин, возвращавшихся из села с выменянными продуктами. Опасаясь за свои мешки, женщины время от времени откликались, и тогда солдаты звонко и весело подолгу хохотали. Заметно было, что молодые парни переполнены той особой жизнерадостностью, которую испытывает в тылу фронтовик, и они охотно отдавались этой дурашливой радости.

– Музик! Музик! – закричал один из них и вытащил из кармана губную гармошку. – Кто есть Катюша? – спросил он у женщин и, не дожидаясь ответа, поднес гармошку к губам.

Новый взрыв хохота смешался со знакомой мелодией. Однако фельдфебель сделал строгое лицо и выразительно посмотрел на игравшего.

– Это лишнее, – сказал он и пояснил Шумову: – Мы, немцы, имеем лучшую в мире музыку и не нуждаемся в чужих мелодиях... Благодарю вас за беседу. Приятно провести время в обществе культурного человека. Чем вы занимались в мирное время?

– Я специалист по коммунальному хозяйству.

– О! Это очень нужная специальность в вашей стране, которая делает лишь первые шаги к цивилизации. Коммунальное хозяйство – это символ...

Ему, видимо, нравилось многозначительное, с мистическим оттенком слово «символ».

Солдаты тем временем перестали смеяться, стряхнули с форменных брюк дорожную пыль и затянули кожаные ремни, на пряжках которых были выбиты слова: «С нами бог». И когда они сошли на пригородном полустанке и зашагали гуськом, твердо ступая сильными ногами, обутыми в крепко сшитые сапоги, легко неся короткие карабины с загнутыми рукоятками затворов, противогазы в гофрированных металлических коробках и прочее тщательно пригнанное снаряжение, зашагали, как и подобает победителям, открыто и весело глядя вперед, можно было и в самом деле подумать, что бог на их стороне.

– Отвязались, стервецы, – сказала одна из женщин с облегчением и опустила край платка, которым прикрывала лицо. Лицо было усталым и не очень молодым.

– Жаль, что до вокзала не доехали, с ними бы проскочить легче, – возразила другая рассудительно.

Однако на вокзале контроль оказался нестрогим, и Шумов без помех прошел в широко распахнутые двери с облупившейся коричневой краской, над которыми висел портрет Гитлера, причесанного на косопробор, в сером пиджаке с нацистским значком на лацкане.

Насколько помнил Шумов, портреты здесь висели всегда...

В этот город его отец, мелкий почтовый чиновник, неудачник, часто менявший места жительства, перебрался из Саратовской губернии в 1912 году, чтобы в который раз начать «новую жизнь», но она быстро пошла по-старому – «приличные» люди сторонились заносчивого, неуживчивого человека, а тех, что попроще, он сам обходил, не желая опускаться до «быдла», длинно и нудно поносил мир, в котором честь и благородство ничего не стоят, а благоденствуют ничтожества, часто пил и, напившись, пел любимый романс:

...Ты помнишь, изменщик коварный,
Как я доверялась тебе?..

Следующий год запомнился Андрею пышными торжествами по случаю трехсотлетия царствующего дома и окончательным распадом семьи. Мать уехала, взяв с собой старшую сестру, и он провожал их на вокзале, этом самом вокзале, только двери поблескивали свежей краской, и висел над ними портрет Николая Второго – парадный портрет человека в эполетах, с лентой и аксельбантами, находившегося, как многие думали, в зените славы и благополучия.

Мать тогда он видел в последний раз. Она умерла от тифа в двадцать первом году в Поволжье, а сестру еще раньше расстреляли под Читой семеновцы. Отец в пятнадцатом ушел на фронт, ушел, не воспользовавшись льготной отсрочкой, уставший и обессилевший в жизненной борьбе. Он не вернулся, пропал без вести, и Шумов так и не узнал, то ли разнесло его тяжелым снарядом по ржавой паутине колючей проволоки, то ли затерялся он на чужбине, пригретый на старости лет какой-нибудь обездоленной вдовушкой.

После ухода отца Андрей остался ненадолго под опекой богомольной тетки, никогда не знавшей семейных радостей; но быстро менялись времена, и началась иная жизнь, в которую он вступил полностью и беззаветно, без сомнений и колебаний... Своего рода пропуском и путевкой в эту новую жизнь стало для него одно из немногих писем матери. В нем мать сообщала о смерти сестры и о том, что сама лежит в госпитале после ранения.

«Мы были идеалистами, полагая, что великая цель может быть достигнута малыми жертвами. Сейчас мне особенно понятны пророческие слова поэта: «Дело прочно, когда под ним струится кровь...»

Крови вокруг струилось действительно много, но казалось, проливается она не напрасно. И потому, когда утихли на время залпы и многие потянулись к покою, Андрея Шумова среди них не было. Начав в восемнадцатом, когда в городе утвердились белые, с подполья, он остался в строю и после Перекопа.

В городе своей юности ему случилось побывать до войны лишь раз, проездом. Здесь уже не было близких Шумову людей, и хватило пары часов между поездами, чтобы, никуда не заходя, побродить по улицам и заглянуть в окна кирпичного домика со ставнями-жалюзи, где, как и двадцать лет назад, цвела на подоконнике герань, будто домик и не менял хозяев.

Потом он пообедал в вокзальном ресторане, запивая вкусное филе из телятины приятным холодным боржомом, и вышел на перрон к поезду, пройдя под лозунгом «СССР – великая железнодорожная держава». Удобно устроившись в купе спального вагона и куря длинную папиросу «Казбек», Андрей Шумов меньше всего предполагал, что вернется сюда в грязной теплушке с немецким фельдфебелем, имеющим собственную точку зрения на русскую историю.

В эти дни еще сражались Абиссиния и Испания... Но вот пал Мадрид, потом Варшава, потом не устояла линия Мажино, потом появились десантники над Критом, вступил в бой Брест и сомкнулось кольцо под Киевом... А сегодня фельдфебель оставил в вагоне газету, где в обрамлении сплетенных листиков лавра был напечатан портрет генерала с подписью: «Манштейн – герой Севастополя». И это была уже устаревшая газета, в последних писали: «Считанные метры отделяют солдат, сражающихся в Сталинграде, от священной русской реки Волги».

Так он вернулся в родной город.

Выйдя из здания вокзала, Шумов увидел собор. Это было неожиданно, ибо, сколько он помнил, собор всегда, скрывали вековые липы – достопримечательность и

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

гордость окруженного степью города. Могучие, ухоженные деревья, высаженные добрую сотню лет назад волей петербургского наместника, решившего переустроить вновь обретенный южный край по образу и подобию северных столиц, казались такими же неколебимо прочными, как и собор, построенный полувеком позже вместе с десятком других таких же подражаний тяжеловесным византийским храмам, столпов государственной религии на окраинах дряхлеющей империи от Кронштадта до Новочеркасска. В бурные революционные времена воинствующие богоборцы снесли самый высокий из куполов, однако со стенами не справились, и волей народной власти оплот мракобесия был превращен в очаг культуры – кинотеатр «Буревестник». Его приземистая, усеченная громада, казалось, теперь уже на вечные времена укрылась за густыми высокими кронами.

Но сейчас ее ничто не скрывало. «Новый порядок» предпочитал открытые пространства, липы были срублены по приказу немецкого коменданта, и улица неожиданно расширилась от вокзала до кинотеатра, бывшего, ибо кинотеатра больше не было: на вершине собора вновь появился крест.

Шумов перекинул через плечо вещмешок и действительно, как было написано в сценарии, пошел через площадь, где не по-осеннему сухой ветер закручивал на булыжнике маленькие пыльные смерчи. Но он не подходил к собору и не видел нищих, он свернул в боковую улицу; на стены ее угловых домов были четко по трафарету нанесены латинскими буквами надписи, восстанавливающие ее дореволюционное название «Skobelewskaja», поверх тщательно замазанной – «Буденновская». Видимо, иноземная власть находила особый полезный смысл в том, чтобы даже фамилию русского генерала местные жители читали теперь по-немецки.

Этой пустынной улицей Шумов вышел к перекрестку, где некогда останавливался трамвай, а теперь уныло ржавели зарастающие травой рельсы. На перекрестке с незапамятных времен стояла афишная тумба, привычный источник информации во времена, когда радио и телевидение существовали только на страницах фантастических романов. Перед войной много таких тумб снесли, сочтя устаревшими, но эта сохранилась и была оклеена листками бумаги, среди которых выделялась не без игривости изготовленная афишка, извещающая о выступлении в местном театре «любимицы публики» Веры Одинцовой.

Вот таким, стоящим у старой тумбы и читающим нелепую в своем веселеньком оформлении афишку, вывешенную рядом с приказами и извещениями о казнях людей, напечатанными на двух языках под длиннокрылым орлом со свастикой в когтях, и увидел Шумова невысокий человек, одетый в стеганый ватник.

Человек этот, с раздражительным неприветливым лицом, поросшим клочковатой рыжей с сединой щетиной, был заметно хром и передвигался как бы рывками, при этом умудряясь ставить ноги так, что шаги его не нарушали тишину малолюдного города. Сначала он остановился, разглядывая Шумова со стороны и наклоняя с этой целью голову то вправо, то влево, а потом медленно двинулся к нему, с каждым шагом убеждаясь, что не ошибся, что видит именно того, кого узнал, хоть и не ожидал здесь увидеть.

Приблизившись к Шумову, человек вновь остановился, на этот раз почти рядом, но несколько сзади, и сказал ни к чему не обязывающие слова, сказал, чтобы услышать ответ, голос и убедиться окончательно:

– Господин хороший театром интересуется?

Шумов повернулся неторопливо, и хотя подошедший человек внешне не имел почти ничего общего с тем Максимом Пряхиным, которого видел он в последний раз два десятка лет назад, ошибиться было невозможно – слишком хорошо знали они друг друга в свое время. И потому именно из всех, кого мог он встретить в этом городе, Андрей Шумов меньше всего хотел встретить Максима Пряхина.

В жизни нередко происходит такое, что показалось бы неправдоподобным в сценарии. Искусство – пленник типического; в жизни закономерности пробиваются через хаос случайностей, и далеко не всегда мы знаем, что сулит случай. Но в данном случае Шумов не сомневался: ему не повезло.

– Здравствуй, Максим, – сказал он, готовясь к худшему.

– Угадал? – усмехнулся Пряхин.

– Как не узнать старого друга! – ответил Шумов, удивляясь, однако, переменам, происшедшим во внешности Максима.

Пряхина помнил он красивым той народной простой красотой, что обращает на себя внимание не правильностью и законченностью черт, а сочетанием здоровья и мужественности. Андрей хранил в памяти серые, с неустрашимым блеском глаза, русый вьющийся чуб над покатым чистым лбом, нос с горбинкой и обтянутые матовой кожей скулы... Теперь же перед ним стоял рано постаревший человек, которому можно дать все шестьдесят, хотя был он лишь на пять лет старше Андрея. Лихого чуба нет и в помине, короткие полуседые волосы заметно поредели, щеки и лоб покрылись сеткой глубоко врезавшихся в кожу морщин, а нос обострился и отвис. И только в прищуренных колючих глазах угадывались не оставившие этого человека былые страсти, как ни глушили их годы, ни размывала желчь жизненных разочарований.

– Друга? – переспросил Максим.

Серебристая паутинка кружилась на ветру. Пряхин протянул руку, поймал паутинку, сдул с ладони.

– Видал? Так и дружба наша...

В этом жесте и в этих словах был он весь. Всегда обожал он такие эффекты, доискиваясь смысла вещей в поверхностных их отражениях. Но хорошо уже то, что сравнил он эту мелькнувшую и исчезнувшую паутинку с прошедшей дружбой, а не с его, Шумова, жизнью, которую сейчас, как и паутинку, держал Максим в руке, и от него зависело, оборвать ее или выпустить в прозрачный осенний воздух. Ибо Пряхин был, пожалуй, единственным сейчас в городе человеком, кто звал не биографию Шумова – биографии-то последних лет он как раз и не знал, – а самую суть его, единственным, кого нельзя обмануть ни легендой, ни документами с настоящими немецкими печатями и штампами.

Дорого дал бы Шумов, чтобы избежать встречи с Максимом, но она состоялась, и нельзя было этого изменить. Смерть положила руку на плечо, и, словно стараясь стряхнуть ее, он поправил лямку вещмешка и провел ладонью по шинели.

Движение показалось Максиму угрожающим.

– Думаешь пальнуть в меня? Из кармана?.. Звук, конечно, приглушит, а шинель попортишь, продырявишь. Хотя, с другой стороны, жизнь, она дороже...

Говорил он серьезно, будто в самом деле прикидывал, стоит ли стрелять Андрею.

– Зачем мне убивать тебя?

– А по глупости, – охотно пояснил Пряхин. – По глупости люди, между прочим, много зла делают. Особенно когда за идею стараются.

– Сколько мы не виделись, Максим?

– Давненько.

– Время меняет людей.

– Бывает, – согласился Пряхин. – Да не нас с тобой.

– Переубедить тебя, сам знаешь, трудно. Ты всегда отличался ослиным упрямством, – сказал Шухов резко, понимая, что мягкостью Пряхина не проймешь.

И тот не обиделся.

– Это точно. Против вашей демагогии стоял твердо... Так зачем, Андрюша, в город пожаловал? Давно в театрах не бывал?

– Я попал в плен, и меня отпустили...

– Отпустили? Тебя? Немцы? Неважно, выходит, у них с бдительностью... Совсем

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
неважно. Просто поверить не могу. Думаю, врешь...

Встречу эту, во многом определившую дальнейшую судьбу Шумова, автор сценария представлял себе совсем по-другому, как, впрочем, и Лаврентьев, который сидел теперь в удобном, но захламленном номере гостиницы.

Лаврентьев сидел и смотрел на ходившего по комнате режиссера. Он мало чем напоминал описанного молодой актрисой «самодовольного меланхолика», выглядел человеком явно эмоциональным и (этого Лаврентьев не знал) как по характеру, так и вследствие определенных жизненных обстоятельств вовсе не был склонен к самодовольству.

Если говорить коротко, у режиссера не складывалась жизнь – ни личная, ни профессиональная. Обычно людей делят на счастливых и неудачников. Сергея Константиновича нельзя было приписать ни к той, ни к другой группе. У него сначала все шло очень хорошо, а потом пошло из рук вон плохо.

Он родился в благополучной семье, глава которой занимал высокое положение в промышленности, а мать была скромным участковым врачом и вырастила трех сыновей. Младший, Сергей, рано обрел собственное призвание, влюбившись в кино, и поступил во ВГИК, нарушив семейную мужскую традицию – отец и оба старших брата окончили МВТУ. Учился он легко, сразу попал в число подававших надежды, дипломная работа его была отмечена похвалами авторитетов и показана по первой программе телевидения. На последнем курсе он женился на девушке, которую полюбил. Казалось, удачно складывается интересная и обеспеченная жизнь. Но вдруг небосвод стали затягивать тучи.

Он работал над первой самостоятельной картиной, возлагал на нее большие надежды... Работал увлеченно, не прислушиваясь к советам и предостережениям. Хотел сделать то, что хотелось ему, и так, как он это видел. Речь шла о судьбе доброго и порядочного сельского парня, который, поддавшись общему поветрию, отправляется искать счастье не туда, куда звало его сердце, и испытывает неизбежную горечь разочарования и поздно осознанных ошибок.

Сама история была простой, но картина получилась излишне усложненной. От подчеркнутых контрастов бетонных переплетений городских строек и кружевных наличников на сельских избах, бездушного грохота магистралей и умиротворенного покоя тихих проселков веяло нарочитостью, ненужной претенциозностью. Это не значит, конечно, что в картине не было ничего свежего и оригинального. Многие кадры впечатляли и вызвали доверие, но в целом она не получилась и, как понял это Сергей много позже, не получилась оттого, что ставил ее человек, которому самому только предстояло пройти невзгоды и разочарования; во время же съемок все эти жизненные сложности, казавшиеся ему понятными, были на самом деле за семью печатями, и он наивно подменял их горькую простоту умозрительной холодной усложненностью.

А тут еще в разгар работы у режиссера завязался роман с актрисой, игравшей роль очень положительной девушки. Актрису взяли в картину исключительно по внешним данным, и характером она ничуть не напоминала свою героиню.

Этот мучительный роман буквально лихорадил съемочную группу, и результатом его стал развод режиссера с женой, которая только что родила ему дочь. А вскоре после нового брака у Сергея появился и сын. Одним из неприятных последствий всех этих событий было открытие сложной роли, которую играют в жизни человека деньги. Средства потребовались позарез. Полученную в свое время комнату Сергей оставил первой жене с ребенком, а сам вступил в хороший кооператив, рассчитывая на постановочные и отцовскую субсидию. Постановочные, однако, оказались ничтожными, а так как невзгоды не приходят в одиночку, последовало несчастье и гораздо более тяжелое – прямо в министерстве, в кабинете, умер от инфаркта отец, и казавшееся само собой разумеющимся материальное благополучие семьи нарушилось.

Все это, вместе взятое, выбило режиссера из привычного состояния спокойствия и уверенности и повергло в смятение. Стремясь поправить дела, он взялся, а вернее, ухватился за постановку, которая в общем-то была ему не по душе. Однако фильму прочили конъюнктурный успех – в нем ставилась модная производственная проблема, и решалась она на экране с размахом, в двух цветных широкоформатных сериях. Снимали на огромном, известном заводе и снимали долго, а когда наконец

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
закончили, случилась очередная неудача – производственная проблема в жизни решилась совсем не так, как в кино.

Тем временем бывшие сокурсники Сергея успешно завоевывали позиции, кто громко и уверенно, а кто потише, но без провалов, благополучно. Все это тоже действовало. Середнячки стали поглядывать свысока, а с удачливыми друзьями самому не хотелось видаться. Режиссер впал в жестокую ипохондрию. Не принесла радости и новая семья. Жена ждала от него совсем иного. Произошел очередной разрыв. Впрочем, еще до развода он сошелся с женщиной, не имевшей никакого отношения к кино, но сумевшей пожалеть его, утешить.

Утешало и вино, которое незаметно обрело в жизни незнакомый прежде смысл. Однажды он не выдержал, купил бутылку и выпил один, чего раньше никогда с ним не случилось, но потом стало случаться нередко и со значительным перебором. Произошли я скандальные эпизоды, повлекшие административные последствия... Короче, был кризис, затянувшийся почти на два года. А потом во всей этой горькой мути что-то прояснилось, и пришла нестерпимая боль стыда за собственную слабость, за непростительно растраченное время. Захотелось снова работать, доказать, что он может работать, доказать прежде всего себе, а не тем, от кого зависит успех и заработок. Но привычной уверенности как не бывало. Наоборот, мучил страх и масса сомнений. В одном только он не сомневался – третий провал будет профессиональным крахом. О его последствиях думать было невыносимо. И, может быть, именно потому, что сам он считал свое положение критическим, он выбрал сценарий, рассказывающий о человеке, сильном духом, пошедшем на смерть за дело, которое было для него дороже жизни.

Сценарий, правда, был не самым лучшим; написал его провинциальный краевед, человек скромных литературных способностей, но сам фактический материал, до которого автор докапывался несколько лет с добросовестной педантичностью историка, нес в себе то, что принято называть правдой жизни и духом времени, того героического времени, когда человек постоянно проверялся на подлинную ценность.

Эти важные для себя основы сценария режиссер надеялся очистить от шелухи привычных схем, преодолеть слабости литературы и сказать свое творческое слово. Он не хотел делать обычную приключенческую картину, хотя от него ждали именно такой, да и, говоря откровенно, доверили постановку только потому, что картина считалась в студийных кругах среднепроходной, в лучшем случае кассовой, одной из многих любимых массовым зрителем лент «о разведчиках и шпионах». Спорить с «общественным» мнением, лезть в бутылку, как он понимал, не имело смысла. Правоту можно было доказать только делом, а не словом. И он не делился сокровенным, а говорил нечто путаное и противоречивое об одиноком ковбое, зная прекрасно, что картина, за которую он взялся, ни в чем не будет походить на вестерн, хотя вестерн как жанр он вовсе не презирал, ценя в нем и сдержанную мужественность, и торжество справедливости.

И в своей картине Сергею Константиновичу была близка идея торжества, победы справедливости – собственно, главная идея фильма, – но за победу над злом его герои платили иной ценой, а это неизбежно определяло иное художественное решение, которое то казалось четким и бесспорным, то расплывалось, дробилось на частности, теряя цельность. Все это вызывало новые и новые волнения, нервы сдавали, а тут еще дожимала жара, изматывали напряженные отношения с администрацией и мучило недоверие к близким сотрудникам, которые, как он подозревал, охотнее работали бы с другим, более надежным режиссером. В результате настроение Сергея Константиновича, как маятник, колебалось между крайними точками – от надежды до самых мрачных предчувствий, и тогда он, кляня свою слабохарактерность, выпивал стакан-другой вина в поисках кратковременной разрядки...

Все эти обстоятельства режиссерской судьбы, разумеется, были неизвестны Лаврентьеву, и, наблюдая случайно приоткрывшуюся ему закулисную сторону незнакомой жизни, с полуфарсовыми, почти анекдотическими сценками, он испытывал чувство досадливой неловкости за людей, поведение которых так не вязалось в его представлении с поведением тех, кто взял на себя ответственность рассказать о трагедии войны.

И, поднявшись, он спросил:

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Кажется, я больше не нужен? Если возникнет необходимость, я рядом. В городе пробуду несколько дней.

Режиссер посмотрел, подумал о чем-то.

– У меня ощущение, что вы нам будете нужны.

Оператор и художник промолчали. У обоих было развито кастовое недоверие к «непосвященным».

– Ну, мы посылаем телеграмму или нет? – спросила Светлана, когда Лаврентьев вышел.

Сергей Константинович потер ладонью потную грудь.

– Черт бы побрал эти склоки.

Он немного успокоился. Писать жалобу было противно.

– Если не пошлем, они нам на голову сядут, – сказал Генрих, заметив колебания режиссера.

– Да не в этом дело... Ты-то, как оператор, за суперкран или за балкон?

– Я за суперкран, – ответил Генрих, хотя в душе суперкрана побаивался, потому что оператор-постановщиком был назначен впервые и опыта имел мало. Но он решил быть твердым.

– Сказавши «а», продолжай говорить дальше, – меланхолично поддержал Федор. – Ладно. Пишите, Светлана!

Светлана достала шариковую ручку и набросала текст с требованием воздействовать на дирекцию.

Эта спокойная женщина, работавшая на картине вторым режиссером, а точнее, просто режиссером, была в сущности единственным человеком в группе, которому режиссер-постановщик полностью доверял. Кое-кого это раздражало, и об отношениях Сергея Константиновича со Светланой говорили всякое, что, впрочем, во многом соответствовало истине, с одной, правда, поправкой: доверие к Светлане основывалось на тех деловых качествах, которыми она в действительности обладала, все же остальное было продолжением этого доверия, а не наоборот.

Когда текст утвердили и Генрих с Федором ушли, режиссер привлек к себе Светлану и взялся за пуговицу на ее джинсах. Секунду она наблюдала, как он пытается отстегнуть пуговицу, но потом покачала головой и отвела его руку:

– Нужно отправить телеграмму. Лучше, если наша придет раньше...

Режиссер вздохнул:

– Вы не женщина, Светлана.

Ее непробиваемая деловитость мешала ему говорить «ты».

Застегивая пуговицу, она пожала плечами:

– Кажется, я пыталась доказать вам обратное.

– Вам это не удалось.

Она улыбнулась:

– Что делать... Хорошо. Попытаюсь еще. Когда вернусь с почты. А вам советую пока принять душ.

– Спасибо. Я так и сделаю. Чтобы благоухать к вашему возвращению.

– Кстати, вы видели нашу девочку?

- Какую девочку?
- Актрису на роль Леры.
- А... Пусть подождет.

Молодые актрисы вызвали в нем неприятные воспоминания о второй жене.

Режиссер проводил Светлану до дверей, постоял немного и стянул через голову рубашку. Потом, пританцовывая на одной ноге, начал стаскивать потертые дорогие джинсы. Оставшись в трусах, он подошел к зеркалу и с огорчением посмотрел на себя. По белому, зимнему, телу проходила широкая красная полоса от туго затянутого ремня, и было заметно, что мышцы теряют былую упругость, живот начинает угрожающе выделяться, несмотря на бессистемность питания и нервные перегрузки. Инстинктивно втянув живот, он прошел в ванную и постоял немного, сколько смог, под горячей струей, потому что холодная вода, хотя и пошла, однако напор был слабый. Вернулся в комнату Сергей Константинович освеженным и прилег на диван, накинув на покрасневшее тело махровый халат. В который уже раз он принялся листать и перечитывать сценарий.

После длинного и многозначительного прохода Шумова по безлюдным улицам начиналась сцена в гестапо, одна из тех информационных сцен, которые должны были продемонстрировать врагов и намекнуть, что среди них находится и наш человек, проникший, так сказать, в логово, чтобы оказывать помощь подпольщикам. Сам человек этот на экране не появлялся по той причине, что автор о нем фактически ничего не знал и все последующие отношения этого человека с Шумовым просто домыслил.

Вообще в сценарии было немало таких мест, шитых белыми нитками, и режиссер ощущал их теперь гораздо острее, чем когда бегал по студии, проталкивая сценарий.

По материалам, собранным автором, Шумов, прибывший в город, чтобы взорвать театр, останавливался у старого рабочего Максима Пряхина, соратника еще по подполью времен гражданской войны. В конце фильма Пряхин погибал, жизнью своей спасая отступающих товарищей. Все это подтверждалось документально, и фотография Максима висела на почетном месте в музее. Больше того, сам домик Пряхина с колодцем, откуда шел партизанский подземный ход в заброшенную каменоломню, был филиалом музея. Таким образом, сценарий не противоречил исторической правде, но режиссер не мог подавить вздоха, перечитывая текст...

«... – Ну, здравствуй, старый дружище, – говорит Шумов, обнимая Максима. – Не ждал?

– Не ждал, Андрей... Не думал я, что так встретиться нам придется. Что сюда фашист придет. Что в родном доме прятаться от врага будем. Из родных стен его выгонять...

– Зачем выгонять, Максим? Мы люди гостеприимные. Раз пришли гости, пусть тут и остаются. Навеки. Разве нам привыкать сражаться? Есть еще порох в пороховницах...

– Вот насчет пороха, Андрюша... Со взрывчаткой плохо.

– Не так уж плохо, как ты думаешь...»

Режиссер швырнул сценарий на пол.

«Неужели они так и говорили? Вымученными книжными словами, которые кочуют из картины в картину... Люди, у которых за плечами четверть века борьбы... С царской охранкой, с Деникиным. Шумов в Испании был... А они Тараса Бульбу повторяют – порох в пороховницах...»

И, забыв о телеграмме и Светлане, режиссер поднялся и взял телефонную трубку. Звонил он в музей, автору:

- Вы не хотите еще разок побывать в домике Пряхина, Саша?

- Конечно, Сергей Константинович, охотно. Я сейчас отпрошусь.
- Отлично. Я заезжаю за вами.

Режиссер вызвал машину.

По пути в музей Сергею Константиновичу пришлось проехать мимо старинной тумбы, вопреки времени уцелевшей на перекрестке, с которого давно убрали трамвайную линию. Она почти не изменилась, если не считать стеклянного плафона, освещавшего теперь по вечерам афиши. Тогда плафона не было. И афиши были другими...

- Думаю, врешь, – повторил Максим.

Шумов пожал плечами, но возражать не стал.

- Сам-то чем занимаешься?

- Я? Я человек полезный. Сапожничая. Как родитель покойный. Помнишь?

Андрей вспомнил...

...Гудели над столом надоедливые пчелы. Стол стоял в саду под деревом, которое называли здесь тютинной, и всегда был в лиловых пятнах от спелых, легко отдающих сок ягод. Они с Максимом сидели за столом и ели ароматный, влекущий пчел мед, макавая в него ломти белого свежего хлеба, а отец Максима примостился поодаль с инструментом и, постукивая молотком по колодке, обтянутой сыромятной кожей, интересовался будто между прочим:

- Как же вы, молодые господа-товарищи, социализм себе представляете?

Выговаривал он – «социализьм».

Андрей хотел ответить, но Максим дернул его за рукав:

- погоди. Это ж он посмеяться хочет. дай я скажу.
- Скажи, скажи, грамотей. Ты ж в церковноприходской похвальный лист имел.
- И скажу. Просто скажу. Не будет при социализме сапожников.

Отец даже присвистнул от удовольствия.

- Прояснил!.. Это что ж, разутые все ходить будут? Или как?

– Насмехаешься? Не будет разутых при социализме. На фабриках обувь делать будут. Машинами. Чтобы никто перед заказчиком не унижался, не лебезил, как ты!

Отец обиделся:

- Мало я тебя, дурака, порол в детстве.

Давно это было, давно...

- Сапожничаеть?

– Могу и тебе набойки поставить. – Максим оглядел сбитые шумовские сапоги. – фабрика моя рядом. По пути еще одного друга поведем...

- Друга? О ком ты?

- Сам увидишь...

Метрах в трехстах от афишной тумбы, где довелось им неожиданно встретиться, в свое время в честь приезда в город царя-освободителя Александра Второго была воздвигнута арка, помпезное сооружение, считавшееся в последние годы помехой растущему городскому транспорту и пригодившееся вдруг новым властям в роли, о

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
которой не помышляли устроители. Три человека – двое мужчин и женщина, – неподвижно вытянувшись, висели в пролете арки, а чуть поодаль, стараясь не смотреть на повешенных, топтался полицай в немецком мундире и цивильных брюках, заправленных в хромовые, спущенные гармошкой сапоги. За плечом у полицая болталась русская трехлинейная винтовка с длинным штыком.

– Кто они? – спросил Шумов.

– Посредине Устименко, как старший, а по бокам докторша одна да слесарь с паровозного депо.

Нет, с Устименко они не дружили, но он знал его по комсомолу и всю дорогу сюда старался припомнить поподробнее скуластое характерное лицо, чтобы не ошибиться при встрече, и вот, вышло, зря старался...

– За что их?

– А то не понял?.. Нашли кого в подпольщиках оставлять! Он же, Устименко, секретарь райкома был. Его тут каждая собака знала. А они его в городе оставили. Эх, Расея безмозглая! Считаю, со времен Желябова в подполье живем, а всё по простоте, что хуже воровства... Ничему научиться не можем.

О России и ее обидных неумениях выпутаться из исторических невзгод Пряхин любил поговорить и в прежние времена зло и беспощадно. И сейчас он отдался этому чувству обиды и не обратил внимания на изменившееся лицо Шумова, который думал, а вернее, заставлял себя думать, чтобы выдержать и этот новый удар: «Что ж, если бы мы не встретились и не пошли этой улицей, я мог узнать об этом позже, может быть, слишком поздно...»

Будка, в которой сапожник Максим, ничем не отличалась от других подобных фанерных сооружений. Стены ее внутри были обклеены традиционными, вырезанными из журналов картинками. Вырезки были из немецких журналов, в основном тирольские пейзажи – зеленые горы и миловидные девушки в нарядных костюмах, скромно и приветливо улыбающиеся своим далеким женихам и братьям, воинам великой Германии.

– Ну, скидай обувку, – предложил Максим.

И он быстро и ловко прибил мелкими деревянными гвоздями набойку, подровнял край острым ножом с ручкой, обмотанной широкой изоляционной лентой, и, полюбовавшись на дело своих рук, протянул сапог Шумову:

– Прошу. Как с фабрики «Скороход».

– Спасибо.

Шумов обмотал ногу бумажейной портянкой, натянул сапог и достал из кармана желтую немецкую марку. Пряхин взял, усмехнувшись:

– От каждого – по способностям, каждому – по труду?.. Ну что, ко мне двинемся?

Другого выхода у Шумова в тот момент не было.

Миновав афишную тумбу, машина с режиссером проехала и мимо отреставрированной недавно арки, которая охранялась теперь как памятник архитектуры прошлого. Музей находился через пару кварталов от арки. Располагался он в глубине тенистого двора, отделенного от улицы чугунной оградой, а вдоль этой ограды прохаживался автор сценария. Прохаживался он подчеркнуто неторопливой походкой, а на самом деле чувствовал себя неловко и даже нервничал, потому что предполагал, что сотрудники наблюдают за ним из больших музейных окон.

С некоторых пор положение автора в музее стало двойственным. С одной стороны, он, несомненно, вознесся в глазах сослуживцев, принимая участие в постановке настоящего кинофильма, но с другой – оставался все таким же рядовым научным сотрудником, подчиненным людям, чьи способности втайне оценивал значительно ниже своих. Подозревал он и недобрую зависть, подогреваемую преувеличенными представлениями о кинематографических гонорах, хотя фактически получил до сих пор не так уж много, притом частями, авансами, которые быстро растаяли во время

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
неизбежных поездок на студию и в общении с теми, кто работал над будущей картиной. Однако слухов о своем преуспевании автор не опровергал; он был тщеславен, скромным положением в музее тяготился и верил, что картина изменит его жизнь.

О переменах в жизни он мечтал давно. Хотя автор и считался человеком молодым и все называли его просто Саша, он хорошо знал, что большинство великих людей в его возрасте уже совершили все или почти все, отпущенное им историей. В действительности Саша был не столько молодым, сколько молодежавым. Обладая фигурой несформировавшегося подростка, он, хотя и не был высок, по природной сухости и узкоплечести выглядел длинным, с длинными руками. Им Саша никак не мог найти места, я они постоянно находились в движении, отнюдь не придавая ему желательной солидности, ради которой он отрастил даже мужественную скандинавскую бородку. Но и бородка в глазах некоторых только молодила его, а было ему уже под сорок, и время возможных перемен быстро уходило. Поэтому и возлагал он такие надежды на кино.

Надежды эти часто захлестывали автора сверх меры, будущее рисовалось в преувеличенно розовых красках, в широкой известности и во многих жизненных благах. Венцом мечтаний был, конечно, переезд в Москву. Разумеется, вслух об этом не говорилось, Саша очень боялся насмешек и излишне волновался даже по незначительным престижным поводам. Вот и сейчас, вышагивая вдоль ограды, он думал, как соблюсти себя в глазах сослуживцев, если машина остановится далеко и режиссер небрежно помашет ему рукой, приглашая подойти и сесть, видимо, на заднее сиденье. Тут следовало сдержаться, не бросаться суетливо, а подойти к машине не спеша и достойно...

Однако опасения и тревоги оказались напрасными. Режиссер сидел сзади с Генрихом и, когда машина остановилась, вышел, дожидаясь поспешившего все-таки через дорогу автора, протянул ему руку и сам приотворил дверцу:

– Садитесь сюда. Наш водитель плохо знает город.

В этот момент Саше хотелось, чтобы у окон собралось как можно больше его коллег. Мелкие тревоги самолюбия исчезли, и он вновь почувствовал себя причастным к важнейшему из искусств в почетной и необходимой роли. Его охватила несколько взвинченная радость, и, обернувшись к режиссеру, автор сказал весело:

– В такую жару очень помогает холодное шампанское.

– Вы так думаете, Саша?

Он называл автора на «вы», хотя в начале знакомства и сделал попытку перейти на дружеское «ты»; однако автор заподозрил в этом нечто для себя снисходительное, и режиссер, почувствовав его сомнения, вернулся к более сдержанной форме общения.

– Нам шампанское не по средствам, не по средствам, – отозвался любящий подчеркивать свои мысли повторением слов Генрих.

– Ну что вы! – Автор протестующе полез в карман.

– Мы вам верим, Саша, но не хотим, чтобы ваши дети голодали, – улыбнулся режиссер, который, впрочем, совсем не прочь был выпить шампанского.

Говоря «дети», он подчеркивал свою шутку. У автора был один сын, который вместе с матерью отдыхал у ее деревенских родственников, что предоставляло Саше определенную свободу действий. И он решительно попросил шофера остановиться у винного заведения с многообещающим названием «Солнце в бокале».

Шампанское оказалось действительно холодным и вкусным. Режиссер выпил с удовольствием и сказал добродушно:

– А у меня к вам, Саша, новые претензии. Не нравится мне один диалог.

– Какой же?

Когда речь заходила о диалогах, автор терялся. Будучи прежде всего историком, шел он в сценарии от фактов, а не от характеров, и потому герои его говорили

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

так, как слышал он в других картинах или читал в книгах, часто, в свою очередь, вторичных, написанных по старым, давно утратившим свежесть и новизну образцам. Чувствуя это, автор без возражений соглашался на переделки, но как и что изменить, не знал, а лишь старался догадаться, чего же хочет от него режиссер. Тот же хотел одного – чтобы было не так, а лучше, но если бы он знал, как сделать лучше, то, наверно, писал бы сценарии сам. Таким образом, возникали тупики, в которых оба мучились, перебирая массу вариантов и сомневаясь в каждом из них.

– Не нравится мне встреча Шумова с Пряхиным.

– Давайте еще подумаем.

– Придется. Хотя и времени у нас уже нет, да и сценарий утвержден. Но, может быть, поищем какие-то живые слова? Пару реплик хоть, что ли... Потому я и тащу вас к домику... Может, натура нас вдохновит немножко...

И они поехали туда, куда тридцать с лишним лет назад шли пешком Пряхин и Шумов.

Еще в восемнадцатом веке, когда Россия основала у моря на отвоеванной у Турции пустынной земле обнесенную звездообразным валом крепость, под защиту ее стал стекаться из давно населенных губерний разного рода предприимчивый, подвижный люд. Чтобы в государственных интересах упорядочить его местопребывание, военные инженеры спланировали возле крепости поселок-форштадт, обозначив на чертеже для простоты улицы номерами и назвав их по принятому в то время образцу линиями. Тридцать пятая линия замыкала форштадт, выходя к крутому оврагу, по-здешнему – балке, где добывали камень для крепостных бастионов. За счет выработок балка расширилась, надолго определив границу возникающего города. Граница эта, впрочем, проходила не так уж далеко от вокзала, и Шумов с Пряхиным довольно быстро добрались до плотно сбитых ворот в высоком зеленом заборе, за которым надежно скрывалось от любопытных глаз Максимове хозяйство.

Пряхин открыл ключом врезанную в ворота калитку и пропустил Андрея во двор с небольшим запущенным садиком и флигелем с верандой, заплетенной не растерявшим еще многоцветную осеннюю листву диким виноградом.

– Хозяйка моя второй год как богу душу отдала. Так что за прием не обессудь. Чем богаты... Картошки сварю в мундирах да коньячку собственного изготовления – марка «три свеклочки» – по стопке найдется, – пообещал Пряхин.

Но самогон оказался пшеничный, крепкий.

Максим крикнул, хлебнув из граненой стопки, выхватил из чугуна горячую картошину и, подув на нее, обмакнул в крупную желтоватую соль.

– Со свиданьем.

– Будь здоров, Максим.

Шумов тоже выпил.

– Так как же, Андрей, жизнь твоя протекала?

– Если схематично – Москва, учеба, на стройках работал по специальности. Потом был репрессирован по ложному обвинению. Удалось добиться пересмотра дела. Не сразу... Жена не дождалась. Хорошо, что детей не было. В Красную Армию попал по мобилизации. Ну, дальше я говорил уже – в плену оказался.

– Сам сдался?

– Нет, ранен был в Белоруссии.

– Как же тебя немцы отпустили?

– Они отпускают тех, кто кажется лояльным к «новому порядку».

– И ты показался?

– Я не скрывал, что был репрессирован.

– Складно говоришь... Но грустно. Лазаря поешь. А раньше что пел? «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем»?

– Было.

– Было. Раздували, пока штаны на заднице не прогорели.

– Выходит, так.

– Примирился?

– Жизнь научила.

Максим еще налил, покачал головой:

– Вот уж не думал, что у нас когда-нибудь такой разговор состоится. Выходит, укатали сивку крутые горки... Если не врешь, конечно. Где сидел-то?

– Беломорканал строил.

– Тачки гонял?

– Приходилось.

– Или охранял тех, что гоняли?

– Что я тебе доказать могу?

– А мне доказывать не надо. Я не гестапо, не гепеу. Я теперь единственный член эс-пэ-эм-пэ, – проговорил он отдельно. – Значит это – Собственная Партия Максима Пряхина. Сам цека, сам совнарком. Вот мое государство, забором огороженное. Видал?

– Немцы его признают?

– А на что я им? Инвалид-сапожник... Человек безобидный. Вроде цыпленка, что не агитировал, не аннексировал, а только зернышки клевал.

– Да ведь не всегда...

...Это было при Деникине. Пятеро сидели в тесной комнате. Один снял пенсне, потер пальцами переносицу.

– Итак, товарищи, считаю доказанным: Дягилев – провокатор.

Никто не возразил.

Коптила на столе керосиновая лампа, черные струйки ложились на стекло.

– Не тяни, керосин кончается, – сказал Максим.

Старший надел пенсне, взгляд его близоруких глаз окреп.

– Приведение приговора в исполнение предлагаю поручить товарищам Пряхину и Шумову... Справишься, товарищ Андрей?

– Революционный долг выполняю, – выдохнул он торопливо.

...Дягилев приехал в лодке на пустынный остров, куда его вызвали якобы на конспиративную сходку. Пряхин и Андрей ждали. Шумов настаивал, чтобы Дягилеву был зачитан приговор:

– Он должен знать, что его карает рука революции, которую он предал.

– Догадается, – буркнул Максим.

Приговор не читали.

Потом, тяжело дыша, Максим привязал к ногам Дягилева заранее приготовленный камень, потянул веревку, проверяя на прочность...

– Вот и все, – сказал он, когда булькнуло под скалой из выветренного песчаника.

Андрея трясло.

На обратном пути гребли молча.

На пристани голубоглазый офицер с трехцветным корниловским шевроном на рукаве спросил у них весело:

– что ж без рыбки, рыбаки?

Он был в благодушном настроении: генерал Май-Маевский только что взял Харьков...

– Задумался? – спросил Максим. – Вспоминаешь? Выпей лучше. Что было, бывшем поросло. Двадцать лет, как я из партии вышел...

...Пряхин из партии вышел – это было как удар грома. Не согласен с новой экономической политикой.

Нэп выбил из колеи многих. Некоторые даже стрелялись. Но Пряхин?!

Максим ходил тогда в черной косоворотке с тонким кавказским пояском. Сгоряча Андрей схватил его за пояс, но тот отбросил руку:

– чего прицепился?

– Это непоправимая ошибка, Максим. Ты ничего не понял в нэпе.

– В гимназии, как ты, не обучался. Но понял все. Не агитируй. Точка.

– я тебе как друг...

– Буржуи недорезанные вам теперь друзья.

– Замолчи! За такие слова...

– что? в чека? Пролетария в Чека, а буржуя в магазин?

– Бланкист!

– Термидорианцы!..

Двадцать лет...

И снова взят Харьков...

Но кто они с Максимом? Кому из них вынесла приговор жизнь, и кто приведет его в исполнение?

А Максим, видно, тоже вспомнил, как и он, последний, давний спор.

– Я ведь прав тогда оказался. Не тем вы путем пошли. Сначала с нэпманами заигрывали, потом с Гитлером договорчик заключили. А Гитлер – это вам не коммерсант из лавочки. У тех что? Сахар-рафинад, маркиzet, сукно в штуках... А тут танки, «юнкеры», эсэс, гестапо... Не тот коленкор. Не в тот рот палец положили... Руку вам и отгрызли. Теперь до горла добираются. Как Волгу перепрыгнут, так и каюк. Ни Рузвельт, ни Черчилль не помогут. За собственную шкуру дрожат. Вот оно как повернулось. Жила-была Россия, великая держава, Россию растащили налево и направо.

– Болеешь, выходит, за Россию?

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– А то как же? Как говорится, тутошний рожак. Это вы ее, матушку, в архив списали. Шире мыслили. В мировом масштабе... Интернациональном.

– А ты как мыслил?

– Да и я так. Пролетарии всех стран... А у немцев кто в армии служит? Банкиры? Наверяд ли у них столько банкиров нашлось!

– Ты, я вижу, и немцев не любишь?

– Я уже сказал. Сам я по себе. Отлюбил. Хватит. А вот тебя не пойму. – Пряхин потянулся к бутылке, встряхнул прозрачную жидкость. – С одной стороны, человека не переделаешь. Тут у марксистов самый большой просчет. А с другой – меняются люди. Вот и гадай, откуда ты – из лагеря или из-за Волги. Скорей оттуда все же.

– Нет, Максим.

– Не доверяешь, значит?

– Пьян ты.

– Не пьяней тебя. Ну да ладно. Время тяжелое. Трудно с людьми говорить.

Трудный разговор происходил в небольшой, как и весь дом, комнате, но комната эта считалась главной, по-старинному – залой. Посредине ее стоял стол, за которым на венских стульях с гнутыми спинками сидели Андрей и Пряхин, а вдоль стен – старая мебель. Висели на стенах и разные необходимые или украшающие комнату предметы: зеркало в витой раме, перовские охотники, фотографии Максима и близких ему людей – женщины с шестимесячной кудрявой завивкой, видимо, покойной жены, отца в жилете, с закрученными кверху усами, незнакомого Андрею мальчика, изображенного в фотоателье на фоне рисованных гор и парящего над ними орла. Сам Максим был представлен снимком старым, фронтовым, с которого смотрел пристально и лихо. Был он в фуражке с кокардой и в погонах со скрещенными артиллерийскими стволами. На гимнастерке красовался Георгиевский крест, по которому шумов определил, что сделан снимок не позже пятнадцатого года, потому что потом Пряхин выслужил полный бант, но наградами не гордился, а говорил негодуя: «Вот чем самодержавие нашу кровушку оплачивало – цацками!»

Дружба их в те давние, еще до первой войны, времена многим казалась странной – ну что за дружба между мастеровым парнем и гимназистом-мальчишкой. В юности пять лет – разница огромная! А вот дружили... Когда отец шумова по бедности вынужден был поселиться на окраине, сыну его пришлось непросто. Соседские ребята к гимназистам относились непочтительно, и немало бы выпало на долю Андрея неприятностей, а то и просто тумачков, не приглянись он Максиму Пряхину, парню, пользовавшемуся в своем краю авторитетом непререкаемым.

– Этого не трогать, – сказал он, и все запомнили и не трогали.

Иногда Максим заходил к шумовым, брал читать книги. Особенно нравился ему Гюго – «Отверженные» и «Девяносто третий год», но в оценках последнего романа они уже тогда не сходились.

– Ну, пусть маркиз спас детей, пусть... А сколько он погубил народу?! Нет, нельзя было его выпускать. Революцию так не сделаешь...

Андрей не спорил, его восхищала суровая беспощадность якобинской диктатуры, но он понимал и Говэна, потрясенного поступком Лантенака.

– А я не понимаю, – говорил Максим, – как он его пожалеть мог! Ведь маркиз, на верную гибель возвращаясь, и свое дело, по существу, предавал? Кто ему на это право дал? Король? Дудки!

Это был сильный довод, потому что Андрей не знал тогда, что, бывает, в жизни человека приходит час или минута, когда только он сам, один, имеет право и обязан решить, как ему поступить, чтобы остаться человеком, возвысившись над жизнью и смертью.

Многого не знал и Максим, но в отличие от Андрея считал, что знает, говорил

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
горячо о правоте рабочего дела; однако в четырнадцатом подхватил его вихрь оборончества, и так же горячо убеждал он Андрея, показывая на карту Европы:

– Смотри! Сербия–то какая? Мелюзга! С Австро–Венгрией не сравнить. А они по Белграду из пушек... Нет, брат, наше дело справедливое. Такое спускать нельзя.

Прибавив год, он сбежал в армию, но попал не на австрийский, а на турецкий фронт, сражался под Эрзерумом и на подступах к Трапезунду, а в семнадцатом вернулся, уйдя с фронта, как и пришел туда, никого не спрашивая, вернулся с крестами, шрамами на крепком молодом теле и лютой ненавистью к старой жизни и тем, кто представлял ее в его глазах от ветхого и безобидного приходского священника отца Герасима до Клемансо, которых сравнивал со всегдашней своей убежденностью:

– Клемансо, конечно, тигр, крупнейший империалист Антанты. А Герасим? Божий одуванчик? Плюнь да разотри? Нет, брат. Тут связь прямая, одна цепочка, одна шайка. Масштаб разный, а суть одна – одурачивать и эксплуатировать. Я эту связь в окопах понял. Кровашкой солдатской мозги они мне промыли. Прозрел. Теперь нас на мякине не проведешь. Мы теперь всей планете глаза откроем.

Эй, буржуи, отдайте мильёны!
Теперь наши порядки, теперь наши законы...

Эти и другие клочки воспоминаний возникали, пробежали в голове Шумова во время трудного их разговора, может быть, решающего, от которого зависело, сделает ли он то, зачем приехал, и останется ли жив...

И у Пряхина неожиданная встреча всколыхнула душу, вечно беспокойную, но временами будто бы смиряющуюся с тем, что не так шла жизнь, как хотелось и мечталось. А мечталось всегда о справедливости, и не для себя только, а обязательно всеобщей. В беспокойных мыслях Максима судьбы всечеловеческие пересекались постоянно с личной его судьбой, и мучился он русской мукой – потребностью совместить судьбу всеобщую со своей собственной, чтобы хорошо было всем, по правде и справедливости. Но сами представления о правде и справедливости изменялись у него постоянно от простого и очевидного к темному и запутанному, неразрешимому. Раньше мыслил он четко и категорично, и каждая мысль выливалась в немедленное действие. Напали на маленькую Сербию – нужно выручать. Пошел на фронт. А там оказалось все непросто. Оказалось, не сербов выручаем, а капиталистам карман набиваем. Баста! Штык в землю. Мир народам. Мысль ясная, понятная. Кто против – враг. Значит, снова в штыки. На смертный бой, на последний решительный, как многие думали. А бой закончился – что получилось? Нэп... Снова хозяин в лавке.

Лавки Максим ненавидел с детства. Вечно люди там унижались, просили в долг. Лавочник давал, не отказывал, потому что кабалой покупателя привязывал да еще и уважения требовал.

– Доброго здоровья, Ефим Лукич. Как поживаете?

– Слава богу.

– Дай–то вам бог за вашу доброту.

Привык Лукич к поклонам, и в восемнадцатом году, когда Совет постановил вывести эксплуататоров с метлами на главную улицу, чтобы у народа на глазах мусор подметали, унижения не стерпел, не дожидаясь нэпа.

А в лавке его новый хозяин объявился, непохожий на Лукича: шустрый, в куцеме пиджаке, в кепке английской.

– Добро пожаловать, товарищи–граждане! Вы счастливую жизнь завоевали, а мы вас товаром для этой жизни обеспечить должны. Посильный вклад в социализм...

«Нет, стерва, не проведешь! Знаем твой вклад...»

Пусть говорят, что временно, что политика, а у Максима Пряхина своя голова на плечах. Не по его желудку эта сладкая политика. Он привык по правде жить.

Решил – отрубил.

Потом стал считать, сколько раз ошибался. Вышло – много. Что же дальше? Как жить? Засел дома, за забором, а вокруг перемены вихрем кружатся, поди разберись... Это уже после Ленина. Ленин, конечно, особая статья, не чета другим. Кремень, вождь, святой души человек. А много ли таких? Написали: «Ленин умер, а дело его живет». А сами? Нэпманов, правда, спровадили, до кулаков тоже добрались, но жирком-то пообросли! В мягких вагонах ездить стали, жен в креп-жоржет одевать, автомобильчики завели, пылят-сигналят...

Однако перед войною Максим с жизнью как-то смирился. Провел свою межу: вы сами по себе, я сам. Мне много не нужно. Живу трудом, совесть сохранил. Сын подросток. С сыном, правда, тоже не так шло, но это уже дело личное...

И вдруг – вставай, страна огромная!

Не вдруг, конечно. Ждали. Но такого...

Встали, да не в ту сторону покатались. Снова на начальство злость вспыхнула. Ведь что трубили: «От тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее»? А где она теперь, армия эта? Над бывшим горсоветом флаг развеивается. Тоже красный, да не тот, не с серпом-молотом, а с крестом черным с загнутыми концами. А дальше что? Что с Россией будет? С сыном его что будет?

И этот последний вопрос был самый больной и страшный, такой, что и думать невыносимо.

– Давай-ка, Андрей, по последней – и спать... Всего не переговоришь да и толку что?

И, поднявшись из-за стола, он начал стелить Шумову на старом широком диване.

Дивана этого, как и других вещей, заполнявших тесное Максимово жилище, конечно же, не было в помещении, называемом теперь «Партизанский домик – филиал областного музея краеведения». Да и сам хозяин вряд ли опознал бы его. За последние годы некогда окраинная улица оказалась где-то между центром и районом новостроек, возникшим по другую сторону засыпанной ныне балки, и подверглась полной реконструкции, а точнее, была снесена. Беспощадно прошлись по ней бульдозером, сокрушив и ветхие запущенные халупки, и вполне еще пригодные для человеческого обитания особнячки. Массовое строительство требовало новых площадей под многоэтажные сборные громады, и они росли если и не со скоростью грибов, как принято сравнивать, то, во всяком случае, с непреклонной последовательностью плано-административной настойчивости. Заполонив окрестное пространство, каменные пришельцы потеснились, однако оставив небольшую площадку, в центре которой и стоял «Партизанский домик».

И это был действительно условно-музейный «Партизанский домик», потому что подлинный дом сгорел почти до основания во время разыгравшегося здесь боя. И хотя краеведы, общественность и ветераны с фактом этим не смирились и добились, чтобы разрушенное и брошенное строение восстало из пепла, восстало оно уже в ином качестве – не жилья, а символического памятника событиям, ставшим для большинства живущих людей историей, а потому и выглядело соответствующим образом.

Вместо прочного деревянного забора, ограждавшего нелюдимого Максима от любопытных глаз, домик окружала легкая металлическая решеточка, перед которой возвышалась мраморная стела с надписью: «Кто в битве грозной пал за свободу – не умирает». От стелы к домику вела выложенная цветной плиткой дорожка, а по сторонам ее были высажены плохо привыкающие к сухому южному климату елочки. По замыслу реставраторов, эти строгие растения больше соответствовали суровому прошлому, чем щедрые на золотистые плоды жерделы, которые любил Пряхин. Между елками в землю были врыты удобные скамейки, предназначавшиеся для экскурсантов, ожидающих своей очереди, – домик был мал и не мог вместить много людей одновременно.

На одной из этих скамеек сидел недавно приехавший Лаврентьев и, вытирая платком потный лоб, слушал миловидную девушку-экскурсовода, которая только что встретила

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
очередную группу и в привычном убыстренном темпе давала необходимые пояснения:

– Прошу внимания, товарищи! Мы находимся на одном из самых интересных объектов, входящих в тематическую экскурсию «Наш город в дни Великой Отечественной войны». Этот заботливо охраняемый государством объект называется «Партизанским домиком», или «Домиком Пряхина», по фамилии проживавшего здесь подпольщика... Максим Пряхин, как и его сын Константин, входил в боевую группу Шумова, которой был поручен взрыв театра...

Слушатели понятливо кивали. Видимо, они уже побывали на других «объектах» и в целом представляли, о чем идет речь.

– Некоторое время под видом квартиросъемщика здесь жил сам Андрей Шумов, лично руководивший наиболее ответственными операциями группы. В частности, вам, конечно, рассказывали о террористическом акте казни первого бургомистра города, бывшего крупного помещика и сахарозаводчика Барановского...

Лаврентьев не знал, что рассказывали экскурсантам о смерти Барановского...

Бургомистр был убит на второй день по приезде Шумова в город, и случилось так, что он оказался последним, кто видел Барановского живым и разговаривал с ним.

По пути к городской управе Шумову пришлось еще раз пройти мимо триумфальной арки и повешенных подпольщиков. Он прошел, склонив голову, и хотя провал и гибель этих людей тяжело осложняли его задание, во сто крат увеличивая риск, Шумов не мог даже в малом согласиться с обидными словами Максима о казненных.

Нет, не в промахах и ошибках было дело. Не были мы готовы к тому, чтобы здесь, за тысячу с лишним километров от границы, заранее создавать подпольную сеть, а подготовиться немцы не дали, вот и пришлось оставлять тех, кто был на месте, был проверен и надежен. И те понимали, на что идут, и путь свой прошли честно. Как и ему. Андрею Шумову, предстоит...

В приемной бургомистра за большим казенным столом сидела худощавая, не первой молодости женщина с распущенными до плеч волосами и, прихлебывая чай из стакана, просматривала газету. Газета называлась «Свободное слово» и печатала много объявлений о продаже нуждающимися людьми разного рода имущества. Этими объявлениями и была занята секретарша бургомистра, когда вошел Шумов. Увидев его, она положила газету на машинку «Ундервуд» и пояснила, что господин Барановский в это время не принимает.

Шумов хотел спросить, когда же зайти в следующий раз, но тут дверь из кабинета распахнулась и сам бургомистр вышел в приемную. Он оказался пожилым и на вид изношенным человеком, одетым в черное с бархатным воротником пальто и такого же цвета котелок. В руке он держал трость с серебряным набалдашником.

Оглядев Шумова брезгливым, усталым взглядом, бургомистр спросил коротко:

– Ко мне?

– Я предупреждала, – поспешила оправдаться секретарша.

– Простите, что пришел несвоевременно, – подтвердил Шумов. – Но я собирался только передать письмо от близко вам известного человека.

– Близко известного? Что еще за человек? Давайте письмо.

Шумов передал конверт. Бургомистр взял со стола секретарши перочинный ножик и вскрыл письмо.

– Откуда вы знаете Владимира Карловича?

Это был трудный вопрос, но Шумов подготовился к нему.

– Мы познакомились в лагере для военнопленных. Владимир Карлович по поручению германского командования отбирал людей, могущих быть полезными новой России.

– И вы такой человек? Ну-ну...

Барановский достал из внутреннего кармана очки и начал читать письмо, которое действительно написал Владимир Карлович, хотя и не вполне по доброй воле.

– Так... так... Вы и есть Андрей Николаевич Шумов?

– С вашего позволения...

– Любопытно. Если не ложь... Вас проверят.

– Понимаю. Когда разрешите зайти?

– Когда? – Бургомистр подумал и вдруг предложил: – Знаете, поедemте со мной. Я обедать еду. Поговорим по пути.

И, не дожидаясь согласия, пошел вперед неожиданно быстрой походкой, в которой еще угадывался бывший гвардейский офицер.

У подъезда бургомистра ждал экипаж. Именно конный экипаж, а не автомобиль, коляска на рессорах с откидным верхом и низкими лакированными дверцами, из тех, что довоенные мальчишки видели только в кино. На козлах этого неизвестно откуда добытого экипажа сидел кучер. Правда, не в лихой поддевке, а в немецком мундире, с автоматом, который он для удобства положил в ноги.

– Меня тошнит в автомобиле, – пояснил бургомистр, приглашая Шумова занять место рядом. – Я вообще терпеть не могу машины. Ведь это с них все началось. Сначала машины, потом рабочий класс, а теперь сами видите... Поехали, Степан!

Пожилой и угрюмый Степан перекрестился и подхватил вожжи.

– Трусит, – сказал Барановский. – А почему, понять не могу. Был храбрец. Под Ляояном меня у черта из пасти вытащил. Япшек, как Кузьма Крючков, накрошил. С тех пор и неразлучны. И мировую прошли вместе, и красным немало крови попортили, и мир повидали. Как тебе Париж, Степан?

– Да что хорошего? Суета одна...

– А Берлин?

– Много чище.

– Большой оригинал этот Степан. Но вот трусить стал. Полагаю, сказывается природное плебейство. Ведь страх смерти – признак низкой организации личности. Вот Владимир Карлович вас как строителя нового отечества нашего рекомендует. А не боитесь?

– Что убьют?

– Вот именно.

– Волков бояться...

– Волков, милейший, бояться глупо. Люди страшны. Не знают, что умрут.

Шумов ждал продолжения, но мысль свою бургомистр не пояснил. Ему вдруг расхотелось говорить. Разговоры тревожили память, а он привык уже, вернее, научился подавлять воспоминания – вовремя останавливать ненужные всплески, если они тревожили далекое, почти нереальное прошлое либо навязчиво будоражили мозг суетами вчерашнего дня. Будь то липы за окном старого помещичьего дома, в котором он родился, или списки саботажников, присылаемых из гестапо с ненужной немецкой педантичностью, – все это отторгал он с настойчивостью стойка, который давно уяснил, что и срубленные липы, и расстрелянные люди – явления одного порядка, вечно торжествующей над жизнью смерти, которой никто еще не избежал, а следовательно, и в том, что не смог он оборонить дом отцов своих от озверевших рабов, нет его вины, и не его подписью на списке смертников решается их судьба, ибо и жертвы и палачи обречены от рождения на один и тот же конец во имя непознаваемых для нас целей равнодушной природы.

Истины эти давно открылись ему, но он знал, что не всем дано понять их, и благодарил бога, в которого не верил, что просветил его и тем облегчил муки существования и отличил от скотов, живущих инстинктами, изнемогающих от ужаса перед неизбежным, готовых убивать, предавать и унижаться, чтобы продлить считанные секунды, что отведены им в бесконечном космическом круговороте. В круговороте, в котором промелькнули и навеки сгинули его мифические предки, якобы родством сопричастные к Рюриковичам и Гедиминовичам, его деда, хозяйева жизни и смерти тысяч крепостных, катавшиеся летом в санях по насыпанной из сахара дороге, родители, разоренные крестьянской реформой и сохранившие фамильной гордости гораздо больше, чем наличных денег... И вот пришла и его очередь промчатся в бессмысленном вихре от сопок Маньчжурии до Елисейских полей и вернуться в изгнавшую его страну в безумной и недостойной стойкой надежде повернуть время вспять. Но даже секунды не возвращаются. А их осталось так мало...

Он, однако, не знал, что их осталось еще меньше, чем он думал.

Экипаж катился тихой, незамощенной улицей, придавливая колесами мелкую слезавшуюся пыль и мягко пружиня хорошо смазанными беззвучными рессорами. Шумов сидел, слегка наклонившись вперед, с любопытством ожидая продолжения разговора, и поглядывал то на серо-зеленую спину бывшего русского крестьянина Степана, то на залитые солнцем белые домики, за которыми возникало и исчезало, чтобы вновь промелькнуть между золотистыми купаи деревьев, мирное, сонно поблескивающее море. Несколько минут ощущал он почти полную невероятную тишину, чуть подчеркнутую шуршанием шин, как вдруг она нарушилась мотоциклетным треском.

Потом, припоминая этот момент, Шумов отметил, что треск прозвучал действительно внезапно, а не приблизился постепенно, и сделал вывод, что мотоциклист поджидал их, а не догонял...

Но в тот момент он лишь увидел обыкновенный немецкий армейский мотоцикл, который выскочил сзади и преградил дорогу экипажу, взметнув облако пыли, смешавшейся с бензиновой гарью. Степан натянул вожжи, сдерживая взволновавшихся лошадей, а бургомистр недовольно взмахнул рукой, отгоняя ненавистный ему машинный запах.

– Что такое? – спросил он по-немецки.

– Господин бургомистр!

Рыжий немец в пилотке и больших защитных очках опустил руку в карман кителя.

– Видите? – повернулся бургомистр к Шумову. – Ни минуты покоя... Ну что там у вас горит? – И снова перешел на немецкий: – Что вам угодно, господин офицер? Пакет?

Но это был не пакет.

– Кровь за кровь! Смерть предателям! – выкрикнул «немец», вытаскивая руку из кармана, и тотчас же загремели выстрелы.

Всего секунду или две Шумов видел вблизи лицо стрелявшего, но оно четко отпечаталось в его памяти неожиданной деталью – из-под рыжей шевелюры на лоб выбился клоч темно-русых волос. Стрелявший был в парике. Однако раздумывать об этом было некогда – рука с пистолетом уже повернулась в его сторону, но, на счастье Шумова, задержалась: видимо, стрелок не был уверен, что ему нужно убить и этого в русской шинели неизвестного человека, и одна только пуля обожгла плечо Шумова, прежде чем он выпрыгнул и упал в пыль позади экипажа.

Потом мотоцикл взревел и исчез. Шумов сел, ощупывая раненую руку, и увидел, как, безумно вытаращив глаза, слазит с козел Степан, так и не воспользовавшийся своим автоматом. Вот он стал на землю и открыл лакированную дверцу, откуда просунулась и повисла над подножкой нога бургомистра в черном лакированном ботинке.

Шумов встал и подошел к экипажу:

– Раз-з-звяжите... раз-звя... – хрипел Барановский, стараясь дотянуться слабеющей рукой до галстука.

– Барин, барин! – бормотал Степан. – Да что ж это? Я-то теперь куда?

По дороге в госпиталь бургомистр умер. Шумова перевязали.

– Вы счастливчик, – сказал ему немецкий врач. – Дешево отделались.

В вестибюле госпиталя к Шумову подошел человек в штатском пиджаке и брюках-галифе, стянутых коричневыми крагами, похожий на дореволюционного авиатора.

– Попрошу следовать за мной. Я из полиции, – сказал он.

Шумов подчинился.

Так в действительности свершилась казнь бургомистра. Но, слушая девушку-экскурсовода, ежедневно повторявшую легенду сотням людей, Лаврентьев понял, что легенда обрела уже собственную жизнь, заняв место оставшихся неизвестными фактов, подменив их, как строгие елочки сменили запущенную растительность пряхинского сада. И Лаврентьев подумал, что легенда имеет, наверно, право на существование, потому что возникла не из желания исказить или приукрасить прошлое, а из естественного стремления объяснить торжество справедливости, возмездие фашистскому приспешнику целенаправленной деятельностью людей, руководимых человеком героическим, каким Шумов был и в его, Лаврентьева, глазах. Расходясь с фактом, легенда оставалась по сути достоверной и не обманывала тех, кто соприкасался здесь с правдой истории, а не с эпизодами жизни отдельных людей. Но сам Лаврентьев соприкоснулся с собственным живым прошлым, и к нему вернулось то ощущение грусти, которое возникло, когда он прочитал страницу из сценария, лежавшего на коленях у молодой актрисы. Он не пошел с группой в домик. Экскурсанты в меру шумливо проследовали мимо него, и на какое-то время стало тихо, пока к домику не подкатила Машина. Из нее вышли уже знакомые Лаврентьеву кинорежиссер Сергей Константинович, мужиковатый оператор Генрих и новый для него тощий человек с бородкой – автор Саша. Все трое остановились возле Лаврентьева, не замечая его, и принялись рассматривать домик.

– Снимать тут нечего, – сказал первым Генрих.

Он поднял руки перед глазами и вытянул ладони одну над другой, имитируя широкоэкранный кадр.

– Ничего интересного, даже если убрать все лишнее.

Генрих опустил руки.

– Что убрать? – спросил автор, которому как историку хотелось запечатлеть в картине хотя бы нечто полуподлинное.

– А вон те избушки!

Оператор показал на две четырнадцатизэтажные башни, возвышавшиеся над домиком Пряхина. Автор тоже поднял руки и посмотрел между ладонями, но у него вышло нарочито, не так небрежно и изящно, как у Генриха.

Режиссер вытер платком обильно взмокшую после шампанского шею.

– Точку, конечно, найти можно, но я, признаться, тоже не вижу смысла. В городе найдется сотня похожих старых домов. Снять телевизионную антенну с любого – и все дела.

– А колодец? Колодец? – спросил автор с последней надеждой.

– В бадье мы туда камеру спустим, что ли? – скептически поинтересовался Генрих.

– Посмотрим, посмотрим, – примирительно сказал режиссер.

Он шагнул вперед и увидел Лаврентьева.

– И вы тут? – спросил он.

– И я, – ответил Лаврентьев.

– Знакомитесь с городом? А я думал, в главк поспешили.

– В главк?

– Ну да. Ведь вы в командировке?

Лаврентьеву стало смешно: опять главк!

– Ох уж эти командированные! С утра спешат в главк, а потом напиваются и пристаут к женщинам в гостинице.

Режиссер не понял, чем он развеселил Лаврентьева, но тоже улыбнулся.

– Жарковато для романтических приключений, по-моему. А вы зачем, собственно, приехали в город? Простите, у меня совсем из головы выскочило, что вам нечего делать в главке. Ведь вы преподаватель. Знаете, в нашей суматохе, подогретой здешним солнышком, родную маму забудешь.

– Я приехал по личным делам.

– Понятно, – сказал режиссер, – понятно. – Хотя ему, разумеется, ничего понятно не было и даже в голову прийти не могло, по каким личным делам приехал в город Лаврентьев. – Познакомьтесь с нашим автором. Он историк и очень хорошо знает, материал.

Режиссер сказал это довольно уныло, потому что рассчитывал получить от автора нечто большее, чем знание материала, и понимал, что надеяться особенно не приходится. Но чтобы сдержать раздражение, он старался говорить по возможности приятные для автора вещи.

Лаврентьев пожал влажную руку автора.

– Здесь есть очень любопытный колодец...

Колодец был единственной, доподлинно сохранившейся частью пряхинского хозяйства. Некогда Максим собственноручно выложил его грубо обтесанным камнем. Пришлось повозиться, но работой он остался доволен. Однако ненадолго. Перед войной вода стала уходить. Город стоял на рыхлом песчанике, и подземные воды, постоянно трудясь в глубине, прокладывали в нем свои невидимые русла. Одно из них добралось до Максима источника и увело воду в глубину. Когда Пряхин спустился на высохшее дно, чтобы убедиться, что плоды его трудов пошли прахом, земля вдруг поддалась под тяжестью его тела и он провалился в неглубокую пещеру, по дну которой струилась вырвавшаяся из колодезной неволи вода. Максим сгоряча облегчил душу крепким словом, не думая, конечно, о том, что высохший колодец станет со временем музейной реликвией, о которой девушка с отполированной палочкой-указкой будет говорить приезжим туристам:

– Здесь находился партизанский тайник и начинался подземный ход, который вел через карстовую пещеру к склону балки... – Она повела указкой куда-то в пространство. – Вы не видите балку, и это не удивительно. По плану развития и реконструкции города бывшая форштадтская сторона превратилась в район массового жилищного строительства. Обратите внимание на первый в городе восемнадцатизэтажный жилой дом с новой прогрессивной планировкой квартир. За ним проходит бульвар. По предложению совета ветеранов этот бульвар, проложенный на месте засыпанной балки, назван Партизанским. Осенью здесь будет заложен розарий из тридцати двух тысяч кустов, по числу жителей нашего города, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом в годы Отечественной войны... На этом мы заканчиваем осмотр. Может быть, у товарищей есть вопросы?

– Значит, подземный ход не сохранился? – спросил парень в вельветовых брюках и туфлях на платформе.

– Конечно. Правда, в пещеру пробраться можно, но посетителей мы туда не водим. Бережем ваши головы.

Кто-то хихикнул.

– Знаете, – сказал автор режиссеру, – когда туристы уйдут, можно будет спуститься в пещеру. Это интересно.

Режиссер заглянул в темное отверстие и покачал головой:

– Нет-нет, по-моему, девушка права. Это может плохо кончиться.

– Что вы! Это совсем не опасно. Правда, Вера?

Автор обратился к девушке, которая уже распрощалась с группой и теперь с любопытством поглядывала на киношников.

– Там живут летучие мыши.

– Вот видите! Бр-р-р... – сказал режиссер.

– Если нас поведет Верочка, я готов, – заявил Генрих.

– В этом нет необходимости. Саша прекрасно знает пещеру, – отказалась девушка.

– Нет, с Сашей мне неинтересно, – пояснил Генрих и, повернувшись к режиссеру, спросил очень официальным тоном? – Сергей Константинович, вам не кажется, что у Верочки выразительная внешность? Мы могли бы снять ее в групповке.

– Какой еще? – Режиссер окинул девушку взглядом.

– Облава на толкучке.

– В облаве? Визжать умеете? – задал он неожиданный для Веры вопрос.

– Визжать? Зачем?

– А как же вы представляете себе облаву? Вас хватают. Лапают, простите, полицаи. Нужно визжать. Работа для звуковиков. А то они на пляже все бока от безделья прожарили.

– Нет, мне это не подходит, – с достоинством ответила Вера.

– Пожалуйста, не слушайте его, – уговаривал Генрих, которому, девушка явно понравилась. – Все кинорежиссеры грубые, нервные люди, но с мягким сердцем. Оставьте мне свой телефон, и мы всё согласуем. Вам не придется заниматься ничем унизительным.

Не прислушиваясь к их болтовне, Лаврентьев смотрел в колодец, в глубине которого когда-то обнял идущего на смерть Константина Пряхина.

В тот вечер, когда Максим уложил спать Шумова в зале на диване, он еще долго сидел, подперев голову, и думал о сыне. Сын был последней и самой мучительной его любовью на этой опостылевшей земле, в жизни, где сменил он столько кумиров и столько врагов. Подведя черту под жизнью своей, которую давно признал неудавшейся, Максим иной участи желал Константину. Но что значило желать в те годы, когда так мало зависело от пожеланий, когда судьбу детей определяла эпоха, да и сами они не склонны были прислушиваться к родительскому слову. С этим Максим Пряхин примиряться не мог и вмешался, сделал так, как решил сам, зная, что сын поступок его никогда не простит. Вмешался... И теперь думал с ужасом, что ошибся опять, на этот раз непоправимо.

Отношения Максима с сыном давно уже складывались тяжело. Собственно, сначала он его как-то не замечал, то делами революционными был занят, то обидами, то, как жить, решал. А мальчишка рос, на отца похожий как две капли воды, и характером тот же вроде, а человек совсем другой.

Выявилось это постепенно. С первого дня появления на свет Константина отличало фамильное бесстрашие. Не раз вываливался он из люльки, и ни разу не ревел, а тут же становился на коленки и оглядывался, немного растерянный. Другой ребенок

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

схватит пальцами огонек на свечке и вопит благим матом, к огню его после и на версту не заманишь, а Костя злился только и снова к свечке тянулся, пока не потушит. Потом пришло все, из чего складывается отрочество парня с окраины: налеты на соседские сады, порванные собаками штаны, синяки и шишки, полученные в уличных сражениях, дальние заплывы в море – и везде Костя был первым.

– Яблоню у нас обнесли. Видели люди, ваш озорует, Максим Петрович. Верховодит он у пацанвы, – жаловались Пряхину.

– Выпорю, – обещал Максим.

И порол вначале, пока не обнаружил в сыне вторую свою черту – непокорность. Так начались трудные годы. Ничего не мог поделывать Максим с сыном, и не в соседских яблонях уже было дело. Пошло на принцип, кто кого.

– Не покорюсь я ему, – говорил Костя матери.

А отец:

– Я с тебя дурь выбью.

Правда, бил недолго, понял, что только обозлит мальчишку, но и без драки, бывало, месяцами слова друг другу не говорили, живя под одной крышей.

Мать только слезы вытирала. Была она женщина тихая.

Страдали все. И мальчишка, отстаивавший независимость в войне с отцом, которого любил втайне, и Максим, не желавший поступиться родительскими правами, а сам готовый за этого мальчишку кровь свою из жил по капле выпустить, потому что любил сына все больше и больше, и непокорность Константина страшила его жизненными опасными последствиями.

Положение складывалось безвыходное. Чтобы предостеречь сына, повлиять на угрозами и угрюмым бойкотом, а отцовским добрым словом, требовался не только другой характер, не пряхинский... Разговор по душам требовал откровенности, полной, без утайки, нужно было о себе все рассказать. Но не мог он этого сделать, потому что видел четко: тех отношений, что сложились у него с Советской властью, Костя не поймет никогда.

Не поймет просто потому, что Советская власть была для него, родившегося после Перекопа и осознавшего себя в годы Днепрогэса и Магнитки, единственно сущей, и никакой другое он не помнил и не представлял, а если и представлял, то как враждебную и противоестественную силу.

Да и не хотел Максим ссорить сына с властью. Знал, что власть строгая и шутить с врагами не любит. А главное, какая лучше? С другими-то он и сам воевал. Вот и поди объясни, как же вышло, что сначала воевал, завоевывал эту единственную для Константина настоящую власть, а потом порвал с ней, построил дом и заперся в нем, Советскую власть не признавая, как лорд Керзон. Костя и представить себе такую нелепость не мог. Об этом в доме не говорилось никогда. И сказать было невозможно.

Так они и жили. Отец с годами все больше уходил в себя, а сын рвался на простор. Любимая его песня была о тех, что рождены, чтоб сказку сделать былью. Песню эту Костя Пряхин воспринимал как жизненную программу, буквально. Да и кто во времена Чкалова не мечтал о небе! И Костя знал – полетит! Крутил солнышко на турнике, выбился в отличники, чтобы послали в летное училище. Дело это было почетное, и относились к нему очень серьезно.

Мать в училище приезжала не раз, привозила скромные гостинцы, слушала веселые шутки о родителях, что просят сына летать пониже, улыбаясь, застенчиво говорила:

– А в самом деле, пониже-то лучше, наверно, Костик.

Хохотали краснощекие ребята, уплетая домашние пирожки с повидлом, благодарили за угощение.

Отец не приезжал. А когда появился Константин дома с кубиками в петлицах,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
оглядел взволнованно – красив был сын, ладен, строен, как сам он в пятнадцатом, только форма не та, погон нету и эмблемы другие, крылышки, а не стволы пушечные, – и сжалось сердце. Погибнет парень, сложит голову...

– Добился своего?

Константин улыбнулся, обнял отца, уходя от спора, предлагая мир.

– Ну и как там, в небе?

– Здорово.

– А архангелы не поют по вашу душу? Говорят, к войне идет.

– У нас с Германией пакт.

...В мае сорок второго года Константин был в третий раз ранен. Ранение это, по пехотным представлениям, пустяковое, для летчика оказалось неприятным, грозило осложнениями. Требовалось время, чтобы восстановить двигательные функции руки в полном объеме, и его отправили в тыловой госпиталь в родной город. Все считали, что ему повезло. Константин вообще ходил в везучих, немногие из тех, что поднялись с ним в воздух по тревоге год назад, остались в живых. Но сам он не радовался, потому что рвался в бой.

– Не огорчайтесь, – успокоил его старик хирург, – война эта не на один год. Еще навоюетесь!

Госпитали были переполнены, и он вскоре получил увольнительную, чтобы долечиваться дома. Сидеть сложа руки было несладко, но он видел радость одинокого, овдовевшего недавно отца, и это примиряло немного с вынужденным бездействием. Кроме того, фронт держался уже несколько месяцев стабильно и беды не ждали.

В тот день Максим был в центре и заметил необычное оживление у городских учреждений. Подъезжали и уезжали машины, в грузовики срочно укладывали какое-то имущество. Среди тех, кто суетился, узнал знакомого.

– На новые квартиры? К чему бы это?

Тот огляделся, шепнул:

– Немцы фронт прорвали на Быстрянке.

Быстрянка находилась километрах в ста пятидесяти к северу, и новость могла ничего страшного не означать, а могла означать и многое. Сразу в голову ударило – Константин!

Пряхин потолкался еще по городу. Слухи складывались скверно. Вернулся он с тяжестью на душе. Сын курил на лежанке.

– Что слышно, батя?

По радио о прорыве еще не сообщали.

– Да ничего, – буркнул Максим и полез в погреб.

Оттуда он вернулся с бутылкой первача.

– Выпей, Костя, не нудись.

Предложил с умыслом, зная, как действует спиртное на непьющего сына. Тот после водки скучнел, его быстро клонило в сон, и спал он обычно долго и крепко. Поэтому уговорить Константина выпить даже рюмку бывало нелегко, но на этот раз он неожиданно согласился – видно, допекло надоевшее сидение.

«Вот и хорошо, ничего, – думал Максим, успокаивая себя и прислушиваясь к ровному дыханию спящего сына. – Пусть поспит, нервы отойдут, а утро вечера мудренее. Как немец ни силен, а сотню километров за сутки не отмахает. По нашим-то дорогам».

Он подошел к раскрытому окну. Абрикосовая ветка касалась стекла жесткими листьями. А сквозь листву розовело – горел подоженный отступающими маслзавод; прогромыхали отдаленные взрывы, донесся гул невидимых моторов. Однако в целом здесь, на окраине, было тихо. Основные силы наших войск, избегая котла-ловушки, уходили дальними дорогами, минуя город. Максим притворил окно. В комнате стало еще тише и душнее.

А утром в дом ворвалась соседка, одинокая перепуганная женщина, и закричала с порога:

– Петрович! Немец в городе!

Константин еще попытался уйти через восточную заставу, как по-старинному называли стык дорог, откуда брало начало шоссе на Кавказ, но там уже стоял немецкий регулировщик в каске и мундире с засученными рукавами и направлял по шоссе легкие танки пятнистой окраски с простроченными клепкой бортами, мотоциклы, громоздкие шкодовские грузовики с солдатами и иной армейский транспорт, который до сих пор Константину приходилось видеть только с воздуха. В соседней улице ждал своей очереди обоз, однако даже эти конные фуры под брезентом, обильно окованные железом, да и сами привезенные из Германии лошади-тяжеловозы показались Константину машинами.

Но больше всего кольнул флаг со свастикой, заботливо растянутый поперек одной из фур. Флаг этот явно предназначался для немецких летчиков, чтобы те с высоты не ошиблись, не приняли своих за «ивана» да не врезали по лошадиной колонне с брещего. О том, что флаг может навести на обоз наши самолеты, немцы, видно, совсем не опасались. Все это понял, сообразил Константин и впервые в жизни почувствовал отчаяние.

С этим чувством и вернулся он к родному доку, где уже тоже хозяйничали немецкие солдаты. Свалив часть забора, они пытались загнать в тень под деревья машину, обрубая топориком нижние, мешающие им ветки.

– Костя! – закричал отец, увидев его живого, вернувшегося, и тут же позабыл о погроме, учиненном во дворе, где в каждое дерево и в каждый вдавленный колесами кустик был вложен его труд.

И немцы увидели Константина и, заглушив мотор, подошли, но не затем, чтобы схватить и арестовать, а чтобы порадоваться вместе с отцом.

– Зольдат? Зольдат? – спрашивал один, постарше, и теребил за раненую руку, с которой недавно сняли гипс. – Паф-паф? Фатер? Гут. Карош. Зольдат комт цу хауз. Война капут.

Они кричали и радовались, разоряя дом Константина и уверяя, что война для него закончилась. А вечером принесли самогонки и снова радовались, и тот же солдат, постарше, на странном, вначале малопонятном языке, составленном из искаженных немецких, польских, украинских и русских слов, к которому потом привыкли, как к особому оккупационному языку, объяснял, что он австриец, что на его родине высокие горы и ему надоела бесконечная русская степь, но он знает, что впереди, на Кавказе, тоже есть высокие горы и он скоро увидит их и сравнит с австрийскими, а потом вернется домой. Кавказские горы его очень интересовали и, казалось, были главной целью предпринятого похода...

Вскоре эти фронтовые немцы ушли, весело попрощавшись, на Кавказ, а может быть, и в другое место, где суждено было им сложить головы. Максим снова установил забор, прибил сломанные доски, собрал в сарай на топку срубленные ветки, и на улице наступило затишье. И тогда-то произошел у Константина с отцом разговор, который не мог состояться больше десятка лет.

– Слышал я сегодня, Костя, немцы к Волге вышли, – сказал Пряхин сыну.

– Ну и что?

– Видать, взяла ихняя.

– И ты рад?

Вопрос был поставлен в лоб.

- Чему радоваться?.. Но к тому шло.
- Это ты в газете «Свободное слово» вычитал?
- У меня своя голова. Я-то видел, куда дело идет.
- Давно?

Пора было сказать правду.

- Давно.
- Наблюдал, значит, и выводы делал?
- Наблюдал.
- Из садика?
- Дурень. Такие, как я, Советскую власть и поставили.
- А раз не по-вашему пошло, пусть, значит, и Россия погибает?

Максим подавил гнев.

- Такого я не говорил.
- Что же дальше делать будем?
- Жить.
- В холуях немецких?
- Молод ты, Костя. Не знаешь, как власти меняются. Сгинут и эти, пропади они пропадом. Образуется как-нибудь...
- Что образуется?
- Жизнь. Она на Гитлере не кончается.
- И на нас с тобой не закончится.
- Твоя на тебе закончится.

Максим хотел добавить: «И моя тоже на тебе», но не сказал.

- Вот именно. Значит, прожить ее нужно, как человеку.
- А ты как живешь?
- Я не живу, отец. Гнию я.
- Ну, знаешь...
- Правду говорю. Как понимаю, так и говорю.
- А я не понимаю.
- Верю, отец. Не понимаем мы друг друга. Давай и жить каждый по-своему.
- Как же ты жить собираешься?
- Рука у меня здорова. Буду через фронт перебираться.
- А где он, фронт?

- Да хоть и на Волге.
- Пока до Волги дойдешь, он за Урал откатится.
- Пойду за Урал.
- А если совсем как?
- Все равно воевать буду.
- Та-а-ак, – произнес Максим тяжело.
- В как не верю. Таких, как я, массы. Будем драться.

Говорил он так, что Максим понял: дело решенное, не спас он Константина, а только новые опасности на него навлек. Поди-ка проберись туда, за фронт! И тогда сорвался, закричал:

- Да ты знаешь, кто ты? Кто?
- Летчик я, отец. И неплохой.

Кулак Максима опустил на стол. Звякнула посуда.

- Летчик? Сталинский сокол? Врешь. Не летчик ты, а дезертир! Думаешь, там ждут тебя? Поверят тебе, что сам пришел? А может, с заданием от немцев? Думаешь, самолет дадут с красными звездами? Знаешь, что дадут? Знаешь?

Этой ночью, как, впрочем, и другими после прихода немцев, Константин долго не спал. Но в ту ночь особенно. Болью пронзили его отцовские слова, потому что не прозвучали неожиданностью; сам обо всем думал, задыхаясь от презрения к себе, от тоски и стыда, что проспал час, когда мог еще уйти, остаться в строю, крушить огнем ненавистные самолеты и обозы с нагло выставленным флагом... И сама смерть в бою представлялась ему счастьем по сравнению с той жизнью, что вел он сейчас. И не впервые думал он о фронте, о том, что должен идти, пробираться, ползти туда, где сражаются и умирают товарищи...

Думал и не ушел до сих пор. Нет, не потому, что страшился наказания, боялся, что примут за немецкого шпиона. Сковывало слово «дезертир», брошенное отцом громко в лицо, а до этого уже приходившее в голову. Ибо кто такой дезертир? Тот, кто в грозный час покинул своих, тех, что сегодня в заволжской степи взлетают с прифронтовых аэродромов на изрешеченных пулями машинах на смертный бой, в то время как он протирает бока на лежанке, жрет, спит, дышит воздухом, слушает сплетни, когда немец Москву возьмет. Кто же он, как не дезертир? Как же его назвать иначе? И какое он право имеет товарищам честно в глаза взглянуть? Нет, здесь и немедленно кровью вражеской и своей должен он искупить вину. Сначала здесь. Доказать. Себе доказать, что он способен сражаться. А потом уж идти держать отчет перед народом. Но сначала перед собой, перед собственной совестью...

Так принял Константин окончательное решение, что делать, и объявил свою собственную беспощадную войну фашистам в своем городе и в своем доме, где спрятал в колодце первый и добытый в схватке автомат.

Спрятал не только от врага, но и от отца, А когда прятал, лазая, по пещере со свечным огарком, обнаружил, что подземный источник ведет в балку и узким ходом этим может пролезть и человек. Открытию он обрадовался, предполагая, что в трудную минуту подземный лаз пригодится. И он действительно пригодился, но не Константину, а Лаврентьеву; Константин поднялся вверх, чтобы умереть рядом с отцом.

А Лаврентьеву посчастливилось остаться в живых, прожить еще много лет и вот теперь стоять у превращенного в музейный экспонат колодца и слушать бойкий треп оператора Генриха, робкие высказывания не освоившегося в кинематографе автора сценария Саши и скептические сомнения режиссера Сергея Константиновича, которому по странной воле случая пришлось заняться воссозданием трагической судьбы людей, некогда погибших здесь на глазах Лаврентьева, человека, которого режиссер знал

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
как соседа по гостинице, и только.

– О чем вы говорите! – восклицал режиссер. – Мне не нужны пещеры Лихтвейса. Что мы, «Графа Монте-Кристо» снимаем? К черту ваши катакомбы! Неужели вы не понимаете, что нам нужны люди? Зачем нам делать новые похождения Клосса?

– Тогда делаем «Молодую гвардию». Третьего не дано, – возразил Генрих.

– Если хочешь знать, «Молодая гвардия» – хорошая картина. Герасимов там выложился дай бог каждому. Но ведь четверть века прошло! Должны же мы повзрослеть. Что-то новое увидеть, переосмыслить. Не сам подвиг меня интересует, а его неизбежность, путь к подвигу. Пусть картина называется «Взрыв», но я-то не взрывами занимаюсь. Это дело пиротехников. Я искусство делаю.

– Как скажешь, так и сделаем, – отозвался Генрих в своей манере. – Не хочешь взрыв – не надо. Сделаем настроение. Детали на контрапункте. Вместо пламени и дыма – веточки, бабочки, елочки.

– А хоть бы и елочки! Сумей снять елочку. Да не лес, а одну ветку возле дома, где люди жили, сидели во дворе, пили пиво, а потом все полетело вверх тормашками... Они же погибли все. Вы меня понимаете? – обратился он за поддержкой к Лаврентьеву.

– Кажется, да. На тогда тут росли не елки, а местные мелкие абрикосы, жердёлы.

Генрих захохотал:

– Вот тебе и елочки-палочки! А вообще... абрикосы – это красиво. Это может здорово получиться на «кодаке». А что тут еще росло?

– Люди любили цветы. Было много сирени, мальва в палисадниках. Здесь говорили «полусадники», наверно, выводя слово от полусада. Олеандры держали в кадках. Летом выносили во дворы. Виноград, конечно...

– «Уже виноградные кисти бессильно повисли в саду», – процитировал Генрих. – Слишком экзотично.

Режиссер тоже покачал головой:

– Да, это избыточная красота. Я вижу картину аскетичной. Понимаете, искусство не слепок жизни. Тут действуют свои законы. А откуда вы знаете об олеандрах?

– Приходилось жить на юге.

– Нет, я не хочу привязывать картину к югу. Нужна внутренняя достоверность прежде всего. Люди... Как они жили, зачем?

Высказывания режиссера звучали для Лаврентьева не очень вразумительно, и не потому, что он был далек от творческих исканий кинематографа. Он не знал предыдущих картин Сергея Константиновича, не знал, что они не получились, несмотря на то, что были святы на очень достоверной натуре и насыщены внешними приметами жизни. Монтажники профессионально работали на головокружительной высоте, узлы машин подавала на сборочный конвейер настоящая крановщица, заседание правления колхоза снимали не в павильоне, а в колхозе, и актеры в резиновых сапогах, купленных в местном сельмаге, счищали подлинную грязь о подлинную металлическую скобу, врытую возле дверей правления. И все эти реалии не выручили, не помогли...

Однако неудачи учат, и теперь Сергей Константинович знал, что ни пещера с живым летучими мышами, которая так привлекала автора, ни олеандры в кадках, запомнившиеся Лаврентьеву, сами по себе не создадут современного восприятия правды человеческих поступков, которая была ему так необходима.

Он взялся за картину о войне, которую сам по возрасту помнить не мог, но он вполне справедливо полагал, что искусство шире личного человеческого опыта, и стремился сделать современную картину, в которой зритель увидел бы нечто большее, чем достоверно показанные события прошлого, и задумался бы над тем, чем живет сегодня, хотя его сегодняшняя, заполненная повседневными заботами

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
упорядоченная жизнь, казалось бы, так далека от той, определявшейся сплошь и рядом неуправляемыми обстоятельствами, в которых сердечные сосуды рвали нули, а не закупоривали инфарктные тромбы. Однако между той и этой жизнью существовала вечная связь нравственных поисков собственного пути, и только в этой связи, имело смысл рассказывать людям сегодняшним о тех, кто уже прошел свой путь.

– Давайте все-таки зайдём в домик, пока не подъехали экскурсанты, – предложил автор.

– Давайте, – согласился режиссер.

Собственно, только бывшая зала воссоздавала обстановку прошлого, здесь были собраны вещи тридцатых-сороковых годов. Вход в нее преграждал красный бархатный шнур. На особой табличке было написано: «Комната, в которой собирались члены боевой группы Шумова». Видимо, в целях, конспирации члены боевой группы заводили патефон. Он стоял в углу на тумбочке. Старый, с ручкой, патефон. Рядом лежала горка пластинок.

– Что там? – спросил Генрих у Веры. – «Брызги шампанского»? «Нинон»? «Андрюша»?

– В основном Изабелла Юрьева.

В центре комнаты на покрытом скатертью столе был установлен ручной пулемет Дегтярева с круглым диском на стальных тусклых ножках. Конечно, это был не тот пулемет, который держал в руках Максим в последнюю свою минуту, не пулемет был настоящий и вызывал уважение.

На стенках висели фотокопии партизанских листовок, газета со сводкой Совинформбюро, сообщавшей об освобождении города, двуязычные приказы оккупационных властей и снимки театра до и после взрыва. Но все это было заключено в рамки, укрыто под стекло и не производило того впечатления подлинности, как пулемет и патефон, такие разные по назначению предметы, соседствовавшие здесь, как соседствовали они и в той, прошедшей, жизни.

– Товарищи, приехала новая группа, – сказала Вера, выглянув в окно.

– Куда вы теперь? – спросил режиссер Лаврентьева. – Если в гостиницу, прошу с нами. В машине есть место.

– Благодарю.

Хотя Лаврентьев устал от избытка впечатлений и жары, он отказался от приглашения.

«Хватит на сегодня этих людей», – решил он.

Он не бежал от них. Когда-то жизнь научила его адаптироваться к обстоятельствам и людям куда более неприятным. А к этим он уже почти привык за те несколько часов, что провел в городе в невольном общении с ними. Будучи по характеру терпимым, несклонным к поспешным выводам, он вполне допускал, что чего-то не понимает в людях, которые заняты незнакомым ему делом, а дело это может оказаться нужным и полезным, а может и не принести никакой пользы, потому что искусство не гарантирует успеха, что в конечном счете и определяет беспокойное состояние его соседей по гостинице.

Но все-таки они раздражали... И не только потому, что события, определившие когда-то всю последующую жизнь Лаврентьева, были для них лишь «материалом», из которого должно было возникнуть нечто, скорее всего совсем непохожее на то, что знает он. К этому Лаврентьев сумел отнестись как к неизбежному. Существовала еще одна причина. С некоторых пор он стал замечать, что ему трудно с теми, кто намного моложе, кто не видел и не помнил войны. Когда-то, когда этих молодых людей еще не было на свете, они представлялись его поколению иными. Представлялись, конечно, очень схематично – не знающими невзгод, страха, нужды, а главное – счастливыми. Ведь только ради этого стоило умирать его сверстникам. Прошли десятилетия, и будущие люди родились и выросли. И многое, о чем мечталось, сбылось.

Лучше стала жизнь. Росли города, прокладывались дороги, появилось много

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru самолетов и автомашин; спускаясь в метро, он видел, как на эскалаторах поднимаются навстречу и проплывают мимо вереницы хорошо одетых, рано полнеющих, нагруженных покупками людей. Сама проблема дефицита обратной стороной начала отражать благополучие. Однако благополучие это иногда вызывало тревогу в Лаврентьеве, потому что отнюдь не всегда и не каждого делало счастливым, а ему хотелось, чтобы люди вокруг были счастливее и умнее и умели ценить нечто более важное, настоящее. Но тут он строго прерывал себя: «Прекрати брюзжать! Это признак старости...»

Приблизительно такими словами пресек он и сейчас возникшее раздражение и, отказавшись от машины, пошел пешком в сторону центра, рассчитывая перекусить по дороге в каком-нибудь не самом худшем кафе.

А режиссер забрался в автомобиль и, усадив на этот раз автора рядом сзади, а Генриха на переднее сиденье, продолжал высказывать сомнения и соображения по содержанию сценария, переделывать который они уже не имели права.

– Все у нас слишком организовано, непробиваемо, – сказал он, наваливаясь на автора на крутом повороте.

– Мы шли точно за документами. Никакой лакировки...

– Да черт с ними, с документами. Мы же не пенсию Шумову оформляем. Мы восстанавливаем кусок жизни. Да какой! Преддверие подвига, гибель. А у нас – пришел, увидел, победил.

– Я не совсем понимаю...

– Я тоже... Не понимаю и не верю, что все шло у них, как в штабе дивизии, где каждый рубеж цветными карандашами на карте нарисован. Да и там, как врежут из-за этого рубежа, пух и перья полетят. А в подполье? Ни одной случайности...

– Какую бы ты хотел случайность, интересно? – спросил Генрих, обернувшись.

– Какую? Ну хотя бы... В порядке бреда. У нас бургомистра убивают по заданию Шумова. А если наоборот? Вопреки? Если он считал это нецелесообразным накануне решающей акции, а Константин, отчаянная голова, сам распорядился и усложнил обстановку?

Генрих присвистнул:

– Ну, ты даешь! И не оригинально, между прочим. Это мода – преувеличивать трудности. В конце концов, кто победил? Мы. И не случайно. У нас и оружие оказалось лучше, и армия... Не только числом... Организация тоже выше оказалась. Это, старик, факты, а факты, как говорится, вещь упрямая. Не нужно лакировать, но зачем выдумывать? Убили бургомистра? Факт. Взорвали театр? Факт.

– Однако Шумов погиб.

– Ну и что? Война же была все-таки... Без жертв не обойтись.

– Это в общем. А в частности он должен был уйти. Почему ему не удалось уйти?

Автор покачал головой:

– Об этом никто не знает.

– Вот-вот! А мы беремся рассказать, как это произошло. Что случилось. Показать самопожертвование... А если нелепая ошибка, случайность?

– Шумов был профессионалом, – заметил оператор.

– Профессионалы тоже люди.

– Шумов – герой, – возразил Генрих. Он постепенно заводился и спорил уже с заметным раздражением.

– Да, но не фанатик же и не сумасшедший, который утратил чувство самосохранения

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
и погибает только для того, чтобы его считали героем. Что такое, по-твоему, герой?

– Героизм – свойство личности.

– Например?

– Ты, например, не герой.

– Не очень вразумительно. Может быть, пояснишь?

– Пожалуйста. В конце концов, ты снимешь все, как положено, ты не скажешь: нет, я не верю и не буду так снимать...

– Ну, знаешь...

Режиссер обиделся.

Автор, который давно уже испытывал мучительную неловкость, слушая этот обмен колкостями, решил прибегнуть к испытанному средству, чтобы погасить разгоревшуюся перепалку.

– Товарищи, товарищи... Ну зачем же так? Это жара действует на нервы. Может быть, еще по бокальчику холодного шампанского?

– Это, конечно, выход, – буркнул Генрих, возвращаясь к своей иронической манере.

Режиссер промолчал, не отвергая, однако, предложения.

Жара стала действительно невыносимой, и по спинам всех троих, стекали струйки пота. Но в подвальчике, недавно оборудованном, под бар, было прохладно.

– Как замечательно, – сказал режиссер, обнимая большой ладонью запотевший бокал. – А ты, Генрих, хам, между прочим. Плебей.

– Да, мой дед, как у Базарова, землю пахал.

– Дед, возможно, и пахал. А ты только на земляной пол в детстве мочился. В Неурожайке своей.

– Наше село Соловушки называется.

– Соловушки? – режиссер засмеялся. – То-то ты от этих соловьев в Москву сбежал.

– Не одному ж тебе в Москве жить.

– Я живу там, где родился.

– Об этом твой папа позаботился, а обо мне заботиться некому. Самому приходится.

– Что ты и делаешь, как обыкновенный карьерист. Тебе наплевать на суть нашего дела. Тебя успех интересует, деньги.

– Думаю, что тебе успех сейчас нужнее, чем мне, – зло сказал Генрих.

– Да, нужен. Но я могу и наплевать на него, потому что я не карьерист.

– Наплюй попробуй!

– А если не наплевал, то потому, что хочу сделать картину. Понимаешь, не деньги зашибить, а сделать картину.

– Дайте нам, пожалуйста, еще по бокалу, – грустно попросил автор, нащупав в кармане последнюю пятерку, которую еще недавно полагая неприкосновенным запасом.

Парень за стойкой меланхолично наполнил бокалы.

Режиссер протянул руку за шампанским, не подозревая, что был очень близок к

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

истине, когда предположил, что убийство бургомистра не могло принести пользы Шумову. Наоборот, оно стало очередным для него событием, повлекшим за собой арест и ряд других нежелательных последствий.

Человек в крагах, похожий на дореволюционного авиатора, привез Шумова в здание бывшей городской тюрьмы, в которой и теперь была тюрьма и размещалась так называемая «русская полиция». Старинное это здание – длинный кирпичный корпус с тремя перпендикулярно расположенными пристройками – в плане напоминало букву Е, что породило в свое время легенду о том, что тюрьма построена в царствование Екатерины Второй и чуть ли не в честь императрицы.

В семнадцатом году здесь, у железных, под каменной аркой ворот, в толпе горожан встречал Андрей выпущенных на волю последних узников самодержавия...

Сырой февральский ветер уже нес в город радостно волнующие запахи близкой весны, разрывал неповоротливые низкие облака, и тогда в несмелых солнечных лучах весело трепетали самодельные кумачовые полотнища и искрились оседающие сугробы подтаявшего снега.

Какой-то совсем непохожий на узника упитанный господин в пенсне запел вдруг, размахивая руками:

Долго в цепях нас держали...

Толпа подхватила освобожденных людей на руки и понесла их стремительно по улице прочь от тюрьмы, а в открытые ворота был виден опустевший, будто навсегда покинутый, двор, мощный грязным бульжником...

Машину, в которой везли Шумова, затрясло по этому бульжнику, и он огляделся. Двор, в общем, выглядел не страшно. Окна служебного корпуса, у которого остановилась машина, были хотя и зарешечены, но густо заплетены диким виноградом. Полутемным коридором человек в крагах провел Шумова в свой кабинет, обставленный обычной казенной мебелью с овальными инвентарными жетонами. Над столом висел неизбежный портрет Гитлера с нацистским значком.

Усевшись, человек в крагах спросил:

– Вы, конечно, к покушению никакого отношения не имеете? – В голосе его звучала нескрываемая насмешка.

– Нет, – ответил Шумов.

– Странно устроены люди, – вздохнул следователь, – не любят говорить правду.

– Я говорю правду.

Шумов шевельнул раненым плечом и чуть поморщился.

– Больно? – спросил следователь участливо.

– Терпимо.

– А если сделать нестерпимо? Есть у нас один специалист. Своего рода талант. Умеет делать нестерпимо. Берет руку и... – Следователь соединил пальцы и резко хрустнул ими. – Потом без чертежа не соберешь. Да и с чертежом тоже. И где это он научился, ума не приложу. Призвание, наверно. Одно слово – талант.

– Зачем вы меня запугиваете? – спокойно спросил Шумов.

– Запугиваю? Бог с вами! Информую. В ваших же интересах. Заботу, можно сказать, проявляю.

– Спасибо.

– Пожалуйста. Рад, когда меня правильно понимают. А теперь, будьте добры, всю правду, без утайки. Так сказать, доверительно: я – вам; вы – мне.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Я сказал уже, что к убийству бургомистра никакого отношения не имею. Больше того, смерть господина Барановского для меня лично большая неприятность. Я рассчитывал на его расположение.

Лицо следователя внезапно исказилось.

– Ты рассчитывал на слабоумие этого старого индюка! – выкрикнул он почти истерически, безо всякого перехода в настроении. – Но меня ты не проведешь! Я тебя сразу раскусил. Ты мне все выложишь, все! Я с тебя живьем шкуру спущу по сантиметру! По сантиметру!

И так же внезапно он замолчал, достал из кармана металлическую коробочку с монпансье, вынул и отправил в рот конфетку. Потом налил из графина воды в стакан и отпил немного.

– Нервная у вас работа, – сказал Шумов.

Следователь посмотрел на него пристально и улыбнулся холодной, презрительной улыбкой:

– Могу уверить, что у тех, кто сидит на вашем месте, нервы обычно сдают раньше.

И он не врал.

Человек, который сидел перед Шумовым, был страшным человеком, потому что все страшное, что он делал, он делал не только сознательно, но и охотно, по призванию.

А между тем недавно еще следователь «русской полиции» Игорь Сосновский занимался делами мирными и почти гуманными – он был ветеринарным врачом. И никто не знал, что он всегда был готов сменить профессию, хотя ждать пришлось долго. Накануне войны ему исполнилось тридцать пять лет.

Нет, он ждал не краха Советской власти. К власти как таковой Сосновский никаких особых претензий не имел. Ничего у него не было отнято, и ни в чем он не был ущемлен или разочарован, ибо происходил из небогатой семьи, всегда далекой от политики. Больше того, несмотря на бурное кипение идейных страстей вокруг, именно к идеологии, то есть к духовной убежденности в правоте избранного дела, будь то марксизм или монархический миф, Сосновский относился с инстинктивной враждебностью. Он презирал людей, обладающих идеалами и стремящихся изменить жизнь в соответствии с этими идеалами, потому что верил не в социальную, а лишь в биологическую природу человеческих поступков. Не прочитав ни Гоббса, ни Дарвина, он слышал, что один из них определил жизнь как борьбу всех против всех, а другой выделял роль естественного отбора. И эти понаслышке запомнившиеся постулаты вполне удовлетворяли примитивное мироощущение Сосновского, человека, от рождения лишённого ряда духовных качеств и, в частности, такого естественного и необходимого, как чувство ужаса перед насильственной смертью.

Еще мальчишкой Сосновский упрашивал отца, тоже ветеринарного врача, брать его с собой на бойню, где без страха и с оживлением наблюдал трепещущих в предчувствии конца забиваемых животных. Отец, бывавший на бойне по долгу службы, только головой покачивал и удивлялся. Ему и в голову не приходило, что огромное количество разъедающей душу и плоть жидкости, которое он, запойный алкоголик, поглотил еще до рождения сына, может быть, смыло в унаследованных им клетках нечто важное, из чего развивается то, что называют нравственным чувством.

Зато отец внушил сыну непреодолимое отвращение к спиртному, как это нередко случается с детьми алкоголиков. Вообще, с точки зрения отвлеченной морали, Сосновский был человеком почти образцовым: он не пил, не курил и не изменял жене по той простой причине, что никогда не был женат, – влечение к женщине не относилось к числу управляющих его поведением мотивов. Женолюбивые сослуживцы были предметом постоянных насмешек и шуток Сосновского – он любил подсовывать им широко издаваемые в то время популярные брошюры о пагубных последствиях неосторожной физической любви. Это доставляло ему странную радость. И еще он охотно принимал участие в кастрациях животных, не забывая ласково потрепать по загривку оскопленного ягненка, жалобно блеющего от непонятной боли.

Конечно, его не любили. Но и странностям большого внимания не придавали. Шутки с

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
брошюрками воспринимали как своего рода общественную активность – Сосновский носил значок ГСО, – а кастрации охотно уступали «безотказному» коллеге. На собраниях Сосновский всегда голосовал с большинством, выступал редко и никогда не высказывал критических мыслей, поступая в общем искренне, так как считал критику, как и другую общественную деятельность, одним из иллюзорных заблуждений, маскирующих подлинную суть жизни. Так и прожил Сосновский предвоенные годы малозаметным ветработником, приносящим даже определенную пользу местному животноводству. Будь другое время, мог и до пенсии дотянуть и получить прощальные подарки-сувениры и исчезнуть навеки, быстро забытый сослуживцами. Но...

В начале войны Сосновский оказался в качестве ветврача в конной дивизии. Дивизия жестоко пострадала в боях под Смоленском, беспощадно расстрелянная с воздуха на полях, где некогда лихо проносились молодцы-донцы вихорь-атамана Платова и уланы Мюрата.

Зеленые мухи отвратительно роились над вспухшими конскими трупами, когда Сосновский, сорвав с гимнастерки все, обозначавшее его принадлежность к Красной Армии и Советскому государству, в том числе и значок ГСО, поднял руки и вышел навстречу немецким мотоциклистам, мчавшимся по пыльной проселочной дороге. Но вышел он с поднятыми руками не для того, чтобы влачить жалкую участь военнопленного.

Сосновский понял, что пришел час, которого он всегда подсознательно ждал, и теперь все, чего он раньше стыдился, что подавлял в себе и скрывал от окружающих, в новой жизни станет не пороком, а достоинством, получит государственную санкцию и принесет ему не только возможность беспрепятственно удовлетворять самые потаенные инстинкты, но и обеспечит видное положение в системе, где право сильного признано наконец естественным правом. И он не ошибся, а был понят и замечен и вскоре оказался на службе в полиции.

Вот такой человек сидел напротив Шумова за старым канцелярским столом, сидел и ждал от него страха, потому что страх попавших в его руки людей был для Сосновского высшей наградой и наслаждением, и он делал все, чтобы вызывать в людях страх и ужас, совершенно независимо от того, считал он их в действительности виновными с точки зрения «нового порядка» или нет.

Разбиравшийся в людях Шумов понял почти все в сложившейся ситуации, но ничем порадовать Сосновского он не мог.

– Я объясню вам, как оказался в коляске бургомистра, – сказал он спокойно. – Это чистая случайность. Женщина, которая работает в приемной, может подтвердить...

– Значит, и она в вашей шайке?

Это был нехитрый полицейский прием. Впрочем, Сосновскому ничего не стоило снести голову и секретарше.

– Не знаю, в шайке она или нет, но я ее увидел сегодня первый раз в жизни.

– Это мы выясним.

«Выяснить» значило для Сосновского повергнуть человека в такое состояние, когда один готов признать и подписать все, что угодно, лишь бы спасти жизнь, а другой сделать то же самое, чтобы поскорее умереть. Однако он уже чувствовал, что Шумов не принадлежит ни к тем, ни к другим.

– Кто еще в вашей банде?

– С момента приезда я виделся только со старым приятелем, который во время нэпа вышел из партии в знак протеста против политики большевиков.

– Вышел? А раньше состоял? Как и ты?

– Да, я тоже был в партии.

– Ага! Сознался. Так бы и давно.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Я был исключен из ВКП(б) и арестован.

– Липа!

Шумов пожал плечами.

– Кто тебя заслал в город?

– Я прибыл из лагеря военнопленных.

– И конечно же, добровольно сдался в плен?

– Нет, попал в окружение.

– Так кто ты такой?

– Обыкновенный инженер, уроженец этого города, давно разорвавший с большевизмом.

– Идеальный борец?

– Скорее меня можно назвать внутренним эмигрантом.

– Что тебе нужно в городе?

– Я хотел бы быть полезным новой России.

Собственно, Сосновский обязан был прислушаться к словам человека, объявляющего о своей приверженности властям, которым служил он сам. Но с каждым словом Шумова он испытывал к нему все большую ненависть, и ненависть эта вернее логики подсказывала, что перед ним смертельный враг. И он ушел на минуту в себя, чтобы сообразить, как сломить этого врага, но тут дверь в кабинет резко распахнулась, и вошли трое в немецкой форме – пожилой, в мешковатом кителе, офицер инженерных войск, переводчик из фольксдойчей, в мундире без погон, и подтянутый молодой, похрустывающий до блеска начищенными сапогами унтерштурмфюрер из полевой тайной полиции.

Сосновский недовольно поднялся из-за стола:

– Веду дознание по делу о покушении...

Но переводчик прервал его:

– Есть распоряжение отобрать технически подготовленных специалистов...

Сосновский понял, что у него отнимают людей, которых он мог бы еще истязать и потом уничтожить, однако возразить не решился и спросил только:

– В том числе и партизан?

Переводчик перевел автоматически.

– Нет, нет, – заявил серьезно немец инженер, – нам нужны лояльные люди.

– Лояльных мы здесь не держим, – заявил Сосновский.

– Возьмите у господина Сосновского списки. Мы сами разберемся, – сказал переводчику молодой немец. Он говорил высокомерно, не глядя на Сосновского и на Шумова, но Шумов смотрел на него с незаметным со стороны любопытством.

– Я думаю, что отношусь к числу интересующих вас лиц, – сказал Шумов по-немецки.

– Молчать! Бандит! – рявкнул Сосновский.

– Кто это? – спросил унтерштурмфюрер.

– Он замешан в убийстве бургомистра.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Вернее, пострадал вместе с бургомистром, – поправил Шумов.

– Откуда вы знаете немецкий язык?

– Я учил язык в гимназии. По образованию инженер и приехал в город с соответствующими рекомендациями.

Щеголеватый молодой немец окинул Шумова пронизательно-подавляющим «гестаповским» взглядом.

– Вам нужен такой человек, господин майор?

– О да... – откликнулся пожилой офицер, – но...

– Разберемся. Нас он не обманет. Мы забираем этого человека, господин Сосновский. Оформите соответствующие документы.

– Слушаюсь.

Возражать он не мог, а немец повернулся к Шумову и показал рукой на дверь:

– Следуйте за нами.

Шумов поднялся и вышел из кабинета вслед за Лаврентьевым.

Так они встретились впервые, не зная друг друга, хотя Шумов кое-что и знал. Он знал, что существует человек, к которому он может обратиться в минуту крайней опасности, в исключительном случае, но, конечно же, лучше было не подвергать этого человека дополнительному риску, потому что он выполнял свое четко обозначенное и очень важное дело.

Однако, помимо своего дела, человек этот ежедневно выполнял и так называемые непосредственные служебные обязанности, и в кабинет Сосновского привели его именно эти обязанности, а не романтическая миссия вырвать Шумова из лап злодея. Он действительно пришел, чтобы отобрать нужных немецким властям людей, и делал это добросовестно, ибо иначе ему было невозможно служить там, где он служил, и выполнять порученное задание, которое было гораздо важнее, чем мелкий саботаж распоряжений оккупационного начальства. Но это не значило, конечно, что каждодневная служба в полевом гестапо, занимавшемся главным образом уничтожением преданных Советской власти людей, воспринималась им как деловая рутина. Это была тяжкая рана, и он не знал еще, что ей предстоит кровоточить до конца его дней.

Выйдя из душевой, замурованной непроницаемым толстым стеклом закускойной – ничего лучшего по пути в гостиницу не встретилось, – Лаврентьев еще раз вспомнил эту первую встречу с Шумовым; начиная с нее и до взрыва театра, за очень короткий, в сущности, если считать в календарных единицах, срок произошли те трагические события, что повлекли за собой гибель многих людей. Люди эти, с которыми судьба связала Лаврентьева прямо или сложными взаимосвязями, погибли, а он прошел войну до конца и воочию убедился, что жертвы не были напрасными. И теперь, почти через треть, века, он вернулся в этот город и увидел, что на месте развалин и халуп выросли благоустроенные районы, где живут нарядные, хорошо выглядевшие люди, они трудятся, загорают на пляжах, заняты нормальными повседневными делами и чтут память тех, кто не дожил и не увидел. И не только чтут, но и возвращаются к ним памятью, и вот даже картину собрались делать, чтобы показать живущим... Что? То, что было, или то, как они представляют то, что было?

В гостиничном номере, выходящем окнами на восток, к вечеру стало не так знойно, душ работал нормально, у соседей было тихо – киношники еще не вернулись, – и можно было бы отдохнуть, вздремнуть после утомительной суматохи жаркого дня, но сон не шел, несмотря на усталость. Донимали мысли, от которых Лаврентьев оградить себя не мог, хотя и понимал, что к нынешней его жизни, давно миновавшей зенит, размышления эти ничего не прибавят уже и не убавят. Но в отличие от более счастливых людей, умеющих забывать то, что помнить тяжело, считавшийся уравновешенным и организованным Лаврентьев не был властен над своей памятью. Она преследовала его и во сне, и ему трудно было сосчитать, сколько раз ночью снова и снова поднимал он руку с тяжелым парабеллумом... Правда, выстрела не происходило – он лишь поднимал руку с пистолетом, и тут нервы не выдерживали и

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

он просыпался. Только один раз выстрел был – бесшумный, как это часто видится во сне, но девушка начала падать, медленно валиться вперед, ее распущенные волосы будто парили над плечами, колыхались золотистым легким шелком... Это было лет через пять после войны. Он собирался жениться, и невеста так никогда и не узнала, почему он вдруг резко изменился и ушел из ее жизни.

Шумов же не снился ни разу, хотя в мыслях Лаврентьев обращался к нему часто. Он не имел ни права, ни оснований упрекать его, он знал, что Шумов поступал так, как должен был поступать. Он видел Шумова прежде всего человеком цельным и верным долгу, солдатом в том лучшем смысле, который вкладывают в это слово, когда обнажают голову у скромного обелиска. Он и выглядел как-то по-солдатски, старослужащим в глазах вдвое младшего Лаврентьева, хотя мог бы жить и сейчас. Разве мало людей доживает до семидесяти пяти?

Лаврентьев помнил, как вышли они в коридор. В памяти сохранились коренастая спина Шумова, и его широкий, с ранней сединой затылок, и неторопливая походка рядом с суетливым переводчиком.

– Так вот вы какой, господин унтерштурмфюрер... А я, признаться, представлял вас постарше, – сказал Шумов, когда они остались вдвоем.

Он еще говорил по-немецки, но с другой уже, совсем другой интонацией, и Лаврентьев сразу понял... Однако смог спросить жестко, «по-гестаповски»:

– Что это значит? С кем вы разговариваете?

– Я говорю с одним молодым человеком, – перешел на русский Шумов, – который однажды, когда ему было четырнадцать лет, упал с велосипеда и рассек правую бровь. Кажется, это было на Шаболовке...

Нет, это было не на Шаболовке, а на Большой Калужской. Они ехали с ребятами в Нескучный сад. Но это было. И Лаврентьев невольно поднял руку и прикоснулся пальцами к маленькому, почти незаметному шраму, на который смотрел Шумов.

А потом они разговаривали в машине Лаврентьева поздним вечером за городом, на берегу моря. Было очень темно, и моря не было видно, но оно дышало рядом, мягкий шум неторопливо накатывающихся на ровный песчаный берег волн доносился в машину...

Тут в памяти Лаврентьева произошло некоторое смещение во времени. Ему казалось, что разговор он начал с последней речи Гитлера, однако речь эта была произнесена позже, в начале ноября, а с Шумовым они встретились в октябре. Но помнил он так...

– Гитлер сказал: «Сталинград наш! В нескольких домах сидят еще русские. Ну и пусть сидят. Это их личное дело».

– Так и сказал? Личное дело? – усмехнулся Шумов. – Что ж... В общем-то верно. Это наше личное дело.

– Как бы я хотел быть в одном из этих домов! На фронте.

– А ты где, позволь? В санатории?

– Вы представляете, чем мне тут заниматься приходится? – спросил он тихо.

– Приблизительно.

– Вы видели, как набивают людьми душегубку?

– Нет.

– А я вижу постоянно. И пью коньяк с теми, кто этим занимается.

Потом он сожалел об этих словах. Ему казалось, что прозвучали они капризно, по-мальчишески и не могли убедить Шумова. Но тогда других слов не нашлось. Да разве и без них не было ясно, почему невыносимо дышать одним воздухом с

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
убийцами, выполнять их распоряжения, смеяться их шуткам, петь песни на «товарищеских вечеринках», поздравлять с днем рождения, смотреть фотокарточки их жен и детей?!

Лаврентьев снял фуражку и не пригладил волосы. Во мраке шумов угадывал лицо совсем молодого вихрастого паренька, вчерашнего школьника из интеллигентной семьи, мальчика из тех, кого приходится бросать в прорыв, когда становится безвыходно трудно, бросать полуобученными, без опыта на подвиг или на смерть, а чаще на то и другое вместе. Нет, он не оттолкнул шумова чистоплюйством, как казалось потом Лаврентьеву. У шумова сжалось сердце. Но что мог сделать шумов? После провала подполья, после угрожающей встречи с Максимом, после ненужного убийства бургомистра и нелепейшего ареста, после всего, что произошло и так резко осложнило положение шумова, от этого мальчика в душившем его щеголеватом мундире с эмблемами смерти зависела судьба не только шумова, но его задания, всей операции... А шумов, как правильно понял Лаврентьев, был человеком долга. Он не сразу ответил Лаврентьеву, он старался понять, что происходит с этим пареньком, – подошла ли критическая точка, за которой откроется второе дыхание, или это полная несовместимость, влекущая неизбежное и гибельное отторжение.

– Командование очень ценит твою работу.

– Можно мне сказать откровенно?

– Только так.

– Я не должен был идти на такую работу.

Шумов нахмурился:

– Разве ты не знал, на что идешь?

– А разве такое можно представить? Разве нормальный человек может вообразить себе газваген? Или тысячу расстрелянных в день, точно по расписанию, с семи до шестнадцати, машина за машиной, с приказом экономно расходовать боеприпасы. Вы понимаете, что значит экономить патроны? Это заживо закопанные люди. Это земля, которая шевелится... А я читал в подлинниках Шиллера и Гёте... Я не выдержу. Сорвусь. Перестреляю их, как бешеных собак!

Шумов многое понимал, но он помнил, как вошел Лаврентьев к Сосновскому – собранный, точный в движениях и словах. «Он не должен сорваться. Он просто расслабился. Это критическая точка. Необходимость облегчить душу, а не истерика». Однако собранность, которую видел шумов, была предельно натянутой струной нервов, и он не осознал этого до конца, потому что сам находился под гнетом критических перегрузок и тревоги за выполнение приказа.

– А кто заменит тебя?

Собственно, Лаврентьев не ждал иного. Он признавал справедливость слов шумова и понимал, что не в его власти мановением волшебной палочки изменить его, Лаврентьева» судьбу. Но все-таки чего-то большего ждал он от встречи с этим почти в отцы годившимся ему человеком с умными, много повидавшими глазами, пришедшим оттуда, из светлого и счастливого мира его недавнего отрочества, знавшего о Шаболовке, о велосипеде... Ждал каких-то особенных, объясняющих необъяснимое слов, участия, может быть, даже разрешения по-детски выплакаться, не стыдясь очищающих скованную душу слез...

Но, хотя шумову и самому хотелось обнять за плечи этого мальчика и сказать ему: «Потерпи, сынок, это необходимо. Прошу тебе...» – он не сделал этого. Шумов решил, что мягкость расслабит Лаврентьева еще больше, что важнее дать почувствовать парню: нюнить не время и не место и нельзя оглядываться, когда, идешь в атаку; Так показалось ему вернее, полезнее, и он ошибся.

– Твой сталинградский дом здесь.

Он говорил и другое, но Лаврентьев запомнил именно это. Чуть было расслабившаяся струна, не успев отойти от напряжения, напряглась вновь, и он инстинктивно провел пальцами под ремнем, оправляя мундир, и бросил взгляд на невидимые в темноте сапоги, за которыми все они тщательно следили в этой грязной – иначе они

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
не называли – стране, среди низших, неряшливо обутых людей.

Вот что жило, в памяти Лаврентьева из разговора, который вроде бы и не мог сложиться иначе и иначе закончиться. Но всех последствий этого разговора невозможно было, тогда предвидеть; да и сейчас, через много лет, Лаврентьев не представлял себе их все, потому что не знал, как именно, почему погиб Шумов, который должен был покинуть здание театра, за пятнадцать-двадцать минут до взрыва. Он понимал только, что в театре произошло нечто такое, что поставило Шумова перед необходимостью остаться до конца и выполнить задание, любой ценой. А так оно и было. Но Лаврентьеву никогда не приходило в голову, что между гибелью Шумова и их первым разговором существует хоть и не прямая, но реальная сложная связь, что разговор стал звеном в цепочке событий, такого рода событий, которые возникают под влиянием множества обстоятельств и порождают не меньше новых, непредвиденных. О связи этого разговора со смертью Шумова он не подозревал, но о том, что сказался он на судьбе Лены, думал часто, вина себя, а не Шумова, который в целом все-таки верно оценил тогдашнее его состояние – оценил как критическую точку, хотя и не понял, насколько она была критической...

В то время, когда Лаврентьев лежал в спокойном и относительно прохладном номере гостиницы и обрывки воспоминаний, связанные с прошлым, волную его, мешали воспользоваться тишиной и прохладой и отдохнуть, на набережной в пивном баре сидели и разговаривали режиссер Сергей Константинович, оператор Генрих и автор Саша. После того как было выпито последнее шампанское, всеми овладело то полухмельное настроение, когда работать уже не хочется, а хочется выпить еще, хотя бы лишнее, ненужное. К счастью, ни у кого больше не было денег. Однако и возвращаться в гостиницу, смирившись с обстоятельствами, было невозможно, и тогда Генрих одолжил рубль у шофера и выгреб из кармана несколько заваливавшихся монет, чтобы посидеть немного в пивном баре и хоть промочить, как он сказал шоферу, пересохшее горло.

Делал все это Генрих не случайно. Он видел, что режиссера гнетет жажда, и хотел загладить инцидент, в котором, собственно, оскорблен был сам. Но он понимал, что спровоцировал это оскорбление, спровоцировал не намеренно, но и не без причины: просто было жарко и нервно, и прорвалось то недоброжелательство к режиссеру, которое чувствовал он иногда, несмотря на дружеские отношения.

Отношения эти были непростыми. Оператор действительно родился в деревне Соловушки, но землю в семье его никто не пахал, отец был сельским учителем, человеком с претензиями, и детям в память бессмертного творения классика дал имена Маргарита и Генрих. С детства Генриху не по душе пришелся деревенский быт, разлюбил он его на всю жизнь и, когда слышал ностальгические разговоры о безвозвратно потерянной природе, всерьез утверждал, что лучший воздух – на Садовом кольце. Очень рано он решил, что будет жить в городе, причем не в любом городе, не в Курске, скажем, и не в ближайшей к Соловушкам Пензе, а в Москве, и будет работать в кино. Решение работать в кино пришло еще до того, как он разобрался в своих склонностях, и потребовалось время, чтобы понять, что ни режиссером, ни актером он не будет, но хочет стать хорошим оператором. Тогда-то Генрих и двинулся в долгий путь, отделяющий Соловушки от ВГИКа, где его никто не ждал и не содействовал ему. Учтивая это, Генрих не пал духом после первого провала, а окончил краткосрочные курсы крановщиков и пошел на стройку, с каждым новым домом удаляясь от центра Москвы и приближаясь к ней одновременно. Поступал он трижды, а в промежутках снимал любительские фильмы собственной камерой. Наконец в него поверили и взяли учиться.

Учился Генрих лучше многих. Однако от диплома до известности и славы лежал новый, не менее, а может быть, и более сложный путь. Легко Генриху ничего не доставалось. Способности у него были, упорство тоже, но не было везения; потянулись годы черновой работы в тени ярких имен, которые, впрочем, даром не прошли, потому что Генрих умел учиться. В будничной текучке он познакомился и подружился с Сергеем Константиновичем. Оба были, по нынешним понятиям, молодые, оба еще собирались заявить о себе, обоим все давалось трудно, и это сближало, хотя в душе один завидовал жизненной цепкости и упорству другого, а другой не мог простить легкой, как ему казалось, жизни и разбазаренных возможностей первого. Временами эта неприязнь прорывалась, но потом оба жалели о случившемся: режиссер – по врожденной деликатности, которая причудливо ужилась в нем с качествами прямо противоположными, а Генрих – из выработавшегося годами чувства осторожности, стремления избежать осложнений, риска там, где сделана была

большая ставка – своя первая картина. Однако сегодня они были возбуждены больше обычного.

– Прекрасное пиво, – сказал Сергей Константинович, залпом опрокидывая первую кружку.

Он не заметил, что пиво было плохое, потому что томила жажда, и не только жара была тому причиной. Одолевала потребность в спиртном, та беда, которую он уже знал за собой, но в последнее время убеждал себя, что справился с ней, что ничего страшного нет, если молодой и здоровый мужчина после стакана портвейна выпьет бутылку шампанского и посидит с приятелями часок-другой за кружкой пива. Он не пил несколько дней, был доволен своей выдержкой и теперь не замечал, что пьет жадно, испытывая удовлетворение от одного уже предвкушения действия алкоголя.

– А по-моему, дрянь, – возразил оператор. – Мудришь ты, Сергей, – вернулся он к разговору о картине с упорством нежелающего уступать спорщика. – Что ты хочешь от этих людей? Чтобы они цитировали Монтеня? Да ты поговори с любым ветераном... Что он тебе скажет? «Согласно приказу командования мы выполнили боевое задание». И точка. Прочитирует плохой газетный очерк. И, я уверен, на войне они тоже были такими. Некогда им философствовать. Нужно было выжить, съесть свой котелок каши, «боевые сто грамм» проглотить и победить.

– Без единой мысли в голове?

– Не считай меня идиотом! Я не принижая этих людей. Они сделали свое дело, и мы теперь философствуем благодаря им. Но сила их была в простоте. И незачем навязывать им наш образ мыслей. Нужно делать нормальную картину о войне, которую выиграли простые люди. Вспомни их песни! «Синенький, скромный платочек...», «В кармане маленьком моем есть карточка твоя...», «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага...»

– Вот-вот! – перебил режиссер, протягивая руку за второй кружкой. – До смерти четыре шага! В этом мысль. И я уверен, что перед лицом смерти даже инфузория уже не инфузория. Страдание и мысль неотделимы. А ты не понимаешь...

– Я понимаю все. Можно делать приключенческую дешевку – раз. – Генрих загнул палец. – Можно делать хороший нормальный фильм – два. И можно самовыражаться, одев актеров в военные мундиры и подложив всем ватные плечи. Дешевку мы делать не хотим, но, чтобы самовыражаться, милый мой, нужно быть феллини, а ты, прости...

– Не Феллини. Я сто раз слышал эту расхожую пошлость. Да, я не Феллини. Но и Антониони, между прочим, не Феллини. Никто, кроме, Феллини, не Феллини. И это большое счастье. Каждый должен видеть по-своему.

Генрих усмехнулся, и режиссер заметил эту усмешку. Но, прежде чем ответить на нее, он допил пиво.

– Да, дорогой. Именно так. И у меня есть свой взгляд. Представь себе! В отличие от тебя. «Как скажешь, так и сделаем...» – передразнил он оператора.

– Ну, положим, не совсем так...

– Нет, именно так! – вскипел режиссер. – Как скажу, так и снимешь! И не нормальную киношку, а картину...

Они совсем забыли об авторе, а Саша тем временем сидел как на иголках, едва прикоснувшись к первой кружке пива, которого вообще не принимал его болезненный желудок. Сашу нервировали эти стычки. Привыкший к музейной атмосфере с маломасштабными дамскими интригами, автор никак не мог понять людей, которым, с его точки зрения, жить бы да жить в довольстве своим положением, а они не только постоянно грызутся; и пребывают в накаленном, лихорадочном; состоянии, но и готовы вообще разрушить дело, на которое он возлагал столько надежд. Автора приводили в панику зловещие слова «закроют картину», которые он уже не раз слышал. Могут ли картину в действительности «закрыть», как угрожал директор Базилевич, Саша не представлял, но такая перспектива, грозившая его честолюбивым замыслам, выводила автора из себя, и ему казалось, что поведение режиссера и

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
оператора настойчиво приближает этот крах.

– Послушайте! – взмолился он. – Ну зачем вы так?

– Что? – посмотрел на него режиссер. Он уже был немного пьян. – Саша, вы, кажется, не любите пиво?

– Да-да, – обрадовался автор, подвигая ему кружку. – Мне нельзя пить пиво.

– Мне, собственно, тоже. Толстею. Но в такую жару...

И он выпил третью кружку под насмешливым взглядом по-прежнему трезвого Генриха. Допив пиво, режиссер оглядел стол и убедился, что пить больше нечего. Ему стало грустно и расхотелось продолжать мысль, убеждать Генриха. Прошло и раздражение.

– Снимать нужно хорошо, – сказал он вяло и коротко, хотя собирался сказать, что не верит в примитивность людей, живших тридцать лет назад, и хочет показать их глубоко и цельно, показать то, что не каждый из них может описать образно и четко, но что каждый наверняка пережил и передумал в те годы, когда ценность человека проверялась не славами, а поступками... И еще многое он мог бы сказать, но остановил себя. – Ты нарочно заводишь меня. Так и растрачиваемся на бесполезный треп. Работать пора.

– Суперкран держит, – изменил тон и Генрих.

– Черт с ним, с суперкраном. С театра начнем.

– А актриса где?

– Жду телеграмму.

– Тогда другой разговор. Можно начать и с певички.

И Генрих фальшиво воспроизвел популярную в свое время мелодию из трофейной картины «Девушка моей мечты».

Певичку, о которой пренебрежительно отозвался Генрих, включили в сценарий после сомнений и колебаний, в основном отдавая дань модному влиянию мюзикла, – она должна была петь на потребу собравшимся в театре фашистам, и в финале ее визгливый голос навеки прерывался грохотом взрыва. Но ни актриса, игравшая певичку, ни режиссер, ни автор, хотя они и знали, что такая певичка существовала в действительности и в самом деле погибла в театре, не подозревали о подлинной ее роли в событиях, о которых они собирались рассказать...

Короткая жизнь певицы могла, вероятно, сложиться совсем иначе, если бы не двадцать второе июня, день, изменивший судьбы миллионов людей. Одни поняли это сразу, когда услышали по радио заявление Молотова, другие позже, с первыми сводками Совинформбюро и первыми похоронками; но, пожалуй, никто, даже те немногочисленные, что ждали краха Советской власти, не могли предположить масштаба трагедии, первая тень которой легла в этот воскресный день на каждую семью, на каждого человека. И меньше всего думали о ней молодые, воспитанные на убеждении, что враг будет разгромлен на своей земле грозным сокрушительным ударом.

Среди таких юных и оптимистичных была и молодая артистка эстрады Вера Одинцова, которая сама охотно пела о том, как застрочит пулемет, полетит самолет и помчатся, чтобы сокрушить врага, лихие тачанки.

Утром двадцать второго она вместе с товарищами по профессии сдавала последние зачеты на курсах ПВХО, которые их обязали пройти, и они, кто добросовестно, а кто вполсилы, изучали опасные свойства иприта и хлорпикрина, потели в противогазных масках со смешным резиновым отростком для протирания стекол, копали противовоздушные окопы, называемые щелями, и бросали кулечки с песком в смоченные керосином и подожженные куски ветоши, имитирующие вражеские зажигалки.

Как и ожидалось, зачеты сдали все. Преподаватели, молодые командиры в гимнастерках с кубиками в петлицах, входили в положение артистов и разрешали

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

бросать лишние, сверх нормы, кульки, пока зажигалка не тухла окончательно под смех и шутки «отстрелявшихся» коллег. Некоторые пришли с детьми, и мальчишки выпрашивали и себе кульки с песком я бросали их часто бойчее и точнее родителей.

Вера тоже попала в огонь ловко, хотя курносый техник-лейтенант и был готов заранее простить ей промах. Ей вообще с детства все прощали, сначала дома, где росла она единственным ребенком, а потом, когда обнаружились способности к пению, и в школе, которую она успешно представляла в городской самодеятельности. О девочке очень доброжелательно написала местная молодежная газета, и в классе прочно утвердилось прозвище Артистка, причем без насмешки, тепло. Правда, сама Вера от такого будущего отказывалась, повторяя:

– Что вы, девочки! Какая из меня артистка? Честное слово, мне и не хочется в артистки. Я мечтаю стать геологом.

Говорила она искренне и, возможно, стала бы геологом и пела бы товарищам под гитару в дальней таежной партии или в пустыне под близкими южными звездами, но весной, перед самыми выпускными экзаменами, тяжело заболел отец Веры, а вернее, обнаружилась безнадежность его болезни, о чем долго не решались говорить вслух. Осенью отец умер. Вера редела на похоронах и долго не могла привыкнуть к опустевшей отцовской комнате с картой Испании на стене, где красным и синим карандашами отец отмечал перемены на фронтах.

Институт пришлось отложить, а так как положение семьи со смертью отца ухудшилось, Вера приняла предложение выступить с небольшим оркестром в кинотеатре и выступала настолько удачно, что ею заинтересовались в местной филармонии, подучили немного, и вскоре Одинцова стала весьма популярной в городе эстрадной певицей.

Мечты о тайге и пустынях стали забываться. Новая профессия понравилась Вере. Нравилась и аплодисменты, и поклонники с цветами, и сам неупорядоченный образ жизни, отличающий артистов от людей более строго регламентированных занятий. Пришли новые мечты об интересных гастролях и, конечно же, о Москве, о большом признании. Она была молодой, у нее, как говорится, все еще было впереди, и она могла мечтать о многом. К счастью, что ждет ее на самом деле, Вера не знала, да если бы кто и рассказал ей, не поверила бы...

Утром двадцать второго июня Вера была в превосходном настроении, ее радовали предстоящие выступления в Крыму, и удачно сданный зачет, и робкое внимание молодого лейтенанта. После зачета она зашла в буфет, с удовольствием ела пирожок с ливером, запивая его сидром, и думала о том, как вскоре будет сидеть на веранде хорошего ресторана в Ялте, пить массандровское вино и благосклонно принимать ухаживания какого-нибудь нового интересного поклонника.

– Как ты можешь? Как ты можешь?! – такими словами прервала ее приятные размышления Надежда Степановна, аккомпаниаторша, особа нервическая, склонная все преувеличивать.

– Что вы, Надежда Степановна?

– Как ты можешь спокойно есть пирожки?

– А что случилось?

– Война...

Сразу у всех исчезло бодрое, шутовское настроение. Вера поспешила домой, понимая, что мама волнуется. Когда она вышла из клуба Осоавиахима, где сдавали зачеты, ясное с утра небо затянулось тучами, стало свежо и зябко, у гастронома толпились первые, очереди. Но ни в тучах, ни в очередях Вера не увидела никаких зловещих предзнаменований – дожди шли в ту весну часто, а очереди бывали и в финскую войну, которая прошла далеко, без заметных осложнений и закончилась появлением на экранах кинофильма «Линия Маннергейма», где убедительно была показана мощь нашего оружия и разбитые доты, в которых пытались укрыться белофинны. Вопреки настроению большинства людей Вера чувствовала особую приподнятость, воображение ее пылко разыгралось, и, шагая по улице, она видела себя поющей бойцам на передовой, в лесу, под красиво склонившимися березами, где суровые небритые воины слушают ее перед штурмом неприступных вражеских укреплений. Но вот песню

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
прерывает звук боевой трубы. Воины вскакивают, берут винтовки и шашки и уходят в огонь и дым. И там, в огне, они слышат ее голос:

На битву большую
За землю родную
Иди, не боясь ничего...

А потом, возможно, некий тяжелораненый герой в полевом госпитале захочет услышать ее в свой последний час, и свершится чудо – то, что оказалось не под силу опытному хирургу, сделает она, силой искусства вдохнув жизнь в израненное тело. А потом, возможно, они поженятся... Но не сразу. Сначала она скажет, что ее долг – петь до полной победы, а он красиво встанет на подножку уходящего на фронт бронепоезда, я они расстанутся, чтобы встретиться после войны, лучше всего на Красной площади... Он обнимет ее мужественной и нежной рукой... Почему-то ей хотелось, чтобы произошло это в гостинице «Метрополь», где она никогда не была, но слыхала, что это очень шикарная гостиница, в которой только и подобает отдаться настоящему герою. А потом он получит в Кремле орден из рук Калинина, и они поедут в Крым, где, видно, уж не придется побывать нынешним летом...

С такими мыслями вступила Вера Одинцова в жестокую и непохожую на ее наивные мечты войну... Хотя вначале вроде бы так и пошло. Она попала во фронтовую концертную бригаду и пела на лесной поляне, но песню прервала не боевая труба, а страшный крик: «Окружили!»

Долго она и еще несколько человек из бригады брели наугад лесными дорогами, сбивая в кровь ноги, ежесекундно испытывая страх перед немцами, которые могли выскочить из-за каждого куста и расстрелять на месте. Так Вера добралась до ближайшего города и вскоре увидела первых живых фашистов. Но ее не расстреляли, не замучили, а разрешили следовать к месту жительства.

Как и все советские люди, Вера с детства ненавидела фашизм. Но она попала в водоворот не зависящих от нее событий, а водовороты войны засасывали людей без снисхождения, беспощадно испытывая на прочность наряду с сильными и тех, кто не был готов к борьбе.

Веру засосало постепенно. Хотя она могла и сразу устроиться по специальности – «новый порядок» предполагал и свою «культуру», – петь для немцев и их холоуев казалось ей вначале чудовищным и немыслимым. Они с матерью жили какое-то время тем, что меняли на продукты оставшиеся вещи, униженно выторговывая каждый фунт пшена – мерить стали на допотопных фунтовых безменах. Так надеялись продержаться до возвращения наших, однако гром орудий заглох и не возобновлялся и перед жителями встала проблема – определиться с работой; отваливающих угоняли в Германию. Красное полотнище с надписью «Биржа труда» вселяло ужас в большинство горожан. Наверно, выходом из положения было бы устройство на какую-нибудь физическую работу, но к такому Вера не привыкла и продолжала скрываться, пока не попала в облаву на толкучке, которая теперь бесстыдно расположилась на центральной площади, где еще недавно Вера проходила в колонне демонстрантов перед праздничными трибунами.

Положение стало критическим. Из облавы можно было угодить не только в Германию, но и в Злодейскую балку. И пережитое за эти показавшиеся бесконечными месяцы сломило хрупкую, избалованную благополучием женщину. Сидя в набитой зловонной камере, Вера плакала и ломала голову, каким образом изменить создавшееся положение, не сознавая себе еще в том, что речь идет об измене Родины. И в слабую душу внедрялась предательская мысль о том, что «красные» – возродился и такой, забытый после двадцатого года термин – бросили их, жителей города, на произвол судьбы и тем самым как бы избавили от ответственности за свои поступки...

Укоренившись, эта мысль привела к полному повороту в недавно еще, казалось, незыблемых представлениях Веры Одинцовой и определила новое поведение и действия, завершившиеся в один совсем не прекрасный в ее жизни день тем, что, одетая в легкий театральный наряд, Вера вышла на сцену и спела для отдыхающих в городе солдат безобидную сентиментальную песенку на ломаном немецком языке.

Артистка понравилась, ей щедро аплодировали, а после выступления она была приглашена на небольшой банкет, где впервые за последние месяцы досыта наелась и даже сумела унести в сумочке несколько бутербродов. Домой ее отвез в машине

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
вполне корректный обер-лейтенант, вернулась она под хмельком, в хорошем настроении, и только утром, когда хмель прошел, стало тоскливо и страшно. Так и пошло с того дня – то весело, то тоскливо и страшно. До самого конца. А до конца оставалось совсем немного...

– Ну, поехали, – встал из-за столика режиссер.

– Куда спешить? – возразил Генрих, смакуя оставшееся пиво. – День-то, считай, закончился. – Он махнул рукой в сторону быстро снижающегося над морем солнца.

– У нас день ненормированный. В гостинице примем душ, и можно подумать, как снять план в театре.

– Хватит на сегодня. Может, в море искупаемся?

– Я предпочитаю душ. – Режиссер брезгливо оглядел грязный прибрежный песок.

– Как скажешь, – отодвинул опустевшую кружку Генрих и тоже встал.

По пути они завезли домой автора и в вестибюле гостиницы сразу разошлись по своим этажам.

Направляясь от лифта к номеру, режиссер не обратил внимания на низкорослого старичка, присевшего в холле на краешке стула, и не заметил, что дежурная по этажу, увидев Сергея Константиновича, кивнула старичку. Тот вскочил и засеменил за режиссером, но не догнал и только у самого номера, когда Сергей Константинович поворачивал ключ в дверях, обратился почтительно, однако с решимостью привлечь к себе внимание:

– Прошу прощения...

Режиссер посмотрел на него без всякой радости. Ему хотелось поскорее принять душ.

– Я узнал, что вы, так сказать, снимаете картину... о наших героях.

– Так сказать, собираюсь снимать. А что вам угодно?

– Если позволите, я в некотором роде очевидец, живой свидетель...

– Очевидец? – Режиссер оглядел старичка. – Ну зайдите, раз свидетель. Только вам придется подождать. Меня чертовски разморила ваша жара.

И он направился в ванную, с трудом стягивая прилипшую к телу рубаху. Когда Сергей Константинович вернулся в комнату, старичок посетитель, как и в холле, сидел на краешке стула, хотя в номере было два кресла.

– Слушаю вас.

Старичок вскочил.

– Сидите. Зачем вы встали?

Режиссер закурил и опустил в кресло, удобно вытянув ноги.

– Нет уж, позвольте, мне так сподручнее... – и гость заговорил заранее, видимо, подготовленными словами: – Перед вами человек с трудной судьбой. Хотя в молодые годы, так сказать, в начале жизненного пути, и я был сопричастен к представляемому вами искусству... Не на вершинах, конечно, но в скромной роли кинемеханика. Это были незабываемые годы! Как тогда любили кино! «Волга-Волга», «Чапаев», «Александр Невский»... Что творилось! Вы и представить себе не можете! Каждый мальчишка...

– Я видел эти картины, – прервал Сергей Константинович, подозревая, что нарвался на любителя поболтать с «живым» кинорежиссером.

– Конечно же, конечно, кто же их не видел! Но я о другом. Гитлеровское нашествие

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru нарушило мирный труд советских людей. Война принесла нашему народу неисчислимые бедствия. – Он наклонился к сидящему режиссеру и произнес эти газетные слова негромко и доверительно. – Но пострадали не только те, кто погиб. Некоторые остались жить, однако не для радости жизни, а для новых испытаний.

– Вы имеете в виду себя?

– Так точно.

– Как вас зовут?

– Огородников Петр Петрович. Русский всей душой. Не знал иной родины, но имел несчастье родиться от смешанного брака. Покойная мама происходила из немецких колонистов. Мама хотела видеть меня образованным человеком и, на беду мою, выучила меня их языку...

– Немецкому?

– Так точно. И когда фашистские захватчики ворвались в наш родной город, я был мобилизован, то есть под страхом неминуемой смерти... – Огородников смолк, с опасением поглядывая на режиссера, но Сергей Константинович ждал продолжения, – ...принужден служить переводчиком.

– Понятно. Где вы служили?

Наверно, Огородников предпочел бы назвать любое другое учреждение, однако тогда терялся весь смысл его визита, и он, заранее решившись, сообщил:

– Меня принудили работать в гестапо.

Сергей Константинович опустил руку с сигаретой, и пепел упал на ковер. Впервые в жизни видел он человека, работавшего в гестапо, и этот человек выглядел до пошлости обыденно – обыкновенный пенсионер из добросовестных мелких служащих, в одежде, сшитой на какой-то провинциальной фабрике, затоваривающей из года в год торговую сеть безликой продукцией.

– Нет-нет, вы не подумайте! Я не имел никакого отношения к зверствам. Меня прикрепили к отделу, который занимался, так сказать, делами внутренними – охрана высокопоставленных офицеров, работа с печатью... Выходила тут, знаете, газетка... Да и в этом отделе кто я был? Винтик, передаточный механизм...

– Что же с вами произошло потом?

– При первой же возможности я бежал, передал себя в руки наших властей и чистосердечно старался искупить...

– Каким образом?

– Видите ли, вы человек еще молодой... Время было суровым. С людьми не всегда поступали справедливо.

– И с вами тоже?

Впервые с начала разговора Огородников проявил нечто вроде твердости:

– Позвольте быть искренним – считаю. Суд не принял во внимание обстоятельств, смягчающих мою вину. Вернее, я не смог доказать... И вот пришлось трудом на благо Родины искупать в местах отдаленных. Но трудился добросовестно, что и в документах отмечено, и двадцать уже лет, как с несчастным прошлым покончено и имею право честно смотреть в глаза...

– Сколько вы просидели?

– Десять лет.

«Ого! – подумал режиссер. – Десятку отгрохал да после уже двадцать с лишним прошло. С ума сойти! Когда ж эта война была?!»

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Так зачем вы пришли?

– Я уже докладывал. Как очевидец могу быть полезен...

Сергей Константинович сдержал усмешку. Он представил себе строчку в титрах: «Консультант – гестаповец Огородников».

«Забавный старик...»

– Вы хорошо помните эти события?

– Такое, товарищ режиссер, не забывается. И я считаю долгом... Бескорыстно, само собой... Исключительно в интересах истины я обязан сообщить вам то, что не мог доказать в свое время следствию, – я оказывал посильную помощь подпольщикам.

Режиссер сунул окурок в пепельницу.

«Кто он в самом деле? А если правду говорит? В жизни всякое случается...»

– И вы хотите в некотором роде реабилитироваться с нашей помощью?

Огородников замахал худыми маленькими руками:

– Что вы! Что вы! Я уже старый человек. Двадцать лет безупречной репутации. Государство наше великодушное, народ добрый. Никто меня прошлым не попрекает. Но истина важнее всего. Ведь искусство должно быть правдивым?

– Несомненно.

– Вот и я исключительно в интересах правды. Я ведь видел, знал тех, о ком вы картину снимаете.

– И Шумова. знали?

– Конечно. То есть не непосредственно, конечно. Он был руководитель. О его подлинной роли только после войны узнали. Но были другие, через которых я держал связь. Устно, к сожалению, без документов, но, сами понимаете, какие ж тогда документы? Конспирация...

Режиссер потер ладонью вновь вспотевшую грудь.

– Знаете, рамки нашей работы, собственно, уже определены... Но если потребуются какие-то детали, уточнения... Мы обратимся к вам. Оставьте ваш телефон.

Огородников замялся:

– Я остановился в Доме колхозника.

– Значит, вы не в городе живете?

– Нет. Я приехал.

– Специально приехали?

– В интересах истины.

– Спасибо. Мы повидаемся. Я подумаю, чем вы можете быть вам полезны.

– Благодарю покорно. Доверие оправдаю, не сомневайтесь.

Режиссер подумал, протянуть ли руку Огородникову на прощание, но тот и не рассчитывал на такое признание. Почтительно кланяясь, он боком выскользнул за дверь, оставив Сергея Константиновича в затруднительном раздумье – с одной стороны, появление живого очевидца отвечало его стремлению глубже понять, осмыслить происходившее, с другой – гестаповец Огородников?... Как-то несуразно. Божий одуванчик... Он снял телефонную трубку и набрал внутренний гостиничный номер.

– Светлана?

– Да. Что-нибудь произошло? Я отдыхаю от жары.

– Я зайду к вам на минутку. У меня тут один странный человек побывал.

Светлана лежала в постели, укрывшись простыней, с книгой в руках. Когда Сергей Константинович вошел, она натянула простыню до щей и посмотрела на него вопросительно:

– Что же стряслось?

Но ему вдруг расхотелось говорить об Огородникове. Присев на кровать, режиссер вынул книгу из руки Светланы и положил ее на пол.

– От жары действительно обалдеть можно... А персидский поэт сказал, что в зной лишь бедра девушек сохраняют прохладу. Так ли это?

– Не помню. Он ведь писал о девушках, а у меня, как вы знаете, взрослая дочь.

– Я очень нуждаюсь в прохладе...

Светлана вздохнула.

– Тогда, пожалуйста, пойдите и поверните в дверях ключ. Не все вас могут правильно понять.

Лаврентьев не слышал, как вернулся Сергей Константинович и как он беседовал с Огородниковым. Усталость взяла свое, и он заснул и проспал довольно долго, до позднего вечера, когда в гостиницах становится особенно шумно. Шум и разбудил Лаврентьева. Было темно, вставать уже не имело смысла, но и заснуть снова не удавалось. У соседей царило оживление. Голоса проникали и через стенку, неразборчиво и глухо, и особенно из лоджии – отчетливо и громко. Лаврентьев вспомнил предостережения женщины-администратора. «Попросить другой номер?» – подумал он, невольно прислушиваясь к голосам.

Один голос он узнал сразу, красивый, артистичный, голос девушки, с которой летел в самолете. Очевидно, ее допустили наконец к режиссеру. Но говорила она не с Сергеем Константиновичем, а с человеком, которого, как мог поручиться Лаврентьев, он не слышал еще в этом городе, хотя и его голос казался знакомым.

– Кто же ваш учитель в студии? – спросил этот полужнакомый мужской голос.

Девушка назвала фамилию.

– Знаю, знаю, – насмешливо откликнулся собеседник. – Помню, лет тридцать назад он кота играл в «Синей птице». Выходил на сцену с ушами такими и хвостом...

Наверно, он показал уши и хвост, потому что актриса расхохоталась, но сочла нужным вступить за педагога.

– А вам разве не приходилось играть животных? Или озвучивать хотя бы?

– Не отрицаю. Грешен. Однако приличных животных. Льва, например, тигра. Ну, крокодила на худой конец. Но не кота ж ничтожного...

Теперь Лаврентьев понял, откуда ему знаком этот голос. Говорил очень известный актер. И не только по мультфильмам, о которых шла речь. Много лет он исполнял ведущие роли в театре и кино, и Лаврентьев подумал, что эта девочка могла бы разговаривать с ним более уважительно.

– А почему вы согласились на такую маленькую роль? – спросила она.

– Я вас не устраиваю как партнер?

– Вообще-то, да, – ответила она прямо. – Боюсь, меня рядом с вами никто не заметит, а это моя первая роль.

– Не бойтесь, – ответил актер серьезно, меняя шуточный тон. – Не бойтесь, и все будет в порядке.

– Вы меня убедили, – снова засмеялась она. – А почему все-таки? Только не говорите, что маленьких ролей не бывает. Нам об этом все уши прожужжали.

– А всем хочется больших ролей?

Опять послышался смех.

– Конечно.

Чувствовалось, что она довольна тем, что запросто беседует с прославленным коллегой.

– Так вот, милая девушка, я эту роль малой не считаю.

– Правда?

– Правда. А как же иначе? Сыграть отца, у которого погибает единственная любимая дочь, это, по-вашему, маленькая роль?

Лаврентьев приподнялся на кровати.

«Значит, он будет играть Воздвиженского?»

Он встал и подошел к открытой двери. В соседней освещенной лоджии был хорошо виден подтянутый седой человек, знакомый миллионам кино- и телезрителей. Лицо его, оживленное разговором с молодой девушкой, выглядело лукавым и веселым и совсем не походило на спокойное, с навеки застывшей болью лицо мертвого Воздвиженского, которого Лаврентьев никогда не знал живым...

За год до смерти профессору Воздвиженскому исполнилось шестьдесят два, и, как каждый человек, родившийся в девятнадцатом веке и впитавший многие из жизненных представлений своего времени, он считал возраст этот старческим, а себя стариком и не раз удивлялся, почти непрерывно наблюдая вокруг себя ожесточенную и кровопролитную борьбу самых различных людей и народов, что дожил до старости.

Слово «наблюдать» могло бы наиболее просто охарактеризовать жизненную позицию Воздвиженского на протяжении бурных исторических десятилетий, однако простота эта граничила бы с упрощенностью, ибо Воздвиженский меньше всего был циничным скептиком или равнодушным обывателем, озабоченным лишь сохранением собственной жизни в полную опаснейшую эпоху. В душе его постоянно присутствовало мучительное стремление понять себя и все, что происходит вокруг, понять смысл самого бытия. Но задача эта оказалась для Воздвиженского неразрешимой. И когда профессор, страдая, повторял изречение философа, с грустью заявившего, что знает только то, что ничего не знает, он относил эти слова полностью к себе самому, ибо сменил в жизни нескольких богов и все они принесли лишь горечь разочарований.

Воздвиженский родился в семье сельского священника, чтимого прихожанами и в отличие от сына познавшего секрет внутренней гармонии, – сын запомнил его всегда спокойным и доброжелательным, верящим в то, что ничто в мире не происходит помимо воли божьей. Отцовский приход находился в одном из живописнейших мест Центральной России, и, когда шли они солнечным днем вдоль золотящегося спелой рожью поля и с дальних холмов тянулись в ясное небо нарядные колокольни соседних сельских церквей и доносился их умиротворяющий перезвон, а вблизи взлетали над хлебами беззаботные птицы и тянуло благодатной хвоей из ближнего бора, восторженная радость охватывала мальчика, и всей душой принимал он отцовскую веру.

Рухнула она сразу, в трагический день гибели отца. Случилось это на глазах сына. Отец пытался спасти неизвестно как попавшего на железнодорожные пути крестьянского мальчика и спас, подхватил и поставил на станционный дебаркадер, но сам зацепился полой рясой, не сумел выскочить наверх и погиб страшно. Ужас обстоятельств этой смерти поверг в смятение подростка. Как было понять, что бог верного, слугу своего позволил растерзать на куски бездушной машине да еще в минуту подвига христианского!

После смерти отца семья перебралась в Петербург, и начались годы сомнений, надежд и новых богов. Дальними зарницами засветилась неблизкая еще революция, но, прежде чем выплеснуться штурмующими лавами, должна была она свершиться в сердцах, и, хотя высокомерно парил еще над Россией двуглавый орел, тысячи людей молились уже иным кумирам, ожидая, что грянет выстрел и падет устрашающая подданных уродливая птица. Этого ждали все, но что настанет после выстрела, представляли по-разному. Студент-естественник Воздвиженский верил в науку и гуманность, в силу разума и в революцию-праздник. Бомбы и виселицы, террор пятого года поколебали этих новых богов. Мировая война, которую он начал врачом в Галиции, завершила крах. Умонастроение Воздвиженского пришло в противоречие с умонастроением большинства соотечественников, которых очередные жертвы звали к жертвам новым, а кровопролития призывали к ответным беспощадным действиям. В стране, неумолимо раскалывающейся на два непримиримых лагеря, Воздвиженский решительно отверг гражданскую войну, уверовав, что смерть не есть путь к спасению и нет такой цели, которой можно достичь, смертью смерть поправ. С ужасом наблюдая, как люди, несомненно честные и бескорыстные, неспособные из личных побуждений на малейшую несправедливость, без колебаний принимают и осуществляют решения, приводящие к гибели других людей, среди которых также немало честных и бескорыстных, Воздвиженский не мог постичь исторический смысл происходившего, он видел не борьбу классов, а противоборство отдельных людей, страдающих или заставляющих страдать ближних, а часто оказывающихся губителями и жертвами одновременно.

На время утихли грозы. Воздвиженский жил и работал, пользуясь известностью в научных кругах на юге, куда он перебрался из голодного Петрограда. Отринув бога, он исповедовал в повседневной жизни заповеди его сына, и не только «не убий», но и практическое «кесарю – кесарево». Новое общественное устройство признал без потаенного недоброжелательства, работал много и с пользой, оставаясь все же одиноким и, как он остро чувствовал, чуждым стремительно обходящей его жизни. Сознывая свое положение, он старался не обременять собой и других людей и долго избегал семьи, пока в сорок с лишним лет не посетила его еще одна вера, и Воздвиженский неожиданно для самого себя женился на студентке, искренне полагая, что поможет этой хрупкой девочке укрыться от жизненных невзгод. Он поверил в любовь как в последнее прибежище в этом жестоком мире, спешащем, по его мнению, в придуманное вместо царства небесного счастливое якобы будущее. И снова ошибся.

Привычную горечь испытал Воздвиженский, когда ему пришлось расстаться с последней иллюзией. Правда, прежде жена родила ему дочь. Но на этом и кончилось. Перед тем как уйти, жена сказала много несправедливых слов о том, что он искал рабыню, что он чудовищный себялюбец, похоронивший себя в башне из слоновой кости, атавистический пережиток, зараженный поповщиной, и многое другое, что часто говорилось в те годы. Ушла она одна, пообещав, что заберет девочку, как только устроится на новом месте. Устройство затянулось, и, возмущенный вначале бессердечием жены, Воздвиженский вдруг начал осознавать, что счастье, которое он почти всю жизнь считал неуловимым, незаметно заглянуло к нему в дом и начало согревать душу. Теперь он боялся подумать даже, что девочки с ним может не быть. И ему повезло.

Однажды в дом Воздвиженского постучался мужчина. Оказался он молодым инженером со стройки, на которой работала бывшая жена Воздвиженского, чувствовал себя заметно затруднительно и долго отказывался войти в квартиру в пыльных сапогах, но вошел наконец, а войдя, сказал, сжимая кепку в большой руке:

– Я муж Ани.

– Очень приятно, – ответил профессор, стараясь быть ироничным, а у самого в висках застучало: «За Леной!»

И действительно инженер подтвердил худшее:

– За девочкой я...

– Вы? – спросил Воздвиженский бессмысленно.

– Да.

– А разве... ваша жена... Почему...

Теперь инженер посмотрел мутно.

– А вы не знаете?

– Что?

– Нету Ани...

Потом они долго сидели в профессорском кабинете, инженер пил водку из хрустальной стопки и, стесняясь закусывать, говорил, какая Аня была необыкновенная, как ее все любили и как героически она умерла, хотя сейчас и все герои. Она получила воспаление легких, простояв несколько часов в холодной воде в котловане, когда прорвало перемычку... Воздвиженский слушал, но никак не мог совместить все это – котлован, перемычку и хрупкую Аню, носившую обувь тридцать четвертого размера. Но как ни страшна была смерть Ани, которую он давно простил за обидный уход, сейчас думалось о главном.

– Но зачем вам моя дочь?

– Аня просила. Она говорила, что вы антиобщественный элемент и погубите ребенка, – прямо сказал стеснительный инженер.

– Куда же вы намерены забрать ребенка? На стройку?

– Нет. В Москву отвезу, к сестре.

– Ваша сестра, конечно, человек передовой. Я не сомневаюсь. Но в каких, простите, условиях будет жить Лена?

– У сестры комната двенадцать метров, ну и муж с сынишкой...

– И вы думаете, что там ребенку будет лучше, чем здесь?

Инженер обвел взглядом кабинет – шкафы с книгами, кожаные кресла, послушал, как мягко стучат часы в дубовой резной башне.

– У вас условия, конечно, не сравнить, но Аня... Я обещал...

Инженер заколебался, хотя, не окажи профессор сопротивления, обещанное, безусловно, выполнил бы.

И, видно, так было бы лучше...

Начало войны для профессора Воздвиженского не было неожиданностью. Тут он мыслил со всеми одинаково и понимал, что схватки не избежать. Как и все, он полагал, что Гитлер, если и не будет немедленно разгромлен, то, во всяком случае, больше чем на сотню-другую километров в глубь Союза не заберется и война в худшем случае примет, как; и первая мировая, затяжной характер в приграничной: полосе между Восточной Пруссией и Бессарабией. Блицкриг на западе Воздвиженского не удивил и не испугал – пришедшее еще в четырнадцатом году глубокое разочарование в европейских идеалах подготовило его к подобной катастрофе, причину которой видел он не в мощи Гитлера, а в слабости западных демократий. Советское государство представлялось ему силой куда более значительной. Наконец, зная историю, профессор просто не представлял себе, чтобы едва или даже группа европейских держав могла сокрушить Россию.

«У них просто не хватит солдат», – думал он, разглядывая карту, на которой красный гигант нависал могучим плечом над разноцветным европейским калейдоскопом.

Но побежали военные дни, и непонятные вначале сводки Информбюро стали вполне понятны – мы не можем остановить немцев. Каждое утро, прослушав радио, профессор измерял линейкой на карте расстояние от города до фронта, и оно со зловецей неумолимостью сокращалось, подобно шагреновой коже. Встал вопрос об эвакуации.

Мысль об отъезде была для Воздвиженского невыносимой. Уже много лет он никуда не выезжал из города. Старый дом, в котором профессор жил с гражданской войны,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

давно стал для него не просто привычным жильем, но тем крошечным кусочком земного пространства, на котором он единственно мог ощущать себя реально существующей личностью. Вокруг происходили осложнявшие жизнь малопонятные ему изменения, и только в сумрачных и пыльных комнатах, среди старых пожелтевших книг и старой тяжелой мебели, за разохшимися ставнями, которые каждый вечер закрывались железными засовами с болтами, Воздвиженский испытывал обманчивое состояние покоя и безопасности. Эвакуация же предполагала разорение и гибель этого насиженного гнезда, неизбежные невзгоды и лишения в неизвестных чужих местах, где, чего он боялся больше всего, что-то неизбежно случится с Леночкой, которую неминуемо подхватят и унесут в этом хаосе злые, неподвластные ему силы. Так не лучше ли вынести надвигающиеся испытания в родных стенах, чем отдаваться на произвол стихии? В конце концов, он пережил за свою жизнь немало властей... Конечно, фашисты – статья особая. Однако, несмотря на несомненное отвращение к нынешнему режиму в Германии, Воздвиженский не мог поверить до конца в совершаемые им злодеяния, считая, что никакая пропаганда не может обойтись без крайностей и преувеличений. Что же ожидает его с дочерью? Одно из двух: либо авантюристическое наступление Гитлера все-таки захлебнется, тогда оккупация окажется непродолжительной, либо – теперь уже и такая мысль распространялась в неустойчивых умах – немцы победят, и при подобном трагическом исходе эвакуироваться и вовсе не имеет смысла...

Так, в мучительных сомнениях бежало необратимое время, немцы форсировали Днепр, в городе создавались отряды народного ополчения, на окраинах рыли противотанковые рвы, а Воздвиженский все не мог принять окончательного решения. И, как нередко бывает в подобных обстоятельствах, чашу весов склонила случайность, которой могло и не быть.

Однажды Воздвиженский встретил на улице давнего знакомого, известного в городе детского врача Гросмана.

– Вы еще здесь, Юлий Борисович? – спросил он удивленно.

– Но и вы тоже...

– Я... – Профессор хотел поделиться мучившими его сомнениями, однако доктор понял его иначе.

– Вы хотите сказать, что вы не еврей? Да, я, конечно, еврей, а мы привыкли к страданиям. Что поделаешь, избранному народу приходится платить всевышнему высокие проценты... А если говорить серьезно, дети болеют и в гетто.

– Говорят...

– Что евреев поголовно уничтожают? – Гросман подвинулся к Воздвиженскому и понизил голос: – В прежние времена мне приходилось бывать в Германии. Конечно, это было при кайзере. Но народ не меняется. Немцы способны на жесткие меры, однако они дисциплинированны и обожают порядок. Они могут нашить каждому еврею шестиконечную звезду, но зачем убивать столько полезных людей? Скажите, зачем? Разве это разумно? А что касается звезды, то что она добавит к моей внешности? – И он грустно улыбнулся.

Им довелось увидеться еще один раз, когда в городе на улицах уже было расклеено объявление немецкого командования и еврейского комитета, призывавшего еврейское население в целях безопасности явиться на сборные пункты для переселения. Среди подписей членов комитета была и подпись Гросмана.

В центре города сборный пункт находился в парке, сбор происходил днем, открыто, и Воздвиженский увидел Гросмана, стоявшего у входа в парк вместе с немецким офицером, которому надлежало руководить «переселением». Светило солнце, падали желтые листья, подъехавшие на грузовике солдаты, перекидываясь обычными фразами, занимали места вдоль ограды парка, жестами отправляя на противоположную сторону улицы случайных прохожих и любопытствующих.

– Юлий Борисович! – воскликнул тревожно Воздвиженский.

– А, это вы? – Гросман был озабочен. – Пришли посмотреть новый исход?

– Все-таки это ужасно.

– Что поделаешь, история повторяется... Нужно быть стойким, очень стойким и терпеливым...

Гросман не закончил, его позвал немецкий офицер. Торопливо пожав руку Воздвиженскому, он повернулся, а профессор пошел вдоль чугунной решетки мимо солдат с карабинами, но тут офицер окликнул его, приглашая вернуться, однако Гросман сказал что-то, видимо поясняя, что Воздвиженский не относится к числу лиц, подлежащих «переселению», и офицер махнул ему: иди, мол, не мешай! И Воздвиженский снова пошел и через несколько шагов пересек невидимую черту, которая отделяла в тот ясный день ранней осени жизнь от смерти.

Здесь, на черте, стояла еще одна группа военных в немецких мундирах, вооруженных немецкими винтовками, но чем-то от немцев отличающихся, может быть, тем, что держались они не так свободно и спокойно, как настоящие гитлеровцы. Случайно Воздвиженский встретился взглядом с одним из них, светловолосым угрюмым парнем. Парень смотрел с нескрываемой враждебностью, и профессору стало не по себе. Тревога вдруг ясно переросла в предчувствие непоправимого, трагического. Но только на другой день, узнав все, он наконец осознал, на краю какой бездны оказался, оставшись с дочерью в захваченном фашистами городе.

Всего этого не знал Лаврентьев, опоздавший на четверть часа с последним письмом Лены, с письмом, которое так и осталось у него на всю жизнь и сейчас лежало в дорожном портфеле. Письмо было написано на листке, вырванном из школьной тетради. Он помнил и тетрадь; на голубенькой обложке был изображен воин на коне в шлеме и со щитом и воспроизведены пушкинские строки:

Как ныне собирается вещей Олег
Отмстить неразумным хазарам...

Воздвиженский не прочитал письма. Он сидел в кресле, прикрыв глаза, строгий и спокойный, на его темно-красном домашнем халате почти невозможно было заметить маленькую, обожженную по краям дырочку, пробитую пулей, выпущенной из вплотную прижатого к груди пистолета, и немногие просочившиеся капли крови. На столе под мраморным пресс-папье с бронзовой львиной головой лежал другой листик. На нем четким, усвоенным еще в гимназии почерком было написано:

«Доченька светлая, иду к тебе».

Лаврентьев вышел в лоджию, чтобы вдохнуть воздуха.

Рядом, за легкой перегородкой, уже никого не было. Актеры ушли в комнату. Оттуда слышались смех и громкие, перебивающие друг друга голоса, не накаленные, как днем, а веселые, оживленные. Разговор шел не о картине, а о чем-то анекдотическом из незнакомой Лаврентьеву жизни кинематографистов.

– Мне ее нужно было снять через витрину, – рассказывал режиссер, видимо, комичный, с точки зрения профессионалов, случай. – Витрина из толстого стекла, и, понятно, ни фи́га не слышно. Я вышел, поставил ее на солнцепеке. Говорю: «Стой, милая, пока не снимем. Я тебе махну тогда». Вернулся в магазин, а тут, как водится, сначала камеру заело, потом пленка кончилась. Ну, я думаю, она поняла и ушла давно... Поверьте, час, наверно, прошел, не меньше! Выхожу на улицу – она стоит. Спрашиваю: «Ты что стоишь?» А она мне: «Вы же не махнули...» Не представляю, как она в обморок не свалилась! Градусов сорок на солнце было, – под общий хохот закончил режиссер.

– Железная актриса, – подтвердил Генрих. – С такой работать можно. Это вам не...

И разговор перекинулся на другую, иного характера актрису, которая, улетая со съемки, учинила скандал из-за пустяковой задержки с авиарейсом.

– Да, уж эта своего не упустит!

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– А играет беззащитненьких таких...

– Вы ее последнего мужа видели?

– Боксера?

– Ну да. Вот такая грудная клетка панцирного типа и вот такой кулак, с детскую голову. Убийца, а не человек.

– Вы не поверите, у нее персональный ясновидец! В Бирюлеве живет. У него избранная клиентура. Богатый человек. Говорят, огромные деньги на литературу тратит по астрологии. Все новейшие западные издания.

– Недавно у них международный конгресс был.

– И наш ездил?

– Наш не ездил.

– Зря. Бирюлевские «астрологи» – лучшие в мире!

В номере хохотали.

Потом из комнаты вышел режиссер и швырнул вниз окурок. Красный огонек пересек темноту. Режиссер следил за ним взглядом. Подняв голову, он заметил Лаврентьева.

– А... сосед. Мешает спать?

– Самому не спится.

– Хотите димедрол?

– Спасибо. Избегаю снотворных.

– Завидую. А я раб таблеток. Что поделаешь – сумасшедшая работа. Сплошные нервы. Впрочем, сегодня мы разрядились немножко. Зарплату получили вечером. Теперь сидим, перебиваем косточки ближних. Заходите к нам, если не спится.

– Спасибо. Попробую заснуть.

– Организованный вы человек! Что значит научная работа! А я бы никогда не смог заниматься наукой. Вы филолог?

– Да, приблизительно.

– Фило... логос... Это значит любитель слов? Вы видите в словах то, чего не замечают другие... Какие-то тайны, наверно. Или нелепости? Например, что значит «пивной бар»? Почему такой уродливый симбиоз из чисто русского и заграничного слов? Нужно говорить: «Пивной зал»!

– «Зал» тоже нерусское слово.

– Вот вы меня и срезали, – засмеялся режиссер; он был в хорошем настроении. – Помните старый анекдот, как во времена космополитизма предложили переименовать «коктейль-холл» в «ерш-избу»? Нет, напрасно вы не хотите к нам. Мы тут в одном завявшем магазинчике открыли очень приличное венгерское сухое... Есть вкусная вяленая рыба, которую аборигены называют «чебак»... Заходите, право. Вы же наш консультант.

– На общественных началах.

– Кстати, сегодня у нас появился еще один консультант. И тоже общественник. Это очень смешно. Я думаю, только филолог может оценить такое звуко сочетание – гестаповец Огородников! Каково? Это очень смешно, – повторил режиссер.

Наконец-то он выпил достаточно, чтобы хмель привел его в то умиротворенное состояние, когда тревоги и заботы отступают и все вокруг обретает симпатичные и забавные качества.

Но Лаврентьев не был склонен смеяться при слове «гестаповец», даже если оно сочеталось с такой фамилией, как Огородников.

– Я не совсем понял.

– Я тоже. Вначале. Но он объяснил мне. Говорит, что жертва несправедливости. Помогал подпольщикам, а потом его репрессировали.

– Помогал здесь, в городе?

– Вот именно. Был какой-то мелкой сошкой в гестапо. Я забыл кем.

– Русский?

– Наполовину.

Нет, фамилия Огородников ничего не говорила Лаврентьеву. Наверно, тот и в самом деле был мелкой сошкой на фоне таких мерзавцев, как Клаус или Сосновский, и выпал из памяти с годами. Но помогал подпольщикам? Скорее всего вранье... Хотя жизнь многолика. Мог и предупредить кого-то из приятелей о чем-то, мог вызволить одного-двух земляков с биржи труда. И, наверно, гордился этим и боялся немцев, в том числе и его, Лаврентьева, боялся... Конечно, теперь он не узнает его, не узнает просто потому, что ему и в голову не придет связывать в памяти приезжего пожилого научного работника с молодым немцем, свысока относящимся к местным фольксдойчам. Да и Лаврентьев может не узнать бывшего «сослуживца». Люди в гестапо часто менялись...

Но Лаврентьев сомневался напрасно. Человека, представившегося Огородниковым, он узнал бы в толпе из тысячи людей. Он знал его хорошо, но знал под другой немецкой фамилией – Шуман, которая так музыкально звучит для русского уха, а в переводе означает просто «сапожник». И Шуман этот имел прямое и злое отношение к гибели Лены с того самого дня, когда вовлек в число палачей Жорку Тюрина, угрюмого, светлоглазого парня, который стоял с карабином у ограды парка и напугал Воздвиженского злобным враждебным взглядом.

Как правильно предположил профессор, Тюрин и стоявшие вокруг него вооруженные люди не были немцами, однако по своему положению они значительно отличались от обряженных в шуцмановские обноски неопрятных, в основном немолодых и глуповатых с виду полицаев. Это были солдаты особой команды, входившей в систему крайне важной для поддержания «нового порядка» организации СД и действовавшей под непосредственным руководством полевого гестапо; а действия эти, если говорить коротко и точно, сводились к тому, чтобы солдаты зондеркоманды, одетые в немецкую форму, вооруженные немецким оружием, состоящие на немецком довольствии и руководимые немецкими офицерами, убивали как можно больше людей. И особенно страшным и на первый взгляд необъяснимым было то, что большинству этих убийц совсем недавно и в голову прийти не могло, что им предстоит стать палачами. И, может быть, именно потому, что собственная низость открылась им так неожиданно, они, покатавшись по наклонной плоскости, пропитались злобой и ненавистью не к отдельным советским активистам или противникам гитлеровского режима, а к большинству людей, к каждому, кто избежал падения, кто не был опутан круговой порукой кровавых злодейств, и стали для окружающих гораздо опаснее, чем любой служивший за паек и шнапс вороватый полицаи.

Правда, сам Тюрин в день, когда его увидел Воздвиженский, еще не достиг дна, он еще ждал последнего часа, но час уже был неумолимо близок, хотя, сидя в большом, крытом брезентом грузовике, который трясся по проселку в хвосте колонны с собранными в парке людьми, Тюрин и надеялся еще, что самое страшное его минует, что ему не доверят, а выставят в оцеплении...

...За четыре года до войны школа, в которой учился Жорка Тюрин, как и вся страна, отмечала пушкинский юбилей. К знаменательной дате в школе был объявлен конкурс на лучший рисунок на пушкинскую тему. Тюрин принял участие в конкурсе и провалился. Провалился со скандалом. Для рисунка Тюрин взял тему «Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок». Получилось не бог весть что; Тюрин всю жизнь прожил в городе и о деревне, особенно пушкинских времен, имел представление слабое. Рисунок наряду с другими вывесили в актовом зале для

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
оценки и обсуждения. Обсуждали школьных живописцев шумно, но снисходительно, пока слово не взял заядлый спорщик Яшка Финкельштейн. Он сразу схватил быка за рога.

– Товарищи! Тут критиковали рисунок Тюрин. Но как? С каких позиций? Эстетских! Называли художественные недостатки. Деревья, мол, такого цвета не бывают, у собаки хвост не в ту сторону торчит. Смешно! Никто не заметил, что Тюрин изобразил идеализированную деревню. Деревню внеклассовую, хотя речь идет о мрачной эпохе крепостного права...

Ну и так далее...

Конечно, Яшка был демагог и загибщик, и это ему деликатно разъяснил учитель рисования Борис Иванович, председатель жюри, который сказал, что Тюрин шел от пушкинских отношения к деревне, и процитировал прекрасные строки из «Евгения Онегина».

Но Яшка не унимался, кричал:

– А кто писал: «Оковы тяжкие падут»? А оков-то мы и не видим!

Однако в целом схватку он проиграл и, раздосадованный поражением, прибежал после обсуждения к запрещенному приему.

Тюрин уже выходил из зала, когда услышал язвительный голос паясничавшего у стены с рисунками Яшки:

– Почтенная публика! Перед вами неповторимый пейзаж кисти великого Тюрин. Фамилия, как известно, происходит от слова «тюря»...

Тут он попал и без того уже накаленному Жорке в больное место. Фамилия с детства донимала Тюрин, хотя Яшка опять говорил глупости, ибо, если вдуматься, какая разница между фамилиями Тюрин и, например, Репин? Но Жорка был болезненно самолюбив, да и время было такое, когда имя Электрификация считалось благозвучнее и достойнее, чем Мария или даже прославленная поэтом Татьяна. Многие меняли фамилии, находя их унижительными, отрывкой и наследием проклятого прошлого, когда любой помещик мог ошельмовать неугодного крепостного на поколения вперед зловным прозвищем. И наконец, школьная традиция, по которой будь ты хоть самым щуплым в классе, но если фамилия твоя Громов, всегда будешь Гром, а уж если Тюрин, то не обижайся лучше. Однако Тюрин обижался, и на этот раз обидчик перебрал.

Ярость охватила Жорку. Потом он вспоминал только худую Яшкину шею, которую хотел перервать, но ребята схватили его вовремя, и Яшка отделался только разбитыми очками.

Тюрин разбирали на педсовете, мать ходила плакала и смягчила директора, но неумолимым оказался сам Тюрин и в школу не вернулся.

Через некоторое время плотник-сосед, сколачивавший рекламные щиты в кинотеатре «Гигант», пристроил парня к делу – расчертив щиты на квадраты, Тюрин стал перерисовывать на них с фотокадров то Чапаева, склонившегося к пулемету, то семерых смелых, и получалось вполне прилично, даже Любовь Орлова в капитанской фуражке издали была похожа.

Новое занятие вызвало у Тюрин определенное самоуважение, создавая видимость причастности к двум искусствам сразу – живописи и кино. О школе он не сожалел, укрепившись в выдуманной легенде, что не сам ушел, а был исключен по политическим мотивам за классово вредный рисунок.

Легендой этой Тюрин однажды «под мухой» поделился с новым киномехаником Петькой Огородниковым. Петька был лет на десять старше Тюрин, носил кожаную куртку, подметал мостовые брюками клеш и всеобщее был франтом и любителем красивой жизни.

– Чувствуешь? – толкал он Жорку в тесной кинобудке, когда по экрану томно проходила заграничная красавица в полупрозрачном пеньюаре. – Вот это жизнь!

Однако четче политические симпатии Огородникова не проявлялись, и, услышав

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
тюринскую легенду, он сказал с опаской:

– Ты, Жорка, того... не распространяйся особенно. Времена не те, чувствуешь?
Но, как показало будущее, разговор этот запомнил.

Двадцать третьего июня сорок первого года Георгий Тюрин вместе со многими тысячами молодых и среднего возраста мужчин был призван в ряды РККА, чтобы отразить фашистское вторжение, но на фронт не попал, а был оставлен при политотделе гарнизона в специальной агитбригаде. Днем и ночью писал лозунги, которых так много появилось в это насыщенное событиями время, от сурово-сдержанных «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» до рифмованно-эмоциональных вроде:

Чудовище ада – Гитлер!
Война по его вине.
Отрубим кровавой гидре
Все головы на войне!

Но, выводя с усердием на полотнище красками эти призывные слова, Жорка Тюрин не ведал и не гадал, что взамен отрубленных голов в числе новых, ежечасно выставляемых у гидры, появится и будет, в свою очередь, срублена его собственная голова.

В конце лета, днем, прямо за работой Тюрина свалил приступ аппендицита, и его увезли в один из многих, занявших уже все городские школы военных госпиталей, где быстро прооперировали и положили на краткосрочную поправку в коридоре, потому что в классах места были заняты тяжелоранеными фронтовиками. Лежал он у окна и именно в это окно увидел первых немцев, мчавшихся по бульжной мостовой в мотоциклах с колясками.

Будучи ходячим больным, Тюрин мог еще сбежать из госпиталя, но растерялся, промедлил, а когда решился, было уже поздно – немцы выставили у школы охрану и вскоре произвели простую сортировку раненых. Всех, кто мог ходить, собрали в одной стороне двора, на спортплощадке, а лежачих сложили у дальней ограды рядами. Делали они это быстро, сноровисто, привычно. Потом трое солдат пробежали вдоль рядов, опустив стволы захлебывающихся огнем автоматов, а следом прошел офицер с пистолетом и еще два-три раза выстрелил, подправляя недоработки подчиненных.

Меньше всего объятый ужасом Тюрин мог в тот момент представить себя на месте этих солдат, деловито освобождавших необходимое им жизненное пространство от бесполезного человеческого материала!

Оставленных в живых заперли на окраине города, в бывшей исправительной колонии, и держали там несколько дней без еды и почти без воды, а потом появились несколько чинов с непонятными еще Тюрину знаками различия и стали с каждым разбираться индивидуально. Когда очередь дошла до Тюрина, его ожидал сюрприз: в комнате, куда вызывали пленных, рядом с немцем офицером сидел не кто иной, как его дружок Петька Огородников, оказавшийся, к совершенному удивлению Тюрина, не Петькой, а Петером Шуманом.

Огородников-Шуман сказал что-то офицеру, и тот кивнул благожелательно, смерив Тюрина оценивающим взглядом, после чего Петер-Петька произнес нечто вроде короткой речи, обращенной к Тюрину:

– Дело, Жорка, конечно, твое... Можешь и в лагере гнить сколько душе угодно. Германия дважды не предлагает, но шанс тебе дает. Помнишь, как нас учили, – кто не с нами, тот против нас? Вот и выбирай – с кем ты? Тот, кто сегодня станет в общий строй с великой Германией, будет завтра вместе с немецким народом возводить новый порядок. А тех, кто будет препятствовать... Короче, если враг не сдается, его уничтожают. Решай, Тюрин!

И он протянул недавнему приятелю для самообразования брошюру «Зверства НКВД».

Так это началось. Тюрин отступал шаг за шагом, согласившись сначала охранять склад с брошенной красноармейской амуницией, потом дал расплывчатое обязательство «служить во вспомогательных войсках» и стал заниматься строевой

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru подготовкой и изучением немецкого легкого оружия, затем ему выдали форму и послали в облаву на толкучий рынок, и наконец веревочка дотянулась туда, куда вела с самого начала. Он уже знал куда, когда их построили утром, выдали по шестьдесят патронов, уложенных в спаренные подсумки, и новели к парку. Потом подошли машины, и начали грузиться.

Солдат, участвующих в операции в Злодейской балке, разбили на три группы: одну поставили цепочкой поодаль, в оцеплении, другая конвоировала, то есть толкала, била и тащила обреченных людей от машин до рва, а третья, куда так не хотел, но все-таки попал Тюрин, выстроилась вдоль ямы и приготовила оружие к стрельбе. Сжимая карабин вспотевшими руками, Тюрин часто глотал слюну, думал: «Нужно будет в воздух, в воздух стрелять... не заметят в суматохе...»

И тут раздалась команда. Он вскинул карабин, гроыхнули первые выстрелы; приклад, неплотно прижатый к плечу трясущимися руками, сильно толкнул Тюрина назад, и первая пуля действительно пошла выше голов обреченных. Но стоявший рядом офицер заметил и рывкнул над ухом:

– Куда стреляйт?! Сам яма хотеть?!

И тогда, в страхе передернув затвор, он вдавил приклад в плечо и выпустил вторую пулю прямо перед собой. Потом снова передернул затвор и продолжал стрелять, заменяя обоймы, пока последний из убиваемых людей не вытянулся во рву, наполненном трупами....

После операции все чувствовали себя по-разному, но в основном скверно. И только выпив стакан водки, Тюрин понемногу пришел в себя, стал поспокойнее, и постепенно вместо страха и отвращения появилось новое чувство довольства собой. Он все-таки выдержал, не струсил, переступил грань, отделяющую сверхчеловека от слюнявой падали, и отныне пойдет путем избранных, не связанных предрассудками...

– Слышь, Жорка, – спросил у него на другой день один из новых приятелей по команде, – ты на складе-то был?

– Зачем?

– Да барахло распределяют.

Он не понял.

– Ну, с этих... Не пропадать же добру. Всё, паразиты, за счет нашего брата нажили. Мы батрачили, а они костюмчики коверкотовые шили. Я взял один. Загнать можно.

– Мне не нужно.

– Ну и дурак!

Но пришло время, и Тюрин, как и все, стал получать свою долю награбленного и сбывать на барахолке, где и познакомился с Мишкой Моргуновым, входившим в боевую группу Константина Пряхина. И знакомство это в конечном итоге определило судьбу Лены, а потом и судьбу самого Тюрина, когда жизнь, а точнее смерть, свела втроем Мишку, Тюрина и Лаврентьева в подвале дома Воздвиженских.

Но о том, что произошло в подвале, Лаврентьев, разговаривая в лоджии с режиссером, не думал; фамилия Огородников не могла натолкнуть его на мысли о Тюрине и Моргунове, он думал о Воздвиженском, о том, что увидел и испытал до того, как спустился в подвал, где тем временем разгорались стружки и ветошь и расползался по полу дымный неторопливый огонь, который вскоре, взметнувшись буйным пламенем, охватил весь дом... Однако известие о появлении живого гестаповца подействовало на Лаврентьева. Пожалуй, для одного дня нелегких воспоминаний оказалось с избытком. И, поблагодарив Сергея Константиновича за приглашение присоединиться к кинокомпании, он вернулся к себе с твердым намерением поскорее заснуть.

Режиссер же спать не собирался. Казалось, что искусственно приподнятое настроение никогда не уйдет, и ему хотелось поделиться им с возможно большим

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
числом приятных людей.

– А ведь мы порядочные хамы, друзья, – сказал он, войдя в комнату. – Мы совсем забыли об авторе.

– Как про батарею Тушина, – подтвердил Генрих, вспомнив «Войну и мир», где он работал на съемках, еще учась во ВГИКе.

– Виноваты – исправимся. Позвоните ему, Светлана, – предложил художник Федор.

– Нет, нет, я сам, – возразил режиссер. – Авторов нужно любить и оказывать им уважение. Они обычно страдают комплексом неполноценности.

И он уселся у телефона и набрал номер Саши. Телефон оказался занят. Сергей Константинович вторично набрал номер и опять услышал короткие гудки. Однако это не смутило его. С настойчивостью он снова и снова вращал диск, пока не добился своего. Саша поднял трубку.

– Наконец-то, – сказал режиссер ворчливо. – С кем это вы разболтались, Саша? По-моему, я звонил вам целый час. Почему вы не с нами?

– Я говорил с Моргуновым.

– С Моргуновым? А почему не с Вициным?

Автор понял юмор и вежливо посмеялся.

– Что еще за Моргунов? Зачем он, если мы получили зарплату, можно сказать, вырвали ее из лап этого Горпагона Базилевича... Скажите, Саша, зачем нам Моргунов?

– Моргунов – это тот самый единственный живой участник...

– Помню, помню.

Но автор понял, что он не помнит.

– Он сейчас директор завода.

– Капитан индустрии? Отлично. «Горят мартеновские печи, и день и ночь горят они...» Теперь я вспомнил, Саша. Он был мальчишкой и, кажется, промышлял на толкучем рынке?

– По заданию Константина Пряхина.

– Саша, меня одолели участники событий. По-моему, их полгорода да еще приезжие. Сегодня прибыл штандартенфюрер Огородников собственной персоной. В черном мундире, с золотым рыцарским крестом с дубовыми листьями, которые ему вручил лично Адольф Гитлер...

– Кто-кто?

– Я шучу, Саша.

– Но вам нужно обязательно повидаться с Моргуновым.

– Слушаюсь, мой автор. Яволь. Только не сейчас. Сейчас я не в форме. Мы все немножко не в форме, но для полного счастья нам не хватает вас. А у нас хорошо. К нам прилетела юная, – он посмотрел на молодую актрису, – очаровательная и, я надеюсь, талантливая девушка. Она любезно согласилась украсить нашу, нет, вашу картину, Саша. Так почему же вы не с нами? Мы ждем.

– Вы хотите, чтобы я приехал?

– Конечно. С шампанским и цветами. Немедленно. Скорее, скорее к нам, в страну дураков.

И он повесил трубку, не сомневаясь в том, что убедил автора.

Так оно и было. Особенно взволновало Сашу сообщение об актрисе. Вообще все знакомые, узнав, что Саша написал сценарий, по которому будет снят фильм, повышенный интерес проявляли именно к актрисам. «Ну, Саша, – говорили ему, – вы теперь с актрисами познакомитесь». На что автор скромно отвечал, что в сценарии большинство ролей мужских. Однако были и женские, и Саша радостно предвкушал, как познакомится с настоящей киноактрисой, будет запросто с ней разговаривать и даже давать советы, как нужно сыграть свою роль.

И вот это почти невероятное, долгожданное событие наступило. Забыв о Моргунове, Саша извлек из спрятанной в шкафу сумочки жены немногие оставшиеся на прожитие рубли и помчался в гостиницу, успев купить за пять минут до закрытия бутылку шампанского в вечернем гастрономе и привявшие гвоздички у предприимчивой старухи, торгующей на бойком перекрестке, несмотря на поздний час.

С этими праздничными предметами он и появился на пороге режиссерского номера, встреченный шумно и радостно. От спешки Саша тяжело дышал и был настолько взволнован, что в первую минуту даже не узнал знаменитого актера, зато сразу усталился на красивую девушку, которая одна из всех присутствующих и соответствовала массовому представлению о киноактрисах. Правда, Саше хотелось бы видеть в «своей» картине актрису известную, само имя которой поднимало бы его престиж в глазах знакомых. Но Лена погибла очень молодой, а «известные» потратили немало лет на завоевание своей популярности и юных героинь уже не играли. С этим приходилось считаться и утешаться надеждой, что и неизвестная пока девушка станет известной, сыграв написанную Сашей роль. И, успокоенный этой мыслью, автор подошел к молодой актрисе и протянул свой, при ярком освещении оказавшийся весьма невзрачным букет. Но невзрачности его никто, разумеется, не заметил, а старание было оценено. Все захлопали и зашумели.

– Наш автор – настоящий джентльмен, – сказал режиссер.

Светлана взяла из рук смутившейся немного девушки цветы и поставила в пустовавшую вазу на подоконнике.

– А теперь, Саша, обратите внимание и на другого нашего гостя, – попросил Сергей Константинович.

Автор понял свою оплошность, покраснел багрово и хотел было извиняться перед известным актером, но тот взглянул на него просто и понимающе, и все необидно рассмеялись, а актер протянул большую мягкую руку и поздоровался с Сашей.

– Генрих, шампанское! – распорядился режиссер.

Считавшийся признанным специалистом, Генрих крепко зажал рукой пробку, извлек ее без малейшего звука и поставил бутылку на стол, не пролив ни капли, только легкое облачко появилось над обтянутым серебряной фольгой горлышком.

– Bravo! – хлопнул в ладоши Федор. – Какой официант в тебе пропадает, старик!

Шампанское немедленно разлили в разнообразную посуду. Автору достался гостиничный стакан, у актрисы оказался такой же, и они чокнулись, причем осмелевший Саша даже пробормотал что-то вроде:

– Я рад, что вы... участвуете...

Тут же содвинулись и другие стаканы и баночки от сметаны, и автор вступил в общее веселье, в то время как Моргунов, с которым он действительно долго разговаривал по телефону накануне звонка из гостиницы, совсем в другом настроении ходил в пижаме по кабинету и на вопрос жены: «Что, Миша, не ложишься?..» – отвечал неправду:

– На исполкоме нас завтра слушают. Подготовиться нужно.

Впрочем, на исполкоме его в самом деле собирались слушать, но не это волновало Моргунова.

Михаил Васильевич Моргунов уже не первый год работал директором завода, хотя к капитанам индустрии его отнести было никак не возможно. Заводик был старенький,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
возникший еще до революции, без учета градостроительной перспективы, он теперь бельмом сидел на глазах архитекторов, занятых активной реконструкцией центральной части города. Однако снести завод было непросто – выпускал он нужные городскому хозяйству метизы, с планом справлялся успешно, получал переходящие знамена и в силу приносимой пользы продолжал дымить понемножку, умеренно отравляя ближайшую окружающую среду.

Но если само предприятие и вызывало у ряда лиц сомнения и нарекания, то руководитель его практически недругов не имел и пользовался как в высших сферах, так и среди подчиненных авторитетом и уважением, чему немало способствовало и то, что в годы войны Михаил Васильевич был подпольщиком, человеком, сопричастным к героической борьбе, и его прошлое ценилось – он состоял в различных обществах и секциях и, хоть и не очень часто, в силу служебной занятости, выступал с воспоминаниями перед молодежью.

Конечно, почет и уважение пришли не сразу. Ведь когда кончилась война, Михаил Моргунов был совсем еще молодым парнем. После освобождения города он ушел в действующую армию и успел немного повоевать на фронте, а демобилизовавшись, поступил в институт, однако военными заслугами среди студентов не выделялся, потому что в те годы людей отличившихся и заслуженных было очень много. Да и к истории местного подполья отношение было осторожное и недоверчивое, правда ждала своего часа, как ждали восстановления и обожженные стены взорванного театра.

О событии этом в свое время лаконично сообщило Совинформбюро: «Горит земля под ногами захватчиков. В оккупированном врагом Н-ске патриоты взорвали здание театра. Взрывом уничтожены сотни фашистов». Никаких имен при этом названо не было, и некоторые из недоверчивых вопреки прямому смыслу сообщения даже поговаривали, что взрыв произошел случайно. Потом пошли еще более нелепые слухи о какой-то самодеятельной группе чуть ли не анархистского толка, ставившей сомнительные политические цели. Наконец слухи обросли домыслами о предателях и провокаторах...

Однако время взяло свое, стали доступными недавно еще секретные документы, и вот однажды в большой центральной газете появился очерк, решительно рассеявший сомнения скептиков и перестраховщиков, – взрыв театра, заминированного заранее, еще до отступления наших войск, осуществил Андрей Шумов, советский офицер-чекист, специально присланный в город и героически погибший при выполнении задания. Газета напечатала и фотографию Шумова в гимнастерке с двумя шпалами в петлицах. Сообщалось также, что Шумов был местным уроженцем, участником красного подполья в годы гражданской войны и действовал против фашистов совместно с боевой группой, руководимой советским летчиком, бежавшим из лагеря военнопленных. Члены этой группы провели ряд смелых операций, в том числе казнили бургомистра, бывшего белогвардейца и гитлеровского прислужника. К сожалению, группа была раскрыта и уничтожена гестапо, но память о героях, писал автор очерка, должна жить и быть достойно увековечена земляками...

Статья произвела в городе, где не было человека, не слыхавшего о взрыве, большое впечатление. Возник вопрос, почему же замалчивался подвиг подпольщиков? И выяснилось, что сомнения породило анонимное письмо, в котором утверждалось, что летчик Константин Пряхин якобы дезертировал из Красной Армии и сделал это с помощью отца, Максима Пряхина, исключенного за антипартийную деятельность из рядов ВКП(б). А так как Шумов жил одно время на квартире у Пряхиных, то какая-то тень, по мнению чересчур осторожных людей, падала и на него, и лишь вмешательство советских органов помогло поставить все на свои места и сорвало наконец завесу, долго скрывавшую правду о деятельности подполья.

В статье были лишь две неточности: Константин Пряхин никогда не находился в немецком плену, и не все члены подпольной группы погибли, как полагал автор. Один из них, Михаил Моргунов, был жив, жил и работал в городе, но прошлые заслуги афишировать не был склонен. «Открытие» Моргунова тоже стало своего рода сенсацией, на этот раз на страницах местных газет.

Нужно сказать, Михаил Васильевич, оказавшись в центре внимания, поначалу к новому своему положению отнесся крайне сдержанно – роль свою в подполье сравнительно с другими, не говоря уже о Шумове, Моргунов оценивал весьма скромно и не видел особых оснований красоваться на пионерских торжественных сборах с галстуком, повязанным под аллодисменты робкими мальчишескими руками. Была и другая причина, но этим он не делился ни с кем...

Обстоятельства, однако, оказались сильнее. К очередной военной годовщине Моргунов был награжден орденом. Награда была не самая высокая и получена вполне заслуженно. А вскоре произошло и выдвижение на должность директора. Отказываться от официально признанных заслуг стало неудобным, и Михаил Васильевич отступил постепенно, не возражал больше против участия в почетных мероприятиях и согласился время от времени выступать и встречаться. Стал он фактически и консультантом автора сценария, с одним, правда, непременным условием – чтобы о самом Моргунове в сценарии не было ни слова. Автор Саша счел условие проявлением исключительной щепетильности и выполнять вначале не собирался, но режиссер, подумав, сказал, что принять условие нужно.

– А что нам, собственно, даст этот подросток? – спросил он, мысля строго профессионально. – У нас в центре – шумов, Константин, девочка-героиня... Я хочу выделить людей необычных. Нет, на проходных персонажей распыляться не будем!

Таким образом, места в сценарии Моргунову не нашлось, и автор чувствовал перед ним значительную неловкость, не веря, что Михаил Васильевич действительно доволен «самоустраниением». Стесняясь, он начал даже избегать его, но после приезда в город киногруппы это стало невозможно, и в тот вечер, когда режиссер с коллегами позволили себе немного «расслабиться», автор позвонил Моргунову:

– Здравствуйте, Михаил Васильевич!..

– Приветствую, Саша, – узнал его голос Моргунов. – Давненько тебя не слышал.

Автору стало стыдно.

– Знаете, что такое кино? Кошмар! Пока всё согласуют и утвердят... – начал он, повторяя жалобы режиссера, и Моргунов, знакомый с муками согласований и утверждений, хотя и в иной сфере, принял его версию.

– Представляю, – сказал он. – Но, кажется, утряслось? Я читал в «Вечерке», целая команда в город прибыла.

И снова Саша устыдился.

– Приехали, Михаил Васильевич. Устраиваются еще. У них одной техники целый состав. Лихатваген, камерваген, суперкран, – щегольнул он недавно освоенными словами. – Но мне хотелось бы обязательно познакомить вас с Сергеем Константиновичем.

– А нужно ли? – спросил Моргунов.

– Ну как же! Как же! Вы непосредственный участник...

– Мы уже говорили о моем участии, – прервал Михаил Васильевич. – Ты договор-то наш выполнил?

– Я выполнил наш договор, Михаил Васильевич, – подтвердил Саша, ожидая разочарования Моргунова. – Но условие ваше считаю все-таки странным. Ваша скромность...

– Не в скромности дело, – снова перебил Моргунов недовольным, как показалось Саше, тоном. – Дело не в скромности, а в правде жизни. Правду нужно показывать. Настоящих героев. Сейчас, знаешь, и так много пришей-пристебаев появилось. Чем война дальше, тем участников больше... Как грибы растут.

– Все-таки я считаю, что режиссеру необходимо повидаться с вами.

– Это можно, – согласился Моргунов. – Хотя, что знал, я тебе рассказал... – Он сделал паузу, потому что хотел подчеркнуть «все рассказал», но вместо этого твердого добавил неопределенно: – Что еще расскажешь?..

Такой разговор происходил между Сашей и Моргуновым в то время, как режиссер из своего номера настойчиво звонил Саше и наконец дозвонился, после чего Саша помчался в гостиницу, чтобы познакомиться с настоящей киноактрисой, и по пути утешил себя мыслью, что точки зрения Моргунова и режиссера на задачи картины, в

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
сущности, очень близки и, в конце концов, это его, то есть Моргунова, личное дело, как оценивать свою роль и участие в давно минувших событиях...

А Моргунов тем временем, думая о своем, отвечал забеспокоившейся жене:

– На исполкоме нас завтра слушают...

Но к исполкому готовиться не собирался, потому что знал, что там все пройдет нормально, а, присев к письменному столу, открыл нижний ящик и достал небольшую пачку листков, соединенных канцелярской скрепкой. Это был текст его выступления о героях подполья.

Конечно, выступая, Михаил Васильевич практически никогда в этот текст-подсказку не заглядывал, однако такой уж существовал порядок – отпечатанный текст был своего рода утвержденным документом, хотя утверждавшие его люди знали о событиях, изложенных в тексте, гораздо меньше Моргунова, а то и совсем ничего не знали. Текст был лаконичен и не блистал стилем, но все-таки фиксировал главное и обязательное, признанное бесспорным, и Михаил Васильевич, раскрыв перед собой отпечатанные на машинке хорошо знакомые строчки, начал их внимательно перечитывать.

«...Дерзкая операция, которая привела к уничтожению палача-бургомистра, утверждавшего своей подписью списки отправляемых на казнь патриотов, повергла оккупантов в панику. Гестапо предприняло самые активные меры для ликвидации подполья...»

Все это соответствовало действительности. Только насчет паники было, пожалуй, сильно сказано. Немецкие власти, в сущности, недолюбливали бургомистра, человека по происхождению чуждого не только тому подонческому кругу, на который они опирались в городе, но и наряженным в хорошо подогнанные мундиры выходцам из полуплебса, что заправляли в гестапо и СД. Потеря, с их точки зрения, была невелика, и паники, конечно, не было, но и потерпеть такого оккупанты, разумеется, не могли, и меры были в самом деле приняты энергичные.

«...С помощью служившего в зондеркоманде карателя Тюрина фашистам удалось схватить Лену Воздвиженскую. Юная подпольщица героически перенесла нечеловеческие пытки и погибла в гестаповском застенке, не назвав врагу ни одного имени товарищей по оружию...»

Моргунов пропустил несколько абзацев.

«...Фашистскому наймиту не удалось избежать справедливого возмездия. Гестаповский выкормыш Тюрин был схвачен патриотами и казнен...»

Подробности возмездия вызвали обычно любопытство и интерес, особенно у подростков. Но именно в этом месте своих выступлений Моргунов держался текста почти дословно и на вопросы о том, как был казнен предатель, отвечал коротко:

– Война, ребята, вещь жестокая, и всего, что на ней происходило, в подробностях не расскажешь. Главное, что покарали мы этого человека заслуженно. И точка.

Труднее пришлось с автором сценария. Оставить заслуженную кару за кадром, Михаил Васильевич понимал, – решение не самое лучшее, зритель должен был воочию убедиться, как восторжествовала справедливость, однако все-таки сказал Саше:

– А не будет ли это, как говорится, натурализмом, а?

– Есть натурализм, а есть высшая правда искусства, которая натурализма не боится, – объяснил Саша Михаилу Васильевичу несколько туманно, потому что и сам плохо представлял себе, где эта высшая правда, а чего и в самом деле показывать не стоит.

Моргунов вздохнул. На самом деле его сдерживало вовсе не опасение, что Саша с режиссером слишком густо зальют экран той яркой жидкостью, что хранится в бутылочке у ассистента по реквизиту и имитирует кровь. Другое его сдерживало...

– Видишь ли, Саша... Как я понимаю, твой сценарий не на строго документальной основе строится?

- Конечно. Есть и обобщения.
- Другими словами, домысливаешь?
- Да, но...
- Понимаю. Не вранье это.
- В тех случаях, когда не хватает материала...
- Конечно, конечно. Но и материал материалу рознь.

Саша не понял.

- Как тебе объяснить?.. Должны мы молодежь искусством воспитывать?
- Конечно.
- Вот-вот. А искусство вещь обоюдоострая. Может и пользу принести, а может и наоборот. В смысле, повредить... Вон даже Образцов по телевизору рассказывал, как они строго репертуар подбирают. Чтобы детвору не перепугать зря.
- Но мы же не для детей картину делаем!
- Понятно. Но смотрят-то все... Да я, собственно, не о детях хотел, а обо всех, кто войны не видел, будь она проклята. Истинное мужество показывать надо, а как подонка убивают... зачем, Саша?
- Правда искусства...
- Вот за ней и иди, за этой правдой. Придумай сам, Саша, как могло быть. Чтобы правде искусство соответствовало, а не ужасу тому, что был...
- Но вы меня сориентируйте. Вы, наверно, больше знаете...
- Знаю, Саша. Потому, извини, и не хочу рассказывать. Мне этим заниматься пришлось.
- Вам?
- Мне. А так как у нас уговор, что меня в твоём произведении не будет, то и придется тебе, как говорится, нажать на фантазию. А точнее, на художественный домысел. Покажи, как свершился справедливый суд, а подробности не смакуй. Излишества тут ни к чему. Договорились?

И Саша согласился, отчасти потому, что не мог представить себе, как этот толстый, спокойный и добродушный с виду человек убивает другого, пусть самого отвратительного человека, да еще при обстоятельствах, о которых он и через тридцать лет не хочет вспоминать.

Но Моргунов не сказал, что он убил Тюрина. Он сказал: «Мне этим заниматься пришлось». Так оно и было. Он сделал все, чтобы лишить жизни Тюрина, однако оборвал эту жизнь не он... Но чтобы Саша смог понять все, что произошло тогда в подвале дома Воздвиженского, Моргунов должен был рассказать ему слишком многое, начиная со дня, который он и сам не помнил, потому что убежденно считал, что не было дня, в который он познакомился с Леной, он знал ее всегда и всегда любил...

Однако такой день был. Вскоре после того как их бросил отец и семье пришлось тужо, мать стала ходить к профессору помогать по хозяйству и однажды притащила с собой крепкого пятилетнего бутуза, которого не с кем было оставить дома.

- Можно, Роман Константинович, Мишка мой на кухне посидит? Он тихий.
- Зачем же на кухне? Пусть идет в гостиную. Поиграет с Леночкой.

И Мишка вошел в большую комнату с не виданными никогда вещами и замер. Больше

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
всего его поразила модель многомачтового парусника с блестящими бронзовыми якорями и сложными переплетениями такелажа. Он уставился на это чудо и долго не замечал сидевшую на ковре худенькую девочку с огромной книжкой на коленях, которая, как он узнал потом, называлась «Жизнь животных».

– Познакомься, пожалуйста, с мальчиком, Лена. Он сын тети Любы.

Девочка сняла с коленей книгу, поднялась и сказала:

– Здравствуй, мальчик. Как тебя зовут?

Мишка молчал, насупившись. Он не был нелюдимым, но не сразу ориентировался в новой, незнакомой обстановке.

– Миша его звать, Леночка, Миша, – сказала мать.

– Поиграйте вместе, дети.

И профессор положил им руки на головы и чуть-чуть подтолкнул друг к другу.

Мишка сделал шаг вперед и ткнул пальцем в открытую книгу:

– Что это?

– Это жираф. Он живет в Африке.

– А ты знаешь, да?

– Так написано в книге.

– А ты читать умеешь, да?

– Я умею только большие буквы. Книгу мне читает папа.

– А кто твой папа?

– Да вон же он! – Девочка указала пальцем на дверь, в которую вышли профессор и Мишкина мать.

– Какой же это папа?! Это дедушка.

– Нет, это мой папа.

– А наш папка сбежал, – сообщил Мишка.

– Разве папа может сбежать?

– Мамка так говорит. А твоя мамка где?

– Моя мама уехала.

– Куда уехала?

– На стройку. Она строитель. Она очень долго не возвращается.

– А ты ждешь?

– Конечно. Ведь у всех есть мамы.

– А отцы не у всех, – по-взрослому сказал Мишка, и дети помолчали, почувствовав в эту минуту впервые симпатию друг к другу, сблизившиеся общей бедой.

Потом она принесла кубики с большими нарисованными на них буквами и сложила из них слово.

– Видишь?

– Что это?

– Твое имя – Миша. – Она быстро перемешала кубики. – А ну-ка сложи сам!

Мишка не смог.

– Ну что ты! Это же легко. Смотри!

И снова сложила: МИША.

Он попытлся и собрал: М, Н, Ш и А. Она засмеялась:

– Перепутал, перепутал!

На громкий голос вошла мать, спросила беспокожно:

– Ты что натворил, Мишка?

– Мы буквы учим.

– Смотрите, Роман Константинович, – позвала мать. – Ваша Леночка моего читать учит.

– Вот и зря, – не одобрил профессор. – В детстве больше играть нужно. Но что поделаешь, Леночка комнатный ребенок. Вы, Люба, приводите своего мальчику почаще. Я буду рад, если они подружатся...

Этого дня и этих слов Моргунов не помнил. Ему казалось, что они дружили всегда до той минуты, когда он видел ее в последний раз, не понимая еще, что этот раз последний, и не зная, что ей осталось прожить на свете недолгие, полные ужаса дни, а ему – благополучные десятилетия.

Они дружили и считались друзьями, хотя все знали, что это не простая дружба, а настоящая и счастливая любовь. И хотя им никогда не пришлось сказать друг другу об этом, они тоже знали, что любят друг друга. Мишка – с того дня, как в школьном драмкружке решили поставить «Ромео и Джульетту»...

Затеял это новый руководитель кружка, седой, взлохмаченный человек, провинциальный актер, из тех, что всю жизнь свято верят в свое скромное призвание и дорожат дарованной судьбой «божьей искрой», так и не разгоревшейся в яркий пламень. Он тяготел к классике и вдохновенно рассказывал кружковцам о высокой поэзии Шекспира. Поставить печальную повесть о юных влюбленных решили единогласно и так же дружно согласились с предложением, чтобы Джульетту играла Лена. Лена была признанной школьной «премьершей» и мечтала о настоящей сцене.

– А Мишка Моргунов Ромео сыграет, – крикнул кто-то.

В общем-то это не было шуткой. Во-первых, Мишка был не из тех ребят, над которыми разрешалось безнаказанно подшучивать, а во-вторых, он и сам играл в драмкружке, вступил вслед за Леной и вполне сносно играл. Но от роли Ромео Мишка отказался наотрез. Отказался потому, что вдруг понял: ему придется выйти на сцену и рассказать всем, что такое в его жизни Лена. А это была уже не игра, не самодеятельность, а нечто иное, что он так осторожно берег в душе, в чем и себе-то не до конца признавался, а тут выйди и скажи всем...

Тогда у них произошла единственная в жизни размолвка.

– Не буду, – повторял он упрямо, не давая никаких объяснений, и Лена, увлеченная своей ролью, не могла понять, как это Мишка отказывается играть великого Шекспира.

– Просто трусишь, – наконец сказала она огорченно, не замечая его переживаний.

– я трус? – возмутился он, хотя Лена имела в виду совсем другое.

Но в Мишке проснулся инстинкт его окраинных сверстников, которые привыкли доказывать храбрость всегда одинаково – презрением к физической боли.

– я трус?

– Конечно.

И она не успела ничего понять, как алый фонтанчик взметнулся над Мишкиной рукой. Это он стремительно полоснул себя перочинным ножом и попал на вену.

– Сумасшедший!

Хорошо, что в те годы много занимались военной подготовкой, и даже хрупкая Лена умела быстро перехватить жгутом раненую руку.

А «Ромео и Джульетту» так и не поставили. Пока искали Ромео, директор школы и завуч посоветовались и решили, что идея неактуальна, коллективу нужнее современная боевая пьеса. Такая пьеса нашлась, и Мишка успешно сыграл в ней красного матроса, который кричал разоблаченному белогвардейцу: «Золотые погоны снял, а золотой портсигар оставил? Шукура!» Выходило очень убедительно, Мишке дружно хлопали, даже Лена хвалила, с оговоркой, правда:

– Ты только не таращ глаза, ладно?

Так до войны они и не успели сказать друг другу главных слов. Были еще очень молоды, и казалось, что впереди все и все они успеют; но пришла война, которая для одних сметает преграды, делает возможным и доступным то, что вчера еще представлялось немыслимым, а для других становится суровым стражем и судьей каждого поступка. Такими оказались и Мишка с Леной. С полудетским максимализмом они сопоставляли свое чувство с обрушившимися на страну испытаниями и стыдились своего счастья, откладывая признание на то время, когда счастье станет доступным каждому...

Конечно, Мишка мечтал о фронте, хотел убежать в армию, и Лена не смела его отговаривать. Решили только дожидаться шестнадцатилетия, и тогда-то, рослый Мишка был уверен, он выдаст себя за восемнадцатилетнего. В эти дни немцы и прорвали фронт.

Мишка прибежал к Воздвиженским. Бежал в страхе, что Лену уже не застанет. Но в большом доме было, как всегда, тихо. Вещи стояли по местам, и ничто не указывало на торопливые сборы в дорогу.

– Папа решил не эвакуироваться, – пояснила Лена отсутствующим голосом, по которому невозможно было определить, как она относится к этому решению.

– Как же так?

– Думаю, что уже поздно, – сказал профессор.

В наступившем молчании можно было ясно различить, что канонада доносится не с запада, а с северо-востока.

Эта ночь, между уходом наших войск и вступлением в город немцев, когда захмелевший Константин Пряхин крепко спал на отцовском диване, а отец его сидел за столом в тяжком раздумье, обхватив голову руками, когда не ведавший еще об уготованной ему участи палача Жорка Тюрин с беспокойством выглядывал в открытое госпитальное окно, прислушиваясь к тревожному движению на улицах, когда профессор Воздвиженский в сотый раз мерил свой кабинет шагами, не зная, что совершил непоправимую ошибку, эта ночь была прекрасной летней южной ночью. В саду Воздвиженских сладко пахли дождавшиеся прохлады цветы, ветерок с моря нес живительную свежесть, свет огромной полной луны проникал сквозь ветки деревьев, образуя на земле сказочные ажурные тени. Этой ночью Мишка и Лена сидели рядом на скамейке в саду, впервые в жизни вдвоем так поздно ночью, и говорили о самом важном – о том, как теперь жить...

– Ты еще мог бы уйти.

– А ты?

– Я не могу бросить папу. Он стал часто болеть...

Она не подозревала, что Воздвиженский остался в городе только ради нее.

- Я буду помогать вам.
- Ты же так рвался на фронт!
- Фронт теперь везде. Что мы, сидеть сложа руки будем?
- Нет, конечно. Пусть они не думают, что мы покоримся.
- Нужно создавать отряд.
- Главное, люди...
- Люди найдутся, – сказал он уверенно.
- А оружие?
- А немцы зачем?

Так просто было решено все, и решено непоколебимо, хотя и люди и оружие нашлись не сразу, а когда сошелся Мишка с Константином, который был кумиром уличных подростков и теперь подбирал надежных ребят из тех, что недавно восторженно рассматривали красные кубики на его голубых петлицах...

Но и, приняв решение, они не знали и не могли знать, что их ждет, и Лена, вдыхая ароматный воздух этой обманчиво безмятежной ночи, сказала:

- Как хорошо, Миша, правда?

С тех пор он не мог слышать запаха распускающихся ночью табаков и радовался, что теперь их не сажают вокруг новых больших домов...

И еще одна встреча в этом же саду терзала память Моргунова. Никаких цветов тогда уже не было, луна будто бежала, пробиваясь сквозь облака, которые на самом деле спешили, мчались сами, гонимые осенним ветром, и луна то проваливалась в них, то снова появлялась над обнажившимся садом, и тени деревьев казались не сказочными и ажурными, а напоминали старую выброшенную рыбацкую сеть, рваную, истлевающую на прибрежном песке...

- Я так рада тебя видеть.

Он осторожно положил руку на ее плечо, прикрытое стареньким школьным пальтишком.

- Как дома?
- Папа очень подавлен. Он догадывается... Я боюсь за него.
- Когда наши вернутся, он будет гордиться тобой.
- Миш?
- Что?
- Скажи, война кончится? – спросила она неожиданно.
- Еще бы!

У него было бодрое, уверенное настроение. После казни бургомистра ими восхищались, и Мишка чувствовал себя героем, неуловимым мстителем, хотя все самое опасное сделал Константин.

- И мы еще пойдем в школу?

Вот об этом он думал меньше всего. Школа осталась в каком-то невероятно далеком прошлом, плюсквамперфектум, как говорили на уроках немецкого языка. Ну зачем ему школа? Но он не хотел огорчать ее:

- Конечно. И будем танцевать на выпускном вечере.

– Танцевать?

Наверно, ее томили предчувствия.

– Польша-бабочка. Прошу! – Мишка протянул руки.

– Сумасшедший!

– Тогда вальс.

Она улыбнулась, и он был счастлив.

– Только тихонечко.

Они бесшумно закружились на каменной дорожке.

– Ой!

Ее каблук попал в щель между каменными плитами и сломался.

– Минуточку. Без паники. Делаем – раз...

Мишка попытался кулаком прибить каблук к подошве, но из этого ничего не вышло.

– Какая обида, – сказала она, – мы уже променяли на продукты все, что можно.

– Не огорчайся, я на толкучке одного типа знаю. У него такие туфельки достать можно...

– Ну что ты!

А его уже захватила идея. Он вдруг вспомнил, что никогда не делал ей подарков. Ведь они просто дружили... А это будет настоящий «взрослый» подарок. И он знал, где его раздобыть, потому что часто бывал на барахолке, выполняя поручения Константина. Но как мог обыкновенный шестнадцатилетний советский паренек Мишка Моргунов даже в то леденящее душу время, когда на глазах беспредельно расширились возможности зла, как мог этот честный, порядочный, нормальный вчерашний мальчишка представить себе, что другой, почти ровесник ему, парень, который ничем внешне не отличается от остальных людей, торгует вещами, с которых в самом буквальном смысле смывает человеческую кровь?

Но сколько бы ни приводил себе этот убедительный довод Мишка, а потом всю свою жизнь Михаил Васильевич Моргунов, логика его не могла ни успокоить, ни оправдать в собственных глазах, и потому никогда и никому не рассказывал он о том, что произошло после его легкомысленного решения подарить Лене туфли, и по этой же причине настоял он, чтобы автор Саша ни в коем случае не включал его в сценарий, ибо правду рассказать ему не мог, а ко лжи всегда относился с брезгливостью...

Споры, которые так лихорадили киногруппу из-за суперкрана и связанного с ним начала съемок, разрешились бескровно, без престижного ущерба для обеих сторон. В самый разгар дружеского общения, которое завершило нервный и жаркий день, в гостиницу пришла телеграмма с известием, что занятая на других съемках актриса, игравшая роль фашистской приспешницы-певички, может на два дня отлучиться из своей киногруппы и прилететь в город, причем возможность эта исключительная и ее необходимо обязательно реализовать.

– Это выход. Прекрасно! – объявил режиссер.

– Не прекрасно, но выход, – согласился Базилевич.

– Почему же – не прекрасно? – спросил режиссер, хотя отлично знал точку зрения директора, считавшего, что в городе достаточно снять фасад местного театра, а само выступление целесообразнее снимать в Москве.

– Я вам такой зальчик отыщу, что пальчики оближете, – говорил Базилевич.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Оставьте, пожалуйста, свою шашлычную терминологию, – отверг Сергей Константинович предложение директора. – Мне нужен не «зальчик», а зал, этот зал. И никакой другой.

– Но ведь этот зал не тот зал. Его восстанавливали, реставрировали, ремонтировали...

– Но взорван был этот зал.

– И гестаповцы сидели в креслах на поролоне?

– На чем они сидели, меня не интересует. Задницы я снимать не собираюсь.

Этот аргумент убедил Базилевича: административная группа заработала на полных оборотах, в результате чего возле оцепленного милицией театра появились специальные машины с техникой, подъехали автобусы с затянутыми в мундиры «эсэсовцами», собралась толпа зевак и спящих между ними мальчишек, и, наконец, прибыла «Волга» с режиссером, автором и актрисой, одетой в длинное платье с ватными плечами и глубоким декольте, которое актриса прикрывала легким газовым шарфом.

Сергей Константинович был мрачноват. Сказывалось волнение по поводу начала работы; он ждал неполадок и неувязок, почти всегда неизбежных в первый съемочный день, да и голова изрядно болела после затянувшейся «разрядки». Режиссер вылез из машины раздражительным и придирчивым.

– Что это за балаган? – спросил он, не поздоровавшись, у Светланы, которая готовила массовку; она встала на рассвете, и уже успела умяться, но считала, что дела идут нормально – «эсэсовцы» были вовремя «обмундированы» и доставлены на место. Однако они-то и возбудили первое недовольство Сергея Константиновича.

– Цирк? Ряженые на манеже?

Действительно, «эсэсовцы» вызвали живейшее любопытство прохожих.

Молча признав оплошность, Светлана поднесла к губам мегафон и объявила:

– Вниманию участников массовки! Просьба немедленно пройти в помещение театра. Не задерживайтесь, не задерживайтесь, товарищи. – В спешке она чуть было не сказала «товарищи «эсэсовцы», но вовремя остановилась.

– Вы видите, Саша? – обратился режиссер к автору. – Без меня они не могут сообразить, что мы приехали работать, а не веселить зевак! И я вас уверяю, это только начало. Мы еще нахлебаемся, поверьте. Кстати, Наташа, где ваша гитара? – повернулся он к актрисе.

– Прусаков сказал, что гитара на месте.

Прусаков был ассистент по реквизиту.

– Тогда берите и осваивайте.

Наташа, а точнее, Наталья Петровна, много играла в кино и телевизионных постановках, однако мало кто знал, что ей до чертиков надоели положительные интеллигентные героини с задумчивым и грустным взглядом, раз и навсегда определившим ее амплу, и она давно мечтала испытать свои силы в роли отрицательной, хотя бы в небольшой. Привлекало ее и еще одно мало известное поклонникам актрисы обстоятельство – Наталья Петровна в кругу друзей любила спеть под гитару, теперь эта возможность представилась ей на экране, и она не без волнения отправилась искать Прусакова.

А режиссер, оставив автора, быстро прошел в театральный зал, где уже хозяйничал Генрих со своей группой. Сейчас он стоял в проходе в позе Наполеона, скрестив на груди руки, и скептически рассматривал сцену.

– Привет! – лаконично приветствовал он Сергея Константиновича.

– У тебя-то хоть все готово?

– Верхняя камера в порядке, – уклончиво ответил шеф-оператор.

– Почему верхняя? Мы же решили сначала снять крупно! – сразу заподозрил очередную неполадку режиссер.

Снимать певицу предполагалось с двух точек – из ложи второго яруса общим планом, захватывая часть зала с «эсэсовцами», и крупно – из оркестровой ямы. Тут-то и была неувязка: камера устанавливалась низкомерно.

– Ну поставьте ее на партикабль! – воскликнул режиссер. – Неужели и это проблема?

– Партикабль не привезли.

– Почему?

– Думали, обойдемся.

– Чем думали? – спросил режиссер тихо. Он чувствовал, как колотится сердце и выступает на лбу пот. «Вот так еще немножко нервов и... инсульт, инфаркт...»

– Не лезь в бутылку, – огрызнулся Генрих. – Ты что, первый раз замужем? Сейчас привезут, а пока сверху снимем.

– Штаны бы с тебя снять...

– Ну вот! – Генрих оглянулся, чтобы увидеть, кто слышал обидные для него слова. – Мы же вместе смотрели.

– Мое дело посмотреть, а твое точно рассчитать...

– Ладно. Виноват, исправлюсь, экселенц. Светлана, массовка готова?

– Минутку, Генрих.

– Что еще? – обернулся режиссер.

– На два слова, Сергей Константинович... – Она поманила его в полузакрытую ложу. – У вас очень плохой вид.

– Вы хотите загримировать меня под Илью Муромца? Но в этом бардаке и Илья...

– Вам нужно прийти в себя.

И она достала из сумки маленькую бутылочку с коньяком.

Режиссер посмотрел хмуро. Он знал, что выпить необходимо, однако ему хотелось преодолеть угнетенное состояние собственными усилиями, а их, он чувствовал, не хватало. «Плохо, плохо со мной, – подумал Сергей Константинович, беря из рук запасливой Светланы пластмассовый стаканчик. – И все видят, что плохо. Немедленно покончить с этим, немедленно... Вот этот стакан – и точка. По крайней мере, здесь, в экспедиции... Последний».

Он с отвращением проглотил тепловатую жидкость.

– Спасибо, Светлана. Где вы добыли коньяк так рано?

– Спрятала с вечера.

– Для меня?

– Да.

«Как скверно!»

– Спасибо. Я слишком много нервничаю. Нужно кончать с этим...

Он протянул ей пустой стаканчик.

– Я пойду рассаживать массовку, – сказала Светлана.

– Идите. Я сейчас...

Стало легче. Он облокотился о барьер и посмотрел, как занимают места «эсэсовцы». Генрих следил за ними в глазок камеры и давал распоряжения:

– Первый ряд полностью, второй тоже, третий до прохода, а вот эти трое не в кадре...

Сергей Константинович вышел из ложи и прошел по коридору к Генриху.

– По-моему, ничего, – сказал тот, уступая режиссеру место у камеры.

Но режиссер покачал головой. Затылки и плечи «эсэсовцев» вытянулись, будто по шнуру.

– Светлана! Они у вас в театре или на параде? Послушайте, «эсэсовцы»! Расслабьтесь, пожалуйста. Вы пришли развлекаться. Понимаете? Расположитесь непринужденно. Можете поворачиваться друг к другу, улыбайтесь! Шевелитесь, короче! Договорились?

«Эсэсовцы» задвигались.

– Вот это другое дело. Шевелитесь, но не переусердствуйте. Вы все-таки эсэсовцы, а не продавщицы галантерейного магазина на профсоюзном собрании!

Внизу засмеялись. Атмосфера понемногу разряжалась.

– А где Наташа? – спросил режиссер.

– Гитару осваивает...

– Зовите ее. Пора начинать.

Актриса подошла с гитарой в руке. Позади шла гримерша и расчесывала ей на ходу волосы большой гребенкой.

– Освоили инструмент, Наташа?

– Не очень.

– По-моему, за это время арфу можно было освоить.

– Гитара расстроена.

– Жаль, конечно, но ведь все равно, будем переозвучивать. Тогда и поиграете в свое удовольствие. А пока перебирайте струны. Струны-то хоть есть?

– Струны есть, – ответила актриса огорченно.

– Вот и прекрасно. Не расстраивайтесь, Наташенька. В кино как в кино. Мне ли вам об этом рассказывать? Вы же профессионалка. Работайте, милая, работайте. Я на вас очень надеюсь.

Режиссер уже смягчился и втягивался постепенно в привычное действие, но испытания для его нервов еще не кончились.

– Послушайте, Прусаков, а где же знамя?

Знамя, а точнее, огромное полотнище со свастикой, должно было покрывать театральный задник, заменяя декорации. Так решили по двум причинам: во-первых, никто толком не знал, какие специфические декорации могли быть на такого рода представлениях в фашистском театре, а подчеркнуть, что он фашистский, было необходимо. Во-вторых, художник Федор нашел, что сочетание красного фона фашистского знамени с черным панбархатом платья певицы удачно отразит на цветной

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
пленке трагическую остроту ситуации.

– Знамя глядят, – ответил меланхоличный Прусаков, известный в киногруппе странным взглядом, которым он умел останавливать нарекания в свой адрес. Было в этом взгляде нечто гипнотическое, а может быть, знание какой-то высшей истины, по сравнению с которой неполадки «реквизитом представлялись мелочными и ничтожными. Режиссер наткнулся на взгляд Прусакова и прочитал в нем: «Ну что изменится во вселенной от того, что знамя не висит на своем месте?» «А в самом деле, что? – подумал он. – Вот гипнотизер проклятый!»

– Разве его нельзя было погладить вчера? – спросил он, одолевая себя.

Прусаков усмехнулся загадочно и посмотрел в сторону Федора, который пояснил:

– Знамя везли в машине, нужно разгладить складки.

Генрих тоже считал, что складки будут видны на экране и это нехорошо.

Режиссер махнул рукой.

– Изверги! – сказал он и пошел искать автора.

Об авторе в суматохе забыли, и он неприкаянно и с чувством сдерживаемой обиды бродил по театру. Саша совсем иначе представлял свою роль на съемках, ожидал, что с ним будут консультироваться по важным творческим проблемам, а тут и проблемы-то возникали удивительные, например, где достать утюг. Сергей Константинович, догадавшись о его настроении, спросил, улыбнувшись:

– Ну, как вам нравится кинематограф, Саша?

Автор пожал плечами, демонстрируя якобы понимание неизбежных трудностей.

– Я вас предупреждал. Синтетическое искусство – это, знаете, не так просто. Ужасно хочется пить.

Ему хотелось выпить бутылку холодной минеральной воды, но именно воды-то в театральном буфете и не нашлось.

– Может быть, пива? – предложил Саша.

– Если холодное, – неуверенно согласился режиссер.

Буфетчица заглянула в холодильник и достала две бутылки.

Они выпили. Сергей Константинович с удовольствием, а Саша через силу – пиво показалось ему кислым.

– Возьмем еще? – предложил он, однако.

Но Сергей Константинович вздохнул и покачал головой.

– Да, не стоит, конечно, – обрадовался Саша. – В жару сразу потом прошибет.

– Вот именно. А нам сегодня и так потеть да потеть.

Но все наладилось постепенно. Огромное знамя, символизирующее неколебимость «нового порядка», повисло над сценой, актриса с расстроенной гитарой заняла место у специально сооруженной суфлерской будки напротив привезенного и установленного в оркестровой яме партикабля – разбирающейся конструкции-подставки для кинокамеры, которую автор про себя называл «птеродактиль».

– Можно начинать, Сергей Константинович, – сообщила Светлана.

– И тарелка есть?

– Есть.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Она протянула ему добытую в буфете тарелку, которую полагалось разбить по традиции на счастье и удачу.

– Начинаем, Генрих?

– Как скажете.

Режиссер в последний раз рассмотрел зал через камеру.

– Внимание! Всем посторонним выйти из кадра! Наташа! Как договаривались – вульгарно и с надрывом...

Актриса сделала шаг вперед и положила пальцы на струны.

– Все готовы? Полная тишина!

Тишина наступила.

– Приготовиться! Мотор.

Негромко застрекотала камера.

– Начали! – крикнул Сергей Константинович и разбил тарелку. – Возьмите кусочек, Саша.

Девушка-помреж щелкнула хлопушкой перед носом актрисы. Актриса провела пальцами по струнам...

Снимаемый эпизод мыслился так: певица исполняет экзотические «Очи черные», оккупанты довольны, а Шумов тем временем, разрабатывая детали операции, выходит, чтобы осмотреть здание. Впрочем, проход Шумова по театральным закоулкам предполагалось снять в Москве, совсем в другом помещении, потому что здешнее, недавно отремонтированное и модернизированное, ничем уже не напоминало старый театр. Планы шли параллельно – певица поет, Шумов ходит. Свести их в картину не предполагалось – что общего могло быть у идущего на подвиг героя с ничтожной приспешницей гитлеровцев? А между тем они были знакомы, и познакомил Веру и Шумова не кто иной, как Сосновский.

Познакомил в театре, в том самом буфете, где перед началом съемок пили пиво режиссер и автор. И Шумов пил пиво. В буфете было душно и накурено, громко звучала немецкая речь; он стоял у стойки и потягивал из высокой кружки мутноватую жидкость, когда кто-то подошел сзади и положил ему руку на плечо:

– Если не ошибаюсь, господин инженер?

Шумов оглянулся и узнал Сосновского.

– Не ошибаетесь, господин следователь.

– Мне ошибаться по должности не положено.

Он сказал это не просто, а с намеком, со скрытым смыслом, оглядывая Шумова колючим враждебным взглядом, который не могла смягчить деланная улыбка.

– Я имел удовольствие убедиться в вашем усердии.

– Надеюсь, вы на меня не в обиде?

Шумов отхлебнул пиво.

– Учитывая благополучный для меня конец...

– Конец? Да ведь война идет, господин инженер! А на войне как в приключенческом романе... Продолжение следует.

– Вот как?

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Ну, конечно. – Сосновский ухмыльнулся. – Простите великодушно, я, кажется, не совсем четко свою мысль изложил. Я хотел сказать, что конец на войне – это нечто совсем уж окончательное, такое... – Он провел пальцами по тонкой шее. – А «продолжение следует» не в пример лучше.

– Пожалуй.

– Устроились на работу?

– Почти. Кое-что проверяют еще.

– Это справедливо. А то вы к нам как снег на голову... Зачем?

– Да ведь я говорил вам.

– Правильно. Вы говорите, а мы... хи-хи... проверяем. Но я, помилуй бог, не ссориться подошел. Я совсем наоборот. С симпатией, можно сказать. Может быть, позвольте себе по случаю, так сказать, благополучного окончания очередной главы что-нибудь покрепче пивка? Не возражаете? Я угощаю.

– Благодарю.

– Вот и прекрасно. Война – сложная вещь. Если люди заодно, они не должны обижаться друг на друга. А ведь мы заодно, не правда ли, господин Шумов?

– Еще бы!

– Тогда присядем на минутку. – И Сосновский увлек Шумова за столик. – Один коньяк прошу и один лимонад.

– Один? – переспросил Шумов.

– Да уж так. Ожидал удивления, но привык. Станный я человек. Не пью, не курю...

– Завидую вашему характеру. А как насчет третьего увлечения?

Сосновский снова хихикнул:

– Да вы настоящий следователь. Не удовлетворяетесь полупризнанием. Вам прямо-таки все знать нужно. Еще и свидетелей потребуете? Пожалуйста. – Он смотрел через плечо Шумова на вход, где появилась как раз Вера Одинцова. – Хотите познакомиться с нашей очаровательной певицей? Может быть, она замолвит за меня словечко. – И, не дожидаясь согласия Шумова, он вскочил навстречу Вере: – Волшебница! Уделите минутку вашего драгоценного времени и внимания двум одиноким мужчинам.

Шумов повернулся и посмотрел на женщину, чье лицо ему уже пришлось видеть на афише. Она колебалась:

– Я занята во втором действии.

– Мы не задержим вас, очаровательная, не задержим. Я только представлю вас своему доброму другу господину инженеру Шумову.

Шумов встал и поцеловал протянутую Верой руку.

– Вы здесь новый человек? Я вас не видела.

– Да я и сам узнал его буквально на днях, – поспешил Сосновский. – Но мы как-то сразу близко сошлись. Чего не бывает на войне, не правда ли, господин инженер?

– Да, на войне случается разное.

– Вот именно, – подхватил Сосновский под недоуменным взглядом Веры, – одни восстанавливают электростанцию или, к примеру, водопровод, а другие его взрывают... Но ведь нужно быть специалистом, чтобы знать, где взорвать, как? Найти уязвимое место... Не так ли, господин Шумов?

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Безусловно, господин Сосновский. Но я не собираюсь взрывать ни электростанцию, ни водопровод, – ответил Шумов очень серьезно.

– Ух, какой же вы обидчивый человек! – воскликнул Сосновский. – Шучу я, шучу. Ну посудите сами... Если бы я предполагал такое... Ну какое бы право имел я сидеть с вами за столиком да еще напитками баловаться. Пусть невинным лимонадом, пусть... Ах, простите, Верочка! Еще один коньяк для дамы.

Коньяк принесли, и они выпили – Шумов и Вера, а Сосновский сунул в рот любимый леденец из круглой коробочки и захлебнул быстро глотком лимонада.

– Я оставляю вас. Что поделаешь? Вечные дела... Ни малейшей возможности отвлекаться, провести вечер в компании приятных людей. Ни малейшей. Завидую вам и исчезаю.

И он в самом деле исчез неожиданно, как и появился, а Вера и Шумов остались за столиком вдвоем и помолчали некоторое время, глядя друг на друга.

– Вы пользуетесь большим успехом, – первым нарушил молчание Шумов.

– Еще бы! Любимица публики, как пишут в афишах.

– Разве это неприятно?

– Почему?

– Мне послышалась ирония в вашем тоне.

– Было время, когда меня ужасно сместили слова «любимица публики». Я думала, что так называли актрис только во времена Островского. И вот нате вам! Любимица...

– Все возвращается на круги своя.

Она посмотрела на него внимательно, как бы раздумывая, о чем можно говорить с этим человеком.

– Нет, ничего не возвращается. Просто на войне бывает разное, как сказал ваш добрый друг Сосновский.

Вера чуть выделила слово «добрый».

– Он немного преувеличивал, говоря о нашей дружбе.

– Вот как?

– Мне показалось, что с вами он гораздо более дружен.

– Почему?

– Вы любезно согласились присесть к нашему столику...

Она улыбнулась.

– Здесь не принято отказывать Сосновскому.

– Значит, я обязан столь приятному знакомству его репутации?

– Репутации? Да, пожалуй, если это называется репутацией.

Шумов не стал спрашивать, какое слово она бы предпочла.

– Сложное время, – сказал он неопределенно.

– Какое есть... ничто не возвращается, – повторила она. – И не нужно, чтобы возвращалось. Новые времена – и песни новые.

– Старые позабылись?

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Оставьте старые. Возьмите лучше еще коньяк.

Шумов заказал.

Она выпила и вдруг улыбнулась, но не ему, а своему воспоминанию.

– Знаете, какая у меня была самая популярная песня?

И, наклонившись к Шумову, запела вполголоса:

На битву большую
За землю родную
Иди, не боясь ничего...
Если ранили друга,
Перевяжет подруга
Горячие раны его...

Наблюдавшие за Верой с соседнего столика подвыпившие немецкие офицеры захолопали.

– Вы ведете себя неосторожно, – заметил Шумов.

– Ерунда. Они ничего не понимают.

Она поднялась и закончила громко:

Если ранили друга,
Сумеет подруга
Врагам отомстить за него!

В ответ зааплодировали все, кто был в буфете.

– Вот видите? Любимица публики, – сказала Вера Шумову и пошла к выходу.

У дверей за столиком сидел, видимо очень пьяный, офицер в морской форме. Кажется, он один не хлопал Вере, уткнувшись лицом в ладони. Вера подошла к моряку и тронула его за подбородок:

Капитан, капитан, улыбнитесь!
Ведь улыбка – это флаг корабля.
Капитан, капитан, подтянитесь!
Только смелым покоряются моря...

Вокруг смеялись и аплодировали.

Среди смеявшихся был и Лаврентьев.

В день начала съемок он встретил в гостиничном холле молодую актрису. Она успела загореть, а вернее, порозоветь на жарком южном солнце, выглядела прекрасно, но немного смущенно.

– Вы не представляете, что со мной произошло!

– Что же?

– Я проспала первый съемочный день. Это ужасно.

– Вам попадет?

– Не знаю. Я-то сама не снимаюсь. Но проявить такое пренебрежение?! Нет, это, конечно, непростительно. А может быть, они не заметят, что меня нет, а? – спросила она с надеждой. – У них ведь там суматоха!

Лаврентьев улыбнулся:

– Может быть, еще не поздно появиться на съемке?

– Я думала об этом. Но боюсь. Лучше уж больной сказать. Мигрень, а? От солнца.

Лаврентьев оглядел ее и покачал головой:

– Откровенно говоря, вы мало похожи на больную.

Она вздохнула:

– Я знаю. В этом мое несчастье. Все считают меня здоровой, веселой...

– А разве это не так?

– Ну, здоровье – дело преходящее, – заявила она философски. – Сегодня здорова, а завтра... У нас одна девочка на курсе от саркомы умерла.

Однако в голосе актрисы звучала наивная уверенность юности в том, что несчастья происходят только с другими.

– Зато в веселости вам не откажешь, – усмехнулся Лаврентьев.

– И вы так думаете? Ого-го! Если бы! Я просто виду не подаю, когда мне тужо. Зачем нюнить?

– Это верно.

– Но репутация вечно жизнерадостной идиотки тоже не блеск. Актриса должна быть загадочной. «Всегда грустна, всегда красива».

– Откуда это?

– Из «Советского экрана». Но не обо мне.

– Напишут когда-нибудь и о вас.

– Пусть попробуют не написать! Но что же мне делать сегодня? Послушайте, а вы опять в главк?

– Нет, главк на переучете.

– Чудесно. Поедемте на съемки!

– Но я-то какое отношение имею?

– Вы представительный, мужественный и все такое. Поедемте. А то сама я трушу. Можно сказать, что вы мой дядя я и вас совершенно случайно встретила в городе...

– Не нужно. Я знаком с вашим режиссером.

– Знакомы?!

– Мы живем в соседних номерах.

– Вот здорово! Ну какая я везучая!

– Как вас зовут, кстати?

– Дядюшка! Нехорошо! Нельзя забывать близких родственников. Неужели вы не помните маленькую Мариночку, которой показывали страшную козу? – произнесла она, а вернее, сыграла крошечную роль.

– Маленькая Мариночка очень выросла.

– Как летит время! Ай-я-яй! Она тоже забыла старого дядю.

– Меня зовут Владимир Сергеевич.

– Я очень рада.

И она шуточно присела, взявшись пальцами за край короткой юбки.

Они поехали троллейбусом, не переполненным в этот час, когда утренний «пик» уже миновал. У здания театра тоже наступило затишье. Работа сосредоточилась внутри, и лишь немногие любопытные прохожие останавливались, чтобы узнать, что за машины стоят на площади и почему протянулись от них в театр черные змеи электрокабелей.

Милиционер у входа сказал строго:

– Нельзя, товарищи. Кино снимают.

– А мы из киногруппы, – ответила Марина, но милиционер смотрел на Лаврентьева, и ему пришлось подтвердить:

– Да, девушка снимается в картине.

– Вот видите, – шепнула Марина, когда они вошли в фойе, – я же говорила, что без вас мне нельзя.

Но тут двери из зрительного зала распахнулись, и у Лаврентьева сжалось сердце: навстречу шли люди в мундирах с эсэсовскими «молниями» на воротниках. Люди эти были ряжеными, и он знал это, но на кратчайшее мгновение тень прошлого упала на него, и пахло холодом.

– Что с вами? – спросила Марина.

– Ничего.

– Вы куда-то уходите. В себя. Как тогда, в самолете...

– Ничего, – повторил он.

Он уже увидел Сергея Константиновича, окончательно пришедшего в себя и с удовлетворением говорившего Генриху:

– По-моему, третий дубль получился.

– Экран покажет, – отвечал Генрих в своей манере, но заметно было, что он согласен с режиссером.

– А... И вы к нам? – ничуть не удивился Сергей Константинович появлению Лаврентьева. – Прошу в наш вертеп.

Он протянул Лаврентьеву руку, а Марину просто не заметил, полагая, что она в театре с самого утра.

– Кажется, я опоздал?

– Ерунда. Ничего не потеряли. Суета сует, как и всегда в первый день. Впрочем, в остальные тоже.

– Сейчас перерыв?

– Да, и довольно продолжительный. А вечером режимная съемка, ограниченная вечерним и ранним рассветным временем. Закатные краски нужны.

Лаврентьев не знал, что такое режимная съемка, то есть съемка, ограниченная вечерним и ранним рассветным временем, но он хорошо помнил, что в тот вечер никаких красок не было. Кончался обычный день поздней осени, которая на юге так долго и неохотно переходит в неустойчивую зиму. Слякоть присушило легким морозцем, но небо хмурилось с самого утра, солнце не показывалось уже с неделю, и все в городе казалось серым, обесцвеченным: и грязные улицы, и уже голые деревья, и море, сливавшееся на необычно близком горизонте с низкими темными тучами, и даже серо-зеленые солдатские шинели казались больше серыми, чем зелеными.

– Вы делаете цветную картину? – спросил он.

– Сразу заметно, что вы редко бываете в кино. Сейчас практически все картины

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
цветные. Обыватель обожает слово «цветной»... А кино, увы, искусство массовое.
Вот и стараемся. Экран пошире, цвета побольше.

– Я думал, это достижения.

– Черта с два, – засмеялся Генрих. – Если хотите знать, не было и нет ничего лучше черно-белого кино на обычном экране.

Лаврентьев подумал.

– Не знаю, боюсь обобщать... Но что касается вашей картины, то в самом деле... Наверно, ее стоило снимать в чем-то похожей на фильмы, что шли тогда. Тем более, «то дело происходило глубокой осенью.

– Вот видишь, – повернувшись к Генриху и загораясь каким-то давним спором, сказал режиссер. – Обыкновенный нормальный умный человек понимает то, что не доходит до этих... – Он махнул рукой куда-то в сторону. – Да что мы можем сделать! Мы же производственники наполовину. Кинорежиссер не художник. Наша продукция затыкает дырки в бюджете. Прокат, план, касса... О чем говорить! Пойдемте лучше обедать. Надеюсь, вы с нами?

Не ожидавший приглашения, Лаврентьев развел руками:

– Спасибо, но...

– Пойдемте, пойдемте. Нам нужен такой человек, как вы. Вы как-то все умеете понять. Может быть, мы именно для вас делаем эту картину.

«Нет, не для меня».

– Хорошо, – сказал он, – обедать так обедать.

– Вот и отлично. Марина! – заметил наконец режиссер молодую актрису. – А вы? Надеюсь, вы не на диете, как Наташа?

– Нет, я не на диете.

– Тогда по машинам. У нас «Волга» и «рафик». Вас прошу со мной, – взял он за локоть Лаврентьева.

В нагретой на солнце «Волге» было душно, и все принялись сразу опускать стекла.

– Взрыв, конечно, придется делать на макете, – объяснял Сергей Константинович, обернувшись к Лаврентьеву. – Я вижу полную черную бархатную тьму – и вдруг яркая вспышка, высвечивающая контур здания. Как солнечное затмение: темный шар, окруженный льющимся пламенем и какими-то протуберанцами или как там их... Но вы понимаете?

– Театр был взорван не ночью.

– Не ночью? – удивился режиссер. – А представление?..

– Представления должны были заканчиваться до наступления темноты. В целях предосторожности.

– Это точно?

– Да, – кивнул Лаврентьев.

– Жаль, – огорчился Сергей Константинович. – Согласитесь, ночной взрыв больше впечатляет. Оранжевое пламя, на миг очертившее здание, вырвавшее его из мрака... Причем в полной тишине.

– В тишине?

– Да, конечно. Зачем бутафорский грохот? Полная тишина несколько секунд, оглушающая тишина, а потом крики, может быть, музыка, но сам взрыв в оглушающей

тишине.

Лаврентьев знал: над театром не взметнулись оранжевые протуберанцы и не очертило контур яркое пламя. Огонь бушевал внутри, а потом в разбитые окна потянуло черным дымом, и дым окутал серое здание, размывая его очертания в предвечерней туманной мгле. Но грохота и он не запомнил. Может быть, его приглушили толстые стены, а может быть, сказалось нервное напряжение, притупился слух... и заглушило другое – Шумова, как и Константина, больше нет...

Они познакомились, когда Шумов вернулся из гестапо в шинели, накинута на раненое плечо.

Максим ужинал, рядом с ним сидел высокий парень с таким же упрямым, как у отца, горбоносым лицом, но и непохожий на него, вернее, похожий на прежнего, молодого Максима, еще не приземленного жизнью, и смотревший не хмуро и подозрительно, как смотрел теперь на людей Пряхин-старший, а открыто и смело.

– Сын, – сказал Максим коротко.

– Вижу, – так же коротко ответил Шумов, осторожно расстегивая шинель.

Пряхины молча наблюдали, как он высвобождает забинтованную руку.

– Оса ужалила, – усмехнулся Шумов и присел к столу.

Максим подвинул чугунок с вареной картошкой.

– Что нового? – спросил Шумов спокойно.

– Говорят, бургомистра шлепнули? – отозвался Максим полувопросом.

– Да, убили, – подтвердил Шумов.

– Значит, не брехня?

– Нет, правда.

– Ты-то откуда знаешь?

– Мы вместе в фаэтоне ехали. Он не доехал, а я, как видишь, легким испугом отделался.

– Ну? – искренне удивился Максим.

Константин вилкой крошил картошку.

– По пути нагнал нас немецкий офицер на мотоцикле и пострелял немножко. Бургомистр минут через пятнадцать кончился.

– Дела-а! – протянул Максим. – Немецкий офицер, говоришь? Что он? Тронулся?

– Это был не немец. Он крикнул по-русски: «Смерть оккупантам!» – или что-то в этом смысле.

И Шумов вопросительно взглянул на Константина. Тот опустил глаза.

– Дела! – повторил Максим. – Выходит, ты уже успел за «новый порядок» пострадать?

– Выходит.

– Кость не зацепило?

– Нет.

– Повезло. И ты этого партизана вблизи видел?

– Да, рядом.

– И в лицо рассмотрел?

– Рассмотрел. Очень похож на немца. Рыжий такой.

Константин поправил на лбу влажную прядь темно-русых волос.

Напряженно было за столом. Каждый о своем думал, но больше всех беспокоился Максим. Чужая, что происходит важное, смертельно опасное, в сердце болело за сына. Однако слова Шумова успокаивали немного. «Костя чернявый скорей, не рыжий». Константин думал жестче: «Дурак, не пристрелил эту сволочь. А он темнит, что-то подозревает, факт. Теперь кто кого опередит». Шумов решал: а не ошибается ли он, все-таки слишком быстро промелькнуло перед глазами лицо в парике. «Похоже, что он. Что же это? Новая неудача или везение?»

– Вы работаете, Костя? – спросил он.

– Работаю. А куда денешься? Кусать-то нужно что-нибудь, да и в Германию в два счета угодить можно, если не определишься, – ответил Константин длинно, будто оправдываясь.

– Где же вы определились?

– В театре.

– В театре? Кем?

«Нет, все-таки везение. Кажется, после встречи с этим мальчиком, которому так не по душе гестаповская служба, качели понеслись в другую сторону... В театре! Надо же... Ну, конечно, в театре. Где же еще?» В памяти Шумова вновь возникло лицо стрелявшего в бургомистра человека – полоска на лбу, от которой тянулись гладко зачесанные назад светло-рыжие «немецкие» волосы, полоска от неумело закрепленного парика и выбившаяся прядь. «Это он, и он работает в театре».

Константин уловил в тоне Шумова нечто нарушившее нарочитую монотонность их разговора, но не понял причины.

– Не артистом, конечно. Электриком.

– И служба в театре считается настолько важной, что освобождают от работы в Германии?

– Да, они придают значение культуре, – чуть усмехнулся Константин.

– Это хорошо, – улыбнулся и Шумов. – Я сам завзятый театрал.

«Как-нибудь ты оттуда не вернешься», – подумал Константин.

– Самое время по театрам развлекаться, – заметил Максим.

– Жизнь коротка, искусство вечно, – ответил Шумов.

– Насчет жизни верно, – сказал Пряхин-старший. – Особенно по нынешним временам. А об искусстве не знаю. Не успел как-то приобщиться... Но, думаю, самообман. Горького читал. Ну и что? Он говорит: человек – звучит гордо. А Васька слушает да ест, то есть друг друга поедают. С кровью, без соли. Вот так. Искусство само по себе, а мы сами.

– Ну в здешнем театре, я думаю, искусство другого плана.

– Другого, – подтвердил Константин, но какого, уточнять не стал, да и не тот был момент, чтобы спорить об искусстве.

– А ты с работой определился? – спросил у Шумова Максим.

– В принципе да.

– Значит, признали тебя немцы?

– Немцы признали, но вот следователь Сосновский, соотечественник, кажется, не признает.

– Это личность известная, – сказал Константин.

– В театре бывает?

– Бывает. Но не тем известен.

– А чем же?

– Бдительностью.

– Я это почувствовал.

– И рана не помогла? – поинтересовался Максим.

– Рану он расценил как своеобразную маскировку. А меня счел своего рода наводчиком.

– Действительно бдительный, – сказал Пряхин-старший, а младший хмыкнул:

– Смешно.

– Не очень, – возразил Шумов. – Сосновский, по-моему, с юмором не в ладах. – Он провел рукой по раненому плечу.

– Приляжешь, может? – предложил Максим.

– Прилягу, пожалуй. Кстати, у тебя пожить пару дней можно, пока устроюсь?

– Тесновато у нас, – заметил Константин.

Но Максим не возражал:

– В тесноте, да не в обиде.

Таким был этот странный разговор, в котором каждый думал о своем, а мысли давили трудные, о жизни и смерти, и оттого слова, вроде обычные, простые, произносились трудно, по необходимости, и всем стало легче, когда Шумов прервал разговор, согласившись лечь и отдохнуть.

Но какой уж тут отдых – всем было не по себе. Шумов слышал, как сказал что-то Максим сыну, вроде бы собрался сбежать куда-то, несмотря на вечернее опасное время, а потом, кряхтя и чертыхаясь, одевался и наконец щелкнул дверной щеколдой. Темно было в доме. В спальне, где лежал Шумов, света не зажигали, лишь в зале чадил самодельный светильник. Там возился Константин – то ли по делу, то ли от волнения. Видимо, больше от волнения, потому что не столько возился, сколько ходил по комнате, а потом остановился у двери спальни. Шумов ждал этого и сказал негромко:

– Входи.

– Извините, мне тут вещицу бы одну взять.

– Вещицу?

– Да, вещицу, – упрямо повторил Константин, уловивший в голосе Шумова нечто похожее на насмешку.

– Бери, раз нужно.

Константин вошел, остановился близко, прикрывая единственную дверь.

– Забыл, где вещица? Или что делать, не знаешь?

Он действительно не знал. Была мысль убить сразу, а отцу сказать, что ушел. Но

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
ведь труп нужно было деть куда-то, спровадить от дома подальше... «Может, в колодец пока? Нет, искать будут обязательно, если он их человек. А какой же еще? С бургомистром ехал. Да и не отказывается, что с немцами снюхался. С другой стороны, с отцом в красном подполье был. Да сам-то отец не тот. Почему ж этот ошкуриться не мог? Что он знает – вот главное. Узнал меня или нет? Говорит, вроде нет, а подсмеивается, факт...»

- Если не знаешь, бери стул, садись, посоветуемся.
- С вами?
- А почему бы и нет? Я человек поживший, повидавший.
- Что вы видели?
- Много пришлось. Сегодня мотоциклиста одного...
- Ну и что?
- Показался он мне на одного человека похожим.
- Вы меня на пушку не берите.
- И не думаю. Разве я сказал, что мотоциклист был на тебя похож?

Константин шагнул к кровати.

- Провокатор! Сосновский подослал? – спросил он хрипло.
- Нет, – просто ответил Шумов.
- Кто же вы?
- Друг твоего отца. На него и был похож мотоциклист.
- На батю?
- Конечно. Я ж тогда тебя еще не видел. А отца помню молодым. Вот таким же... горячим. Ну, садись, садись.

Константин сел.

- Что вам нужно? Кто вы?
- Много спрашиваешь. На такие вопросы отвечать трудно. Лучше ты мне сначала ответь.
- Почему я вам должен доверять?
- Не бойся. Опасного для тебя спрашивать не собираюсь. И вообще имеешь право не отвечать. Но хотел бы знать. Вы с отцом заодно? – Константин сидел молча, и Шумов не видел его лица в темноте. – Догадываюсь. Он не знает.
- Не знает.

Шумов вздохнул:

- Трудновато тебе.
- А вы посочувствовать приехали?
- Нет, брат. Я, когда сюда ехал, не знал даже, что ты на свете существуешь, а уж о таком знакомстве, как у нас получилось, и не помышлял... Но, раз познакомились, давай сразу договоримся – ты и твоя группа, а она, как я понимаю, самостоятельная, поступаете в мое распоряжение.

Константин скрипнул стулом.

- Не видел ваших полномочий.
 - А те, что за тобой пошли, у тебя мандат спрашивали?
 - Те, кто со мной, меня знают.
 - Придет время, и ты узнаешь.
 - У Сосновского в каталажке?
 - Это из головы выкинь. Должен ты мне поверить.
 - На слово?
 - Вот именно. А на что еще? Бумажки мне и немцы изготовить могут.
- Трудно было решиться Константину.
- Что значит – быть в распоряжении?
 - Прежде всего не подставлять голову без надобности.
 - Не понимаю. Сложу руки сидеть?
 - Не беспокойся. Санаторного режима у тебя не будет. Но вспышкопускательство прекрати.
 - Вспышкопускательство?
 - Да, вредную самодеятельность. Для примера скажу: если бы ты меня застрелил, сорвал бы дело гораздо более важное, чем покушение на пронафталиненного старикашку.
 - Этот старикашка подписывал списки всех казненных.
 - Другого найдут, и он подпишет. Невелика потеря для великой Германии. Дерьмо, знаешь, всегда находится, когда в нем нужда возникает. Уничтожать нужно в первую очередь тех, кто с оружием против нас сражается.
 - Я что, против?
 - Не против? Ну и за то спасибо, – усмехнулся Шумов. – Значит, договорились?
 - О чем?
 - О порядке работы.
 - Не много я от вас услышал.
 - Пока хватит. Все равно полного доверия твоего я еще не заслужил.
 - Это точно.
 - Вот и давай ограничимся разговором предварительным. Пока тебе следует знать вот что: я здесь оказался не случайно. Это первое. Дело предстоит сделать большое. Это второе, но главное. Те, кто помочь мне должен был, висят под Александровской аркой. Значит, помогать будешь ты. И твои ребята тоже, но им пока ни слова. Это приказ. Сейчас вам следует затаиться и сидеть по-мышинному, поджав хвостики. Облавы будут, провокации, слезка и прочая музыка. Старикашка может нам всем еще боком выйти... Насчет отца. Если будет разговор обо мне, сволочи без зазрения совести...
 - Отцу не доверяете?
 - Не доверяю.
 - Батя не предатель.

- Но ты-то от него дела свои скрываешь?
 - Не потому, что боюсь. Дороги наши разошлись, но любит он меня.
 - В том-то и дело.
 - Не совсем понимаю.
 - Что тут понимать?.. Отец хочет, чтоб ты живым остался. Мне не верит. Знает меня. Бойтся, что я тебя под огонь подставлю. И он прав, к сожалению. Поэтому, чем меньше знать будет, тем ему спокойнее. И нам. Отец твой, когда из равновесия выходит... – Шумов не смог подобрать подходящих слов. – Ну да знаешь сам.
 - Плохо я его знаю.
 - Плохо?
 - О прошлом он со мной никогда не говорит. Какой он был?
 - Такой, как ты, – смелый очень...
 - Что вы сказать хотите? Осуждаете?
 - Нет. Я вас сравнивать не хочу. Да и что толку... Вот выживем, победим, тогда и потолкуем о том о сем...
 - А сейчас?
 - Сказал я уже. Когда ближе к тебе присмотрюсь, получишь распоряжения конкретные.
 - Ладно. Но учтите: долго я без дела сидеть не могу. Я все-таки вроде дезертира. Мне кровью смывать надо... Ребята из моей эскадрильи там, на фронте...
 - Понятно. Не беспокойся. В старых девах не засидишься. Можешь быть свободен, товарищ старший лейтенант. Отбой воздушной тревоги. Отдыхай.
- Константин встал.
- А вы кто по званию?
 - Андрей Николаевич меня зовут.
 - Ясно.
 - Да... Еще одно. Кто тебя в театр взял?
 - Это по случаю.
 - Все-таки?
 - Прима нынешняя слово замолвила.
 - Знала тебя?
 - Да как сказать... Я до войны в поклонниках ее числился. Букетики приносил.
 - И все?
 - Все.
 - А сейчас?
 - Тем более.
 - Почему?
 - Как – почему? Сволочь она.

- Уверен?
- Спросите у фрицев, с которыми она спит.
- Хорошо. Спрошу при случае.

Константин вышел, а Шумов вынул из-под подушки парабеллум, поставил на предохранитель и задумался, заложив руки под голову.

Вот как сошлись они с Константином Пряхиным, и, лежа в темноте в маленькой жарко натопленной комнатке, Шумов пытался оценить сложившуюся обстановку, размышлял...

С одной стороны, пришло почти невероятное везение: после гибели людей, к которым он так трудно добирался, выйти на организованную группу, да еще с человеком, работающим в театре, во главе, – это многого стоило. С другой стороны, пугала безрассудная смелость Константина, очевидные черты упрямого, своевольного пряхинского характера. Шумов знал, что смельчаки такого рода бывают не только отчаянно храбры, но и излишне доверчивы, потому что склонны переоценивать свои возможности и знание людей. Посвящать Константина в план взрыва было опасно. Но другого человека рядом не было, а в одиночку ему не справиться. Значит, без риска не обойтись. Прежде всего предстояло побольше узнать о группе Константина. Но убедил ли он Пряхина-младшего в том, что он именно тот, за кого себя выдает? Потребуется время, чтобы закрепить взаимное доверие, а время не ждет. Фронт уперся в Волгу и Кавказ, да и от Москвы не так уж далеко, несмотря на зимние прошлогодние успехи. Медлить недопустимо и опасно к тому же...

Конечно, Сосновский не верит ему и воспользуется любой возможностью расквитаться за неудачу независимо от того, узнает он правду о Шумове или нет...

Потом еще этот паренек из гестапо, который видит, как набивают людьми душегубки. Да разве только видит? Разве может он не ощущать себя частью этой человекоубийственной машины, будучи одним из ее передаточных механизмов, пусть помещенных в машину с целью разрушить ее, испортить, сломать, но ведь прежде чем покатится она под откос, он должен крутиться вместе с ней, внутри, а не сражаться лицом к лицу...

Польза, приносимая этим мальчиком, велика и очевидна, но видно и то, насколько тяжка его ноша. Выдержит ли, хватит ли сил? Не сорвется? Об этом нужно доложить куда следует, но, пока доклад дойдет, будет рассмотрен и приняты соответствующие решения, много воды утечет... да и крови тоже. Конечно, те, кто послал его сюда, как и Шумов, понимали, что значит работать в гестапо, но надеялись, что парень обкатается, а главное, много ли у них было таких ребят – со знанием языка, светлой головой и несомненной верностью долгу. Такого не сломишь пыткой, но погибнуть он может... И Шумов не имеет права вывести его из игры, потому что Лаврентьев занимает свое место в строю, в запланированной операции. А операция из тех, где заранее предусмотрены потери. Кто же заплатит за успех? Неужели этот мальчик?..

И наконец, Максим, у которого цель – спасти сына. Нет, немцы ему, безусловно, не друзья... Однако и те, за Волгой, которых ждет почти каждый в этом поработанном городе, Пряхину не по душе, и он не скрывает этого. Куда же качнутся в решающий час весы и как отзовется это на его, Шумова, деле, если узнает бывший друг, кто убил бургомистра и с кем связал судьбу сын?

Да, было о чем подумать шумову. Об одном он только не думал и так и ушел из жизни, не помышляя, что через три с лишним десятка лет станут снимать о нем кинокартину и выросшие после войны люди будут пытаться понять или хотя бы догадаться о мыслях его и поступках в недолгие оставшиеся дни жизни.

Разговаривая о том, как будет выглядеть на экране взорванный театр, режиссер и его спутники подъехали к гостиничному ресторану, где киногруппу уже знали, и ждать за столиком долго не пришлось.

Поспешивший к ним толстый и бледный молодой официант удивился только «сухому» заказу, но Сергей Константинович сделал решительный жест и пояснил:

– Работаем, Валера, работаем.

– Как скажете, а то водочка из холодильника имеется...

Но водочка была отвергнута, официант ушел, придав лицу понимающее выражение, а режиссер, выпив залпом фужер холодного нарзана, продолжал делиться своими заботами:

– Вы не представляете, как трудно работать над этой картиной! Известна фактически одна канва. Блестящая идея – заминировать здание, в котором наверняка будут собираться фашисты. Причем много фашистов! Подготовка проделана с ювелирной точностью, обеспечена полная тайна. Взрывчатка заложена в подвале во время обычного завоза топлива на зиму. Укрыта глубоко, гарантирована от миноискателей. А подвал – непосредственно под зрительным залом. Причем театр – типичная постройка прошлого века: уникальной прочности кирпичные стены и дерево внутри, никаких металлоконструкций, никакого железобетона! Нарочно не придумаешь такую мышеловку. Каменная бочка! Вся начинка взрывается и крошится от пола до колосников, а стены детонируют, отшвыривают бревна и доски внутрь и вниз. Прибавьте десятки замыканий электросети – и моментальное возгорание сухого дерева... Гениально!..

Он говорил с воодушевлением, будто всю жизнь взрывал помещения, наполненные сотнями людей, а Лаврентьев, который тридцать пять лет назад не меньше восхищался этим же замыслом, слушал сдержанно, глуша внутреннюю неприязнь к словам человека, не ведавшего, о чем говорит. Нет, он и сейчас не сомневался в справедливости сделанного Шумовым и Константином вместе с ним самим, но теперь уже не мог чувствовать удовлетворения, представляя огненный котел, в котором мертвые и живые падали на мертвых и еще живых, погибая кто сразу, а кто мучительно от ран, ушибов, ожогов, задыхаясь в дыму и гари.

– В чем же трудности вашей работы?

– Трудности? – Сергей Константинович остановился, вынужденный вернуться к первоначальной мысли, от которой ушел, увлеченный описанием вещей, хорошо знакомых Лаврентьеву, и вдруг засмеялся: – Да в том, что, кроме этого фейерверка, нужно еще полтора часа занимать экран, что-то показывать. – Он перестал смеяться и нахмурился. – Подвиг и смерть... Кара и страдание... Мы сняли много картин о войне и в каждой повторяли, что фашисты – это фашисты, а мы – это мы, то есть все нравственные проблемы решались в одной плоскости «мы – они» и решались, естественно, однозначно: «Убей фашиста!» И я понимаю, что иначе невозможно было решать. Они пришли в этот город, за тысячи километров от Германии, устроили свое гестапо в школе, заставили девочку-школьницу взять в руки оружие и убили ее за это, они набили трупами целый овраг и сделали еще столько, что не оставили нам выбора... И получили, нужно сказать... Но... Впрочем, я говорю пошло и путано. Короче... Сегодня-то мы делаем картину не для того, чтобы призвать к возмездию. Оно уже свершилось. Значит, и показать нужно нечто более сложное, чем непреклонная решимость уничтожить врага. Шумов жизнью пожертвовал, чтобы убить всю эту сволочь. И наверно, считал, что пятьсот за одного – цена, которую стоит заплатить. Арифметически такой подход не вызывает, конечно, сомнений. Но неужели не было и других мыслей? Например, о том, что среди этих пятисот есть один хотя бы, который казни не заслужил?

– Вы хотите показать Шумова, идущего на смерть с чувством жалости к врагу? Хотя бы единственному? – спросил Лаврентьев серьезно.

Он подумал, что мог бы испытать подобное чувство, однако только теперь, когда столько пережито. Конечно, Шумов тоже пережил немало, но он был человеком другого времени, он воевал всю жизнь, и исход войны все еще зависел от непреклонной решимости. Вряд ли он был склонен к абстрактному гуманизму, думал Лаврентьев, не зная о последней бессонной ночи Шумова, когда тот решал именно этот, наугад сейчас поставленный режиссером вопрос о ценности единственной жизни. Но он имел в виду не немца...

– Я не о жалости. Я, если хотите, о цепочке зла...

Но он не успел развить свою мысль, потому что в дверях ресторана, озираясь и явно разыскивая их, появились Саша с Моргуновым, которого автор решил наконец свести с Сергеем Константиновичем.

– Ну вот, Саша ведет очевидца, – сказал режиссер недовольно. – Сейчас он в два счета разрешит мои сомнения. А куда денешься, если он в самом деле бегал в коротких штанишках по оккупированному городу и видел живого фрица, погрозившего ему пальцем?

Меньше всего грузный Моргунов был похож на мальчика в коротких штанишках, каким увидел его режиссер. Он был в пиджаке в галстук, которые специально надел по случаю этой и ему не особенно желанной встречи и теперь откровенно страдал от жары, то и дело вытирая широкий потный лоб.

– Сергей Константинович! – заторопился автор. – Позвольте познакомить вас...

– Очень рад, – сказал режиссер и протянул руку, но Моргунов, который держал в руке носовой платок, замешкался, убирая его в карман, отчего произошла заминка, вызвавшая улыбку на лице Марины.

– Валера, устройте нас, пожалуйста, – попросил Сергей Константинович возникшего поблизости официанта.

Пока тот сдвигал столики, чтобы усадить всех вместе, автор попытался представить Михаилу Васильевичу собравшихся. Моргунов неловко кланялся и пожимал влажные руки.

– А это наша, – с трудом выговаривая слово «наша», сказал автор, – молодая актриса Марина. Она будет играть Лену.

Моргунов хотел было сказать «очень приятно», но запнулся.

– Лену? – переспросил он, как и Лаврентьев в самолете, удивившись: но его недоумение было гораздо сильнее, и он, кивнув, разочарованно, повернулся в сторону последнего незнакомого человека, которому решил представиться сам:

– Моргунов, Михаил Васильевич.

Глядя на потного толстяка, его круглое, растерянное немного лицо с нависшим над широким галстуком подбородком, Лаврентьев не мог и предположить фамилию, которую тот назовет.

«Моргунов, Михаил... Мишка!»

И словно много лет назад, он ощутил под рубашкой, там, где до сих пор прощупывался след ожога, продолговатый шрам, прикосновение раскаленного металла.

– Лаврентьев.

– Наш друг, – добавил любезно, но не совсем точно Сергей Константинович.

Ни прозвучавшая фамилия, ни расплывчатая рекомендация режиссера не сказали ничего Моргунову, и он посмотрел на Лаврентьева, как и на всех остальных, кроме Марины, с вежливым доброжелательством, не обратив внимания на его дрогнувший голос.

Да, они могли пятнадцать раз встретиться на улице – бывший крепыш подросток, яростно метнувшийся тогда на Лаврентьева из глубины подвала с огненной кочергой, и ненавистный ему гестаповец с пистолетом в руке, в блестящем реглане и черной фуражке с низко надвинутым на лоб козырьком, лица которого Мишка не рассмотрел и не запомнил, – могли встретиться и не узнать друг друга.

Столики сдвинули между тем, все уселись и почувствовали себя свободнее.

– Может быть, шампанского по случаю знакомства? – предложил Саша, одолживший некую сумму у соседки, поклонницы кинематографа.

– Да не стоит, по-моему. Жарко очень, – отказался Моргунов.

– Я на тех же позициях, – поддержал режиссер, – разве что Марина рискнет?

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Я завязала, – ответила девушка с шутливой серьезностью.

– Выходит, сухой закон, – подытожил Сергей Константинович и обратился к Моргунову: – Прежде всего, дорогой Михаил Иванович...

– Васильевич, – поправил тот.

– Простите. Благодарим вас, Михаил Васильевич, что нашли время повидаться с нами. Вы, я слышал, на ответственной работе в промышленности. А мы, как видите, затеяли с помощью вашего земляка картину о событиях, участником которых вы, так сказать...

– Ну уж и участник, – покачал головой Моргунов. – Это он меня, землячок, за волосы притянул.

– Крепко, видно, тянул, – заметил Сергей Константинович, глядя на лысеющую голову Моргунова.

Марина фыркнула.

– Он парень настойчивый, – улыбнулся, понимая шутку, Моргунов.

– Вы прочитали сценарий?

– Читал.

– Каково ж ваше мнение?

– Мнение? Положительное. Люди сражались героически. Головы сложили, а дело свое сделали. Спасибо, что помните о них.

– Но вы знали их лично.

– Как сказать... О том, что шумов главный, я, например, не знал. А Константина Пряхина знал хорошо. Состоял в его группе.

– И девушку погибшую знали?

Моргунов посмотрел на Марину.

– Знал.

Сергей Константинович перехватил взгляд.

– Что, непохожа? – усмехнулся он.

– Лена не такая была.

«Начинается», – подумал режиссер.

– А какая же?

И тут все услышали неожиданное от этого добродушного с виду человека:

– Красивее.

Марина вспыхнула.

Моргунов и сам не знал, как это случилось. Он не любил обижать людей и понимал прекрасно, что сказал обидное, но вот сорвалось, не мог он представить на месте Лены эту фифу.

Всем стало неловко.

– Терпите, Мариночка, – утешил Сергей Константинович, – это издержки вашей работы.

– Я понимаю, – сказала она, чувствуя, как горят щеки, – я все понимаю... Вы,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
наверно... любили ее?

Это была новая неожиданность – так не вязалась внешность Моргунова с обликом влюбленного юноши.

«Заработал, – подумал Михаил Васильевич, – сморозил и заработал».

– Я? – переспросил он, не зная, что ответить, и подозревая насмешку. Но насмешки не было, как не было и дерзости в ее вопросе, было чисто женское моментальное понимание сути. – Правда, девушка, любил. Смешно, да?

И он вытер платком лоб.

Лаврентьев, на которого никто не смотрел, откинулся на спинку стула и чуть прикрыл глаза. Теперь только он понял все, что происходило тогда в подвале, понял, в каком состоянии находился Мишка. Так что же сделал он для этого человека, которому, как и Лаврентьеву, предстояло остаться в живых и жить? Лишил святого права расквитаться за нестерпимую муку? Или спас его человеческое достоинство? Остановил зло, разорвал цепочку, как сказал режиссер?..

А Сергей Константинович, будто уловив мысли Лаврентьева, а на самом деле стремясь покончить с охватившим всех смущением, попытался вернуться к прерванному разговору.

– Ну вот, – сказал он с сожалением Моргунову, – а вы про волосы!.. Выходит-то наоборот. Упустили мы вас, а не притянули. – Впрочем, подлинного сожаления он не испытывал, потому что считал, что юношеская любовь не открытие для кинематографа, и заговорил о другом, не подозревая, как это «другое» близко двум сидящим рядом с ним людям: – Мы тут без вас о трудностях своих толковали. Не слишком ли облегченно показываем ваши подвиги? Взял и прикончил фашиста. Взял и взорвал эшелон или тот самый театр, о котором у нас речь идет. Лети все к чертовой матери! То есть, поймите меня правильно, я прекрасно понимаю, что, не взорви Шумов этих мерзавцев, мы бы, наверно, не сидели здесь сейчас все вместе... Но я не хочу, чтобы мои зрители видели людей, которым ничего не стоит убивать других, пусть во сто крат худших и заслуживших кару людей. Я, простите, просто не могу представить, чтобы такой молодой паренек, каким были вы, Михаил Васильевич, легко мог лишиться жизни даже вооруженного врага, не говоря уже о безоружном...

– Это очень верная мысль, Сергей Константинович, – согласился Моргунов. – Убивать человека, даже если он того заслужил, очень трудно.

– Вот-вот, – обрадовался режиссер. – Ведь по большому счету преступление фашистов не только в том, что они убивали наших людей, но и в том, что они нас заставили убивать. Я убежден, что любое убийство противоестественно для человека, оно не может не оставить следа в душе, не может не травмировать нормального человека. Может быть, на всю жизнь.

– Но Шумов погиб, – заметил всегда рационалистично мыслящий Генрих.

– Я сейчас не о Шумове, имею в виду суд над предателем.

– Суд? – переспросил Моргунов, который читал первоначальный вариант сценария, где расправа с мерзавцем, погубившим Лену, была изложена несколько иначе, чем в окончательном.

– Да, суд. Предатель схвачен, и его судят подпольщики. Каждый твердо высказывается за смерть.

– Так и было? – спросила Марина у автора.

– К сожалению, это не совсем ясный момент. Приходилось домысливать некоторые детали.

– Вот именно, – подтвердил режиссер. – Вы не уточните этот эпизод, Михаил Васильевич?

Моргунов ответил не сразу.

– Думаю, правде это соответствует. Если бы все мы могли собраться, все бы сказали одинаково: смерть.

– Спасибо и на этом. Хотя, признаться, не хотелось выдумывать. Сейчас у нас это выглядит так: за казнь высказываются единодушно, но кто должен сделать это, привести, так сказать, приговор, – это трудно. Добровольцев нет.

– Руки марать не хотят? – спросил Моргунов.

– Нет, это сложнее... Помните, у Шолохова казнь подтелковцев? Григорий отказывается расстреливать, а Митька Коршунов идет охотно. Давай, говорит, пальну. Помните? А у нас ситуация совершенно иная, противоположная, если хотите. Необходимость возмездия ясна всем, но враг обезоружен и связан. Да, связан! Я так это вижу. Он привязан к стулу и сидит, обезумевший от ужаса, ожидая своей участи. Он уже не страшен, а просто отвратителен. И среди тех, кто осудил его, нет ни сочувствующих, ни палачей по призванию. Я хочу показать естественное отвращение к кровопролитию в людях, которых вынудили убивать.

– Правильно, – сказал Моргунов.

– Спасибо. Мне особенно важно услышать это от вас. Ведь, в сущности, именно вы имели больше всех оснований убить предателя, погубившего Лену!

– Имел, – кивнул Моргунов, нахмурившись.

– И может быть...

Саша заерзал на своем стуле. После того как Сергей Константинович окончательно отвел Моргунова, посчитав личностью недостаточно яркой по сравнению с другими подпольщиками, и было решено в сценарий его не включать, автор о последующих беседах с Михаилом Васильевичем информировал режиссера схематично, в том числе и о личном его участии в казни Тюрина. Сценарий уже находился в высоких утверждающих инстанциях, сам Моргунов по-прежнему упорствовал, не соглашаясь фигурировать в сценарии, так что высказанное в общей форме признание, по мнению автора, мало что добавляло по существу дела, и он не придавал словам Моргунова решающего значения.

– ...принимали кое-какое участие?

– Убил его не я, – ответил Михаил Васильевич.

Автор вздохнул облегченно.

– Кто же по сценарию приводит приговор в исполнение? – поинтересовался Лаврентьев.

– Они бросают жребий. В шапке. Я хочу крупно снять руки, достающие бумажки, на одной из которых написано: «Смерть». Потом все, кроме вытянувшего жребий, выходят, оставляя его наедине с предателем. Соседняя комната. Лица людей, ожидающих выстрела. Каждый по-своему, в своем характере. Кто-то смотрит в окно, кто-то расстегивает и застегивает пуговицу на стеганке. В лицах нет торжества. Только суровость. Они знают, что никогда не вспомнят этот час с радостью или улыбкой. Выстрел за дверь. И человек с пистолетом на пороге. Ну как?

– Вы правильно это задумали, – сказал Моргунов.

– Да? Я очень рад. Только меня смущает выстрел. Шум, который может привлечь внимание. Все-таки это подполье. Скорее, предателя прикончили иначе. Ударом ножа или даже повесили...

– Нет.

– Его застрелили?

– Да.

– Очень хорошо. Наверно, Пряхин, если не вы. Он наиболее горячий, решительный.

Таким людям и жребий трудный выпадает.

– Нет, не Костя застрелил.

– Так вы знаете кто?

«Неужели расскажет?» – думал Лаврентьев.

А Моргунов колебался. Люди, с которыми он сейчас говорил, вызывали доверие. И режиссер – человек серьезный, видно, не только легкими связями с актрисами занят, да и фифа оказалась не такой пустоголовой, как показалось с первого взгляда... Конечно, они должны знать больше. Но не личную его неудачливую правду, а правду, исторически достоверную. Моргунов много раз слышал, что искусство основывается не на правде факта, а на типичности, обобщении. Но, с другой стороны, без факта что обобщить? И он решил сделать шаг навстречу.

– Я говорил Саше, что не так уж много знаю. Но, насколько мне известно... вернее, насколько я понимаю, застрелил его наш человек, который работал в гестапо.

Лаврентьев налил минеральной воды в фужер и выпил. Режиссер смотрел на Моргунова, как дед-мороз, готовый вытащить из мешка удивительную игрушку.

– И вы знали этого человека?

– Нет, что вы! Это же высшая конспирация.

– И никогда не видели его?

Моргунов медленно и неопределенно повел головой. Лаврентьев смотрел в полупустой в это время дня ресторанный зал, поглаживая пальцами поверхность холодного бокала.

– Ну, тогда вас ждет сюрприз! – объявил режиссер.

– Сюрприз?

– Именно. И я думаю, замечательный. Я познакомлю вас с этим человеком! – воскликнул Сергей Константинович.

Триумф был полным. Все уставились на режиссера, широко открыв глаза, не замечая полнейшей растерянности Моргунова. Лаврентьев налил в бокал еще немного нарзана.

– Этот человек здесь, в городе. Он был у меня. Его судьба сложилась тяжело, – оживленно продолжал Сергей Константинович. – Он был репрессирован, пострадал, теперь оправдав и, услышав о нашей картине, приехал сюда. Я, признаться, не сразу поверил ему, но теперь, когда вы, Михаил Васильевич, сможете с ним встретиться и поговорить, вспомнить... Это великолепно! Нам повезло. Да и вам наверняка небезынтересно повидать засекреченного соратника. Рад доставить вам это удовольствие! – заключил режиссер, не обращая внимания на то, что Моргунов не проявляет ни малейшей радости.

– Спасибо. Неожиданная новость, – сказал он скупно.

– Его фамилия Огородников.

Как и Лаврентьеву, Моргунову фамилия ничего не прояснила.

– Не слышал, но ведь он не мог служить в гестапо под собственной фамилией.

– Логично.

Трудное положение было у Моргунова. Встреча с Огородниковым ставила его перед выбором – или подробно, не щадя себя, рассказать обо всем, начиная с оказавшейся губительной идеи купить Лене туфли на толкучке и кончая схваткой в подвале, в огне начинающегося пожара, или просить Огородникова смолчать, скрыть то, что ему известно, а это тоже был нелегкий и унижительный вариант.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Не ожидал я, не ожидал, – произнес он растерянно.

«Он, конечно, тоже не ожидает», – подумал Лаврентьев.

Зато режиссер был полон решимости осуществить свой замысел в ближайшее время.

– Не будем затягивать вашу встречу. Правда, сегодня у нас режимная съемка. Я буду занят, но завтра обязательно. Договорились?

Что было ответить Моргунову?

– Завтра так завтра, – сказал он, не видя особых преимуществ в отсрочке на один-два дня.

– Вот и прекрасно. Я свяжусь с Огородниковым.

И Сергей Константинович с удовольствием занялся остывшей уже солянкой, которую давно принес симпатизирующий им Валера.

Принялись за еду и остальные, разом вспомнив, что проголодались, за столом после оживленного разговора наступило короткое затишье, и в этом затишье Моргунов, нехотя отламывая маленькие кусочки хлеба и отправляя их в рот, вспоминал большую площадь, где некогда развевались праздничные флаги, а с приходом немцев утвердилась стихия полузаконной коммерции, расположился толкучий рынок.

Здесь действительно толкались, и они с Леной проталкивались через толпу, где почти не видно было взрослых мужчин, а преобладали женщины, закутанные в темные платки, бородатые старики, юркие подростки в отцовской, не по росту, одежде и было много инвалидов, выставляющих на всеобщий показ свои увечья. А над толпой маячили длинные штыки русских трехлинейных винтовок, которыми были вооружены присматривающие за порядком полицаи.

Торговали на толкучке всем: солдатскими шинелями и примусными иголками, самогоном и керосином, сахаринном и кукурузными початками, спичками и кремнями для высекания огня, португальскими сардинами из праздничного немецкого пайка и фарфоровыми амурчиками из наследия «бывших». Правда, никто не выкладывал свои товары, о них сообщали доверительным полушепотом в ответ на столь же негромкие запросы и так же негромко, но упорно торговались, показывая предмет торга из-под полы и чаще всего в движении. Толкучка двигалась непрерывно и гудела мерным гулом, резко отличаясь от довоенного базара, звенящего выкриками темпераментных торговков. А на границе этого своеобразного, подобного броуновскому, движения выстроилась цепь легальных торгово-промышленных точек, фанерных будок с вывесками, где хозяйничали лица, получившие одобрительное согласие властей на скромную предпринимательскую деятельность.

К одной из таких будок и пробивались Мишка и Лена. К Петровичу.

Петрович был мужчина без возраста, в суконной жилетке и накинутой на плечи стеганке, мастер на все руки. Он все чинил и всем торговал. Никто не знал его в городе до прихода немцев и никто не видел потом, после их изгнания, но все, кто к нему обращался, называли его Петровичем и получали необходимые услуги.

– День добрый, Петрович.

– Мое почтение.

– Ну как?

– Порядок.

Так начинался разговор с каждым клиентом, так начал и Мишка, который зашел в фанерное пристанище универсального мастера один, оставив Лену у входа. У него было особого рода дело к Петровичу, и требовалось присмотреть за похаживающими поблизости полициями.

– Достал?

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Экспорт-импорт. Великая Румыния оказала дружественную помощь.

Речь шла о мотоциклетной камере для Константина, которую Петрович взялся раздобыть через знакомого румынского капрала.

– Резина-то как?

– У нас без обмана. Фирма.

– А цена?

– Согласно договоренности. Лишнего не берем.

Петрович нагнулся под стойку, отделявшую его от посетителей, и извлек сверток, предназначавшийся для Мишки, но отдать его не успел. В дверях появился новый, неожиданный клиент, старик в странном и заношенном полувоенном одеянии. Мишка не знал, что старик этот Степан, бывший денщик, слуга и спутник бургомистра Барановского на дорогах переменчивой жизни. Теперь Степан был никому не нужен и быстро опускался, впрочем, еще надеясь на что-то, однако надежд его не мог уже поддержать и сам Петрович.

– Что тебе, дед? – спросил он, оглядывая Степана точным предпринимательским глазом и делая вывод, что перед ним человек конченный и бесполезный.

– Оказавшись в бедственном положении, – забормотал Степан простуженным голосом. – Не требуется ли вам сторож, господин хороший?

– Зачем? Чего охранять?

– Магазин, – проговорил старик неуверенно, делая ударение на втором «а».

– Рехнулся, дед? Эту будку-то?

– Я старый солдат...

– Ладно. Иди с богом. Отвоевался.

– Куда же иттить-то? Под церкву, что ли?

Петрович прищурил наметанный глаз.

– Иди, дед, под церкву. Добрые люди на кусок хлеба подадут.

Степан повернулся по-солдатски круто и вышел, а Мишка все еще топтался на месте, чем вызвал некоторое неудовольствие Петровича, человека делового, ценившего время.

– А ты чего ждешь?

– Туфли мне нужны, Петрович.

– Есть полуботиночки.

– Да нет, для девушки, – смущенно выговорил Мишка,

Но Петрович на смущение внимания не обратил и подшучивать не стал.

– Размер? – спросил он коротко.

Об этом Мишка не подумал.

– Лена! – выглянул он за дверь. – Какой ты размер носишь?

– Что ты, Миша? Зачем?

– Барышня! Прошу войти. Отношения с молодым человеком потом выясните, а пока ножку покажите. Все ясно. Тридцать четыре? Возражений нет? Отлично. У меня нет вопросов.

– Миш!

– Барышня! Не подавляйте благородных порывов души. Они свойственны юности, но угасают с годами. Товар имеется, молодой человек. Дама будет довольна.

– Когда зайти, Петрович?

– Момент.

И Петрович выскочил через заднюю дверь.

Мишка и Лена не успели даже попререкаться, как он явился с довольным видом, потирая руки, и объявил:

– На ловца и зверь бежит.

Но зверь бежал не на ловца, а к жертве, ибо поставщиком Петровича был Тюрин, который к тому времени вполне покончил с предрассудками, отделяющими сверхчеловека от неполноценной толпы, и давно не считал зазорным продавать вещи убитых им людей.

Его больше не требовалось развращать и запугивать, превращение завершилось, недавние сомнения и колебания были подавлены, а вместо них вынашивалась убежденность в собственной исключительности, в том, что он, Жорка Тюрин, по высшему предназначению стал вершителем людских судеб, хозяином жизни и смерти. И, хотя на самом деле ничьей жизнью и смертью он не распоряжался, а служил рядовым палачом, выполнявшим грязную работу для вторгшихся в его страну оккупантов, сознаться себе в этом Тюрин не желал и не мог. И, шагая по городу с нашитыми на одежду каннибальскими эмблемами, он верил, что именно от него зависит, жить или умереть любому встречному человеку. Конечно, это не было бредом в чистом виде – стоило ему задержать прохожего, придравшись к даже выдуманной мелочи, и отнять жизнь уже не составляло особого труда. Однако убить всех или даже большинство людей было все-таки невозможно, и это несоответствие теории и действительности постоянно тревожило Тюрина. «Жалеешь всякую сволочь, – думал он, оглядывая какого-нибудь незнакомого человека враждебным взглядом, – а она на тебя нож точит, своего часа дожидается». И тогда убежденность в предназначении сменялась обыкновенным страхом, а страх порождал злобу, подозрительность и желание выявить и убить всех, кто никогда не простит, не забудет...

Это удушливое чувство и охватило его, когда вошел он в будку Петровича и увидел Мишку и Лену. «Туфли им нужны, гаденьшам, любовь крутят, сопляки, а тут голову каждый день подставляешь», – думал он, хотя до сих пор голову не подставлял, а, совсем наоборот, лишал жизни беззащитных людей.

Но Мишка, увлеченный и гордый, опасной этой враждебности не уловил. Да и чего вроде бы опасаться было? Туфли обыкновенные покупал, не взрывчатку... Потом только он вспомнил и взгляд и тон, но уже поздно было.

Дальнейшее вспоминалось рваными клочками, мелькало до боли четкими вспышками, каждая в отдельности, будто кричащие снимки выхватывал из памяти, и они застывали на миг перед глазами и проваливались один за другим.

Лицо Тюрина.

Ухмылка на нем, когда Лена, держась за Мишкин локоть, примеряет бежевые лодочки.

Ее наивный вопрос:

– Вам, наверное, жалко такие туфли хорошие продавать?

Ведь она думала, что он свое продает, домашнее.

– Не жалко.

Внезапный истошный крик: «Облава!»

В панике бегущие люди.

Солдаты и полицаи, живой цепью привычно охватывающие толпу.

Толпа увлекает Лену, отрывает от него, уносит.

Лена по ту сторону цепи.

Узкий штык у самого лица.

Сумка с камерой в руках.

Он бросает ее под ноги, на мостовую.

Крик: «Стой!»

Тюрин с сумкой.

«Откуда он?!»

Бегущие люди между Мишкой и Тюриным.

Подворотня разрушенного бомбами дома.

«Скорее сюда!»

Груды обломков, и над ними уцелевшая стена.

На стене лестница с искореженными чугунными перилами.

Он карабкается по лестнице вверх.

Площадь сверху.

Полупустая.

Проверяют документы у задержанных.

Он видит Лену.

Она говорит что-то, доказывает полицая.

Тот машет рукой: «Проваливай!»

Свободна!

И вдруг Тюрин с камерой в руке:

– Держите девчонку!

Мишка прыгает вниз.

Зачем? На помощь! Это бессмысленно. На помощь!

Прыгает. Падает.

Вскакивает. Падает. Подвернулась нога.

Сидит на груде битых кирпичей.

Из-за стены шум автомобилей, увозящих задержанных.

Увозящих Лену.

Навсегда. Навеки...

Режиссер посмотрел на часы.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– А, между прочим, время приближается к режиму.

Действительно, солнце заметно переместилось на запад.

– Поедьте с нами на съемку, Михаил Васильевич. Посмотрите, покритикуете, – предложил Сергей Константинович.

Моргунов встал. Наблюдавший за ним Лаврентьев видел, что он не хочет ехать на съемку, но вмешался Федор, подхватив Моргунова под руку:

– Это крошечный план, но хочется знать, «увидите» ли вы его или он покажется вам сплошной бутафорией...

И они увлекли Моргунова, а Лаврентьев, который не собирался ехать на съемку, вышел во внутренний гостиничный дворик с модным мелким бассейном, выложенным мозаикой, изображающей морское дно с осьминогами и другими чудовищами. У бассейна стояла Марина и бросала в воду собранные со стола крошки.

– Подкармливаете осьминогов?

– Мечтаю поймать золотую рыбку.

Красноперые нездешние рыбки стайкой кружили в бассейне.

– Почему вы не поехали на съемку?

– Неинтересно. Будут снимать какого-то солдата на фоне колонны.

– А вы лентяйка, Марина.

– Ужасная, – охотно согласилась она. – Люблю спать, люблю бездельничать... Но если серьезно, я не хотела ехать с этим человеком, Моргуновым, кажется?

– Обиделись на него?

– Наоборот. Я его понимаю. Он ведь совсем другую девушку любил. А я... – Она провела ладонями сверху вниз, от ушей с большими яркими клипсами до загорелых коленок. – Наверно, ему просто надругательством показалось, что я буду Лену играть. Как вы думаете?

– Да, Лена была другой, – ответил Лаврентьев.

– Вы это так сказали... Будто знали ее.

– Я ведь жил в то время.

– И те девушки до сих пор кажутся вам самыми лучшими?

– Не знаю. Не сравнивал.

– Понимаю. Вы однолюб. Не видите никого, кроме своей жены.

– Семейная жизнь у меня не сложилась.

– Разошлись?

– Марина, вам никогда не приходилось слышать слово «бестактность»?

Она сделала гримаску.

– Все-таки вы, – девушка запнулась, подыскивая подходящее слово вместо обидного «старики», – вы, люди старшего поколения, ужасные...

– Зануды, – подсказал Лаврентьев.

Марина расхохоталась.

– Спасибо. Я так и хотела сказать, но побоялась. У вас какой-то комплекс

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
неполноценности. Вы все болезненно следите, чтобы вам оказывали почтение. Пусть за спиной хохочут, на это вам наплевать. А в глаза обязательно: «Дорогой Иван Иваныч...»

– Меня зовут Владимир Сергеевич.

– Я помню. Вы, по-моему, лучше других. И все-таки... Я, например, не представляю, чтобы я потребовала от своей дочери показного уважения. Или она будет меня уважать, или нет. Лицемерия мне не нужно.

– Разве я добивался от вас лицемерия?

– Нет, это я вообще. На тему «отцы и дети».

– Заведите детей, и ваш взгляд на проблему начнет меняться.

– Вы уверены?

– Думаю, не ошибаюсь.

– Это ужасно! Выходит, все течет, но ничего не меняется? Как же возникнет новый человек?

– Новый человек?

– Ну а как же! Посмотрите, сколько вокруг самодовольных мещан! По-вашему, всегда так будет?

– По-моему, всегда будут хорошие люди.

– Вы увиливаете от прямого ответа. Вас устраивает обыватель?

– Что такое обыватель?

– Ах вы и этого не знаете! Ну, предположим, человек, украшающий комнату книгами, которых не читает.

– А раньше разводил герань и держал канареек?

– Хотя бы.

– Милая девушка! Раньше обыватель разводил герань, а интеллигенты собирали библиотеки, а теперь обыватель скупает книги, а интеллектуалы не прочь полюбоваться цветочком на окошке...

– Что вы этим хотите сказать?

– Создается впечатление, что интеллигент отстает от обывателя.

– Это парадокс или вы меня идиоткой считаете?

– Это шутка, если хотите. Но в каждой шутке есть доля грустной истины.

– В чем же она?

– Не берусь судить, но я бы обратил внимание на это чередование: герань – книги, книги – герань.

– Опять все повторяется?

– Кроме людей.

– Не понимаю, – произнесла она серьезно.

– Ярлыки повторяются, моды повторяются, мысли повторяются, а люди никогда.

– Как отпечатки пальцев?

«Отпечатки пальцев?»

Эти слова возвращали к реальности прошлого. Лаврентьев пожалел о том, что втянулся в спор. Собственные фразы показались фальшивыми, наполненными мнимой значительностью, которая всегда отталкивала его. Он испытал неприязнь к Марине, красиво стоявшей на краю красивого бассейна.

– Простите, я не люблю рассуждений на общие темы. Желаю вам поймать свою золотую рыбку.

Она глянула удивленно.

– У меня есть отвратительная особенность – вызывать в людях раздражение.

– Не огорчайтесь. Я просто не люблю модных споров. Всех этих словопрений от незнания, даже от невежества, простите. Когда-то поэт с гордостью сказал: «Мы диалектику учили не по Гегелю...» И напрасно. У Гегеля есть очень точные суждения о единстве противоположностей и движении по спирали. В них ключик к большинству наших глубокомысленных пререканий. Но я не собираюсь популяризировать философию. Вас обидело недоверие Моргунова? Простите его. Его можно понять. Он не в силах мыслить общими категориями. Для него существует только одна Лена. И она не повторится никогда. Но вас не должно это смущать. Вы будете играть другую Лену. Не для Моргунова и не для меня, а для своих сверстников, как я понимаю.

– А получится? – спросила Марина наивно.

– Экран покажет, – улыбнулся Лаврентьев.

– Чудный вы дядечка.

– Чудный или чудной?

– Чудный. Наверно, вы хороший отец. Знаете, когда пожалеть, когда отшлепать.

– У меня никогда не было дочери.

– Как жаль! Она бы любила вас.

– Спасибо.

– Не смейтесь. Я серьезно. Я ведь всю жизнь с отчимом прожила... Ну да ладно. Не в этом дело. Рассказывать много о себе тоже бестактно. Как и много спрашивать. Правда?

– Иногда.

– Ох как я вам надоела! У вас такие тоскливые глаза. Один только последний вопросик... Я боюсь своей роли. Вернее, побаиваюсь. И знаете чего? Пыток боюсь. То есть не пыток, конечно, а как я сыграю. Я понятия не имею о физической боли. Не хочется выглядеть кривлякой.

– По-моему, это не самое главное.

– Как же? Ее мучили, она страдала...

– Не нажимайте на мучения. Имитировать страдания кощунственно.

– Но я же актриса!

– Вот и играйте хорошего, чистого человека. Девушку, которая не приемлет зла. Не представляет компромисса со злом, отторгает предательство. Это главное. Ей говорят: мы сохраним тебе жизнь, если назовешь имена, фамилии, а она не может назвать, понимаете? Не взвешивает, не делает выбор, а просто не может...

Раньше всех это понял Сосновский. Не потому, что был тонким психологом, а из практики. У него была большая практика, и Лена сразу заняла во внутренней

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
классификации проходящих через руки следователя людей свое точное место – «тварь, фанатичка и дура». Это означало, что она враг, что она активно действующий враг, связанный с другими врагами, и что ее не сломишь и не купишь. Такие ему попадались не впервые и теперь уже не доводили до исступления, как вначале. Он относил их к неизбежным издержкам своей трудной работы и утешался тем, что ни один из таких людей еще не ушел от него живым.

Однако Сосновский сделал все, что было положено, и теперь, посасывая конфетку, смотрел на сидевшую напротив истерзанную Лену.

– Что ж дальше будем делать, девочка? Начнем все сначала?

Начинать сначала было, конечно, бесполезно, но он обязан был произнести эту угрозу, чтобы исчерпать положенные возможности.

Лена молчала.

– Молчим? – Сосновский заглянул в лежащие перед ним бумаги. – Тебе шестнадцать исполнилось?

– Да.

– А вот семнадцати не будет. Как на могилках пишется: «Одна тысяча девятьсот двадцать шестой – одна тысяча девятьсот сорок второй. Спи спокойно, незабвенная доченька». Хотя, пардон, ошибся. Ни надписи, ни мраморного ангелочка, ни красной звездочки у тебя на могиле не будет. Мы таких в карьере, в Злодейской балке в общей куче закапываем. Без эпитафий. Много там уже вашего брата, много. А все не умнеете... Жаль. – Он бросил в рот еще один леденец. – Молчишь? О героической смерти думаешь? «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»? Так тебе в голову вбили? Но ведь это в голове, а каждая клеточка дрожит, а? Жить-то хочется... И надеешься еще небось. Странно человек устроен. Вот и видит, что последняя минута подошла, а все не верит, все надеется. А на что, скажи, пожалуйста? Не на что тебе надеяться. – Сосновский хрустнул переплетенными пальцами. – Ну, прав я или нет? Хочешь жить?

– Хочу.

– То-то и оно. В твои-то годы жить не хотеть! Ну и живи на здоровье. Скажи правду и живи. Для кого камеру покупала?

– Перепродать хотела. Папа болен...

– Молчать! Кто тебе дал право, соплячка, меня за дурака держать?! Кому ты ее перепродать могла? Ты что, не знаешь, что весь колесный транспорт конфискован? Что за такие дела расстрел полагается? Не знаешь, сволочь?

– Больше я вам ничего сказать не могу.

– Не можешь? А больного отца не жаль?

Лена вздрогнула, и Сосновский заметил это.

– Дошло?

– Вы не имеете права.

– Права не имеем? – переспросил Сосновский.

– Он ни в чем не виноват.

– Насчет наших прав не сомневайся. Но ты меня не так поняла. Никто твоего отца сюда тащить не собирается. Он не виноват, что дочку бог умом обидел. А мы люди справедливые. Да и что его тащить, когда он и без нас на ладан дышит. Тебе капут, и он следом. Ты его убиваешь, а не мы. Поняла? Ты!

Это было самое страшное – муки отца, но у нее не было выбора. Она не смогла бы жить, предав товарищей, и, следовательно, даже страшной ценой предательства не могла спасти отца.

И она с трудом повела головой.

Сосновский изобразил удивление:

– И это не действует? Ну и ну! Наштамповали большевички механизмов. Павликов Морозовых. Что нам родители! Что нам жизнь человеческая! У нас же пламенный мотор вместо сердца. Железка бензиновая! Себя в балку, отца на кладбище, а бандит с пистолетом будет на мотоцикле гонять. И над тобой же, дурой, смеяться будет.

– Не будет.

– Ага! Признаешься, значит, что знаешь бандита?

– Никаких бандитов я не знаю.

– Врешь! Задний ход не выручит. Проговорилась, пташка.

– Нет...

– Да ты не спеши в могилу, не спеши. Успеешь. Туда еще никто не опоздал. Подумай лучше. Головой, а не мотором. Подумай. А я и подождать могу. Я терпеливый. Ты мне еще спасибо скажешь, когда к папаше вернешься.

– Не вернусь я.

Сосновский не понял ее интонации.

– В словах моих сомневаешься? Думаешь, обману? Зря. Мы с врагами нового порядка боремся, а сознательный элемент...

– Да не хочу я вашей предательской жизни! – крикнула она, собрав силы.

– Вот ты как! С тобой по-хорошему, – сказал он замученной, окровавленной Лене, – а ты так? Ну, давай, давай высказывайся.

– И скажу. Не предатель я, как вы. И ничего вы со мной не сделаете. Не купите и не запугаете.

– Убьем, – заметил Сосновский, отковыривая пальцем очередной леденец.

– Вам самим жить недолго осталось.

Сосновский оставил конфету и, перегнувшись через стол, ударил Лену по лицу.

– Ясно с тобой, тварь. Бандитка. Так и запишем. С тем тебя германским властям и передадим. А там с тобой особый разговор будет. Не то что здесь. Ты еще мечтать о смерти будешь, падаль.

Он вытер носовым платком кровь с пальцев и, отодвинув коробочку с леденцами, принялся писать соответствующую бумагу. Писал с неудовольствием, зная, что вызовет нарекания, и хотя не без оснований полагал, что в гестапо большего, чем он, не добьются, с этого момента престижно был заинтересован, чтобы Лена продолжала молчать.

Допроса у Сосновского в сценарии не было. Там Лену били и допрашивали сразу в гестапо. На самом деле, однако, в эти оставшиеся дни, а точнее, часы жизни, ее уже не пытали, потому что Клаус, ознакомившись с докладной, справедливо решил, что метод воздействия себя исчерпал. Он признавал умение Сосновского развязывать языки пытками, но к его способностям следователя в целом относился презрительно, ибо специалистом в этой области почитал прежде всего себя, человека несравненно более высокоорганизованного.

– Отто! – приказал он Лаврентьеву. – Позаботьтесь, чтобы девушку привели в порядок, накормили и оказали медицинскую помощь. Она должна увидеть разницу между цивилизованными людьми и этим мясником. Ты ведь знаешь, что его отец

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
работал на бойне?

Клаус, разумеется, руководствовался не только соображениями расового превосходства. Получить сведения о террористах было необходимо, и тут годились все средства, в том числе и «гуманные». Да иных, собственно, и не оставалось. Кнут и пряник – вот и все, что было в их распоряжении, – очень жесткий кнут и очень сухой пряник. Кнут обычно действовал вернее, поэтому к прянику прибегали значительно реже, не возлагая на это последнее средство неоправданных надежд. Все это Клаус понимал и не желал личного поражения.

– Мне пришла в голову удачная мысль, Отто. Кажется, она из интеллигентной семьи. Это нужно использовать. Полная смена обстановки – вот главный прием. Золушка на балу! Каково?

«На балу?!»

Сравнение было диким, но он сказал серьезно:

– Да, это мысль!

– Это замечательная мысль, – подтвердил Клаус самодовольно. – Я продумал ее в деталях. И решил, что принцем будешь ты, Отто.

– Я?

– Конечно. Я поручаю эту девочку тебе. С твоим образованием ничего не стоит произвести должное впечатление на профессорскую дочку.

«Вот что значит неосторожно процитировать Гёте в компании невежд!» Он никогда не думал, что репутация образованного немца сыграет с ним такую злую шутку. Но он еще не знал, насколько злую и непоправимую. И потому нашел в распоряжении шефа даже нечто положительное. У него мелькнула надежда помочь Лене.

– Конечно, я постараюсь.

– Ты приложишь все усилия и добьешься успеха. Мы не можем позволить бандитам безнаказанно убивать полезных нам людей, пусть они даже русские...

Лаврентьеву запомнился скрежет отпираемого замка тюремной камеры. Это была одиночная камера, в которую перевели Лену, чтобы она пришла в себя. Вопреки правилам внутреннего распорядка ей разрешили не поднимать койку с общим подъемом, а оставить так, чтобы можно было лежать и днем. И она лежала, но, заметив, что дверь открывается, села на койке, опустив ноги на цементный пол.

– Встать! – гаркнул надзиратель, не посвященный в тонкости операции «Золушка».

– Отправьте его, – сказал Лаврентьев переводчику Шуману.

– Можешь идти, – кивнул тот пренебрежительно неопрятному пожилому надзирателю со связкой ключей в руке.

– Прикажете запереть камеру снаружи?

Лаврентьев отрицательно качнул головой.

– Дурак! Что мы, с полудохлой девчонкой не справимся? – «перевел» Шуман.

– Слушаюсь.

Надзиратель вышел, и Лаврентьев присел на ввинченный в пол табурет возле откидного столика под зарешеченным окном, прикрытым снаружи специальным щитом так, чтобы из камеры нельзя было видеть ничего, кроме маленького кусочка серого в этот день неба.

– Вам оказали медицинскую помощь? – спросил он, глядя на ее забинтованные руки.

– Да.

– Ваши раны скоро заживут.

Прислонившись плечом к стене, Шуман переводил его слова.

– Зачем? Чтобы снова истязать?

– Вас не будут больше пытаться.

– Я вам не верю.

С каким наслаждением проломил бы он голову этому мерзавцу Шуману и сказал бы ей по-русски: «Я спасу вас!» Но разве дело было в одном Шумане? Только тут, в тюремной камере, Лаврентьев понял, как ограничены его возможности.

– Я пришел, чтобы помочь вам.

Она посмотрела на него ясным взглядом глубоко запавших измученных глаз.

– Помочь?

– Я понимаю вас...

С еще большим удивлением она переспросила:

– Понимаете? Разве вас жгли когда-нибудь раскаленным железом?

Нет, его не жгли, но лучше бы жгли. В ту минуту.

– На войне случаются тяжкие ошибки. Если вы не виноваты...

– Я виновата...

– Вы понимаете всю ответственность ваших слов?

– Я виновата в том, что сама не убила ни одного из вас.

– Вы не должны так говорить. Такие слова могут повредить вам. Я понимаю ваше состояние, но вы должны подумать о будущем.

– Не старайтесь. Я не хочу больше жить.

Даже подонок Шуман оторвал плечо от стены и закашлялся слегка, переводя эти слова, а Лаврентьеву стоило огромных усилий сдержать себя, по крайней мере до того, как прозвучит перевод.

– Вы не должны так говорить. Вы должны жить!

– После этого?

И она протянула искалеченные перевязанные руки.

Эта мысль терзала его самого – а сможет ли он жить потом, жить, как все, когда все кончится и никто не будет убивать и пытаться?!

Он смог жить. Но жил не как все, хотя об этом не подозревали те, кто его знал. В том числе и эта красивая актриса, подкармливающая красивых красноперых рыбок в современном бассейне. Он мог бы сказать ей много, но сказал обычное:

– Играйте хорошего человека.

И Марина тут же возразила:

– Это прямолинейно. Лена, конечно, героиня. Но ведь ей хотелось жить! Не могла же она хоть на секунду не заколебаться, не прийти в отчаяние?

Лаврентьев покачал головой.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Митя Карамазов говорил: «Широк человек». Но здесь не тот случай. Не поддавайтесь моде. Была мода на черно-белое «или – или»... Сейчас, кажется, серо-буро-малиновые в спросе. Сложность! А разве цельность не есть высший тип сложности?

Снова ему стало неловко. Какое право имеет он резонерствовать? Случайный человек в ее глазах... И останется таким, потому что не расскажет о себе ничего. Ведь его правда слишком неправдоподобна для этой девушки из другой эпохи. В пересказе трагедия всегда смахивает на мелодраму, а мелодрама похожа на выдумку...

– Милая Марина! Я увлекся и, кажется, говорю вам то, что, видимо, должен говорить режиссер. А он, возможно, думает совсем не так...

Режиссер вернулся с вечерней съемки поздно, но, несмотря на хлопоты первого дня, не собирался сразу спать. Он был типичной «совой», то есть принадлежал к той половине людей, что склонна засыпать поздно. Это мешало поспевать вовремя к утреннему режиму, но на завтра такового не было назначено, я Сергей Константинович собирался спокойно отдаться ночному бдению. Он любил поздние часы, когда приходит тишина и никто не пристает с деловыми вопросами.

– Мы, кажется, неплохо поработали сегодня, Светлана, – сказал он, расстегивая рубашку.

– Да, – откликнулась Светлана. Она зашла отчитаться и просматривала записи в блокноте, вычеркивая то, что уже было сделано. – Но нужно еще позвонить Андрею в Одессу.

Андрей был актером, игравшим роль Шумова, и звонить ему должен был ассистент, а не второй режиссер, но человек этот заболел, и функции его взяла на себя аккуратная и исполнительная Светлана.

– Не нужно, – махнул рукой Сергей Константинович.

– Но мы должны знать, прилетит ли он завтра? Его могли задержать на гастролях.

– Тем более. Я не хочу сейчас неприятных вестей. Имею я право на отдых, в конце концов?

– Если исходить из Конституции...

– А из чего же мне прикажете исходить?

– Из интересов дела.

– Интересы дела не должны противоречить Основному Закону.

– Ценю ваш тонкий юмор, но с вашего разрешения все-таки закажу Одессу.

– Не разрешаю, Светлана. Не разрушайте очарования южной ночи телефонным трезвоном. Мне хочется быть спокойным и счастливым. Хотя, признаться, для полноты счастья не хватает бутылочки вина.

О вине он упомянул просто так, к слову. Вина все равно не было, да и решение воздерживаться до конца съемок только вступило в силу. Но Светлана не знала об этом решении.

– Если вы разрешите мне позвонить в Одессу, я принесу бутылку портвейна.

Режиссер задумался. За обедом он отлично продержался и, следовательно, вполне способен выполнить намеченное. Пожалуй, ничего страшного не произойдет, если после утомительного дня он и позволит себе небольшое отступление от жестких правил.

– Вы страшный человек, Светлана. Идете к цели, не считаясь со средствами. Вы хотите меня подкупить?

– Да.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Ну что ж... Считайте, что вам это удалось. Пусть вместо ночи светлых раздумий наступит вакхическая оргия.

– Оргии не будет.

– Почему же?

– Бутылка не полная.

– И на такую мелочь вы пытаетесь купить мои принципы?

– Почему мелочь? Грамм шестьсот...

– Как ваша девичья фамилия, Светлана? Змей-искуситель?

...На самом деле девичья фамилия Светланы была иной, хорошо известной в определенных научных кругах. Отец ее, видный ученый, рано овдовел и продолжительное время жил один, потрясенный неожиданной потерей. Но пришел день, когда он обратил внимание на фанатическую преданность молодой секретарши, сумевшей внести в служебную деятельность ученого тот необходимый порядок, к которому он постоянно стремился, но в силу характера сам не мог ни создать, ни поддерживать. Склонный к энергичным действиям, он пригласил секретаршу в кабинет и, преодолевая смущение, спросил круто:

– Послушайте, вы влюблены в кого-нибудь?

Она была влюблена в шефа, однако растерялась и прошептала:

– Нет.

– Отлично. Тогда, может быть, вы станете моей женой? Конечно, если вас не устраивает это предложение, – добавил он, – забудем о нем.

– Нет, – опять прошептала она.

– Что значит – нет? – уточнил он. – Нет или да?

Конечно, это значило «да», и будущий Светланин отец женился на женщине, которую сделал раз и навсегда счастливой.

Весь смысл своего существования мать Светланы видела в том, чтобы угадывать и исполнять желания мужа. Внутренне она никогда не поднялась на один уровень с ним да и не помышляла об этом. В семье сложился культ отца, и Светлане с детства внушалось восторженное преклонение перед этим необыкновенным человеком. Сначала она поддавалась внушению и действительно обожала отца, но однажды увидела в нем капризного, эгоцентричного старика, избалованного матерью и былыми заслугами. Убедившись, что изменить домашний уклад она бессильна, Светлана, что называется, хлопнула дверью. Обозвав мать, может быть, не совсем справедливо мадам Грицацуевой, которая не решалась называть мужа иначе, чем товарищ Бендер, она ушла в среду, невероятно далекую от жизненных интересов и симпатий своей семьи.

Был момент, когда Светлана поддавалась соблазнительной мечте о карьере актрисы, но природный ум помог ей быстро понять, что существуют пределы нашим возможностям. Она осталась в кинематографе на своем месте, и режиссеры-постановщики наперебой сманивали ее друг у друга. К сорока годам Светлана Дмитриевна была незаменимым человеком с несложившейся личной жизнью и выслушивала от взрослеющей дочери те же упреки, которые бросала некогда в лицо презируемой за добровольное рабство матери. Действительно, у нее развились наследственные черты: каждому избранному режиссеру Светлана отдавала не только природное служебное усердие, но и испытывала необходимость любить его и заботиться о нем. Любить не в элементарном постельном смысле, хотя случалось и такое, но прежде всего жалеть, сопереживая режиссерские тревоги, каждодневные хлопоты и нервотрепку по пустякам.

Как могла, Светлана облегчала жизнь очередному шефу, однако Сергею Константиновичу соболезнала особо, считая его человеком талантливым и невезучим, а насчет везения у нее были твердые убеждения, она верила в судьбу и рассматривала жизненные неудачи отнюдь не как случайный результат ошибок или

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
интриг, а как следствие причин гораздо более серьезных, в которых человек не всегда властен. Впрочем, несмотря на особое отношение, Светлана черты не переступала, вела себя ровно и делала лишь то, что ей полагалось по должности и что хотелось самому Сергею Константиновичу.

– Вот, пожалуйста, – она поставила на стол бутылку.

Сергей Константинович пошел в ванную мыть стаканы, а Светлана присела к телефону и заказала волнующую ее Одессу.

– Ну что? Ваше сердце успокоилось? – спросил режиссер, вернувшись.

– Предварительно. Впереди еще разговор.

– Выпейте в порядке подготовки к неприятностям. У меня впечатление, что здешний портвейн лучше московского.

Светлана отхлебнула из стакана.

– Пожалуй, не такая дрянь... Но все равно отравя. – Слова эти вызвали у нее определенные ассоциации, и она добавила: – Ну и видик был у вас утром...

– Я волновался.

Он не лицемерил. Он бы мог добавить, что продолжает волноваться. Тягости похмелья прошли, но опасения за картину уйти не могли, и Светлана понимала это. Однако она не хотела беречь ран.

– Первая съемка всегда волнительная.

Он посмотрел на нее, увидел, что она все понимает, и сказал доверчиво:

– Если у меня и на этот раз ничего не выйдет, пойду во вторые режиссеры. Вы не боитесь конкуренции, Светлана?

Светлана понимала, как трудно даются такие признания, но она умела жалеть гораздо сильнее, чем выражать сочувствие, и сказала:

– Зачем вы так, Сергей Константинович!

Даже Сережей не назвала, не решилась, хотя он и был лет на семь моложе.

– Иногда приходится признавать, что взялся не за свое дело.

– Я уверена, на этот раз получится.

Где-то в душе ему хотелось услышать другое, о том, что сделанные им картины не поняты, не оценены. Он нахмурился.

– А я не уверен. Меня преследует этот шепоток: «Он не Феллини...» Ведь вы тоже так думаете?

Светлана села рядом на подлокотник кресла и провела пальцами по его спутанным волосам.

– Неважно, кто о чем шепчется и что думает. Важно, что вы сделаете.

– Я хочу сделать. Но я лучше вижу то, что не хочу делать, чем то, что мне нужно. У меня свое, странное отношение к войне. Никаких личных воспоминаний. Я был младенцем, когда мы, как я теперь понимаю, безбедно жили в Ташкенте... Потом вернулись в столицу. Где-то в первичной памяти засели салюты – рассыпающиеся ракеты над крышами. В семье никто не погиб. Просто нечего помнить... Но иногда кажется, что память беспокоит меня. Память-тревога. Или память-зависть? Да, представьте себе! Подсознательная тоска по суровому миру, очищенному от шелухи суетности, миру четких координат и ориентиров со своей шкалой истинных ценностей... Ведь какой облегченной и беспредельно запутанной одновременно жизнью мы живем, на что тратим душевные силы! Как редко бываем счастливы! Вот

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
вы, прекрасная женщина, о которой должен мечтать каждый мужчина, но где же ваше простое человеческое счастье? Я прошу вас остаться со мной на ночь, вы остаетесь, приходят минуты, ради которых живет человек, а мы думаем о суперкране, о том, что задержался самолет с актером, или о пошлых интригах дирекции...

– Благодарю вас, Сергей Константинович. Вы, кажется, таким сложным образом хотите объяснить мне в равнодушии?

– Ну вот! – Он встал, прошелся по номеру. – Вы же умная женщина, Светлана! Зачем же так по-бабски?.. То, что я говорю, может быть, искреннее двадцати любовных объяснений. Я говорю о том, что у меня наболело, только вам. Я не могу сказать об этом никому другому. А вы предпочитаете ложь о неземных чувствах?

– Нет, нет. Что вы, Сергей Константинович! – воскликнула она с иронией. – Я деловая современная женщина. Да еще свой парень в доску.

– Баба вы, как и все.

– Простите, у меня не спрашивали, кем я хочу быть.

– Вы сбили меня с мысли. Женщины все из другой галактики. Пришельцы. Нельзя предаваться иллюзии контакта...

– Нет уж, дорогой Сергей Константинович! Это вы пришельцы. Приходите и уходите, забывая о нас, землянках.

– Светлана! Вы сегодня не в настроении. Не нужно требовать от мужчин больше, чем они могут дать. Зачем вам сказка о вечной любви?

– Сказка?

Она понимала, что ведет себя не так, как нужно, как ей самой хотелось бы, разрушая сложившийся образ. Но почему? Что за вспышка незапрограммированных эмоций? Потому что он сказал, что в минуты близости думает о своих служебных заботах? Что из того? Обычное мужское свинство, которое они еще умудряются преподносить под видом высшей откровенности. Ах, этим ее не удивишь! Зачем же она взъерепенилась? Откуда этот действительно бабский выбрык? И она поняла: из-за того толстяка...

– Это не сказка. Вернее, это прекрасная сказка. Слишком прекрасная, но чтобы быть человеком, нужно в нее верить.

– Ну, Светлана, ну, Светлана! Вы меня сегодня поражаете. Вот уж подлинно: женщина всегда за семью печатями.

– Просто женщина – это женщина. Но мне никак не удастся вам это доказать, – заставила она себя улыбнуться. – Пейте портвейн. Вы правы: не следует требовать от мужчин многого.

– Я сказал, не нужно требовать того, чего они не могут дать.

– Могут. Но не все.

– Светлана, вы напомнили мне первую жену, которая всегда ставила мне в пример «других мужчин». А я в ответ предлагал показать хотя бы одного «другого». Это была беспроектная игра. «Других» не бывает.

– Вы сегодня обедали с таким человеком.

Режиссер глянул оторопело.

– Да, да, Сергей Константинович! Я имею в виду Моргунова. Этот смешной толстый человек любит всю жизнь. И полурбенок Марина поняла это сразу, а вы не поняли, хотя должны были понять.

Она хотела сказать жестче: «Какой же вы после этого художник!» – но сдержалась.

Впрочем, мысль прозвучала достаточно ясно.

– Не будем возвращаться к проработанной теме. Я плохой режиссер. Но ведь он любит ее всю жизнь потому, что ее убили. Представьте себе эту пару сегодня. Ворчливая пожилая женщина, семейные свары...

– Перестаньте. Вы не знаете, о чем говорите. Может быть, он и с нынешней женой живет замечательно, потому что его души коснулась настоящая любовь.

– Его души коснулась трагедия! Вот что важно! – крикнул режиссер. – Послушайте, Светлана, перестаньте пререкаться! Вернемся к нашей работе, к искусству. Моя главная мысль именно в этом, в очищающей роли трагического. Меня тошнит, когда говорят, что миллионы людей погибли ради того, чтобы мы хорошо жили – жирно ели, пили эту сивуху, гробили душевные силы в погоне за финскими стенками, радовались французскому шампуню. Это же чудовищное кошунство – если юная девушка, подросток, почти ребенок, пошла на смерть, чтобы я через тридцать лет купил себе «Жигули»! Осознайте это, Светлана. Не ради благополучной жизни совершается подвиг и проливается кровь. Они бы возненавидели нас за такие мысли, встань они сейчас из гроба. А их-то и в гробах не хоронили... Нет, эта девочка умерла не затем, чтобы вы обтягивали зад американскими джинсами. Она умерла для того, чтобы этот смешной толстяк мог всю жизнь любить, чтобы в памяти его она осталась более красивой, чем наша прекрасная Марина. Только в этом смысл жертв. Они оставляют нам человечность, мудрость души... Вот о чем я хочу сделать картину. – Он выпил залпом вино и сел на диван. – А как это сделать? Не разговорами же с экрана. Это должно ощущаться, жить, а не провозглашаться.

Телефон не дал Сергею Константиновичу продолжить.

– Одесса! – подхватила трубку Светлана.

Но это была не Одесса. Звонила дежурная.

– Уважаемые товарищи! У вас в номере громко разговаривают, а время позднее. Прошу вас... Вы мешаете отдыхать соседям.

– Хорошо, мы не будем мешать спать соседям, – ответил Сергей Константинович, которому передала трубку Светлана.

Сравнительно вежливое ведомственное предупреждение, против которого нельзя было возразить по существу, как-то сразу охладило его, он почувствовал накопившуюся за день усталость.

– Все правильно, Светлана. Это была не дежурная, это голос свыше. Шумим, братцы, шумим... А нужно трудиться. Назавтра работы полно. Да еще гестаповец придет.

– Кстати, по поводу гестаповца. Почему его нет в сценарии? Автор проморгал?

– Нет, автор знал, что такой человек был. Но это и все, что он знал. Мы решили обойтись без него.

– Почему?

– Потому что в реальном подполье иметь такого человека хорошо, а в кино очень плохо. Затаскали. Штамп. Палочка-выручалочка для подпольщиков. Непобедимый Клосс номер тысяча первый. Или вы хотели поработать с Микульским?

– Микульский – неотразимый мужчина.

– А мне кажется, потолстел.

– Все равно хорош. Но у нашего Клосса какая-то необычная судьба?

– Попробуй протащить эту судьбу через худсовет. Гарантирую полную обычность на выходе. Нет-нет. Дайте мне сосредоточиться на Шумове. Его я вижу...

Телефон вдруг взбеленился, даже трубка задрожала.

– Вот это Одесса, – определил режиссер. – Сразу видно южный темперамент.

Действительно, это была Одесса, откуда сообщили вести самые благоприятные – актер выехал в аэропорт.

– Прекрасно, – сказал Сергей Константинович.

На самом деле положение было не столь благоприятным, потому что в аэропорту актер узнал, что рейс откладывается. Огорчившись, он выпил в буфете чашку плохого кофе и, с трудом отыскав в зале ожидания свободное место, втиснулся со своим плоским чемоданчиком «дипломат» между двумя многодетными семьями. Время тянулось, как всегда в подобных случаях, медленно, и, чтобы занять его, актер достал и начал перелистывать сценарий.

Как и Шумова, актера звали Андреем, и они были людьми одного приблизительно возраста, однако жили в разное время, и возраст этот оценивался соответственно по-разному. Шумов в свои сорок лет считался человеком если не пожилым, то, во всяком случае, пожившим, давно оставившим молодость позади, а актер в те же годы, несмотря на установившиеся недуги и заметно обозначившуюся лысину, продолжал в глазах окружающих оставаться молодым. Больше того, и сам он видел своего сверстника Шумова человеком старшим. Он ощущал в нем устойчивость и умение делать верный выбор в сложных обстоятельствах, качества, которые приходят с возрастом, вырабатываются жизненным опытом и которых сам он не находил в себе, несмотря на прожитые годы.

Это ощущение и побудило Андрея согласиться играть в картине – захотелось хоть ненадолго перед камерой почувствовать себя спокойным и мужественным, свободным от непреодолимой власти суеты, в которой он жил, с горечью сознавая, что живет и работает на взнос, сплошь и рядом не во имя великой цели и даже не из-за денег, хотя денег постоянно не хватало, а прежде всего потому, что не в силах одолеть инерцию суеты, потому что ему, как и большинству окружающих, легче соглашаться на перегрузки, чем противостоять им, хотя все и понимают, к чему это ведет.

Андрей мог назвать немало людей своего поколения и своего образа жизни, чьи фамилии уже промелькнули в черных рамках на последних полосах газет, промелькнули со словами «неожиданно оборвалась», что было неправдой, ибо люди эти прекрасно знали: жизнь, которую они ведут, может прерваться в любую минуту. И зная все это Андрей не первый уже год отказывался от отпуска и каждое лето совмещал нелегкие гастрольные поездки со съемками в двух картинах, питался в буфетах, спал в самолетах, много курил, пил кофе, коньяк, а то и несусветную дрянь, называемую в просторечии «коленвалом», чувствовал себя скверно и с невеселой самоиронией думал, что, будь его герой таким же переутомленным и измученным, никаких подвигов ему бы не совершить...

В окружении актера много говорили о новейших средствах поддержания жизни. Один вычитал про атомный стимулятор сердца, который может без замены гонять кровь по организму двадцать пять лет, другой, решительно отвергая мнимые достижения медицины, питался отрубями и ходил босиком... Андрей на такие панацеи не надеялся. Он верил только во внутренние силы человека, в естественную способность пережить непереживаемое или отдать жизнь, когда это необходимо, и с грустью подозревал, что силы такие даны природой не каждому, что сам он может лишь имитировать их в короткие минуты перед камерой или на сцене. Но это были его счастливые минуты, и актер, несмотря на усталость и задержку рейса, грозившую бессонной ночью, думал о завтрашнем дне с удовольствием.

Ему нравился эпизод, в котором Шумов разговаривает с Сосновским, вынужденным освободить Шумова, но внутренне ни на секунду не сомневающимся, что тот «чужой». Эту уверенность Шумов видит и понимает, что врага не проведет, что можно только выиграть немного времени в смертельном поединке, чтобы успеть нанести удар первому, до того как Сосновский разоблачит его или просто убедит гестапо прикончить Шумова по подозрению.

Это была одна из немногих сцен, где автор приблизился к действительности, хотя, конечно, и не воспроизвел ее с протокольной точностью.

Шумов вновь пил пиво в театральном буфете, но на этот раз за столиком, и Сосновский опять первым подошел к нему и сказал тем же, уже усвоенным в

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
разговорах с Шумовым насмешливым тоном:

- Вот уж не подозревал, что вы завзятый театрал.
- Напрасно. Подозревать – ваша обязанность.
- Устаю на работе.
- Я тоже. Вот и захожу сюда изредка.
- Отдохнуть? – спросил Сосновский.
- Конечно. Что же еще тут можно делать?
- Вы знаете немецкий язык, а пьяные офицеры громко болтают.
- Опять вы за рыбу деньги, Сосновский! Мы с вами, как Жан Вальжан с Жавером.
- Жавер, между прочим, прав был, когда подозревал Жана Вальжана.
- А чем дело кончилось? Помните?
- Со мной так не случится, – заверил Сосновский.
- Надеюсь. Да вам меня и не разоблачить.
- В смысле, пороху не хватит?
- Не ловите меня на слове, Сосновский. Я всегда сажусь подальше от шумных компаний. С этого столика и звукоулавливателем ничего не поймаешь.
- Я заметил, что вы предпочитаете одиночество. Но это тоже по-своему подозрительно. Этакая подчеркнутая незаинтересованность.

Шумов пожал плечами:

- Иронический вы человек...
- Слышу слова бессмертного классика, великого знатока души нашей!

Сказал это не Сосновский, который Достоевского не читал, а Шепилло, редактор газеты «Свободное слово», неопрятный, всегда подвыпивший человек с внешностью и манерами провинциального претенциозного журналиста. До прихода немцев Шепилло был известным в городе фельетонистом, однако мало кто знал, что по совместительству он успешно подвизается в жанре вроде бы противоположном фельетонному – пишет передовые статьи. Каким образом совмещал он сатирическую едкость с официальной патетикой, осталось загадкой, но «разносторонность» весьма пригодилась ему в новых условиях. К немцам Шепилло перекочевал как-то естественно, не мучаясь сомнениями, но и не прибежал очертя голову – с эвакуацией запоздал, остался в городе, вышел по приказу на работу по месту бывшей службы и как человек с репутацией критика советских недостатков, да еще явившийся раньше других, получил повышение и был назначен редактором. Разумеется, Шепилло-фельетонист «новому порядку» был не нужен, и ему пришлось обратиться к опыту автора передовиц. Газета, печатавшая портреты Гитлера и военные сводки вермахта, пестрела привычными жителям заголовками: «Поможем фронту», «Возродим родной завод», «Положить конец вредительству», «Хорошие вести с полей» и так далее. Любопытно, что оккупационные власти подобную «традиционность» не осуждали; они считали ее более доходчивой, чем архаичный стиль эмигрантских изданий, и Шепилло благополучно существовал, поддерживая тонус ежедневными дозами спиртного.

Сейчас он откликнулся на случайно услышанные слова, явно распираемый желанием изложить рвавшие наружу мысли. Излагал он шумливо и не газетным стилем, а длинно, не скупясь на отступления.

- А что есть душа наша? Вы позволите?

Шепилло со стаканом в руке подошел к столику Шумова, подвинул стул и уселся, не

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
дожидаясь согласия.

– Душа русская есть нива страшных заблуждений, качель падений и взлетов, Скифия и Эллада. Да-да! Вы не ослышались – в этом разгадка тайны. Два пика возвышаются над кряжами искусства – Эсхил и Достоевский, Афины и Петербург. Что общего? – спросите вы. Отвечу! Обоих вскормила Скифия. Лишь прикоснувшись к необъятной шире, можно проникнуть в глубины. Не спорьте! Пушкин никогда не стал бы великим поэтом, не сошли его царь в здешние степи. «В Молдавии, в глуши степей...» Мы скифы! Мы способны создавать великое искусство и совершать великие преступления. Пушкин поехал в степь, чтобы описать кровожадные злодейства Пугачева. Улавливаете мою мысль? А кто победил Пугачева? Полковник Михельсон, из дворян Лифляндской губернии. Вот откуда приходит к нам цивилизация. С Рюриком и Михельсоном. Петр Великий пил за учителей, которые били его. Господа, нас нельзя научить иначе. И я предлагаю выпить за великую Германию, которая спасает нас от Раскольниковых и Митрофанушек, ибо они наши герои, а не Штольц. За Штольца, господа, за Штольца!

– Ну и набрались же вы сегодня, Шепилло, – сказал Сосновский брезгливо. Он не любил пьяных, да и отвлеченных рассуждений тоже.

– Я пьян?

– Как сапожник.

– Святой Владимир завещал нам... Веселие Руси...

– Вам святой Владимир ничего не завещал. Вы беспринципный безбожник.

– Позвольте. Я даже при большевиках нательный крест носил.

– И писали антирелигиозные передовые?

Шепилло провел пальцем перед носом Сосновского:

– Оставьте. Подбираете ко мне ключик? Не выйдет. Я своих грехов не скрываю. Да, мне приходилось идти против совести. А что делали вы? Разве вы травили колхозный скот? Вы лечили его. Ну, лечили или травили?

– Я скот не травил, а вот вы отравляли людей идеологической отравой.

Шепилло снова провел пальцем.

– Попрошу! Я писал фельетоны, и люди знали мое имя. Я боролся там, где можно было бороться. Я тыкал их носом в собственное дерьмо, а вы отсиживались в теплой конторе. И не пугайте меня. Я стоик. Я всегда готов покинуть этот похабный мир...

– После пол-литра вы стоиком становитесь. Стоик!.. Пьяница обыкновенный. Набрались и куражитесь.

Это был типичнейший разговор, каких шумов наслушался вдоволь.

Ничтожная кучка людей, что связали свою судьбу с оккупантами, жила, а точнее, существовала в особом, странном микромире, в постоянно нервном, искусственно взвинченном состоянии, лишенном уверенности в себе и в завтрашнем дне, хотя люди эти только и говорили об освобождении, долгожданном избавлении и близкой окончательной победе. Они много пили и, что выглядело нелепым, зло и раздражительно относились друг к другу, хотя в силу обстоятельств, казалось бы, должны были чувствовать себя единомышленниками. Вместо привязанности их объединял стадный инстинкт, особый нюх на «своих», и шумов понимал, конечно, что, несмотря на постоянные споры, пререкания и даже скандалы, принимавшие порой оскорбительные формы с рискованными политическими обвинениями, Сосновский, не переносивший Шепилло, человека, во многом ему противоположного и им презираемого, не будет в действительности добиваться его гибели, ибо Шепилло в отличие от шумова – «свой», хотя, разумеется, без колебаний столкнет его за борт, когда корабль станет тонуть и начнется драка за места в шлюпках.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Атмосферу эту удалось уловить и в сценарии, чувствовал ее и актер, которому предстояло играть Шумова и который сидел пока в зале ожидания Одесского аэропорта.

Только что объявили, что рейс его задерживается еще на сорок минут, зато пригласили на посадку вылетающих в Грузию.

В Тбилиси, там все ясно, там тепло,
Там чай растет, но мне туда не надо! –

вспомнил он строчку Высоцкого и, вздохнув, приготовился ждать дальше, не особенно доверяя точности последнего объявления...

По сценарию во время пререканий Сосновского и Шепилло в буфет входил Константин Пряхин и делал условный знак Шумову. Тот незаметно выходил.

На самом же деле Шумов ушел, не скрываясь и не по сигналу Пряхина, а открыто, без тайного умысла и совсем непреднамеренно встретил у подъезда также уходившую Веру с большим букетом цветов.

– Господин инженер?

Шумов приподнял фетровую шляпу. Он уже не носил шинель, а был одет в штатское.

– Вы одна?

– Да, я сбежала от немцев.

– И не с пустыми руками? – кивнул Шумов на букет.

– О да! Они все есть восхищен очаровательни фрейлейн Одинцова, – передразнила она своих поклонников со смехом, и Шумов уловил заметный запах спиртного. – Но они мне ужасно надоели.

– Преклонение публики...

– Ах, оставьте! Не говорите книжными словами. Проводите лучше меня. Так страшно ходить одной.

– Скоро это кончится. Победа не за горами.

Они шли полутемной улицей.

Вера опустила букет.

– Чья победа, Шумов?

– Как прикажете понимать ваш вопрос?

– В самом прямом смысле. Кто победит?

– По-моему, в этом нет сомнений.

Она вздохнула:

– Какой вы осторожный...

– Время того требует.

– А по-моему, наоборот. Время требует смелости, которой у нас нет.

– О вас этого не скажешь.

– Ерунда. Просто на мои выходки смотрят сквозь пальцы. Они не принимают меня всерьез. Бездумный цветок... Это я в одной книжке прочитала. Давным-давно. Не помню, в какой. Теперь я ничего не читаю. Да и что читать? Библию? Говорят, что там все предсказано. Правда, Шумов?

– Я читал Библию в детстве. Вернее, штудировал то, что полагалось по закону Божию.

– Вы были отличником?

– Нет.

– Странно. А мне кажется, что вы все знаете.

– Увы...

– Нет, вы знаете. Вы знаете, что с нами будет.

– Этому меня в гимназии не учили, поверьте.

– Не увеливайте, Шумов. Как не стыдно хитрить с женщиной! Оставьте это нам... Скажите прямо: что будет

Она остановилась и схватила его за рукав.

– Вера! Извините меня, ради бога, но вы сегодня выпили чуть больше, чем требовалось.

Ей снова стало смешно.

– Вы просто умора. Конечно, я напилась. И не только сегодня... И не только чуть... Ну, ладно, не буду вас мучить. Не нужно мне ничего говорить. Особенно о том, что будет. Я вовсе не хочу этого знать. Нужно жить минутой. Одной минутой, как все наши... Какое мне дело, что будет потом. Я знаю, что будет. Сказать вам?

Вера наклонилась к Шумову и произнесла шепотом:

– Я постарею. Это ужасно.

Она не знала, что этого не будет.

– И это вы говорите мне, пожилому мужчине?

– Не кокетничайте. Вы не пожилой. Да мужчины и не бывают пожилыми. Вы только страшно чопорный. До тошноты... Но я не верю в вашу чопорность.

– Почему же?

– Мне кажется, под вашим строгим нарядом укрылся малюсенький чертик. Крошечный-прекрошечный. Но он в любую секунду может выскочить и показать всем язык.

– Это комплимент или осуждение?

– Не знаю. Просто мне так кажется.

Они проходили мимо разрушенного дома с темными провалами окон. Внезапно Вера взмахнула рукой и швырнула букет в развалины.

– Мне надоело его тащить.

– Цветы украшают жизнь.

– Я не люблю увядающих цветов. Ведь и бездумные цветы увядают.

– Если вы намекаете на себя, то вам тревожиться рано.

– Bravo, Шумов! Какой изысканный комплимент... Но не беспокойтесь. Я не тревожусь. Конечно, это ужасно. Но ведь это будет не скоро, правда?

– Конечно.

– А пока я молода и красива. Очаровательни фрейлейн Одинцова. Женщина, желанная многим. Не так ли?

– Так.

– Однако вы немногословны. Почему так сухо? Вы равнодушны к моему обаянию? А если бы мне пришел в голову каприз провести сегодняшнюю ночь с вами?

– Я был бы счастлив.

Она притронулась пальцами к его щеке:

– Ужас, какой холодный! А ведь я предложила вам все, что могу дать. Это нужно ценить, Шумов. Это очень много, если человек предлагает все. Что у меня есть, кроме моего тела? Но оно красиво, Шумов. Я признаюсь вам по секрету, я люблю смотреть на себя в зеркало... Вы знаете, они, – она имела в виду немцев, – уговаривают меня выступить голой. Хоть на секунду сбросить на сцене все. Я отказываюсь, конечно, и не соглашусь ни за что... потому что я мещанка. Но мне бы хотелось так сделать. Почему убивать людей прилично и даже почетно, а показать красивое тело стыдно? Почему мы любим в темноте? В любви жизнь. Люди вокруг нас теряют ее ежесекундно. Я предлагаю вам глоток жизни... Был такой роман, о том, как подожгли воздух. Он в «Пионерской правде» печатался. Воздух горел, а остатки продавали за большие деньги. По глотку. За деньги. А я не требую от вас ничего...

– Я бы не хотел незаслуженного дара.

– О! Вы очень гордый? Вам нужна любовь до гроба?

Шумов не ответил.

– Ну что ж... В наши дни любовь до гроба совсем не редкость. Я предложила вам нечто большее – бесконечную ночь любви. Вы отказались. Почему? Жаль. Мне бы хотелось проснуться на вашем плече, услышать, как спокойно стучит ваше сердце... Что вас удержало? У вас есть жена, которую вы любите?

– Жена изменила мне, когда я был арестован.

– И вы разуверились в женщинах? Простите, не обращайтесь внимания на мою болтовню. Мало ли что может наговорить пьяная женщина... Вы были так любезны, согласившись проводить меня. Спасибо. Я почти дома. Дальше вам идти не нужно. Ауфвидерзеен!

Она ушла, гулко стуча каблуками по плитам песчаника, которыми была выложена узкая улочка.

Быстро наступала осенняя темная ночь. Воздух был свежим и влажным. Привычным движением Шумов проверил в кармане ночной пропуск и пошел в противоположную сторону. Внезапно мысль, не приходившая прежде в голову, поразила его – он понял, что среди тех, кого предстоит убить ему, взрывая театр, будет и эта безнадежно запутавшаяся в жизни женщина.

– Пятьсот сорок пять, – сказал он вслух, забыв, что идет один по темной улице. Это означало, что к числу пятьсот сорок четыре – столько мест было в театре, – которым он условно (людей могло оказаться меньше или больше, чем мест) обозначил количество обреченных, прибавилась еще одна единица.

С основной цифрой все было в порядке. В зале будут эсэсовцы из дивизии, ожидавшейся днями на отдых и доукомплектование, – высшие чины в центральной ложе, старшие офицеры в первых рядах, младшие подальше, ну и, возможно, кое-кто из пользующихся доверием вроде палача Сосновского и идеолога Шепилло. Эсэсовцы – отборные солдаты врага, в них положено стрелять из всех видов оружия, и его взрыв станет одним из многих фронтовых залпов. Приговор предателям без колебаний вынес бы любой справедливый суд. Они заслужили казнь. Но приговорил бы этот суд к смерти Веру? Или предоставил ей последнюю возможность искупить вину?..

Во второй половине ночи актер задремал. В непрочном сне виделось, что он вроде бы Шумов и соединяет провода, чтобы произвести взрыв. Но взрыв не происходит, и

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
немцы хохочут в зрительном зале, показывая на него пальцами. Неприятное это видение было прервано механическим долгожданным призывом:

– Объявляется рейс номер... Граждан, ожидающих вылета, просят пройти на посадку...

«Наконец-то», – очнулся актер и, подхватив чемоданчик, пошел туда, где толпились нетерпеливо ожидающие.

На летном поле было прохладно, восток пересекла темно-розовая рассветная полоса. Утренняя свежесть бодрила, быстро гнала сон, и Андрей уже шутливо подумал стихами:

Напрягся лайнер, слышен визг турбин...
А вдруг опять задержка?
Опять найдется множество пр-р-ричин...

Лайнер, хотя и без визга, ожидал их.

«Интересно, летал ли Шумов в самолетах? Тогда пассажирские рейсы были в диковинку. Через полюс – другое дело... А вот из Керчи в Вологду... Впрочем, что было Шумову делать в Вологде?»

Посадка прошла быстро.

В дверях салона появилась стюардесса с помятой пухлой щекой – видно, тоже прикорнула в ожидании.

– Наш самолет, – начала она заученно, – совершает рейс по маршруту... – и потеряла ладошкой заспанные глаза.

Лайнер напрягся, и вскоре в иллюминаторе появилось море, быстро набиравшее яркую утреннюю синь. Там тоже начинался трудовой день – двигались казавшиеся сверху неподвижными большие суда, вспенивали гладь бурунами «Метеоры», ближе к берегу покачивались на волнах рыбацкие лодки.

Через полтора часа самолет свернул к берегу и пролетел над городом, заходя на посадку. Тень его стремительно скользнула по улицам и крышам и на секунду коснулась Лаврентьева, стоявшего в лоджии гостиничного номера.

Лаврентьев стоял и думал о Моргунове. Неожиданное, показавшееся ему самому просто нелепым фарсом появление «гестаповца Огородникова», этой, по всей вероятности, авантюрной личности, повергло директора в очевидное смятение.

«И вы знали этого человека?» – вспомнил Лаврентьев слова режиссера. «Нет, что вы! Это же высшая конспирация». – «И никогда не видели его?» Растерявшийся Моргунов повел головой.

Ну, конечно же, он никого не обманывал. Что он мог видеть, а тем более запомнить в то короткое мгновение ярости, унижения и смертельной опасности! Но не только в несовершенстве человеческой памяти было тут дело. Он имел право не рассказывать об этой единственной минутной встрече, и Лаврентьев, как никто иной, понимал его.

И вот теперь этот добродушный и перестрадавший человек ждет своего рода очной ставки с самозванцем, о самозванстве которою не подозревает, и мучается необходимостью доверить сокровенное многим внезапно вторгшимся в его жизнь любопытствующим людям. И конечно же, волнуется и от волнения не разберется, что происходит, и может наговорить совсем ненужное, а вернее, нужное только этому неизвестному авантюристу,

И хотя Лаврентьев твердо решил не раскрывать себя, допустить невольного унижения Моргунова он не мог. Приходилось делать то, что считал он необходимым, а не то, что предпочел бы, имея свободный выбор. И, вздохнув с сожалением, Лаврентьев покинул лоджию, надел свежую рубашку и отправился на завод, которым руководил Моргунов.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Открытые окна одноэтажного здания выходили прямо на улицу, и в них видны были рабочие, по преимуществу женщины, трудившиеся на небольших, каких-то домашних, ничем на напоминающих индустрию века станках и механизмах. Однако на предприятии существовала проходная, и Лаврентьеву пришлось пояснить, что он к директору. На этом формальная проверка закончилась, и он прошел в небольшой двор, где пирамидами была сложена готовая продукция – блестящие металлические цилиндры непонятного Лаврентьеву назначения. За пирамидами располагался флигелек с надписью «Дирекция». В крохотной приемной стучала на машинке пожилая женщина. Она сообщила, что Михаил Васильевич у себя.

– Можно? – спросил Лаврентьев, приоткрывая дверь, ибо докладывать здесь, кажется, не было принято.

Моргунов сидел за столом озабоченный и не сразу узнал Лаврентьева, потому что не ожидал его здесь увидеть. Потом на лице его возникло удивление, и он спросил:

– Вы?

– Я.

Разумеется, этого было мало, чтобы Моргунов понял, и Лаврентьев, присев, приступил к осторожным объяснениям:

– Мне нужно поговорить с вами по делу, как мне кажется, важному. Это с войной связано.

– С войной?

– Да.

– Вы в кино работаете?

– Нет. Я не имею к кино никакого отношения и сразу прошу вас: никому из киногруппы о нашем разговоре ни слова...

– Не совсем вас понимаю.

– Сейчас поймете и просьбу мою, конечно, выполните. Потому и прошу, что уверен. Ничего предосудительного я вам не предложу...

Моргунов молчал. В малопонятных ситуациях он, как и большинство флегматичных людей, предпочитал ждать, пока обстановка прояснится.

– Сегодня вам предстоит встреча с человеком, который якобы служил в гестапо, помогал подпольщикам и убил Тюрина.

Моргунов нахмурился. Лаврентьев ждал этого. Он помнил, что фамилия Тюрин во вчерашнем разговоре не упоминалась, и сейчас назвал ее сознательно, чтобы придать своим словам понятную Моргунову достоверность.

– Тюрина?

– Да. Тюрина. Вы когда-нибудь рассказывали кому-нибудь, как это произошло? На самом деле. Не по жребию, как в кино, а на самом деле, в подвале.

– Кто вы? – спросил Моргунов негромко.

– Сейчас скажу. Но еще один вопрос: вы могли бы узнать того человека? Который застрелил Тюрина?

Моргунов по-вчерашнему тяжело повел головой.

– Я так и думал. Одно мгновение и столько лет... Конечно, вы не узнаете его сейчас. Поэтому я хотел предупредить вас... Для того и пришел. Человек, с которым вам предстоит встретиться, Тюрина не убивал. Он может знать о том, как это произошло, только от вас или от другого, кому вы рассказывали.

– Я никому не рассказывал.

Лаврентьев наклонил голову.

– Я тоже.

– Вы?!

Лаврентьев встал, расстегнул рубашку и приоткрыл плечо, на котором четко выделялся продолговатый след старого ожога.

Подождав немного, пока Моргунов вспомнит и поймет, он застегнул рубашку.

Моргунов молчал.

– В общем-то я дешево отделался, – сказал Лаврентьев. – Вы, наверно, в лицо целили?

– По глазам, – подтвердил Моргунов глухо. – Не думал, что так свидеться придется.

– Да ведь лучше, чем в прошлый раз, – улыбнулся Лаврентьев.

– Лучше. – Моргунов искал себя. – Вы, значит, картину консультируете?

– Я уже сказал. К картине я не имею никакого отношения. Я прилетел сюда, в город... по своим делам. Остановился в гостинице и – надо ж такое! – попал на этих киношников. Они понятия не имеют, кто я такой. Если б не вы и этот Огородников...

– Не раскрылись бы?

– Не собирался.

– Понимаю. Вы на прежней работе?

– Михаил Васильевич, позвольте сейчас этой стороны не касаться. Вы обещали мне...

– Не беспокойтесь. А жаль. Вы ж им столько пользы принести могли.

– Вы тоже.

Моргунову стало неловко.

– Понимаете...

Лаврентьев кивнул.

– Кажется, понимаю, – сказал он, стараясь облегчить неловкость Моргунова. – Вам не хотелось бы рассказывать о том, что произошло в подвале?

– Не хотелось.

– Вы имеете на это право. Ничего недостойного вы не совершили, лгать не собираетесь. А они, в конце концов, снимают художественный фильм, а не про нас с вами картину. Пусть снимают. А сценарий довольно правдиво придуман. Во всяком случае, так могло быть. Потому я и зашел к вам. Не заставляйте себя говорить то, что не хочется.

– А этот Огородников? Кто он?

Лаврентьев пожал плечами, однако Моргунов истолковал его движение по-своему.

– Понимаю, понимаю...

Он решил, что Лаврентьев связан служебной тайной, участвуя в розыске не разоблаченного до сих пор военного преступника.

– Как же мне вести себя?

Моргунов спросил как-то наивно, будто не прошло тридцати лет с тех пор, как был он мальчишкой-партизаном, а Лаврентьев разведчиком-профессионалом, фигурой почти невыносимой для Мишки... Но годы прошли, и в кабинете сидели два немолодых уже человека, в чьем возрасте отвечать приходится больше перед собственной совестью, чем перед начальством, и понимающий это Лаврентьев ответил:

– Не знаю, Михаил Васильевич. По обстановке, как в наше время говорили. Поглядим на гражданина Огородникова; я-то его и сам еще не видел.

И не подозревал, кого увидит, иначе сказал бы Моргунову другое...

– Ясно, – вздохнул облегченно Моргунов, хотя ничего еще ясно не стало, но прояснилось важное для него: не придется краснеть, утаивая правду, или самообнажаться перед незнакомыми людьми. И то и другое было мучительно и ненужно, ибо, как давно уже знал он, случается в жизни такое, что тебе только принадлежит, за что перед собой только отвечаешь, и никто тебе не поможет и не накажет.

– Ну и появились же вы! – улыбнулся он впервые с начала их разговора. – Сколько я вас лет вспоминал... Искать не искал, конечно, учитывая работу вашу. А вспоминал часто. Как вспомню, что убить вас мог, так кошки на душе заскребут. Ну, думаю, повезло тебе, Миша, что он ловчее оказался. А пришли вы тогда вовремя...

– Вовремя?

Знать это было важно Лаврентьеву. Ведь так невосполнимо много был он должен этому человеку, что самая небольшая его признательность радовала Лаврентьева, утешала немного. Немного, конечно, но на большее рассчитывать не приходилось.

– Вовремя, – подтвердил Моргунов.

– Убивать тяжело?

– Убивать тяжело, конечно, но уж этого-то необходимо было. Только сразу, как таракана...

– Тюрин не таракан бы я.

– Не таракан. Неточно выразился. В человеках числился. Отца и мать имел. Ребенком был, мать его ночами на руках носила, когда болел... Это ведь, если вдуматься, страшно. Растет малыш, людей радует, и никто не вообразит даже такого, что будет с ним, какой изверг выйдет и какую ему самому смерть принять придется. Но о смерти его не мне жалеть... О другом я... Он ведь, как зараза, зло вокруг распространял. И если б не вы... Я бы... Понимаете? Трудно сказать, но куда денешься... И я бы в чем-то ему уподобился. Вот за что я вам всю жизнь благодарен. Спасибо вам за тот выстрел.

Не ожидал Лаврентьев этих слов здесь, в кабинете, выразивших так сразу и так четко, несмотря на недоговоренные фразы, их общие мысли. Видно, как и он, много думал о прошлом Моргунов, и не нужно было ему готовиться, чтобы сказать то, чего ждал Лаврентьев, на что надеялся.

У Лаврентьева потеплело на сердце оттого, что Моргунов оказался таким, каким и хотел он его увидеть, и теперь он не сомневался, что и Лена любила этого простоватого с виду крепыша, хотя ни словом не упомянула в своем письме. Но что в этом было странного? Как могла назвать она его имя в письме, написанном в гестаповской камере и отданном в руки человека в гестаповском мундире? Нет, она могла писать только отцу, которого уже не могла спасти, но надеялась еще поддержать, смягчить последние минуты...

– Ладно, Михаил Васильевич, ладно... Какая уж тут благодарность! Давно это было, – сказал Лаврентьев, сдерживая волнение.

– Нет. Недавно. Как в песне. Недавно это было, хотя и давно. Для нас с вами недавно. – Моргунов вдруг торопливо поднялся, будто опомнившись. – Послушайте!

Что ж это я? Что ж мы здесь сидим-то с вами?..

Лаврентьев глянул на часы:

– Время рабочее.

– Верно. Но ведь встреча какая! Не каждый же день...

Вставая, Лаврентьев покачал головой:

– Давайте все-таки отложим. Я здесь еще несколько дней пробуду. Выберем время, поговорим, вспомним.

И хотя много лет он боялся этого слова – «вспомним», – сейчас произнес его искренне, без страха, так успокаивающе подействовал на него Моргунов.

– Конечно-конечно, обязательно. Я вас очень к себе прошу. Может быть, вечером сегодня?

Он в смущении и избытке чувств забыл о встрече с гестаповцем Огородниковым.

– Вечер у нас занят.

– Ах, в самом деле... Но я-то наверняка ни в чем его уличить не смогу.

– Может быть, это и не понадобится. Если он скажет, что убил Тюрина, не возражайте. Прежде всего дадим ему высказаться. А потом я подскажу вам, что делать. Договорились?

– Да уж надеюсь на вас.

– Отлично. Вечером и обсудим, когда встретиться...

Моргунов проводил его до проходной.

– Может быть, вас на машине подбросить?

– Спасибо, пока предпочитаю пешком.

– Да вам-то и лет ваших не дашь.

Они попрощались, и Лаврентьев пошел – на вид стройный и легкий, человек, которому в самом деле лет его не дашь, но годы есть годы, и можно обмануть прохожих, но себя не проведешь, и, отойдя немного от заводика, он сменил шаг, пошел медленнее и тяжелее.

Сердце беспокойно стучало. Волнения не проходили бесследно, хотя он и умел волноваться незаметно для окружающих. Когда-то это спасало ему жизнь, теперь разрушало организм. Самоедство – так называл он свою особенность не выплескивать эмоции, перетирать горести собственными жерновами. Но теперь он знал: камни стерлись, внутри растут невидимые трещины. Не хотелось думать о том, что в любой момент они могут соединиться, и тогда механизм лопнет, движение прекратится...

Лаврентьев несколько раз глубоко вздохнул, стараясь унять сердцебиение. Кажется, получилось. Он пошел в сторону театра.

В театре снимали Шумова. Актера одели в полувоенный однобортный френч с подложенными плечами и широким хлястиком сзади. Узенький галстук тоже соответствовал приметам времени, но с прической пришлось повозиться, выстриженный затылок никому не понравился, и после горячих споров остановились на коротком «ежике».

В зал Лаврентьев попал без труда. Его приветствовали как старого знакомого, хотя, в сущности, в этом было нечто странное, ибо по всем формальным признакам Лаврентьев был человеком случайным, которому незачем проводить время на съемках. Однако его присутствие никто не воспринял как помеху, а его самого как надоедливого зеваку-бездельника. Видимо, общавшиеся с ним люди ощущали нечто

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
необходимое в его присутствии, хотя объяснить это ощущение логично было невозможно.

Прислонившись к барьеру ложи, Лаврентьев наблюдал, как Шумов, которого снимали крупно, бросал осторожный взгляд на часы на руке, приподнимался и, стараясь не привлекать внимания, наклонившись, выходил по проходу между рядами. Камера, установленная на рельсах, вела его до двери с мерцающей табличкой «выход». Здесь солдат охраны смотрел на него, Шумова, подозрительно. Так было по сценарию, солдат заподозрил неладное...

– Стоп! – крикнул режиссер. – Андрюша, очень хорошо. Делаем последний дубль, и точка!

Актер повернулся в сторону ложи, где сидел Сергей Константинович.

– По-моему, не стоит. Знаешь, Сергей, у меня есть чутье... Лучше не будет.

– Согласен, Генрих?

Оператор пожал плечами:

– Если Андрей так считает...

– А ты?

– Как скажешь.

– Ладно. Будем считать, что сделали этот план.

Актер, которому гримерша снимала ваткой капельки пота со лба, улыбнулся и улыбкой этой стал, неожиданно для Лаврентьева, похож на настоящего Шумова.

– Вы снова с нами? – спросил подошедший художник

Федор. Он подстриг бороду и изменился, вместо молодого Христа стал напоминать молодого д'Артаньяна.

– Сила искусства, – ответил Лаврентьев.

– Не скажите. Это общо. Тут дело именно в кинематографе. И загадка, между прочим. Ну что вас, человека, умудренного реальностью бытия, может привлекать в этой имитации жизни? Вы должны относиться к нам хотя бы с недоверием. Однако вы уже пленены. Чем? Ведь то, что мы делаем, откровенно говоря, наглость. Собрались люди, никогда не нюхавшие пороху, и затеяли картину о войне, о подполье, о страстях и чувствах, просто противоположных их нынешним проблемам. Нет, не говорите, это наглость. Ну что из этого выйдет?

– Как говорит ваш оператор, – Лаврентьев указал на Генриха, – экран покажет.

Все засмеялись. Один режиссер смотрел серьезно, с какой-то скрытой мыслью.

– Вам, кажется, приходилось бывать на оккупированной территории?

– Приходилось.

– А что вы делали в оккупации? – спросил Федор.

Лаврентьев помедлил с ответом.

– Вы могли выполнять ответственное задание, – наседал художник. – Вы знаете язык, у вас и внешность подходящая. Я, например, четко вижу вас в мундире.

– Да, мне говорили, что я похож на Тихонова.

Снова все улыбнулись.

– Не хотите сняться? – предложил Генрих.

– В качестве кого?

– Генерала, конечно. С моноклем. Посадим вас в первом ряду... Нет, в центральной ложе.

«Любопытно было бы увидеть себя пожилым немецким генералом, – подумал Лаврентьев. – Неплохая карьера для унтерштурмфюрера...»

– Нам нужен генерал эсэс.

– Нет, для эсэсовского генерала я староват. Это в вермахте были пожилые генералы, а в эсэс больше молодые, около сорока...

– Какой-нибудь штандартенфюрер...

– Штандартенфюрер – это полковник. Первое генеральское звание – бригаденфюрер.

– Нам не жалко. Мы вас в любое звание произвести можем. А какие у нас шикарные ордена в реквизите! Право, соглашайтесь.

Нет, не думал Лаврентьев в сорок втором, что когда-нибудь может произойти такой вот шуточный разговор, что символы страха и ужаса станут бутафорскими побрякушками. Наверно, ради одного этого стоило вынести все...

– Спасибо за доверие.

Молчавший режиссер смотрел внимательно.

– Шеф, камеру переносить? – спросил молодой бородач из операторской группы.

– Да, конечно. Заболтались, ребята, – отозвался Генрих. – Сейчас еще один план сделаем.

Съемка продолжалась. Снимались крошечные составные части будущей ленты, каждая из которых долго подготавливалась и неоднократно дублировалась в утомительной жаре осветительных приборов; шла черновая работа, совсем не увлекательная со стороны. Посмотрев, как камера, только что сопровождавшая Шумова, двинулась на него наездом, Лаврентьев вышел на воздух.

«Сняться в роли генерала с моноклем? С сигарой и в белых перчатках?..»

Он вспомнил...

– Историческую миссию нельзя выполнить в белых перчатках, Отто!

Это говорил Клаус.

Клаус любил говорить. Он доверял ему свои мысли, делился воспоминаниями и был щедр на советы. Но о чем бы ни говорил Клаус, он постоянно возвращался к главной мысли о пагубных последствиях слабости. Клаус опекал Отто и считал своим долгом воспитать в этом молодом человеке настоящего борца. Сам он принадлежал к старым борцам, сделавшим свой выбор до тридцать третьего года, и гордился этим.

– Не каждому дано постичь дух истории, Отто. – Он расхаживал по кабинету, привычно засунув пальцы левой руки под широкий ремень и жестикулируя правой. – Когда мы начинали, мы были маленькой кучкой. Ты не помнишь, Отто, тех лет позора и унижений. Мы платили миллионы за кружку плохого пива, наши дети голодали. Но с каждым днем нас становилось больше. Все больше. Потому что мы несли знамя... И на этом знамени не было слова «слабость»! Мы, немцы, неисправимые идеалисты, Отто. Мы слишком добры и сентиментальны. И этим всегда пользовались наши враги. Только национал-социалисты смогли отринуть вековые предрассудки. Никакого идеализма. Отто! Вот главное! История делается железом и кровью, и нам выпала почетная миссия... Нам с тобой, мальчик. Поверь, не требуется особого мужества размахивать автоматом...

Клаус недолюбливал фронтовиков, и Лаврентьев терпеливо ждал дежурной филиппики по адресу вермахта.

– Они любят хвастать своими подвигами. Еще бы! Я не хочу сказать ничего плохого о фронтовиках. Немецкий солдат лучший в мире. Он идет в железной колонне по пути, начертанному гением. Но он видит лицо врага и чувствует плечо друга. А мы? Мы бойцы особого фронта, где в тысячу раз труднее. Мы окружены многочисленными и коварными невидимыми врагами. В нашем сражении нет передышки. Нам некогда играть на губных гармошках и ощипывать трофейных кур. Вспомни наш скромный паек! Мы спартанцы!.. Никакого идеализма, Отто!

Риторика Клауса всегда ставила Лаврентьева в тупик. Удивляло не только непривычное для русского человека использование пропагандистских тирад в обиходной речи. Несмотря на ходульность фраз, за ними чувствовалась определенная искренность; Клаус верил в то, что говорил, однако это ничуть не мешало ему в повседневной жизни быть расчетливым прагматиком, для которого не существует никаких иных целей, кроме откровенного карьерного благополучия. Он очень ценил те побрякушки, о которых теперь с улыбкой говорили в киногруппе. Они давали власть и поднимали на новый уровень возможностей, в круг которых, между прочим, входило и улучшение действительно скуповатого имперского снабжения. Конечно, приятно похвастать перед местными полуазиатами коробочкой португальских сардин, но коллеги Лаврентьева, безусловно, предпочитали трофейных кур и гусей. Да, «старый борец» Клаус вполне четко представлял, за что он борется. Наряду с борьбой глобальной за будущее тысячелетнего рейха он вел и «свою борьбу», в интересы которой, в частности, не входило, чтобы начальство считало его офицером, не справляющимся со своими служебными обязанностями.

– Как наша Золушка? – спросил Клаус, когда Лаврентьев вернулся из тюрьмы, где впервые увидел Лену.

Спросил из-за ширмы, прикрывавшей умывальник. Не видя Клауса, Лаврентьев ясно представлял, как он вытирает руки – тщательно, палец за пальцем, выполняя нечто вроде обязательного обряда после допроса. Даже если во время допроса и не приходилось работать руками, Клаус подолгу смывал невидимую грязь, исходившую от нечистоплотных врагов.

– Кажется, этот Сосновский (он произносил «Сосновски») переусердствовал, – ответил Лаврентьев.

– Я же говорил тебе! Она безнадежна?

– Я опасюсь за ее рассудок.

– Симулянтка!

– Не думаю. Она не скрывает своей ненависти к нам.

– Но отрицает участие в банде?

– Да.

Клаус повесил полотенце и вышел из-за ширмы. Лаврентьев видел, что он оценивает ситуацию. Приблизительно так: «Если Сосновский ничего не добился силой, а Отто мягкостью, нам попался крепкий орешек. Хорошо же я буду выглядеть, если станет известно, что нам не удалось обломать девчонку-бандитку...»

– Золушка не узнала принца?

– Пока нет.

– Так, так... – Клаус присел за стол и пробарабанил пальцами. – А может быть, она в самом деле ничего не знает? Русская полиция вечно стремится выслужиться. Но нам-то нужна настоящая партизанка, а не какая-то спекулянтка...

Нет, Лаврентьев уже прошел хорошую школу, чтобы поддакнуть Клаусу. Он отлично понимал, куда клонит шеф. Признание непричастности Лены к подполью означало для нее не спасение, а немедленную смерть. Клаус тут же поставит на протоколе резолюцию «umsiedeln» – «переселить», и, как говорится, никаких проблем: «ошибка» Сосновского будет исправлена, а одной спекулянткой, антиобщественным элементом станет меньше.

– Я не уверен в ее непричастности.

Клаусу это не понравилось, однако он сказал:

– Я ценю твое служебное рвение, Отто, но тратить наше время впустую...

– Мне нужен только один день.

– Что ты придумал

Он и сам не знал, что он придумал. Придумать было трудно, а вернее, невозможно, но в этом было страшно признаться даже самому себе. Нужно было сделать все, чтобы спасти Лену, а для этого требовалось прежде всего время. Вот он и старался выиграть хотя бы сутки...

– Этот Сосновский убил в ней желание жить. Ей нужно прийти в себя, и тогда, я уверен...

– У нас не пансионат для девиц со слабыми нервами.

«Да, не пансионат. Это точно!»

– Я думаю, что, если вывезти ее из камеры... Небольшая прогулка в автомобиле по городу. Море, родительский дом...

– Ты неисправимо сентиментален. То, что ты предлагаешь, годится для цивилизованных людей.

– Эта девушка из культурной семьи.

– Азиатская кровь... Впрочем, один день я тебе дам. Чтобы ты убедился, Отто. Мой долг помочь тебе стать закаленным бойцом, а ты еще полон идеализма. Один день, Отто. Я убежден, что вы с Сосновским пошли легким путем. Банда, убившая бургомистра, не может состоять из подростков. Тут предстоит серьезная работа. А на спекулянтку подготовку соответствующую бумагу. Послезавтра она поедет на прогулку в газовом автомобиле.

«Нет! Только не это!..»

Взволнованный воспоминаниями, Лаврентьев быстро прошел гостиничный холл и, как Сергей Константинович в свое время, не обратил внимания на старичка, приютившегося на дальнем стуле. Не заинтересовал и он Огородникова, ибо тот дожидался человека совсем иной внешности и не помышлял, разумеется, о встрече с немецким офицером, которого в памяти своей давно схоронил, как и других сослуживцев из тайной полевой полиции.

Огородников появился в гостинице гораздо раньше назначенного срока, и ему пришлось еще долго дожидаться, поерзывая на жестком стуле, а Лаврентьев успел тем временем принять душ, отдохнуть немного и почти успокоиться, в тех пределах, разумеется, в каких это было для него возможно.

В восьмом часу к нему негромко постучали.

– Товарищи задерживаются, видимо, – проговорил вошедший Моргунов, – вот я и решил пока к вам...

– Прошу, прошу, – обрадовался Лаврентьев, потому что ожидание начинало томить, хотя киногруппа вовсе не задерживалась, как показалось испытывающему то же чувство Моргунову. Напротив, съемки шли гладко и закончились раньше запланированного времени, так что Лаврентьев не успел перебраться с Моргуновым и парой фраз, как через неплотно прикрытую дверь из коридора послышался голос режиссера:

– Давно ждете, Петр Петрович?

– Ничего, ничего, не беспокойтесь. Мне спешить некуда. Я посидел немножко, очень

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
удобно тут в гостинице и красиво...

Моргунов и Лаврентьев переглянулись.

В соседний номер вошло несколько человек.

– Что ж... Пойдемте знакомиться? – предложил Лаврентьев. – И, как договорились, не мешайте ему.

Моргунов наклонил голову...

У Сергея Константиновича было полно народу. Кроме знакомых – Генриха, Федора, автора Саши и Светланы, – зашли и актеры, даже Марина забежала взглянуть на «живого гестаповца».

– Михаил Васильевич! Добро пожаловать! – воскликнул режиссер.

Впрочем, несмотря на оживление, Сергей Константинович смутно представлял, как повести эту не предусмотренную его непосредственными обязанностями встречу, и искал глазами незаменимую в таких случаях Светлану.

Светлана поняла шефа и выступила вперед.

– Пожалуйста, товарищи, проходите! Надеюсь, Петр Петрович простит нам внеплановую, так сказать, неожиданность. Но она, конечно, порадует его. Петр Петрович! Мы хотим познакомить вас с человеком... Впрочем, познакомить – это не то слово... Уверена, что вам будет приятно встретиться с соратником по оружию.

Маленький человечек оторопело замер. У него сдавило горло, и он не мог ни слова сказать, ни сдвинуться с места. Режиссеру пришлось взять его за локоть:

– Петр Петрович! Перед вами Михаил Васильевич Моргунов...

Сергей Константинович слегка подтолкнул Огородникова навстречу вошедшим.

Моргунов с удивлением смотрел на щуплого старичка, он совсем иначе представлял себе наглого самозванца, однако Огородников не замечал его удивления, опустив голову, он покорно шагнул к Лаврентьеву.

– Нет, нет, Петр Петрович! Вы ошиблись. Это не Михаил Васильевич, это Владимир Сергеевич, милейший человек, наш сосед, мы все его любим, но он, увы, к вашему боевому прошлому никакого отношения не имеет.

– Как? – не понял Петер Шуман, бывший переводчик из гестапо.

– С Михаилом Васильевичем познакомьтесь, пожалуйста, – с некоторой досадой пояснил режиссер, подумав про себя: «А папаша-то в глубоком маразме, кажется».

Лаврентьев отступил к окну. Это было естественно для постороннего человека, не желающего мешать боевым соратникам, но на самом деле он вовсе не демонстрировал деликатность, ему нужно было набрать воздуха, отвернуться, прийти в себя от встречи, осознать вытекающие из нее последствия.

А Моргунов тем временем, вобрав в свою большую ладонь хрупкую ладошку Огородникова, осторожно держал ее, не понимая, с кем все-таки имеет дело.

– Садитесь, садитесь, – приглашала Светлана.

Высвободив руку, Огородников-Шуман отвернулся от Моргунова, ни внешность, ни имя которого ничего ему не сказали, и вновь посмотрел на Лаврентьева. Почти бессознательно он подошел к нему и поклонился:

– Огородников Петр Петрович... А вас, простите, как?

– Лаврентьев.

У Огородникова в голове немного прояснилось: «Что это меня?... Черт попутал? От волнения мерещится. Русский же он, русский... Сосед, сказали...»

- Очень приятно. Вы сосед, значит?
- Сосед.
- Очень рад.
- Петр Петрович, – снова взял его за локоть режиссер, – я вас с актерами познакомиться хочу.
- Очень приятно.

Лаврентьев приоткрыл дверь и вышел в лоджию. Внизу как ни в чем не бывало шли люди, катились троллейбусы.

Неожиданно рядом он услышал нечто похожее на всхлипывание. Это выскочившая в лоджию Марина, склонившись над перилами, всеми силами старалась подавить неудержимый смех.

- Что с вами?
- Ну какой же это гестаповец?

И она расхохоталась до слез, с трудом выговаривая сквозь смех:

- Он же... ха-ха-ха... божий од-дуванчик...

Ну что он мог сказать этой девушке, которая умела так заразительно хохотать, которая никогда не знала страха смерти, ужаса перед злодейством, видела всего лишь одного искалеченного человека, да и то в автомобильной катастрофе, и представляла гестаповцев лишь по кинофильмам! А разве покажешь в кино тот же газовый автомобиль, душегубку (слово-то какое емкое, выстраданное!), где люди, прежде чем умереть, покрывали железный пол рвотой и испражнениями, а другие люди вытаскивали их и делили вещи, которые приходилось подолгу отмывать. Нет, они не считали эту работу приятной и писали даже рапорты по начальству, требуя... брезентовые рукавицы, чтобы лучше работать. Но разве поверишь, глядя на морщинистые, стариковские руки, что они орудовали в этих рукавицах! И все-таки нужно было пробиться сквозь этот здоровый понятный смех. Ведь эта девушка, не пережившая трагедии, собирается воспроизвести ее для миллионов людей, и он не имеет права поддерживать ее благодущное неведение.

- Вы хорошая девушка, Марина, – сказал Лаврентьев серьезно.

Таких слов она не ожидала и перестала смеяться.

- Хорошему человеку трудно представить себе нечто скверное. Может быть, потому зло и существует, что мы всегда опаздываем вступить в борьбу. Нам требуется время осознать, поверить...

Он вспомнил, как вошел в здание полевого гестапо, зная все и не представляя того, что его ждет.

- Неужели вы хотите сказать, что этот человек...

Марине было трудно подобрать нужные слова, и Лаврентьев лишь наклонил голову в ответ.

- Он... настоящий?..
- Да.
- Вот такой?!
- Он не всегда был такой.
- Откуда вы знаете? – спросила она резко. – Вы же не разыгрываете меня?
- Нет, к сожалению.

– Значит, знаете?

– Знаю.

– Его, именно его знаете?

Когда она волновалась, голос ее звучал особенно глубоко и выразительно. «Если ей повезет в кино, когда-нибудь этот голос станет очень известным», – мелькнуло у Лаврентьева.

– Ну, конечно же, вы его знаете, – продолжала Марина, не дождавшись ответа. – И он вас узнал. Он же пошел прямо к вам, а вы...

– Я сказал, что он ошибся.

– Нет, вы так не говорили. Вы сделали так, чтобы он... чтобы он подумал, что вы – это не вы.

– Предположим.

– Но почему? Если это военная тайна... Военная тайна, да?

«Военная тайна? Нет, конечно, не в том смысле, какой вкладывает в эти слова она, но это тайна войны, одна из тысяч оставшихся неизвестными трагедий...»

– Пойдемте лучше послушаем, что он говорит.

– Пойдемте, – сразу согласилась она.

...Огородников между тем успокоился. Он обладал замечательной способностью быстро успокаиваться и находить свое место в любой обстановке; причем в отличие от Лаврентьева его успокоенность была самой полной, отнюдь не внешней. Он не выглядел спокойным, а был им, точнее, становился, быстро осваивая новое для себя положение вещей. И хотя жизненные ситуации, в которые он попадал, часто менялись, Огородников умел органично и своевременно к ним приспособливаться без малейшей внутренней борьбы и сомнений.

Очень давно, еще до войны, Петька Огородников, брошенный отцом и тяготившийся строгой опекой педантичной матери-немки, решительно вступил в самостоятельную жизнь, устроившись в ней на культурную и приятную работу киномеханика, предмет зависти подростков его круга, покинувших школу, как и Петька, досрочно.

Потом, в сорок первом, когда его сверстников утюжили немецкие танки, Огородников не осаждал военкоматы требованиями зачислить в добровольцы. Он показывал фронтовую кинохронику, объясняя интересующимся, что плоскостопие серьезный физический дефект, с которым много не навоешь.

Тем не менее форму он надел. Ту, которую до этого видел только с экрана. Когда в город пришли немцы, Огородников без колебаний встал в ряды победителей и вновь нашел хорошее место под фамилией Шуман, на которую имел полное право, ибо отца, неполноценного славянина, и в глаза-то никогда не видел и родителем не признавал.

Следующий этап оказался самым неприятным, но и на этом этапе бывший гестаповец Шуман лишь ненадолго упал духом, а представ перед трибуналом, повел себя наивыгоднейшим в тех условиях образом – откровенно признавался во всем, чего нельзя было скрыть, раскаивался искренне и клеймил горячо фашизм, погубивший его молодую жизнь. Приговор он признал заслуженным и справедливым и в местах весьма отдаленных быстро проявил себя заключенным сознательным, завоевал примерным поведением доверие начальства и вскоре получил возможность вернуться к основной профессии – стал показывать картины в красном уголке.

Время между тем бежало, и начались перемены – амнистии и реабилитации. Огородников – а теперь он твердо настаивал на отцовской фамилии – был освобожден в числе первых, хотя и не реабилитирован, разумеется. Так, нестарым еще, сорокапятилетним человеком вернулся он в нормальную жизнь, но в родной город

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru предпочел не возвращаться, а поселился в другом, где его никто не знал. Прижившись на новом месте, обузавшись жильем и супругой, Петр Петрович прошлое отринул и, уловив дух времени, начал даже осторожно распространять слухи о том, что пострадал, как и многие, безвинно.

Так прожил он последние двадцать лет – безбедно, семейно, чинно, пользуясь известным уважением, потому что выступал на собраниях и всегда поддерживал важные мероприятия. Однако после шестидесяти Петр Петрович начал заметно сдавать, усох как-то, облысел, а в голове стало путаться и забиваться. Теперь он уже часто и настойчиво убеждал других, что стал в свое время жертвой несправедливости, намекал на какие-то неочтенные якобы заслуги и почти убедил в этом жену, которая о прошлом его знала мало и долго не без оснований подозревала, что не все там ладно.

И вот однажды в любимом журнале «Советский экран» Петр Петрович вычитал сообщение, которое произвело на него впечатление исключительное, – он узнал о предстоящих киносъемках. Узнал и сразу же стал собираться в дорогу. Зачем? Понять такое решение было непросто. В дряхлеющем мозгу Огородникова одни клетки перерождались и отмидали, другие упорно не поддавались патологии – в результате этих противоречивых изменений сама память претерпела сложную деформацию, и предшествующая жизнь начала казаться ему совсем не такой, какой была на самом деле. Глядя на ветеранов, надевавших Девятого мая пиджаки с медалями и орденами, окруженных почетом и вниманием, Петр Петрович все более искренне считал себя обойденным справедливостью, жаждал иного отношения, которое якобы вполне заслужил. Ибо кто он был, Петр Огородников, как не прямая жертва фашизма и развязанной им войны? Разве виноват он в том, что мать-немка обучила его ненужному языку (он-то даже во время отступления до Германии не добрался, в Польше в плен был взят!)? Разве виноват, что по причине плоскостопия не попал на передовую? А что ему оставалось делать, когда гитлеровцы начали фольксдойчей на учет ставить и привлекать? Да, гестапо было, было! Но разве он в гестапо на оперативной работе был? Следователем служил, как палач Сосновский, или карателем в зондеркоманде, как палач Тюрин? Да разве за то, что он по молодости лет (Огородникову казалось теперь, что был он тогда очень молодым, хотя в сорок первом ему уже тридцать стукнуло) да по стечению несчастий натворил, не расплатился он самоотверженным трудом в условиях крайнего Севера? Так почему же на нем пятно лежать должно, почему другие девятого числа радуются и обнимаются, а он военного прошлого стыдиться должен, хотя на самом деле пострадал?..

Так или приблизительно так мыслил бывший Петер Шуман, и мысли эти приобретали все более болезненный и настойчивый характер, пока не заставили его покинуть насиженное место и пуститься в нелепое путешествие на съемки, чтобы силами или яри поддержке искусства, которому считал себя сопричастным, добиться восстановления справедливости и войти по возможности в историю.

И вот он приехал в город, пришел к режиссеру, договорился о встрече и дожидался ее, очень довольный собой, как вдруг призрак – Отто!

«Слава богу, ошибся, – думал с облегчением Огородников. – Здоровье подводит, все о тяжелом прошлом вспоминаю, вот и мерещится. Нужно от склероза попринимать что-нибудь. Сейчас аминалон хвалят. Достать нужно и попринимать обязательно... Ну какой же это Отто? – Он смотрел, как Лаврентьев разговаривает в лоджии с Мариной. – А цыпа ничего из себя... Артисточка. Им что? Жизнь праздничная, дерьмо по душегубкам не замывала... Сосед, значит... Немолодой уже, а за артисткой ухлестывает... Нет, Отто теперь ни за кем не ухлестывает. Косточки сгнили, сволочь гестаповская!»

Огородников давно убедил себя в смерти сослуживцев, в том числе и тех, кого мертвыми никогда не видел. Но считать их погибшими было для него спокойнее – и свидетелей прошлого больше нет, и еще одна мысль утешала: кто виноват был, те и погибли, а он жив, значит, его судьба другая, не тем извергам чета...

– Мы хотели бы, Петр Петрович, чтобы вы поделились... – говорил тем временем режиссер.

Огородников встрепенулся. Вот и пришел долгожданный момент.

– Прежде всего, дорогие товарищи, должен поздравить вас с началом важной патриотической работы, – застучали у него в голове заранее затверженные фразы. –

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Благородное дело вы задумали – восстановить историческую правду и имена погибших героев... А сколько их сложили жизнь в жарких схватках с беспощадным и коварным врагом за нашу нынешнюю счастливую жизнь, за вот такую молодежь... – фразы шли без задержки, и он позволил себе отклонение от текста. – ...Как эта симпатичная девушка.

Огородников протянул руку в сторону Марины, входившей в номер из лоджии.

«Однако, – подумал Лаврентьев, – говорит как пишет, мерзавец. Зачем ему это?»

Марина отнеслась к словам Петра Петровича резко.

– А вы в самом деле в гестапо работали? – спросила она бесцеремонно.

Огородников не понял опасности, его несло:

– Работал, милая девушка, работал.

– Но вы же не по нашему заданию... Вы действительно там работали?

Она выделила слово «действительно».

Снисходительная к молодежи улыбка все еще играла на лице старичка.

– Это, девушка, как посмотреть... С одной стороны, действительно кровавыми извергами был мобилизован и принужден под угрозой жестокой расправы, а с другой – по мере сил, ежедневно рискуя жизнью, помогал нашим товарищам. Не скрою, многие мне спасением из лап фашистского зверя обязаны.

– Марина! Вы слишком напористо включились в разговор, – сделал замечание Сергей Константинович.

– Почему? Я так много слышала, читала, видела... То есть видеть человека, служившего фашистам, мне не приходилось. Я думала, там все палачи были, убивали людей...

– Марина! Я вас не понимаю.

– А я девушку понимаю, – сказал Огородников. В нем подключилась еще не полностью разрушенная временем предохранительная система. – Очень понимаю. Она все по книжкам, а по книжкам, сами знаете...

– Вот именно. Я хочу не по книжкам. Я не понимаю, если вы все-таки работали в гестапо, не могли же вы только спасти наших людей, а на них, на фашистов, совсем не работать, ну ни капельки?

Огородникову стало тоскливо. «Гнида! – прорвалось из прошлого. – Попала б ты ко мне там... Я б у тебя спросил... Ну что ей нужно, твари?... Может, зря приехал? Где ее добьешься теперь, справедливости?..»

Однако инстинкт самосохранения еще действовал, выручал.

– И там, в фашистском застенке, девушка, работа была разная. Одни казнили, убивали, другие при канцелярии, так сказать, числились. Мне переводчиком быть пришлось.

– Понятно, Петр Петрович, понятно, – снова вмешался режиссер. – Нам это известно. Нам хотелось бы знать факты.

– факты – пожалуйста! – охотно согласился Огородников, принимая поддержку.

А Марина бросила взгляд на Лаврентьева. «Вы правы!» – хотела она сказать, но Лаврентьев не увидел ее взгляда, он смотрел в сторону.

– Нас интересуют факты, связанные с нашим сценарием, с картиной, – продолжал Сергей Константинович. – Не расскажете ли вы, как был наказан предатель, погубивший Лену Воздвиженскую?

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Этого Огородников не знал, как не знал никто в гестапо, кроме Лаврентьева. Тюрин просто исчез, и некоторые даже подозревали, что он перебежал к красным. Но признаться в неведении значило подорвать к себе доверие, и Огородников ответил уклончиво:

– Предатель понес заслуженное возмездие.

Вообще Огородников обладал способностью легко усваивать и использовать официальные штампы. И как много лет назад он бойко агитировал Тюрина цитатами из фашистской брошюры, так теперь легко изъяснялся в стиле газетных публикаций, обличающих фашистских пособников.

Сергея Константиновича ответ, однако, не удовлетворил, хотя истолковал он его неверно – принял за проявление скромности.

– Петр Петрович! Нам понятна ваша... – Он хотел сказать «скромность», но усомнился, подходит ли это слово, когда речь идет об убийстве, пусть даже предателя. – Нам понятно, что не все воспоминания приятны, однако Михаил Васильевич уже приподнял, так сказать, завесу... Короче, мы знаем, что предатель пал от руки нашего человека, служившего в гестапо.

«Кто ж такой?» – подумал Огородников тупо, а сказал многозначительно:

– Нелегкий вопрос задаете.

– Понимаем, понимаем, однако же... Ведь именно вы служили в гестапо в этот период?

«Я, что ли, Жорку пришил, по-ихнему? Выходит, вроде я...»

– Значит, и вам пришлось слышать? – спросил он у Моргунова осторожно, не догадываясь, что вопросом этим полностью разоблачает себя в глазах Михаила Васильевича. Но, помня наставления Лаврентьева, Моргунов подтвердил угрюмо:

– Пришлось.

И снова он подумал о Марине с симпатией: «Молодец девчонка, врезала этой сволочи без околичностей, а мы миндальничаем. Зачем?»

Огородников тем временем принял решение.

– Ну, раз товарищи в курсе, не скрою и я: это было одно из самых ответственных поручений, возложенных на меня лично товарищем Шумовым.

О подвиге Шумова Огородников, как и все, узнал через много лет из статьи в центральной газете. Узнал и удивился: «Скажи, какой ушлый оказался!» Тогда-то они взрыв с Шумовым не связывали; предполагали, что произведен он был с помощью часового механизма человеком, не находившимся в момент взрыва в здании. Шумов же был в числе погибших. Зато теперь на него ссылаться можно было смело. Тем более что Огородников помнил, как Отто с офицером-техником забирали Шумова у Сосновского, чем он немедленно и воспользовался.

– Должен сказать, что товарищ Шумов оказывал мне особое доверие, ввиду того, что я непосредственно содействовал его освобождению, когда он был схвачен после казни бургомистра Барановского.

– Очень интересно! – воскликнул автор.

Он принимал на веру каждое слово Огородникова и был, как и режиссер, недоволен Мариной. «Ну зачем эти придирки к пожилому человеку!..»

А Огородников между тем весьма подробно поведал собравшимся, как именно благодаря его усилиям, выразившимся в намеренно неточном переводе, был околпачен гестаповский офицерик-молокосос и Шумов изъят из рук палача Сосновского.

В ходе рассказа Моргунов переглянулся с Лаврентьевым, и тот слегка улыбнулся ему и кивнул, имея в виду: «продолжай держаться как держишься», – но Моргунов понял иначе, расценил как подтверждение слов Огородникова и подумал: «Да что ж это за

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
тип, черт его дери!»

– И вот, значит, товарищи, – продолжал снова воодушевившийся Огородников, – когда произошел провал и мне стало известно, благодаря кому, то есть гнусному карателю Тюрину, тогда-то товарищ Шумов вызвал меня и говорит: «Тебе, Петро, важное задание! Убрать приказываю подлеца!» Ну, я в ответ как положено: «Будет сделано, товарищ Шумов». А он мне: «Береги себя. Ты вам нужен очень и потому должен действовать осмотрительно, не бросая на себя подозрений». А это, сами поникаете, в коем положении было очень даже просто.

– И как же это удалось вам? – спросил автор, делавший беглые записи в блокноте.

У Огородникова радостно заблестели запавшие глазки. Сейчас ему уже казалось, что говорит он чистую правду. Во всяком случае, он не замечал, что противоречит самому себе.

– Я решил воспользоваться выездом на операцию.

Он начисто позабыл, что только что представил себя канцеляристом, далеким от всякой практической карательной деятельности.

– На операцию? – переспросил автор.

– То есть, когда Максима Пряхина брали...

Услышав имя Пряхина, Моргунов вспомнил... песню.

Негромкий, но уверенный низкий голос Максима доносился из комнаты, когда он прибежал к Константину после облавы.

Максим любил петь. Был он смолоду музыкален, играл на трех инструментах. В юности виртуозно справлялся с мандолиной, уважал и гитару, она очень подходила к романсам, что нравились соседским девушкам. Потом в репертуаре произошли изменения. «Очаровательные глазки» вместе с сопутствующими им инструментами Максим осудил как мещанство и полюбил зовущие вперед революционные ритмы.

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе... –

пел он теперь под баян, резко нажимая на кнопки. И даже когда с Советской властью внутренне порвал, музыку советскую втайне уважал. Особенно нравилась «Ковыльная сторона».

Шли по степи полки со славой громкой
И день и ночь со склона и на склон, –

вполголоса напевал Максим, возясь вечерами в саду, и Косте разрешал покупать пластинки и крутить на патефоне «Три танкиста» и «Если завтра война».

Но с началом войны баян и маршевые мелодии ушли навсегда. Осталась одна, собственно, песня, еще отцом любимая песня о Ермаке. К ней Максим всегда был равнодушен, даже в пору романсовую. Шумов помнил, как пели ее во дворе у Пряхиных за широким столом, на котором возвышалась большая четверть с пивом, красные раки вкусно щекотали ноздри укропным ароматом, лежали на клеенке вяленые икряные лещи, чебаки по-местному, и отец Максима с друзьями, захмелевшие и довольные, выводили старательно:

Товарищи его трудов,
Побед и громкозвучной славы
Среди раски-и-инутых шатров
Беспечно спали средь дубравы.

И, произнося эти героические слова, мирные трудолюбивые немолодые люди, наверно, в душе ощущали себя теми незнакомыми предками, что с саблями и пищалями шли глухими дебрями навстречу врагу, раздвигая пределы державы.

– Хорошо поют, черти, – говорил Максим Андрею. – Хорошо, правда?

– Правда.

– Потому что песня сильная.

Теперь, в оккупации, песня эта заново ожила в душе Максима, обретя личный трагический смысл.

Пел он ее с Константином, унаследовавшим семейный слух и мужественный отцовский голос, а безголосый Шумов, из тех, кому, как говорится, медведь наступил на ухо, слушал, подперев голову ладонями, всякий раз покоряясь силе и задушевности песни.

Пели, конечно, не в саду, а в доме, пели вполголоса.

Максим начинал:

Нам смерть не может быть страшна...

Константин подхватывал:

Свое мы дело совершили...

Голоса их сливались:

Сибирь царю покорена...

И оба сурово и радостно проносили последнюю строчку:

И мы не праздно в мире жили...

Тут застучал в дверь Мишка.

Все переглянулись, потому что стук в дверь в те времена не радовал, и Константин, накинув телогрейку, пошел открывать.

Вернулся он один и, как понял Шумов, взволнованный.

– Кого принесло на ночь глядя? – спросил Максим.

– Мальчишка знакомый. Я с ним выйду на минутку.

– Зачем?

– Дело есть.

Ни Максим, ни Шумов ничего больше не спросили.

За Константином скрипнула дверь.

Песня нарушилась. Помолчали.

– Чудно все же, Андрей, – проговорил Пряхин первым. – С твоим приездом в городе вроде потишало.

– В каком смысле?

– Да как бургомистра шлепнули, и тихо с тех пор... А?

– Я-то тут при чем?

– Не знаю.

– А я тем более.

– Не знаю, а чую...

– Что именно?

- Не перед грозой ли затихло?
- Спрашиваешь у меня или вообще рассуждаешь?
- У тебя спрашиваю.
- Опять за старое?
- А оно не стареет. Сын-то – мой.
- Ну и что?
- Скажи, Андрей, почему он тебя уважает? Ведь я не слепой, вижу.
- Я же твой друг...

Пряхин махнул рукой:

- Брось ты кошки-мышки. Серьезно я говорю. А это означает, что, если б Котька тебя моим другом считал и вообще тем, за кого себя выдаешь, он бы ненавидел тебя, а не уважал. Мы-то с ним на разных платформах... Он на большевиков молится, а я этой иконой горшки накрываю. Так за что ж он уважает тебя, Андрей? Скажи, пожалуйста, если другом меня считаешь!
- Может, лучше оставить политику, Максим?

Максим усмехнулся.

- Ее оставишь, зазнобу ненаглядную... Всю жизнь рядышком. Ты ее в двери, а она в окно. В любую щелку проползет и ночью за горло схватит. Всех людей поделила-разделила. Только не всегда понятно как. Вроде ты, Андрей, самый крайний будешь, почти коллаборационист. Котька наоборот, за Советскую власть, ну а я вроде батьки Махно, покойничка, – хай ему на том свете недобро сгадается, – сам за себя. Да так ли это? Может, у нас другая совсем распасовка? Чем ты моего сына пригрел?

Шумов молчал. Отрицать не было смысла, сказать правду было нельзя, права не имел, хотя за дни эти к Пряхину присмотрелся и врага в нем не ощущал, несмотря на злые слова. Не политика их сейчас разделяла, а другое – Константин.

- Молчишь? А молчание-то знак согласия.
- Не я Константина сагитировал.
- Не ты, верно. Но вы заодно. Вижу.
- О себе я говорил.
- Скажи о нем. Он Барановского застрелил?
- Откуда ты взял?..
- Понял я. Не сразу, но понял. Рыжие волосы меня сначала сбили. А потом за театр вспомнил. Нехитрая штука паричок... Стреляного воробья на мякине не проведешь.

Шумов думал, что сказать, но Максим сам поставил точки над «и».

- Ты-то тоже узнал его.
- Узнал, – сказал Шумов.
- А он на свободе...
- Ну и что?
- Хоть и руку тебе продырявил.

– Зажила рука.

– Вот все и сошлось, – вздохнул Максим горько. – Не та распасовка. Вдвоем играете против меня.

– К убийству бургомистра я никакого отношения не имею.

– Допустим. А после?

– Ты сам сказал – потишало.

– Перед бурей, я сказал. Какой – не спрашиваю, задания своего ты мне не раскроешь, но Константина ты под свою руку взял, это точно.

– Не нравится тебе это? – спросил шумов прямо.

– Не нравится. Потому что отец я. Чем живу на этом свете черном? Будь он трижды три раза проклят! Сыном живу. У тебя-то детей нету небось! А чужих уводишь.

– Оставь, Максим. Сын твой давно ушел. Да и сам ты у своего отца, как жить, не спрашивал. Забыл? Вспомни. Не у меня под рукой Константин, а у своей совести. Я ему плохого не сделал. Как видишь, жизнь спас даже.

– Зачем? Из расчета? Чтоб пригодился?

– Чтобы дать ему возможность людям в глаза смотреть.

– Не виноват он ни в чем! Я виноват. Я!

– Оставим эти пререкания, Максим. История рассудит...

– А с костей что будет? С сыном?

– Зря на смерть не пошлю.

Большого он пообещать не мог. Но Максим, у которого не было выбора, оценил и это.

«Куда денешься, – думал он, – куда денешься! А может, и к лучшему, что Андрей появился. Котька-то ввязался сам. А Андрей мужик опытный, осторожный. Может, поостережет парня. У того-то кровь моя и дурь моя молодая... От войны его все одно не отвернешь. Да и неизвестно, чем эта война кончится».

– Значит, на победу надеетесь? – спросил он.

– Надеемся.

– В каком году?

– Ждать недолго.

– То-то и оно! Не можешь сказать... А кто скажет? Гитлер? Сталин? Черчилль? И они ни черта не знают. Заварили кашу... Что будет, Андрей? Что будет? Летом вроде немец пёр неудержимо, а сейчас забуксовал. Надолго ли? До весны, видать, затишье будет. А там? Они на Урал или наши сюда?

Впервые в разговоре между ними сказал он слово «наши».

– Чего ты допытываешься, Максим? Война идет. Сын твой не спрашивает, воюет.

– Я в его годы тоже не спрашивал.

– А сейчас тем более понять должен – никто на твои вопросы не ответит. Не дискуссии решают, а, как ты говоришь, суровая правда жизни. Она нас и повязала в узел, что не развяжешь. Ты к немцам пойдешь – сына погубишь, он под удар попадет – мне плохо будет. Короче, на войне от войны не спрячешься.

«Не спрячешься, – понимал Максим. – Неужели не уцелеет Костя?» И, обращаясь к

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
богу, в которого никогда не верил, спрашивал тоскливо: «Ну что же делать-то, господи? Что я сделать могу? Скажи, господи, зачем живем? Зачем глупы так и беспомощны? Страдаем зачем?»

Такой разговор происходил между Максимом Пряхиным и Шумовым, пока Константин прятал, устраивал в подземном тайнике Мишку Моргунова.

Но все это было задолго до того, как Максима «брали».

– Как же это происходило? – спросил возбужденный новыми «открытиями» автор.

Огородникова-Шумана не было возле пряхинского дома, когда его окружили немецкие солдаты, однако он хорошо представлял, как проводились подобные операции.

– Зашли они со всех сторон: и со дворов, и с дороги, ну и по команде кинулись, как коршуны, но получили достойный отпор. Пряхин открыл по врагу смертельный пулеметный огонь, можно сказать, косил гитлеровцев. Растерявшиеся фашисты залегли. Я, понятно, тщательно следил за предателем. Вижу, он трусит, стал назад отползать. Ну а мне это на руку...

Огородников чувствовал себя отлично и импровизировал, не задумываясь, насколько правдоподобно говорит.

– Как понимаете, поразить его в спину я не мог, это бы меня раскрыло, а я твердо выполнял указания товарища Шумова. Под огнем я пробрался вперед и, когда предатель оказался сзади, точным выстрелом привел приговор в исполнение...

– По-моему, такой момент стоит вставить в сценарий, – предложил автор.

Моргунов крикнул и достал папиросу. Режиссер нахмурился.

– Вы забыли, Саша, что в сценарии нет человека, работающего в гестапо.

– В самом деле! – воскликнул автор с сожалением.

– Жаль, конечно, что мы не знали многих любопытных вещей, – сказал Сергей Константинович, – но сценарий – государственный документ, и мы не можем переписывать его до бесконечности.

Огородников посмотрел неодобрительно.

– А вы принципиально действуйте! Правду отстаивать нужно, – произнес он назидательно.

Абсурдность происходившего давила на Лаврентьева. Поражала жизнестойкость зла, даже в карикатурном, шутовском проявлении сохраняющего свою мерзкую суть. Почему этот выходец с того света, наказанный, имевший так много времени переосмыслить прожитую жизнь, ничего не понял и ничему не научился? Почему не боится лгать, хотя существуют десятки документов, где его прошлое зафиксировано с пунктуальной точностью? Почему приехал в город, где его особенно легко разоблачить и если не арестовать снова, то выгнать с позором? Зачем ему, наконец, все это? Или он не контролирует уже своих поступков? Но почему, в неуправляемые, они все так же отвратительны, как и в дни его вполне сознательной молодости? Огородников между тем продолжал «вспоминать»:

– Я и теперь, как об этом предателе подумаю, кровь в жилах закипает. Какую девушку сгубил!

О том, что худенькая, невзрачная на его вульгарный вкус девчонка, о которой он в свое время быстро позабыл, – ведь сколько людей прошло через его «место работы» – станет героиней фильма, Огородников вычитал в «Советском экране». А вычитав, принялся вспоминать и кое-что вспомнил.

– Вы помните Лену? – спросил режиссер.

– А как же! Такое на всю жизнь западает.

– Расскажите о ней, пожалуйста.

«Не надо!» – хотел крикнуть Моргунов, а Лаврентьев прервал размышления, готовясь к худшему.

– Расскажу, расскажу обязательно. Конечно, как взяли ее, сразу встал вопрос: девушку нужно выручать. – Именно так понимал Огородников роль советского разведчика. – Но я был всего лишь переводчик... Следовало посоветоваться с товарищем Шумовым.

– Простите, каким образом вы встречались с Шумовым? – перебил автор.

– В целях конспирации, то есть чтобы никто не заподозрил, мы с товарищем Шумовым встречались в театральном буфете.

К горлу Лаврентьева подкатило что-то вроде нервного смеха – совершенно случайно Огородников попал в точку: именно в буфете сам он разыскивал Шумова, чтобы сообщить об аресте Лены.

– В буфете? – усомнился режиссер. – Это уже было во многих картинах.

Из какого-то фильма взял свою выдумку и Огородников, но возразил тут же решительно:

– В буфете многие бывали, и там нас заподозрить не могли, а товарищ Шумов в целях маскировки как бы ухаживал за артисткой.

Вот это на режиссера произвело впечатление. Ему хотелось свести в картине Веру и Шумова, но худсовет решительно воспротивился, заявив, что подобное общение бросит на Шумова тень. А оказалось, что в жизни так и было!

– Ухаживал за Одинцовой?

Но Огородников тоном заправского члена худсовета пресек его вольные предположения:

– В целях маскировки, потому что не мог же товарищ Шумов на самом деле якшаться с фашистской шлюхой.

– Понятно, – вторично отступил режиссер.

– Я зашел в буфет, они как раз там сидели. Ну, я подал знак, и товарищ Шумов ко мне незаметно подошел...

В то время когда Лаврентьев разыскивал Шумова, чтобы рассказать об аресте Лены, Шумов стоял с Верой на крошечной площади, окруженной запущенными особняками, у старинных солнечных часов. Солнце прикрывали полупрозрачные легкие облака, и тень на бронзовой доске смутно колебалась, то обретая четкие грани, то расплываясь, исчезая.

– Когда-то, девчонкой, я любила эти часы, а теперь боюсь.

– Почему?

– Они отмеряют время. Это страшно. Пойдемте лучше вниз, к морю.

Над набережной склонились черные голые ветви деревьев. Одиноко возвышались над гранитной стенкой чугунные причальные тумбы. Вдали, стуча подкованными сапогами, появился немецкий патруль.

– Ваши документы!

Шумов полез в карман, Вера открыла сумочку. Офицер посмотрел бумаги. Улыбнулся Вере:

– Битте, фрейлейн. Я видел вас в театре.

– Данке, – улыбнулась в ответ Вера.

Сапоги простучали мимо.

– Видите, Шумов? Они все-таки цивилизованные люди. Не то что мы. И они не презирают себя. Они знают, что им нужно, а мы только говорим, говорим...

– Вы, кажется, сказали, что я не презираю себя.

– Вы один такой. Вы непохожи на наших... Почему мы такие? Ведь мы с победителями. Мы говорим, что большевики обречены, а сами боимся их. Презираем себя и боимся, что нас повесят или сошлют в Сибирь. Мы и друг друга боимся, хотя нас так мало.

– Я уже говорил, что вы бываете неосторожны, Вера.

– Нет, это вы неосторожны.

– Чем же?

– Опасно быть белой вороной. Я уверена, Сосновский был бы рад уличить вас в чем-нибудь.

– Уверены? Он говорил с вами обо мне?

– Думайте как хотите. Каждый из нас обязан сообщать обо всем подозрительном.

«Неужели это предупреждение? Сосновский поручил ей шпионить за мной? Возможно. И она предупредила? Это большой риск. Почему же она пошла на него? От недомыслия? От наивной убежденности, что высокие покровители оградят ее от Сосновского? Или от искренней симпатии ко мне? Так или иначе, она предупредила...»

– Спасибо.

– Здесь все-таки прохладно, Шумов. Давайте возвращаться.

– По лестнице?

– Да. Мимо часов, которые отобрали еще час нашей жизни.

У часов Вера остановилась. Они действительно притягивали ее, вызвали тревожные мысли. Но на этот раз она отнеслась к часам мягче:

– Они показывают время, только когда светит солнце. Истинное время жизни. Правда? В сумерках время останавливается...

«Бели все пойдет по плану, в момент взрыва еще будет светло, но на эту плиту уже ляжет длинная вечерняя тень», – подумал он.

– Послушайте, Шумов. Мне хочется увидеть вас у себя. С вами хорошо. У меня есть бутылка отличного портвейна. Настоящего, португальского... Зайдемте?

– Охотно.

– Я вам верю.

В тот момент он еще не знал, что зайдет. И не хотел заходить. Ему казалось кощунством, достойным разве что Сосновского, сидеть в ее комнате, пить портвейн, разговаривать и знать, что ему улыбается женщина, которую он завтра убьет.

Обо всем этом Огородников, разумеется, понятия не имел и потому, резко заклеив Одицову, он перешел к очередной выдумке о «контактах» с Шумовым.

– По личному заданию товарища Шумова мне удалось поприсутствовать на допросе арестованной девушки. Жуткое это дело, товарищи, когда у тебя на глазах истязают нашего человека, а ты должен, стиснув зубы, молчать и ничем себя не выдать...

– И вы видели? – не выдержал Моргунов. – Вы все это видели? Как ее пытали?

Огородников горестно вздохнул:

– Не знаю даже, смог ли бы я такое перенести... Но судьба избавила меня от этого ужасного кровавого зрелища. На пытках я не присутствовал, потому что пытали в «русской полиции», а мне удалось подключиться, когда фашисты, убедившись, что не сломить им героиню, решили применить иезуитские методы. Стали обещать ей жизнь и свободу, если предаст боевых товарищей... Вместе с гестаповским офицером, звали его Отто... – Огородников посмотрел на Лаврентьева и запнулся. – Фамилию я запомнил, к сожалению. Молодой он был, но отличался особым усердием, гитлерюгендовский выкормыш... Вот с ним мне и пришлось поехать в тюрьму, и там фашист разыграл гнусную комедию, сочувствие изображал. Но девушка держалась как и подобает настоящей патриотке-комсомолке. На подкуп, конечно, не поддавалась. И тогда этот гестаповец еще один ход придумал, решил психологию применить – повезти ее на машине по городу, показать, как жить хорошо, чтобы ослабить ее бдительность...

«А был ли мальчик-то?» – вспомнил Лаврентьев горьковскую фразу. Бесстыдно искаженное в кривом зеркале прошлое – смесь правды, правдоподобия, лжи и фантастики – терзало его, не верилось, что столько прошедших лет не выработали защитной реакции, не притупляют боли, будто все, о чем говорит омерзительный старик, произошло вчера...

– Я, конечно, немедленно доложил товарищу Шумову, и он составил план, как спасти Лену. Решили освободить ее во время поездки по городу. Предполагалось, что в поездке буду участвовать я. Когда наши нападут, я нанесу удар гестаповцу, а потом они и меня легко поранят, а я вроде бы убегу... Но, к глубокому сожалению, товарищи, замысел наш остался невыполненным.

– Почему? – спросила Марина.

– Потому что на войне все предугадать невозможно. – И Огородников поучительно поднял подрагивающий палец. Жест этот вызвал особое отвращение у Лаврентьева. – Фашисты заподозрили опасность и перенесли выезд на другое время, более раннее.

– Ну а после поездки? – спросил автор.

– После ничего уже сделать было невозможно, потому что именно во время поездки палачи и расстреляли Лену.

– И вы присутствовали при этом?

Огородников готов был ответить утвердительно, и были у него в голове сентиментальные необходимые подробности «жестокой расправы», но настойчивый инстинкт заставил снова взглянуть на Лаврентьева и снова померещилось: Отто!

Лаврентьев в упор смотрел на него, и Огородников пробормотал, охваченный беспокойством:

– Не присутствовал. Отстранили меня, заподозрили и отстранили.

И тут же разозлился на себя: «Вот не повезло! Попался... сосед, провалиться ему на этом месте! Просто гипнотизер какой-то. Как гляну на него, теряюсь. А чего теряться? Мало похожих людей, что ли?»

– Подробности я узнал потом.

– Какие подробности? – мучаясь, спросил Моргунов.

– Подробности геройской смерти, – поправился Огородников.

– Расскажите.

– Повезли Лену, значит... Но коварный вражеский план не удался. Девушка держалась твердо. Возили, возили ее палачи, пока не убедились в своем поражении. И тогда расстреляли ее на берегу моря.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– На берегу? – заинтересовался режиссер. – Вы хорошо помните? Именно на берегу?

– Так и было, – сказал Огородников.

«Это уже что-то, – подумал Сергей Константинович. – Не в застенке, нестандартно. Это можно своеобразно решить».

– Я помню, палачи хвалились, что перед смертью заставили девушку цветов нарвать. Издевались. Говорят: нарви себе на могилу!

Эта подробность почти для всех прозвучала убедительно. Только Моргунов не знал, верить или нет, и смотрел на Лаврентьева с немым вопросом: неужели опять врет? Но Лаврентьев чуть повел головой: не врет. Ему хотелось, чтобы Моргунов именно так представил последний миг Лены, не в душегубке и не во рву, открытом смертниками, а на морском откосе, прижимающей к груди осенние цветы.

И она в самом деле сжимала мертвыми пальцами сухой букетик, только пуля поразила ее не в грудь, а в спину. Одна пуля, но прямо в сердце.

«Больше не выдержу», – понял Лаврентьев и, пользуясь правом постороннего, вышел из режиссерского номера. Ему показалось, что уход его не привлек внимания. И это было верно в отношении большинства собравшихся. Только Огородников заметил и обрадовался. И заметила Марина.

Через несколько минут она постучала к Лаврентьеву:

– Можно к вам?

– Разумеется. Но почему вы сбежали?

– Я смотрела, как вы уходили. Будто из грязи выбирались. Это же все ложь, то, что он говорил, ложь? Я чувствовала это. Прямо кожей ощущала. От этого Огородникова исходит что-то отвратительное, правда?

– Пожалуй.

– Вы так спокойно говорите! Он же преступник!

Лаврентьев провел пальцами по влажному лбу.

– Он уже получил свое, во-первых, а во-вторых, Марина, вовсе я не спокойно говорю. В свое время меня научили не выходить из себя.

– Скажите, кто вы?

– Сейчас обыкновенный преподаватель. А в прошлом... так сложились обстоятельства, что пришлось быть свидетелем... многого.

– Вы засекречены, я понимаю... И не можете его разоблачить?

– Он сам себя разоблачит. Вот вы уже знаете...

– Я? Я на таких типов чутье имею.

– Это хорошо, – сказал Лаврентьев серьезно.

– Но это я! А другие? Посмотрите, как на него режиссер уставился! «Присаживайтесь, расскажите, пожалуйста...» – передразнила она Сергея Константиновича. – А автор?

– Вы и автора не жалуете?

– Пошляк.

– За что так строго?

– Предлагал угостить шампанским. Дома. И сообщил, что жена в отъезде.

– Бедная вы моя красивая девушка, – посочувствовал Лаврентьев. – Нет вам спокойной жизни.

– Нету, – согласилась она. – Такие все дураки. И говорят одно и то же. А когда говорят, лица у всех дурацкие становятся. Совсем одинаковые. Меня ужасно злит, что я привожу людей в дурацкое состояние.

– Не кокетничайте, Марина, и не хвастайтесь победами.

– Что вы! Я очень серьезно. Женщина должна вдохновлять, а я оболваниваю. Или сама такая пустышка, что одним оболтусам нравлюсь? Не пойму. Правда. Я вам не вру ни капельки.

Лаврентьев невольно улыбнулся. Он был рад, что Марина своей болтовней отдаляет тот тяжкий час, когда он останется один. Нет, даже не один, а с этим Шуманом... Но передышка оказалась совсем короткой.

– В вас есть такое, что необходимо женщине. По-моему, вы можете защитить, спасти...

– Замолчите, Марина!

– Почему вы крикнули? Вам неприятно меня слушать?

Лаврентьев взял себя в руки. Сказал обычно:

– Я отношусь к тому сорту людей, которые терпеть не могут комплиментов.

– Какой же это комплимент? Это мое впечатление.

– Впечатление может и подвести. На самом деле я просто пожилой человек и, к сожалению, уже не могу прийти в то блаженное и прекрасное состояние, которое вы называете дурацким.

Она посмотрела внимательно:

– Вы тоже кокетничаете?

Он покачал головой.

– Ужасно, если вы говорите всерьез. Я наблюдала, как вы спускаетесь по лестнице – так красиво, легко и достойно. Я далее подумала: вот бы поехать с таким человеком на модный курорт и идти вместе по какой-нибудь набережной, чтобы все на нас пялились.

– И смеялись?

– Ну уж! Их бы трясло от зависти. Мы бы замечательно смотрелись. Я ведь тоже красивая. И все бы понимали, что я вас люблю и вас есть за что любить.

– Изумительно. Приглашаю вас на набережную.

– Вы шутите, а я серьезно. То есть не в буквальном смысле, а по идее. Хочется полюбить кого-нибудь умного и сильного, чтобы он мог положить руку на голову, потрепать и сказать: «Дурочка ты моя...» А кругом одни собаки. Есть у меня один... ну, любовь моя, что ли... отношения сложные, запутанные... Мрак! Я его то люблю, то жалею, то презираю... Он из Саратова сам. Я так и называю это – саратовские страдания. Смешно?

Он поднял руку и положил ладонь на ее мягкие, чуть пахнущие шампунем рассыпающиеся волосы.

– Вы не дурочка, Марина, хоть и болтаете бог знает что.

Она мягко, будто заставляя себя, отстранилась, присела на краешек дивана, достала из сумки сигарету.

- Не понимаю, почему у вас не сложилась личная жизнь.
- Не сложилась?
- Вы так сказали, когда пожелали мне поймать золотую рыбку. Помните? Почему?
- Война...
- После войны прошло так много времени!
- В самом деле? Это для вас...

Он мог бы пояснить свою мысль, добавить, что для него время пробежало ненужно и незаметно, однако это, в свою очередь, потребовало бы новых разъяснений, и Лаврентьев больше ничего не сказал.

И она, не в первый уже раз натолкнувшись на глухую ограждающую его стену, оставила попытку прорваться, проникнуть.

- Простите, – сказала она.

Он развел руками.

В коридоре рядом зашумели, задвигались люди. Стало слышно, как провозжат Огородникова.

Марина поднялась рывком. Шагнула к двери. «Подождите!» – хотел сказать Лаврентьев, но не успел. Она выскочила из номера.

Лаврентьев шагнул следом. Огородникова уже не было, возле двери стояли Моргунов и Сергей Константинович, который строго выговаривал актрисе:

- Я недоволен вами, Марина.
- Почему? – спросила она резко, с вызовом.
- У нас происходил серьезный деловой разговор, а вы ушли. Я вас не понимаю. Вы ведь сюда работать приехали, не так ли?
- А я не понимаю вас!
- Это еще что! – вспыхнул режиссер, в котором всколыхнулась личная враждебность к молодым актрисам. – Почему вы со мной так разговариваете?
- Как именно?
- В недопустимой, грубой форме!
- А почему вы в такой заискивающей, вежливой форме разговариваете с предателем?
- Я запрещаю разговаривать со мной подобным образом! – выкрикнул режиссер, покраснев. – Вы даже не актриса. Вы девчонка. Я завтра же отправлю вас в Москву.
- Не угрожайте мне! Я актриса. Я знаю. Я все равно буду играть, если не у вас, то в другой картине, в театре...
- Прекратите, Марина! – вмешалась Светлана. – Стыдно устраивать скандалы в гостиницах. Это и знаменитых актрис не украшает. Идите к себе, успокойтесь.
- Спокойной ночи!

Марина круто повернулась и пошла по коридору, громко стуча «платформами».

– Сумасшедшая, просто сумасшедшая! – обескуражено произнес режиссер. – Где вы ее откопали, Светлана? В психиатрической клинике? Нам нужна другая актриса. С этой я работать не могу.

И он, разгневанный, удалился в номер, захлопнув дверь перед носом поспешившей

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
было следом Светланы.

Лаврентьев и Моргунов остались вдвоем.

– Я всегда беру в дорогу немного коньяку. На случай, если в полете сосуды прижмет. Не хотите рюмочку? – предложил Лаврентьев.

– С удовольствием.

Они зашли в номер. Лаврентьев достал из чемоданчика плоскую, похожую на флягу бутылку.

– Прошу.

– Хороший коньяк, – похвалил Моргунов. – Вы в самом деле рассказали ей?.. Этой девушке...

– Нет. Не все, точнее. Ее насмешило, что такой жалкий старик выдает себя за гестаповца. Она ведь видела их только в кино. Молодыми. А я сказал, что он не врет. Вот и все.

– Кто же он на самом деле?

– Переводчик. Тогда назывался Шуман. Из фольксдойчей.

– Уверен, что нашим он не помогал.

– Конечно, нет.

– Зачем же вы меня сдержали? Я бы его...

– Как Тюрина? – спросил Лаврентьев.

Моргунов не ответил.

– Как вам удалось заманить его в подвал?

– Просто. Он крутился возле дома, выслеживал...

Было, конечно, непросто. Они искали друг друга, чтобы убить, и победил в этой смертельной охоте Мишка. Но не убил, а оглушил только. Он считал, что Тюрин не заслужил легкой смерти. И еще не хотел, чтобы смерть эту видел Воздвиженский.

Возни в подвале Воздвиженский не слышал.

С тех пор как три дня назад ему сообщили о гибели Лены, он не выходил из дому, ничего не ел и лежал все время на большом кожаном диване в полной темноте, закрыв ставни и опустив плотные шторы. Он думал, что умрет сразу, но смерть медлила, продлевая страдания. Иногда казалось, что желанный конец наступает, но приходило лишь кратковременное полубредовое забытие.

Он встал, покачнулся от слабости, постоял минуту, собирая последние силы, необходимые, чтобы довершить оставшееся на его долю в этом мире, опустил руку в карман халата и прикоснулся к зажигалке, подаренной немецким офицером, недели две прожившим на квартире у Воздвиженских. Прикосновение пронзило его новой болью. «Может быть, Лену... жгли...» Он отбросил зажигалку и, сделав два-три трудных шага в темноте, опустился на колени и стал искать на ощупь в нижнем ящике комода коробок со спичками, припасенный на самый крайний случай, который теперь и пришел. Ослабевшими пальцами профессор достал коробок, но первая спичка не зажглась, сломалась. Воздвиженский огорчился, но вспомнил, что беречь спички больше не нужно, и, достав вторую, зажег фарфоровую керосиновую лампу. С этой лампой он вышел в прихожую, чтобы отвязать обычно висевшую там бельевую веревку.

Однако веревки на месте не оказалось. В недоумении Воздвиженский рассматривал обрезанные ножом концы. Он не знал, что веревка понадобилась Мишке. Потом потрогал пояс халата – не заменит ли он веревку? В эту минуту в дверь негромко постучали. Воздвиженский вздрогнул: «Кто это? Зачем? Кто хочет мне помешать?» Но

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

тут же подумалось, что помешать уже никто не может, и он подошел к двери и откинул щеколду.

Еще до того как дверь отворилась, Мишка услышал шарканье и обрадовался, что старик на ногах и не придется шуметь, чтобы достучаться. Эта небольшая практическая удача немного подбодрила его, укрепила решимость довести задуманное до конца.

– Это я, Роман Константинович, – прошептал он.

Воздвиженский всмотрелся. «Кажется, это тот самый мальчишка, что вовлек Лену... Зачем он здесь? Ах да... Я должен простить его. Конечно. Как и я, он не ведал, что творил. Мы оба погубили ее...»

– Войди, мальчик.

– Нет, Роман Константинович, я за вами. Пойдемте.

– Куда?

– Пойдемте, пойдемте. Это недалеко. Вы увидите.

Ничего больше не объясняя, он тянул Воздвиженского за рукав халата.

– Нет, Миша, я не могу. Я очень занят. У меня срочное дело.

– Это близко. Здесь, в подвале...

Мишка не мог найти нужных слов, чтобы пояснить, куда и зачем зовет профессора. А ведь совсем недавно это представлялось простым, само собой разумеющимся. Он так ясно, так радостно представлял, как распахнет эту дверь и скажет громко и с торжеством: «Взял гада! Сейчас он нам за все заплатит. До последней капли». А теперь, когда цель была достигнута, ничего не получалось – не может же этот старик в самом деле взять в руки раскаленную кочергу и жечь Тюрина! И Мишка бормотал, повторяя:

– Пойдемте в подвал. Сами посмотрите.

«В подвале должны быть веревки», – вспомнил Воздвиженский.

– Хорошо, Миша, я иду, – согласился он и потянулся к лампе.

– Лампу не нужно, там светло.

Профессор послушно поставил лампу на старый мраморный столик. Поддерживаемый Мишкой, он спустился по скрипучим ступенькам, обошел дом запорошенной снегом дорожкой и ступил на лесенку, ведущую в подвал. Внутри тускло светила коптилка, изготовленная из гильзы малокалиберного снаряда, да еще падал на замусоренный пол отсвет разгоравшихся в печке углей. С высоты лестницы Воздвиженский увидел в этом колеблющемся освещении темную человеческую фигуру, привязанную веревками к верстаку, за которым он любил прежде скоротать свободное время, занимаясь работой по дереву. Запахнув халат, профессор спустился в подвал и подошел к связанному человеку. Он уже утратил способность изумляться, и появление незнакомого, опутанного веревками человека в его доме не поразило Воздвиженского, однако он был еще жив и старался поступать, как подобало живому, и он подошел и посмотрел.

Рот Тюрина был широко раскрыт и заткнут кляпом. Разодранный по краям, он кровоточил, и кровь, смешиваясь со слюной, стекала тонкими струйками, засыхая на широком подбородке. Глаза, наполненные слезами, смотрели с ужасом и ненавистью.

– Что это? – спросил профессор.

– Это он.

– Кто?

Они говорили шепотом.

– Он, который Лену...

Несмотря на то, что замутненное сознание Воздвиженского было подавлено и сосредоточено вокруг одной последней цели – поскорее уйти из жизни, он сразу понял, что сказал Мишка, и на этот раз внимательно рассмотрел Тюрина, не пугаясь его безумного взгляда.

– Что ты хочешь с ним сделать, Миша?

– Пытать.

– Пытать? – не понял Воздвиженский. – Как пытать?

– Обыкновенно, – ответил Мишка, который никогда никого не пытал, и указал рукой на растопленную печь, в которой накалялась стальная кочерга. По тем описаниям пыток, которые он помнил из книг, кочерга должна была раскалиться по крайней мере докрасна.

Профессор посмотрел на кочергу бессмысленно.

– Как пытать? – повторил он.

Мишка смотрел хмуро. Предстоящая месть вопреки ожиданиям не радовала. Ждать, пока накалится кочерга, было невыносимо. Таяла надежда и на поддержку Воздвиженского. «Убить бы гада сразу», – думал он о Тюрине, но и отступить от задуманного не хотелось. И чтобы поддержать решимость, он сказал:

– Как они Лену пытали.

Воздвиженский вздрогнул.

– Сейчас кочерга нагреется, и начнем.

Наконец Воздвиженский понял. Этого парня, который погубил Лену, собирается мучить и замучить до смерти другой паренек, который Лену любил. И этот паренек считает новое кровопролитие справедливым и полагает, что оно смягчит горе его, Воздвиженского. Мысль о том, что можно утешиться, пролив кровь, показалось профессору нелепой. Неужели в его доме будут пытать человека? А вернее, уже пытаются, потому что как же иначе назвать то, что испытывает связанный и ожидающий мучительной смерти парень? Воздвиженскому захотелось немедленно развязать и отпустить этого тупого недоумка, творившего зло по неведению. Но раз он связан, раз он здесь, значит, это тоже нужно, тоже предопределение. Какое же право имеет он вмешиваться в высшую волю, которая обрекла убийцу его дочери? Сознание мутилось, мысли ускользали. Почему он стоит в этом подвале? Ведь у него есть другое, гораздо более важное дело...

– Веревку бы найти, Миша.

Теперь не понял Мишка:

– Зачем? Я его крепко связал. Не убежит. Да мы его сейчас...

Он вдруг вспомнил, как учительница на уроке рассказывала о красных партизанах, которым белые посыпали солью незаживающие раны. «Сейчас я его раздену и буду резать живьем. Вырежу свастику и солью засыплю... Обойдемся без кочерги...»

– Соль у вас есть?

– Соль?

– Ну да. Посыпать его...

Воздвиженский повернулся и пошел к лестнице. Пошел, чтобы умереть. А Мишка подумал, что за солью, и присел на старый табурет, дожидаясь профессора. Мучаясь одним горем, они жили в разных измерениях, и понять друг друга им уже не было дано.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Внезапно Тюрин изогнулся всем телом и, будто в судороге, забил связанными ногами по дощатому полу.

Мишка вскочил. «Чего ждать? – спросил он себя в отчаянии оттого, что теряет последнюю решимость сделать то, что задумал. – Если сейчас не смогу, совсем не смогу...»

– Затихни, гнида! – Он ударил Тюрина в бок, и удар этот придавал решимости. – Сначала тебе крест на лбу вырежу! – крикнул Мишка и протянул руку с ножом к лицу Тюрина.

Жорка обмяк и сжал веки, из-под них брызнули слезы.

– А ей как было?!

Мишка нажал на рукоятку ножа. Бледная кожа разошлась под лезвием, упершимся в кость. На лбу выступило немного крови, в горле у Тюрина заклокотало.

Мишка отдернул руку, его тошнило. «Ах, сволочь, ах ты, сволочь! – бормотал он в ярости на свое бессилие. – Все равно легкой смерти тебе не будет». И он побежал наверх, чтобы глотнуть свежего воздуха и остановить подступившую к горлу рвоту.

Когда Воздвиженский вышел из подвала, появилась луна, и снег заискрился праздничной голубизной. Не верилось в ужасное, происходящее в этом сверкающем мире. Но он знал, что обманываться больше нельзя. Еще во дворе он начал выдергивать пояс из петель халата. Полы распахнулись, закрыли на миг дорожку, и Воздвиженский наткнулся ногой в домашней туфле на что-то твердое. Он посмотрел и увидел пистолет. Это был пистолет, выпавший у Тюрина, когда Мишка волочил его в подвал. Воздвиженский робко наклонился, не веря увиденному, поднял оружие и обтер полый. С минуту он стоял неподвижно, рассматривая парабеллум, потом обратился к светлomu небу озаренное внезапной радостью лицо и впервые с того далекого времени, когда усомнился в существовании бога, перекрестился.

«Благодарю тебя, господи, за дар твой, за то, что посылаешь мне смерть верную, быструю и безболезненную, за то, что избавляешь от унизительней петли...»

Слова эти Воздвиженский произнес в душе, но ему показалось, что говорит он громко и весь мир вплоть до проплывающих в небе светил слышит его молитву. И, сжимая в руке пистолет, он поднялся в дом.

Мишка не застал профессора во дворе. Он увидел только через стекло веранды, как тот с лампой в руке входит в комнату. «Соль ищет», – подумал Мишка и прислонился плечом к стволу старой вишни...

Когда лезвие ножа коснулось лба и рассекло кожу, Тюрин, казалось, испытал тот наивысший ужас, который способен испытывать живое существо в преддверии мучительной смерти. На секунду он перестал понимать, что происходит, и потерял сознание, а когда очнулся и открыл глаза, в подвале никого не было. Конечно, чуда произойти не могло, но жажда жизни, которая продолжала упорно сопротивляться неизбежному, заставила Тюрина еще раз судорожно дернуться в попытке освободиться от Мишкиных узлов.

Веревки, конечно, не поддались. Вязал Мишка прочно, и узлы только врезались в кожу, ничуть не ослабевая, но дернулся Жорка с такой силой, порожденной отчаянием, что тяжелый верстак не устоял, наклонился и опрокинулся, придавив связанного Тюрина. Медная гильза с самодельным фитильком упала по другую сторону верстака. Придавленный, еще более беспомощный и по-прежнему обреченный, Тюрин сжался в темноте и глухо захрипел.

Опять наступил короткий провал, потом он уловил запах паленого, гари. По-над полом полз дымок, и Тюрин понял, что коптилка не погасла при падении, а, упав на кучу стружек позади верстака, подожгла их. Казалось, ожидая пыток и смерти, достиг он предел возможного ужаса и отчаяния, но мысль о гибели в огне повергла Тюрина в отчаяние худшее, безысходное. «За что?! За что?!» – хотелось кричать ему. И чуть ли не сильнее жалости к себе терзала Тюрина ненависть к виновникам своих мук, и среди этих виновников выделял он, как ни странно, не Мишку, а свое

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
непосредственное начальство.

В бешенстве Тюрин напрягся и неожиданно оторвался от верстака. Веревка, которой был он привязан к стальной скобе, попала при падении на стружки. Горели они лениво, чахлое пламя никак не могло одолеть сырой ворох, но огня оказалось достаточно, чтобы пережечь натянувшуюся веревку. Тюрин приподнялся и сел, привалившись спиной к верстаку. Он по-прежнему был связан по рукам и ногам, однако положение его изменилось – даже связанный, он мог теперь передвигаться по подвалу.

Переход от полного отчаяния к надежде подействовал на Тюрина подобно хмельному, будто он выпил большой стакан спирта – организм ожил, невозможное показалось возможным, на мгновение он утратил чувство реальности. «Ну, подлюги, узнаете вы Тюрина...» Предвкушение мести подхлестнуло еще больше. Он готов был, извиваясь в своих путах, ползти по морозу километры, лишь бы доползти и расквитаться.

И он пополз. Трудными движениями втягивал под себя связанные ноги и толкал туловище вперед, одолевая пространство от верстака до лестницы. Добрался до нижней ступеньки, уперся в нее локтем, сделал рывок и перекинул тело на ступеньку. Теперь можно было сесть, поднять голову над дымной пеленой, стлавшейся по-над полом, и вдохнуть чистого воздуха. «Узнаете, подлюги, как Тюрина раньше времени хоронить...» Преждевременная радость и подвела его. При очередном рывке Тюрин не рассчитал движения и, стараясь сохранить равновесие, выбросил ноги в сторону от лестницы. Ноги скользнули в пустоте, наткнулись на что-то и опрокинули этот предмет. Тотчас к запаху гари примешался новый неприятный запах. Тюрин опрокинул жестяной бачок с керосином, стоявший у лестницы.

Через узенькую трубочку керосин вытекал на пол, образовав вначале небольшую лужицу, а потом, переполнив ее, побегал стружкой, обходя неровности старых вытопанных досок, туда, откуда только что приполз Тюрин, – к верстаку и дымившейся куче стружек. «Врешь, – упрямо решил Тюрин, – не успеешь!» Еще раз он перекинул себя через ступеньку. В лицо ударил порыв свежего ветра. Он толкнул плечом дверь...

На пороге стоял Мишка.

Минуту назад, когда Тюрин извивался на нижних ступеньках, он услышал в доме выстрел и, вбежав в комнату, увидел Воздвиженского.

Больше он не колебался. Но, ошеломленный смертью профессора, Мишка не сразу понял, что происходит в подвале. Скорчившийся на пороге Жорка не упустил этой секунды. Сжавшись пружиной, он кинулся всем корпусом в ноги Мишке, стараясь достать головой до нижней части живота. Не ожидавший удара, Мишка качнулся вперед и полетел через спину Тюрина вниз. Как неумелый ныряльщик, раскинув руки, он проскользнул по полу, размазав керосин. К счастью, шапка защитила волосы от огня, а ватник смягчил удар. Мишка тут же вскочил на ноги и кинулся назад, к дверям. Из дверей свисали ноги перевалившегося через порог Тюрина. Мертвой хваткой впился Мишка в икры врага и, точно мешок протянув его по лестнице, швырнул назад в подвал.

Там было уже довольно светло, хотя размазанный керосин и не добрался еще до стружек. Но Мишка не замечал назревающей вспышки. Тяжело дыша, он смотрел на Тюрина. Тот казался мертвым. «Сейчас я тебя оживлю», – прошептал Мишка и, присев на корточки, начал расшнуровывать Тюрину ботинки... Его собственное состояние походило на безумие. Он не видел приближающегося к пламени керосина и не слышал шагов Лаврентьева наверху, в доме...

А Лаврентьев стоял в это время в кабинете, где сидел мертвый Воздвиженский. Письмо, которое он нес, больше не было нужно профессору. Наклонившись над столом, Лаврентьев прочитал:

«Доченька светлая, иду к тебе».

Он осторожно вынул листик бумаги из-под пресс-папье, сложил его и спрятал в

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

карман, туда, где лежало письмо Лены. Потом вышел из комнаты и притворил за собой дверь. Подавленный, он спешил покинуть казавшийся мертвым дом, но в доме еще было двое живых. Проходя мимо полуоткрытой двери в подвал, Лаврентьев заметил в ней свет и почувствовал запах дыма.

Мишка между тем снял ботинки. Оставалось подтащить Тюрина и положить его ноги в огонь, но тут слабость снова охватила Мишку. Он ясно представил, как эти белые, холодные ноги сначала покраснеют, а потом начнут чернеть, наполняя подвал отвратительной вонью. И еще он вспомнил книгу об Уленшпигеле, вспомнил, как сжигали Клааса и как страшно было об этом читать. Но все-таки он приподнял ноги Тюрина, чтобы тащить его в огонь. Мишка ждал, что Тюрин будет сопротивляться, и готовился покрепче держать его, но сопротивления больше не было, холодные ноги лишь дрожали, конвульсивно, бессильно подергиваясь. И эта жалкая дрожь окончательно доконала Мишку. Бросив Тюрина, он сел прямо на пол и, опустив голову на руки, зарыдал беззвучно, трясясь от ужаса и отвращения.

А Тюрин, приоткрыв глаза, сквозь дым в полусознании первым увидел в дверях фигуру человека в черном клеенчатом реглане и фуражке с поднятой тульей. Он смотрел, но уже не мог понять, действительно ли видит гестаповца или тот мерещится в предсмертном бреде. Но все-таки он дернулся инстинктивно и толкнул Мишку.

Мишка, очнувшись, оглянулся и тоже увидел гестаповца.

В отличие от Тюрина он поверил сразу и, осознав опасность, вопреки здравому смыслу, обрадовался ей. Ведь она освобождала от необходимости завершать дело, к которому оказался он неспособным, превращала из палача вновь в бойца. В секунду от подавленности не осталось и следа. Мигом оглядевшись, Мишка заметил торчащую из печи кочергу, которая раскалилась наконец и мерцала розовым тусклым светом.

Лаврентьев едва не прозевал его бросок. Удар, предназначавшийся в лицо, пришелся ниже. Раскаленный прут скользнул под расстегнутый плащ и прожег китель. Отстраняясь от удара, Лаврентьев прыгнул с лестницы и оказался сбоку от Мишки. Он ударил его по руке, обезоружил профессиональным движением и швырнул на пол. Теперь только, вытащив пистолет, Лаврентьев рассмотрел обоих лежащих перед ним парней.

Мишка лежал скорчившись, отвернувшись, зато Тюрин смотрел в восторге свершающегося избавления. Это искаженное гримасой счастья полунеподвижное лицо, обезображенное кляпом, выглядело страшно, непохоже на себя, но Лаврентьев узнал связанного. Тогда он начал догадываться. Толкнув Мишку ногой, он жестом приказал ему встать.

И тут долго пробиравшаяся по полу струйка керосина добралась наконец до вороха стружек и вдохнула жизнь в чахлое пламя. С радостным гулом огонь взметнулся, разом осветив подвал. Поднявшийся Мишка тупо смотрел на горящие стружки, не понимая, почему медлит немец, почему не развязывает Тюрина, почему не стреляет в него, Мишку. Немым воплем недоумения исказилось и лицо Тюрина, увидевшего, как немец отступает шаг за шагом, оставляя его огню.

– Иди! Уходи! – крикнул Лаврентьев Мишке по-немецки, показывая пистолетом на дверь.

Тот ринулся из подвала, а Лаврентьев, добравшись до верхней ступеньки, обернулся, протянул руку и выстрелил. Извивавшееся в пламени тело Тюрина в последний раз дернулось и прекратило сопротивляться судьбе.

Во дворе Лаврентьев огляделся. Мишки нигде не было видно. Вложив пистолет в кобуру, он быстро зашагал прочь от обреченного дома.

А Мишка находился там. Прежде чем уйти, он вбежал в кабинет и, подхватив Воздвиженского под руки, перетащил с кресла на диван. Там он выпрямил еще теплое тело и осторожно прикрыл профессору глаза.

Пламя между тем прорвалось сквозь старые сухие перекрытия, и дом вспыхнул свечой. Искры полетели в морозное небо, карнавальным фейерверком освещая сад с черными зимними деревьями и глухую ночную улицу...

Вот что вспоминали Лаврентьев и Моргунов почти через тридцать пять лет, сидя в гостиничном номере, но чтобы вспомнить все, потребовалось бы слишком много времени, а оба были взволнованы и многих важных вещей коснуться не решились. Только перед самым уходом Моргунов спросил:

– А про Лену? О смерти ее... Неужели правду сказал?

Лаврентьев наклонил голову.

– И про цветы правда?

– Да. Но сейчас не могу я подробно... Разнервничался.

– Понимаю.

Моргунов стал прощаться. Проводив его, Лаврентьев прошел в ванную, набрал в ладони холодной воды, вытер лицо. «Придется принять снотворное», – решил он.

Однако заснуть в эту ночь ему пришлось поздно. Началось с того, что зазвонил телефон. «Кто это?» – подумал он недоуменно и поднял трубку:

– Слушаю вас.

Трубка не ответила, хотя аппарат работал нормально. «Кто-то ищет гостиничных знакомств», – решил Лаврентьев с досадой и взял стакан, чтобы запить лекарство.

Снова задребезжал звонок. На этот раз он долго не брал трубку, но телефон упорствовал.

– Слушаю вас...

– Простите, ради бога. Это я, Марина.

– Слушаю вас, Марина. Почему вы не спите?

– Во-первых, извините... Я, кажется, и вам нагрубила. Я не хотела. Я совсем не на вас злилась.

– Не придавайте этому значения. Я не в обиде.

– ...А во-вторых... Я вас очень прошу... Только не отказывайте сразу. Мне так трудно вас просить... Я позвонила в первый раз и струсилась...

– О чем вы?

– Вы не придете ко мне сейчас? Пожалуйста!

– Может быть, лучше завтра? Уже поздновато.

– Нет, нет. Я вас очень прошу! Сейчас...

– Хорошо, – согласился Лаврентьев.

Он постоял немного посреди комнаты, подумал, потом достал из чемодана письмо Лены...

Дверь в номер Марины была не заперта. В комнате горела одна неяркая настольная лампа. Сама Марина сидела на диване в летнем халатике, поджав под себя ноги. Распушенные волосы лежали на худеньких плечах. В этой на первый взгляд интимной обстановке она выглядела проще, мягче и даже моложе. Сразу бросалось в глаза, что девушка эта совсем недавно, вчера еще, была подростком, девчонкой.

– Только не ругайте меня и не читайте нотаций, пожалуйста, как Светлана, – начала она.

– Светлана? Она уже успела?

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– Да, конечно. Она все успевает. Современная деловая женщина. Пришла и очень четко, коротко, по существу доказала, какая я непроходимая идиотка.

– Так уж и доказала?

– Ну почти... Она ведь все знает. И про меня... Что мне нужно, а что нет, что для меня хорошо, а что плохо. И что со мной будет, если не поумнею. Она очень беспокоится о моей карьере.

– Разве это плохо?

– А почему она должна беспокоиться о моей карьере? Почему не я сама?

– Наверно, потому, что вы молоды и еще не все знаете о жизни.

Марина неожиданно резко провела ладонью по горлу.

– Вот! Вот сколько я знаю. Понятно? Не знаю только, зачем все это знать? Чтобы приспособиться?

– Чтобы жить.

– Как? Скажите!

Лаврентьев улыбнулся:

– За этим вы и позвали меня?

– Да. А что?

– И думаете, что на такой вопрос легко ответить? Да еще по срочному вызову...

– Помощь всегда требуется срочно. А разве вам совсем-совсем нечего сказать? Как у Чехова? «Давайте лучше чай пить...» Кстати, у меня есть чай. Хотите?

– Хочу.

Она вскочила обрадованно; видимо, возня с чаем снимала то чувство неловкости, которое все-таки испытывала Марина, несмотря на желание казаться уверенной в себе.

– Бедный вы! Затасила я вас среди ночи, спать не даю. А признайтесь, к страшиле какой-нибудь вы бы не пошли! Правда?

– Не знаю, – ответил Лаврентьев серьезно. – Думаю, что пошел бы.

– Не обижайтесь. Это очередная глупая шутка. Я такая... Слишком поздно понимаю, что говорю глупости. Но понимаю все-таки. Это уже неплохо. Есть надежда, что когда-нибудь начну понимать вовремя, и тогда обязательно усвою всю мудрость Светланы.

– А она мудра?

– Конечно. Вы разве не замечали, как по-разному она здоровается с людьми? Одним улыбается и подставляет щечку для поцелуя, другим руку протягивает, а кое-кому кивнет небрежно – и хватит. Знай, сверчок, свой шесток.

– Вы наблюдательны.

– Я же говорила. Все знаю, все вижу. А ведь это ужасно!

– Почему?

– Ну как вам сказать... Я как-то летела в самолете рядом с дядечкой одним. Тоже такой умный... Почти как вы. Он научный журнал читал, а я от нечего делать подглядывала одним глазом. Там писали про крыс. Мне просто страшно стало. Оказывается, у них все как у нас.

– В каком смысле?

– Каждая крыса знает свое место. Вернее, те, что знают, процветают, а тех, кто не может разобраться, все бьют, кусают... и они быстродохнут. Но ведь мы все-таки не крысы? Или крысы?

– Нет.

– Как вы хорошо сказали! Одним словом. Решительно. Так мне и хотелось услышать. Хотя вы не правы, конечно.

Лаврентьев не смог удержать улыбку.

– Ну, Марина! С вами не соскучишься.

– Никогда! Со мной еще никто не скучал. А не правы вы потому, что мы смешанные. Есть крысы, а есть и не крысы. Понимаете? И всегда важно знать, с кем имеешь дело, кто есть кто.

Она налила в стакан густой ароматный чан.

– Не обожгитесь! А сахару нет. Вот беда! Знала же, что нет, и не купила. С печеньем будете?

– Буду.

– Берите печенье. Пейте, а я расскажу о себе. Я из крысиного семейства, между прочим. Из людей, занимающих достойное место. Правда, отца я не знаю. Он в шахте погиб, когда я совсем маленькая была. Не помню его совсем. Мама быстро замуж вышла. Она и сейчас красивая. Отчим тоже горняк был, но не рядовой – директор комбината. Представляете, что это значит в маленьком городишке? Первый человек. Мама – первая дама. Ну а я – первый ребенок, соответственно... Отчим маму любил, как я теперь понимаю, просто отчаянно. Зимой – каждый день цветы... И я ни в чем отказа не знала, так ему хотелось маме угодить.

– Это заметно.

– Что?

– Что отказа не было.

– И повредило? Ну да, повредило, конечно... Потом отчима в областной центр перевели. Там он уже не первым стал, но все-таки... «И брюки у гражданина Присыпкина должны быть полной чашей», – вспомнила она неожиданно. – Так и наш дом – полная чаша! А я тем временем их обоих – отчима и мать – начала тихо ненавидеть.

– Вы любите наговаривать на себя, Марина.

– Не верите? Я правду говорю. Сама не знаю, почему я говорю вам только правду. Может быть, потому, что вы уедете, и мы никогда не увидимся, и мне не придется смотреть вам в глаза и стыдиться своей болтовни. А может быть, потому, что у меня все-таки не было настоящего отца, и я не выговорила в детстве...

– Хороший чай, – похвалил Лаврентьев.

– Да, хороший. Когда я выйду замуж, я стану образцовой хозяйкой, не верите? Ну ладно. Сейчас я о другом хочу... Началось с того, что отчим стал проявлять себя. Ну, как вам сказать? Вроде бы все было по-прежнему, но и не так... Женщины это чувствуют. И я сразу поняла, что и мама почувствовала. Хотя, конечно, он держался в рамках. Иногда только руку на плече чуть больше, чем положено, задержит и скажет: «Красавица дочка выросла, красавица...» А слово «дочка» звучит неуместно, фальшиво, понимаете?

– Да.

– Спасибо. Вы замечательно слушаете. А ведь слушать никто не умеет. Конечно, все это можно объяснить. Я ведь очень похожа на маму, и он увидел во мне ее первое

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

улучшенное издание. Это даже делает честь постоянству его привязанностей. Но ведь противно все-таки. А тут еще мама себя жалко повела. Глупо. Раньше наряжала меня, как картинку из мощного журнала, а теперь стала упрекать, что я одеваюсь вызывающе, нескромно, чуть ли не неприлично. Запретила носить дома мини-юбку. Понимаете, дома! Раньше мы грызлись из-за каждых пятнадцати минут, на которые я задерживалась по вечерам, а теперь – пожалуйста, хоть утром возвращайся, лишь бы у него на глазах не крутилась... Я все понимала, и мне ее ужасно жалко было, и в то же время я не могла их не презирать, ну и ненавидеть стала тихо... Хотите еще чаю?

– Пожалуйста.

– Пейте. Это ерунда, что чай на сердце действует. У нас всегда какую-нибудь чушь придумают. Портвейн гадостный не действует, а чай, видите ли, вреден в больших количествах... Короче, я ушла от них. Сначала на архитектурный поступила, а потом решила в актеры. Самодеятельность вдохновила, Теперь живу, как кошка, сама по себе. Вот и вся жизнь. Чепуха, правда?

Ответить Лаврентьев не успел. Да она и не ждала ответа, заговорила снова:

– Светлана говорит – психопатка. Я и в самом деле скандалю всю дорогу. Со всеми: с продавщицами в магазинах, с пижонами, что заводятся на меня с пол-оборота... Ну, продавщицы хамки, это известно. Пижоны глупы. А с режиссером зачем скандалить? Первая роль все-таки. Судьба, может быть, а? Светлана тут права в чем-то. Неужели я действительно с левой резьбой?

– Что? – не понял Лаврентьев.

– Да говорят так.

– А... Вместо «не шурупит», что ли?

– Ну да. Не соображаю, что мне хорошо. Могу будущее испортить. А какое будущее? Крысиное? С улыбкой?

– С какой улыбкой, Марина?

– Ну, когда подлецам улыбаешься. Как наш режиссер сегодня. Ведь это мерзость – улыбаться подонку, о котором все знают, что он подонок.

– Не все.

– Да у него каинова печать на физиономии! Как он нагло врал! Видно же было, что врет, видно!

– Сергей Константинович хотел узнать...

– У кого? У трупа?

– Иногда и вскрытие приносит пользу.

– В анатомии. Но не в искусстве.

– Микеланджело...

– Знаю, знаю. Вскрывал трупы. Но не здоровался с ними за ручку. А тут... Он же не понял, не почувствовал, что этого смешного, толстого Моргунова нельзя было сводить с подонком, на глазах у которого убивали его любимую девушку. Это вы понимаете?

Он понимал. И знал гораздо больше, более страшное. Ведь Огородников не просто присутствовал. Если б не он, Лена, быть может, жила бы и сегодня... Но сказать об этом Марине было невозможно.

– Я понимаю, но...

– Что значит – но? – прервала она. – Жизнь сложна? А я слишком требовательна? Да слыхала я все это тысячу раз. И не заступайтесь за него, пожалуйста!

- За кого?
- За режиссера. Самодовольный и ограниченный человек...
- У него свои трудности.
- У него? Еще бы! У него масса трудностей. С женами, любовницами, алиментами. Ну и пусть отправляют в Москву.
- Никуда он вас не отправит.
- Откуда вы знаете? – спросила она наивно.
- Он отходчивый, да и Светлана заступится.
- Не нужно за меня заступаться. Не прошу.

Лаврентьев вздохнул:

- Ну что с вами делать! Вы экстремистка, Марина.
- Попробуйте не стать экстремисткой, если столько дураков вокруг! И все знают, как надо жить. Усядутся на свое местечко в иерархии и поучают... с глупыми рожами. Разве вас не выводят из себя глупые, самодовольные рожи?
- Бывает.
- Вот видите! Как же жить?
- Просто.
- Что значит – просто?
- Хорошо делать свое дело и не распыхаться на мелочи.
- И, по-вашему, это просто?
- Другого рецепта я не знаю.
- Но как же я могу хорошо делать свое дело, если...
- ...режиссер плох?
- Хотя бы!
- Преодолейте его. Идите к сути сами. Играйте хорошо.
- Легко сказать... Я хочу... Но смогу ли? Не знаю. Я ведь не самоуверенная. Это я только напускаю на себя. А на самом деле трусиха.

Лаврентьев достал из кармана листок бумаги.

- Может быть, вам поможет это...

Марина взяла листок и поднесла к глазам, чтобы разобрать потускневшие от времени строчки.

«Папа, дорогой мой и любимый папочка!

Не знаю, получишь ли ты эту записку. Мне обещали, что тебе ее передадут, и мне очень хочется, чтобы ты прочитал эти последние мои слова.

Меня скоро убьют. Тут каждый день убивают людей, даже таких, которые ни в чем не виноваты. Но большинство держится мужественно; и меня они не сломили, хотя и мучили, как мучают всех. Тяжело мне не от их издевательств, а больше всего

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
оттого, что из-за меня страдаешь ты. Я тут только поняла, как ты меня любил...»

«Любил» – так и было записано, в прошедшем времени.

«...и как я огорчала тебя, какой была эгоисткой, как глупо и даже жестоко вела себя с тобой. Прости меня! Я тоже очень любила тебя, хотя часто не понимала и осуждала за маму. В тюрьме человек умнеет, и я тоже немного поумнела. И пусть это поздно, я все-таки рада, что могу сказать тебе о своей любви. Ужасно жаль, что мы уже никогда не увидимся. Теперь бы я была совсем другой, заботилась бы и не отходила от тебя, любимый мой папочка! Я поняла здесь, что, кроме меня, никого у тебя не было, и потому мне особенно тяжело сознавать, какое горе принесла я тебе.

Но пойми и ты меня! Иначе я не могла. Против них сражаются все. Тут я видела совсем простых женщин; у них маленькие дети, а они помогали партизанам. Иначе нельзя. Фашисты – это же не люди, папа. Если они победят, все кончится. Вся жизнь на земле кончится. Поэтому, папа, я не могла иначе. В такой войне нельзя отсиживаться. Конечно, не все погибнут. Живые нас вспомнят. И будут помнить. За себя мне не страшно. Страшно только, если ты не переживешь моей смерти. Как это ужасно, если бы ты знал!

Прости меня, пожалуйста, если сможешь. Прости. Я очень люблю тебя.

Обидно, что я не стану актрисой, как мечтала».

Подписи на листке не было.

– Это... это настоящее письмо? – спросила Марина.

– Да.

– Ее письмо?

– Да.

– Откуда оно у вас?

– Не спрашивайте, пожалуйста.

– Хорошо... А отец получил его?

– Нет. Вот его последняя записка.

«Доченька, светлая, иду к тебе», – прочитала Марина.

– Он застрелился, – пояснил Лаврентьев.

Марина внимательно смотрела на него.

– Теперь я все понимаю... все понимаю, – сказала она медленно своим глубоким голосом. – Это вы работали там. Вы, а не он. Он же узнал вас, этот Огородников... Почему же вы не сказали? Почему?

Лаврентьев отодвинулся от настольной лампы.

– Я не мог об этом сказать.

– И не скажете?

– Нет.

– Но вы же сказали мне!

– Разве я что-нибудь сказал? Я только хочу помочь вам... Эта девушка мечтала

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
стать актрисой. Может быть, вам пригодится это...

– Да, конечно... Спасибо. Огромное спасибо... Но послушайте! Я не верю, что вы засекречены. Это же ерунда... Прошло столько лет... Нет, этого не может быть. Вы не хотите сказать совсем по другой причине. Наверно, вы пережили что-то, чего нам не понять... Верно? Он молчал.

– Ну, конечно... Нам ведь не понять настоящего страдания. Наши мучения смешные. Как же вы можете довериться!.. Я понимаю: война – это совсем другая жизнь. Люди сражаются за себя, за своих родных, за свои убеждения. «Вставай, проклятьем заклейменный...», «Вставай, страна огромная...» И встают. И никто не говорит: психопатка, карьеру погубишь... Зачем же вам раскрывать нам душу?

Марина замолчала и повернулась лицом к открытому окну.

И тут порыв неожиданно возникшего ветра ворвался в комнату и метнул в сторону ее гладко расчесанные волосы.

Как тогда...

Добиваясь от Клауса разрешения вывезти Лену из тюрьмы. Лаврентьев, по существу, надеялся на чудо, на какие-то неожиданные и непредвиденные возможности, отдавая себе отчет в том, что спасти ее наверняка он может лишь ценой провала или собственной жизни, распорядиться которой по своему усмотрению не имеет права. И хотя Лаврентьев, получи он это право, пошел бы на смерть без колебаний, те, кто распорядился его жизнью, одобрить его, безусловно, не могли. И не только из высших военных соображений. Потеря Лаврентьева почти автоматически повлекла бы за собой другие потери, положив начало цепочке неуправляемых событий с непоправимыми, быть может, последствиями. И в том, что дело обстоит именно так, Лаврентьев убедился очень скоро, уже утром того страшного дня, который закончился смертью Лены, а начался опрокинувшим все его надежды донесением Сосновского.

Он собирался в своем кабинете, когда следователь появился на пороге.

– Разрешите...

– Я занят.

– Прошу меня извинить, я имею очень срочное дело,

Сосновский говорил по-немецки в манере плохого школьного учителя, натужно и чересчур правильно выстраивая каждую фразу.

– Говорите.

– Прошу вас, пожалуйста, посмотреть имеющиеся в этой папке бумаги.

Если бы Лаврентьев не был так взволнован, он обратил бы внимание на нотки торжества в скованной речи следователя,

А тот между тем развязывал тесемки канцелярской папки из желтого плохого картона, которую принес, бережно сжимая в руках.

– Что это? – спросил Лаврентьев.

Но уже видел и понимал: это катастрофа. Перед ним лежало досье на Шумова.

К счастью, «незнание» языка предоставило ему короткую отсрочку. Пока Сосновский пояснял, он мог думать и решать, как поступить.

– С самого начала я подозревал этого человека. Я провел большую работу. Я установил, что в городе есть женщина, знавшая семью Шумовых. Это старуха, с которой дружила его покойная тетка. Тетка умерла еще в тысяча девятьсот двадцать восьмом году, но семейные бумаги не затерялись. Они сохранились у подруги, о чем господин Шумов знать не мог. Выполняя свой долг перед великой Германией, я нашел эту женщину, а вот... Прошу вас, пожалуйста, особое внимание уделить этой старой

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
фотографии. Как видите, господин Шумов снят здесь в форме офицера Красной Армии.

- Да. Но, по его утверждениям, он в Красной Армии до войны не служил.
- Так точно.
- Что же это означает, по-вашему?
- Прошу, пожалуйста, обратить внимание на эмблему на рукаве господина Шумова.
- Эмблему почти не видно.
- Вот увеличенный снимок.
- Я не знаю всех красноармейских эмблем.
- Это известная эмблема. Такие знаки различия носили так называемые чекисты, служившие в войсках ВЧК – ОГПУ.
- Это весьма любопытно. Каков же ваш вывод?
- Я узнал много о господине Шумове. Еще его мать была активной большевичкой. И у меня нет сомнений, что товарищ Шумов служит в советской разведке.

Много сил понадобилось Лаврентьеву, чтобы сказать:

- Оставьте эти бумаги у меня. Я доложу о вашем усердии... И никому ни слова. Шумов ни о чем не должен подозревать. Мы сами займемся им.

Запирая документы в сейф, Лаврентьев чувствовал себя летчиком, ослепленным вражескими прожекторами. Нужно было прорваться, а зенитные снаряды уже мчались наперерез, не давая секунды отсрочки.

Не дал отсрочки и Клаус:

- Отто! Я согласен предоставить этой девчонке последний шанс, чтобы ты убедился в бесплодности своего идеализма. Отправляйся с ней на прогулку, и можешь использовать свое красноречие... А завтра – в газовый автомобиль! И конечно, на ночь в зондеркоманду. Нужно поощрять подчиненных. Всё, Отто. Бери Шумана и поезжай.

Ни раньше, ни потом в жизни Лаврентьева не было дня хуже этого.

- Добрый день, фрейлейн, – сказал он, войдя в камеру.

Она не ответила.

- Я принес вам хорошие вести...

«Хоть что-то, хоть что-то сделать для нее!» – стучало в мозгу.

- Во-первых, вы можете написать письмо вашему отцу.

Она встрепенулась:

- Правда?

– Конечно.

– Я понимаю, вы надеетесь, что я назову кого-нибудь в письме... Или разжалоблю отца...

- Вы можете писать все, что хотите.

Она посмотрела недоверчиво.

- Хорошо, я напишу.

– Шуман, дайте флейлейн бумагу и карандаш.

– Валяй пиши, – сказал Петька Огородников, бросая на столик тетрадку в косую линейку с вещим Олегом на обложке.

– Я не могу писать при вас.

– Давайте выйдем, Шуман. Не будем смущать девушку.

Огородников подчинился, подумав неодобрительно: «Выкаблучивается немец, зря время тратим».

Они молча постояли в коридоре...

– Вот письмо...

– Я передам его по назначению. А теперь еще одна новость для вас. Вам разрешено совершить прогулку по городу.

– Прогулку? Вы так называете расстрел?

Слова эти особенно резанули Лаврентьева. Она говорила о расстреле, не подозревая, что ей уготована гораздо худшая участь!

– Шуман! Объясните фрейлейн, что мы поедем на машине по городу, она увидит море. Сегодня солнечный день... Может быть, она поймет, что ведет себя неразумно.

Огородников перевел:

– Не выдумывайте, девушка. Никто вас сегодня не расстреляет. Вам гуманно предлагают одуматься. Великая Германия великодушна, и начальство разрешило покатать вас, подышать воздухом, чтоб вы поняли наконец, что лучше жить, чем в яме гнить.

Он был своего рода мастером вольного перевода.

«Что же мне делать?!» – стучало в висках у Лаврентьева.

Он знал, что никогда не сможет выполнить приказ Клауса, отдать эту девушку на растерзание и ужасную смерть. Если это произойдет, он не переживет нынешней ночи. Но и всякая инсценировка бегства от двух вооруженных мужчин никого не обманет. Это будет провал, самый настоящий провал, после которого останется только бежать самому – а такого права никто ему не давал – или застрелиться. Смерть же его приведет к немедленной гибели Шумова и провалу операции «Взрыв», то есть спасет жизни сотням врагов, которые будут продолжать убивать и истязать.

«Что же делать?!»

– Когда мы поедем?

Он видел, что она рада прогулке. Конечно, не соблазн, на который рассчитывал недалекий Клаус, коснулся ее, а человеческое стремление в последний, может быть, раз увидеть солнце.

– Сейчас.

Он сам сел за руль. Это немного отвлекало.

– Куда вы хотите поехать?

– Я хочу поехать к морю.

– Может быть, провезти вас мимо вашего дома?

Она поколебалась несколько секунд:

– Нет. Не нужно.

Он понял: это было бы слишком тяжело.

– Я хочу увидеть море.

Стоял светлый, прохладный день. Легкий морозец высушил грязь, но снег еще не выпал, на деревьях кое-где виднелись последние, в блеклых красках, уже умершие листья. Тихо стояли дома с прикрытыми, как правило, ставнями, изредка впереди маячил прохожий, но, услышав гул мотора, спешил свернуть или прижаться поближе к забору. Автомобиль перестало трясти по булыжнику, вокруг потянулась желтая степь. Ехали молча, и Шуман, сидевший сзади, устроился поудобнее и умудрился немного вздремнуть. Какое-то время, определить которое ему было трудно, Лаврентьев вел машину извилистой дорогой; потом внизу, под откосом, блеснуло море. Он остановил машину и распахнул дверцу:

– Вы можете погулять.

Огородников тоже собрался выходить, но Лаврентьев остановил его:

– А вы, Шуман, посидите. Я попробую сам поговорить с фрейлейн по-русски.

Как и все его сослуживцы, он «знал» несколько слов из того варварского наречия, на котором они объяснялись с местным населением, и Огородников не удивился, а охотно отвалился на спинку сиденья.

– Слушаюсь.

Лена вышла и оглянулась недоверчиво. Ей не верилось, что на земле еще светит солнце, плещется море и среди пожухлой травы еще можно увидеть полуувядшие полевые цветы. Нерешительно она сделала несколько шагов, оглядываясь на Лаврентьева, не зная, что он задумал, и ожидая худшего. Он понял ее и прошел вперед, так, чтобы она не опасалась выстрела в спину. Но одновременно и другое пришло в голову с жестокой беспощадностью: один неожиданный выстрел избавит ее от нечеловеческих мук... В ужасе отверг он страшную мысль. А ее сменила другая, еще страшнее: что же вместо этого?

Лена успокоилась немного и даже наклонилась и сорвала цветок. Она рассматривала его, перебирая стебелек пальцами, и Лаврентьев, не видя ее лица, не мог догадаться, о чем она думает в эту минуту. Да он и не старался догадываться. Собственные мысли подавляли, и, измученный ими, он не заметил, как позади них Шуман вышел из машины и направился немного в сторону, в поросшую кустами ложбину.

– Сегодня есть очень хорошая погода, – сказал он, ломая язык.

– Да. – Она смотрела на солнце. – Теперь мне будет легче умереть.

Наверно, эти слова не предназначались ему, но он их слышал, и это было невыносимо. «Не легче, не легче! А во сто крат ужаснее погрузиться в тот мрак, который ждет ее по возвращении после этой степи, и моря, и солнца, не ведающего, что происходит под его светлыми, холодными лучами...»

Они уже отошли довольно далеко от машины. Лаврентьев обернулся и не увидел Шумана. «Наверно, спит, скотина. Это хорошо...» Он терял самообладание. «Но если он спит... а я могу поскользнуться, промахнуться, упасть...»

Конечно, это было наивно. Ставить себя под такое подозрение, когда в сейфе лежало досье на Шумова!

«Но я могу вернуться, уничтожить эти документы, застрелить Сосновского и бежать...»

Это было еще наивнее.

«Что же делать?»

Лена вышла на откос и всей своей худенькой фигуркой потянулась к морю.

«Если бы она могла полететь! Но она не может полететь... Значит, назад, в

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
зондеркоманду?!»

– Вы не умрете!

Лаврентьев потерял власть над собой.

Она вздрогнула, а он заговорил по-русски, захлебываясь словами:

– Продолжайте собирать цветы, будто вы не слышите меня...

Но она не могла, она вся замерла.

– Хорошо! Слушайте. Там впереди тропинка к морю. Вы побежите, я буду стрелять. Не бойтесь. Я буду стрелять в воздух. Потом упаду. А вы свернете вниз по тропинке. Там есть пещеры. Можно спрятаться до вечера.

Тем временем Шуман, который, по его предположению, дремал в машине, вышел ложбинкой к морю и не спеша брел вдоль берега, подбирая замысловатые ракушки.

– Кто вы? – спросила она шепотом.

– Бегите!

Лена промедлила секунду и вдруг поверила. Судьба сжалась над ним, и он не увидел ее счастливого лица. Может быть, он не выдержал бы потом, вспоминая его. Она метнулась вперед, как птица из клетки, и помчалась вдоль обрыва. Он даже не ожидал, что у нее найдется столько сил.

– Стой! – закричал Лаврентьев по-немецки.

Она была уже в двадцати-тридцати шагах впереди.

– Хальт!

Теперь они бежали оба, и Лаврентьев пускал пулю за пулей, справа и слева от Лены.

– Стой! – крикнул он и упал.

Она свернула на тропинку и устремилась вниз, к той прибрежной полоске песка, что тянулась над обрывом.

Лаврентьев привстал на колено и увидел, как берегом наперерез бежит Огородников. Лена еще не видела его, но Лаврентьев видел, и ошибиться было невозможно: все пропало!

Он вскинул руку с пистолетом.

В этот момент ветер забросил на плечо ее волосы...

Умерла она сразу, и это было все, что он мог для нее сделать.

Вот что мог рассказать Огородников режиссеру, и он собирался рассказать, как гестаповский палач приказал ему ехать вместе с ним и девушкой-партизанкой на берег моря, как на этом пустынном берегу фашист велел ему, Огородникову, оставаться в машине, а сам отвел девушку к обрыву и, издевательски заставив набрать букет цветов, застрелил зверски, и как он, переводчик, русский патриот, был бессилен помочь героине, потому что получил приказ помогать Шумову в уничтожении сотен фашистов, и как, пережив на глазах зверскую расправу, Шумову помог и таким образом они достойно покарали палачей за безвременную смерть Лены...

Но, встретив взгляд Лаврентьева, Огородников рассказывать все это не стал, сработал инстинкт самосохранения, и о личном присутствии он болтать не рискнул, о чем, впрочем, сожалел, потому что не мог же в самом деле гестаповец, на его глазах расстрелявший Лену, сидеть сейчас преспокойно в режиссерском номере и говорить по-русски, как все говорят! «Нет, наваждение это, и нервы подвели, – с

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
неудовольствием думал Огородников. – Не везет мне с этой девчонкой... Ведь и тогда, если справедливо разобраться, не повезло. Отто-то, сопляк, упустил ее, а я, считай, поймал, вот он, сволочь, как увидел, и выстрелил, потому что невыгодно ему было мое участие отмечать и представлять к награде. Ведь халатность допустил! А так вроде привел приговор в исполнение, а не проворонил вовсе...»

Таким приблизительно образом, соотнося настоящее и прошлое, размышлял Огородников, ворочаясь на жесткой кровати в общем номере в Доме колхозника, хотя в целом собой и прошедшей встречей был доволен и гордился.

– Кто здесь Огородников, Петр Петрович? – услышал он неожиданно.

– А в чем дело? – спросил он, приподнимаясь и разглядывая подошедшую к его койке дежурную.

– К телефону вас просят.

– Кому это я понадобился?

– А вы не волнуйтесь, – странно как-то сказала дежурная.

– Чего мне волноваться? – пробурчал Петр Петрович, который гордился все-таки больше, чем опасался, однако предчувствие неприятного появилось и холодком поползло в душу. Он нехотя сунул ноги в домашние туфли и пошел в коридор.

На другом конце провода в своем номере ждал Лаврентьев. Ему не без усилий удалось одолеть сопротивление заспанной дежурной, которая на ночные звонки отвечала недовольно, одной заученной фразой:

– Чего звоните? Мест свободных нет.

– Простите. Мне не нужно место. Мне необходимо срочно поговорить с проживающим у вас Огородниковым Петром Петровичем.

– Ночь сейчас, гражданин. Спят люди, отдыхают.

– Я понимаю. Но мне необходимо. Ему нужно срочно выехать домой.

– Домой? Случилось что?

– Да. Пожалуйста.

– Ладно, разбужу, – смягчилась дежурная.

Лаврентьев ждал.

– Алё, алё, – услышал он наконец.

– Это вы, Огородников?

– Я. Что надо?

– Слушайте, Шуман! – Лаврентьев перешел на немецкий, и голос его обрел полузабытый им самим ледяной, не позволяющий возражений командный гестаповский тон. – Вы должны немедленно покинуть город. Немедленно! Я не собираюсь говорить вам это дважды. Вон отсюда, паршивая свинья!

Он не сомневался, что этого достаточно, что Огородников не осмелится выяснять, кто так бесцеремонно, голосом из прошлого прервал его столь удачно складывающуюся поездку. Огородников умел подчиняться обстоятельствам.

Опустив трубку, Лаврентьев почувствовал, что исчерпал запас душевных сил и не может больше находиться здесь и переживать прошлое. Он снова потянулся к телефону и набрал справочное аэропорта, чтобы узнать о ближайших рейсах на Москву.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

И тогда был рассвет. Когда он плакал... Только горизонт не дробился силуэтами домов, а тянулся ровной далью неподвижного моря. Он сидел на камне, а рядом стоял Шумов и терпеливо ждал, когда он придет в себя, этот полумальчик, заклеенный черепом и скрещенными костями, только что навеки искалеченный войной, чего и сам он, несмотря на все отчаяние, не понимает еще до конца, не знает, что жизнь его отныне разделилась на две части – до этого дня и после него и ему уже никогда не соединить их до последнего своего часа.

– Я постараюсь, чтобы тебя перевели отсюда, – сказал Шумов.

– На фронт. Там, по крайней мере, умереть можно.

– Умирать будем, когда свое дело сделаем, – возразил Шумов строго, сознавая, что говорит не самые подходящие слова.

– Вы не понимаете, я конченный человек. Пусть трибунал пошлет меня в штрафбат...

– И для этого тебя готовили, присылали сюда, надеялись?.. Чтобы ты вместо уголовника какого-нибудь напоролся на пулеметную очередь в атаке!

– Разве я мог знать, что такое случится? Что придется убить... Кого убить!

Он закрыл лицо руками.

– Перестань! – оборвал Шумов, а сам думал: «Не позавидуешь тебе, парень», – отчетливо представляя суть трагедии Лаврентьева, который не мог отвезти Лену на растерзание, но который и никогда не утешится мыслью, что легкой смертью спас ее от кошмара, потому что всегда, даже в самых безвыходных положениях, остается надежда на чудо и никто и никогда не подтвердит Лаврентьеву, что чуда бы не произошло.

Но никакая трагедия не давала им времени и права на передышку, даже на несколько минут здесь, на берегу, и Шумов, трудно подбирая слова, сказал:

– Рисковать ты, конечно, права не имел... Но если б ты ее в душегубку отвез, мне б с тобой сейчас говорить, наверно, не легче было бы... Что я скажу? Не ты ее убил, а они. Это пойми на всю жизнь. Не утешаю тебя. Говорю как есть. Война идет. И никто нас от войны не освободит... Пока не победим. Поэтому вставай, солдат, на ноги.

И, понимая всю справедливость скупых слов Шумова, Лаврентьев встал, пошел в сапогах в воду, наклонился и вытер лицо холодной и соленой морской влагой.

– Вот так, Володя, – обрадовался Шумов, – вот так... Нас просто не перешибешь.

Лаврентьев поправил фуражку.

– Думаю, что смогу задержать ваши документы на несколько дней.

«Несколько дней! – подумал Шумов. – Легко сказать... В таком состоянии. А потом как он жить будет? Сможет ли своих детей иметь или не захочет, побоится подвергнуть грядущим испытаниям? Сможет ли девушку обнять, чтобы та, убитая, в глазах не стояла?..»

– Два дня, Володя. Послезавтра концерт для офицеров...

– Я должен достать вам приглашение?

– Нет. Об этом я сам позабочусь. Береги себя. Нужно подумать, как вывести тебя из игры. Просто бежать не годится. Ты должен исчезнуть, но остаться вне подозрений. – Он подошел и неловко положил ему руку на плечо. – Знаешь, я хочу, чтобы ты жил. У меня ведь своего сына нету...

Потом Лаврентьев пошел берегом, вдавливая подошвами мокрый песок, и в эти маленькие углубления тотчас набиралась вода, затягивая недолговечные ямки.

Шумов смотрел ему вслед, пока он не скрылся в сером предутреннем тумане. Было зябко и нерадостно. Он чувствовал гнет лет, перегруженных войнами и

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
невозместимыми потерями...

И такой же груз лет ощущал Лаврентьев сейчас, выйдя из гостиничного номера в лоджию, чтобы вдохнуть свежего рассветного воздуха; он чувствовал неодолимую усталость и думал о том, что тот роковой выстрел не обошел и его, но Лена умерла сразу, а он, смертельно раненный, до сих пор бежит по инерции, не сознавая боли...

– Не спится?

– Что?

– Кажется, вам не спится? – повторил режиссер, вышедший в свою лоджию в накинутом на плечи халате.

– Вам тоже?

– У меня режимная съемка... Но я рассчитывал все-таки поспать перед рассветом, а вот не пришлось. Скверная штука – нервы... Постоянно что-то дергает, раздражает. Ну хотя бы эта девчонка, Марина. Вы представляете, что для нее первая картина значит, а она дерзит....

– Извините ее, – сказал Лаврентьев.

– Вы думаете? Но она и вам, помнится, нахамила.

– Я извинил.

– Вам что!.. Вам с ней не работать. А мне она на голову усядется да еще ногами болтать будет.

– Кажется, она способная девушка.

– Эх, – вздохнул Сергей Константинович, – как говорит Генрих, экран покажет. Но я не злой человек... Ну и, конечно, в чем-то существенном она права. Как-то легко идем мы на контакты с проходимцами. А вы тоже думаете, что Огородников проходимец?

– Проходимец.

– Я и сам в нем какой-то скверный запах ощущаю. Пожалуй, я откажу ему в следующей встрече.

– Он больше не придет.

– Вы думаете? Проходимцы обычно настойчивы.

– Он не придет.

– Вы так уверены? – Режиссер посмотрел на Лаврентьева. – А что этот Огородников... мог делать в гестапо?

– Разное. Мог разгружать душегубки.

– В самом деле? Страшные вещи вы говорите. Такое у нас не покажешь...

– А такое и не нужно показывать.

– Не скажите. Люди должны знать все. Мы и так слишком оберегаем себя. А что толку? В результате мелочи выматывают больше, чем подлинное несчастье. Природу не обманешь. У нее установка четкая – спокойной жизни не давать... Вы еще долго здесь пробудете?

– Я уезжаю сегодня.

– Сегодня? Жаль. А мы еще тут повозимся.

– Что вы сейчас снимаете?

– Гибель Пряхина.

– Рано утром?

– В картине это будет вечером, на закате. Хотите посмотреть? Я жду машину с минуты на минуту.

До самолета еще оставалось время, и Лаврентьев согласился.

Они спустились вниз и, хотя режиссер утверждал, что машина наверняка опоздает и съемка сорвется, «чего так хотелось бы Базилевичу», машина пришла вовремя. В ней уже сидел актер, игравший Пряхина. Актер был загримирован, одет в косоворотку, на коленях у него лежала латаная стеганка. Он улыбнулся режиссеру и Лаврентьеву, но по пути молчал, может быть, переживая предстоящую сцену, и Лаврентьев, искоса поглядывая на его простое, нарочито невыбритое лицо с серыми строгими глазами, подумал, что нечто пряхинское в нем есть, он нес отпечаток времени, которое, наверно, хорошо помнил, как всегда помним мы нашу юность.

А режиссер, как обычно в преддверии съемки, нервничал и, чтобы отвлечься, старался объяснить Лаврентьеву свой замысел.

– Основная идея – снять Пряхина на фоне солнца. Огромного раскаленного гневного закатного солнца... Мы удачно приобрели домик, продававшийся на слом. Позади домика отличное открытое пространство, правда, не на запад, а на восток. Поэтому снимаем утром... Пряхин стоит во весь рост с пулеметом в руках и стреляет. Сначала мы видим только его фигуру в контражуре, почти скульптуру, памятник, и вдруг по контрасту с этой обобщенностью, условностью крупно и четко лицо. Живое человеческое лицо...

Лаврентьев знал, что погиб Пряхин в комнате своего дома в пасмурный, бессолнечный день, но умер он действительно стоя, окруженный многочисленными врагами, сея смерть в их рядах, умер, как и хотел умереть, мужественной смертью солдата...

И хотя смерть была на войне повседневностью, Лаврентьеву до сих пор вопреки очевидности не верилось, что так много окружавших его людей умерло в считанные дни после гибели Лены. С годами ему все больше казалось, что это длилось долго, очень долго; на самом же деле и Шумов, и Константин, и Максим, и Воздвиженский, и ненавистные ему Сосновский, Клаус, Шепилло, презираемая Вера ушли из жизни, в сущности, одновременно, связанные обстоятельствами и случайностями, о которых часто и не подозревали. Многие, слишком многое происходило вопреки их замыслам и надеждам. И только одна грозная запланированная реальность свершилась так, как было это необходимо и закономерно в общем ходе войны, – взрыв...

И когда Шумов шел к Вере, он думал о взрыве, о том, что ему необходимо получить пропуск в театр. Эта мысль была мыслью-задачей и преобладала над остальными помыслами, и он, наверно, не сразу бы поверил, если бы ему сказали, что подсознательно им движет и другое стремление – спасти ее от смерти. Обоим им жить оставалось очень недолго, собственно, счет уже шел на часы, что-то меньше сотни часов.

Вера жила в бывшей гостинице, построенной незадолго до войны по смелому конструктивистскому проекту из бетона и стекла. Теперь стекло заменила фанера, а по гладким бетонным поверхностям тянулись жестяные дымовые трубы, которые предприимчивые обитатели приспособили к печкам-«буржуйкам», взявшим на себя в бывших номерах функции центрального отопления.

Такая печка стояла и в комнате Веры, потрескивая дубовыми паркетными плитками. Плитки жильцы сдирали в пустующих помещениях.

В комнате было тепло, хаос и уют странно дополняли здесь друг друга. Стол был накрыт нарядной скатертью, но окно прикрывала разорванная синяя бумажная штора светомаскировки, за которой виднелся крест-накрест наклеенные на стекла полоски бумаги. Вера поставила на стол, достав из гостиничного шкафчика, чашки и кофейник, сардины и колбасу на деревянном, вырезанном в форме листа подносике,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
бутылку с нерусской этикеткой и старинные хрустальные рюмки. Она говорила:

– Вы не представляете, как я рада вашему приходу, Андрей Николаевич! Я совершенно не выношу одиночества. Меня пугает всякая тишина... Немцы предлагали мне огромную квартиру... Какого-то профессора, эвакуированного... Там все осталось: мебель, ковры, фарфоровый сервиз на двенадцать персон... Я посмотрела и ужаснулась. Зачем мне это? В этих громадных комнатах, на этих диванах и коврах можно кричать целый день, и никто не услышит... И мне стало так страшно, что я категорически отказалась. И живу здесь, в этом бедламе. Тут всегда шумно. Вы только послушайте!

Действительно отовсюду доносились звуки – голоса из плохо изолированных номеров, чье-то пьяное пение, частые шаги по коридору.

– К так всегда. Но зато я чувствую, что я не одна. И главное, конечно, что здание охраняется. Тут ведь живут люди, вселенные немцами. Те, кто им нужен. Пока... во всяком случае. – Она наполнила рюмки. – Выпьем, Андрей Николаевич. – И, не дождавись Шумова, выпила быстро. – Между прочим, сейчас здесь находится один театральный деятель из Германии.

– Он заинтересовался вами?

– Да... Впрочем, я ужасно суеверна и...

– Бойтесь спугнуть судьбу?

– Да.

– Что же он обещал вам?

– Нет, нет. Боюсь сглазить.

– Не бойтесь.

– Вы умеете убеждать... Он ничего не обещал... Вернее, собирают трупку из русских для гастролей в Германии. Представляете?

– И вы надеетесь?

– Конечно. Но многое будет зависеть от моего выступления послезавтра. Ждут влиятельных лиц, даже генерала. Ах, Андрей Николаевич, мне так нужен успех!

– Вы хотите поехать в Германию?

– Еще бы!

– Почему?

Она удивилась:

– Вы спрашиваете?! Да по тысяче причин. Прежде всего это признание. Во-вторых, Европа. Культура, порядок... Ну зачем вы спрашиваете? Это же так понятно. Ну, хотя бы потому, что туда никогда не доберутся большевики.

– А сюда? Сюда, по-вашему, они могут добраться?

– Не знаю. Сюда – не знаю. Но уж в Германию...

– А я думаю, что если они вернутся сюда, то и до Германии доберутся.

– Не пугайте меня, Шумов. Я вижу, вы сегодня не в настроении.

– Что поделаешь... В наше время люди часто тревожат друг друга.

– Ах, Андрей Николаевич! Не зря с вас Сосновский глаз не спускает... Я вас боюсь сегодня. – Она снова засмеялась, а может быть, заставила себя смеяться. – А вдруг вы в самом деле оттуда, а?

- Откуда?
- Вы понимаете. С секретнейшим заданием.
- Например?
- Узнать репертуар нашего театра.

Шумов улыбнулся, словно принимая шутку.

- А если и так? Вы бы выдали меня?
- Ни за что! Я бы стала вашим верным помощником. Передала бы все тексты своих песен, чтобы вы зашифровали их и отправили в Москву. А там бы все поняли, какая я замечательная актриса, и заменили мне смертную казнь вечной ссылкой в Сибирь. Ведь я так люблю зиму, снег...

Наклонив голову, он старался уловить, что в ее словах напускное, а что прорывается из души, искаженное страхом, с надеждой, в которую не верится, но которую и невозможно вырвать окончательно.

- Ну что ж, – сказал он, поддерживая все тот же нарочито несерьезный, а на самом деле совсем не шутливый тон, – если вы готовы стать моим верным помощником, я предлагаю вам серьезное испытание.

- Я согласна.
- Мне хочется увидеть вас в послезавтрашнем концерте.
- Так в чем же дело?
- Концерт предполагается только для немцев.
- Ерунда. Если вы хотите... Вы не шутите? Вы хотите послушать меня послезавтра?
- Да.
- Ну конечно, приходите! Я буду страшно рада. Хоть одно лицо среди этого множества немецких физиономий. Приходите! Вы принесете мне удачу, правда?
- Посмотрите, кажется, пошел снег! – Вера вскочила и выключила свет, потом подняла маскировочную штору.

Шумов был рад, что она больше не говорит о послезавтрашней удаче. Он посмотрел в окно. Там действительно кружились крупные мягкие снежинки.

- Снег! Снег! – радовалась Вера. – Ну идите же сюда, посмотрите!

Шумов подошел к окну.

- Здесь редко бывает такой красивый снег. А в этом году совсем рано... Как хорошо, правда? – Она положила голову на его плечо. – Неужели вы не ощущаете, как коротка наша жизнь? Мы так много говорим о завтрашнем дне... Об успехе или о смерти... Но ведь есть и сегодняшний... Может быть, единственный... наш...

А тем временем Константин Пряхин, положив под подушку пистолет, лежал дома на койке и ждал Шумова. На сердце было беспокойно. Пришло это непривычное для него состояние после ареста и гибели Лены. В эти дни начал он понимать то, о чем раньше не думал. Нет, не страх пришел к нему. Рисковал он и раньше, каждый день, и хорошо знал, на что идет. Но раньше риск был иной, боевой, в котором природное бесстрашие, бесшабашность подавляли всякие сомнения. Когда на похищенном немецком мотоцикле в парике и мундире из театрального реквизита вылетал он наперерез бургомистру, страха и в помине не было, напротив, оцепенял восторг смелости. Константин был из тех людей, что неустрасимы в самостоятельном действии. Но теперь было иное. От его действий почти ничего не зависело, жизнь его находилась в руках хрупкой девочки, которую в то время как он спал, ел и дышал воздухом, нещадно пытали, и одного ее слова было достаточно, чтобы

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
вооруженные до зубов люди вскочили в машины и помчались сюда, чтобы окружать, ловить и убивать его, Константин, а он мог только ждать, стиснув зубы, ну и убежать на худой конец. Впервые попал он в положение, когда не собственное его мужество определяло, жить ему или не жить, а поведение другого человека, которому выпало страдать, чтобы он продолжал жить.

Позже вернулся Шумов. Он разделся в прихожей, стряхнув снег с черной фетровой шляпы, и прошел в комнату Константина.

– Не спишь?

– Нет. Что вы так поздно?

– Все в порядке? – спросил Шумов вместо ответа.

– Да, в ажуре. Пришлось покопаться в уголке, подвал-то штыбом засыпан, зато своими руками каждый проводок проверил. Как говорят в авиации, есть контакт! Эх, самому бы машинку включить!

– Ты же знаешь...

– Знаю. А вы пропуск достали?

– Да. Но тебе тоже сложа руки сидеть не придется. Есть работа.

Константин обрадовался:

– Всегда готов!

– Рыночный спуск знаешь?

– Еще бы!

– Завтра ты должен захватить там гестаповского офицера.

– Живьем?

– Обязательно. Будешь ждать его у шлагбаума на железнодорожной ветке. Он подъедет на машине «опель-капитан». Один. У шлагбаума притормозит. Ты открываешь дверцу машины, обезоруживаешь его и похищаешь.

Константин свистнул негромко:

– А если он не захочет... похищаться?

– Захочет. Это наш человек.

– Выходит, петрушку валять будем? – спросил Константин разочарованно.

– Это важная операция. Офицер – очень ценный сотрудник. Немцы не должны сомневаться, что он погиб. Поэтому операция сопряжена с риском. Вас должны видеть, но вы должны уйти. Понимаешь?

– Приблизительно.

– Выедешь на берег. Там машину – в море, а сами пещерами сюда. Здесь все и встретимся.

Потом они уточнили вполголоса детали. Можно было и вздремнуть перед рассветом, но у Константина снова прорвалось что-то; понимая, что таких вопросов не задают, спросил:

– Андрей Николаевич! А если...

Замаялся.

– Что, Костя?

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

– А вдруг они выпустят из театра не будут?

Шумов усмехнулся, подумав: «А ведь он совсем молодой!»

– Ручаться за них не могу. Но волков бояться – в лес не ходить.

– Понятно. Простите, что глупо спросил. Вы на этой работе давно?

– Считаю всегда.

– И всегда вот так?

Он не сказал «опасно» или «страшно», но Шумов понял.

– По-разному. Ну а в общем... «Вихри враждебные веют над нами». Помнишь?

– Помню. «В бой роковой мы вступили с врагами...»

– Вот именно. Кто кого, Костя. Третьего не дано. Так что отдыхай, перед серьезным делом нужно выспаться. Очень помогает. – И он начал развязывать галстук.

– Обратите внимание на это место, – сказал Сергей Константинович Лаврентьеву, высовывая руку в окно машины.

Лаврентьев посмотрел и не заметил ничего примечательного. Справа на открытом пространстве располагался Дворец спорта с флагами спортивных обществ, поднятыми в честь всесоюзных соревнований, слева начиналась улица, застроенная девятиэтажными домами из сборных конструкций, с лоджиями, увешанными вопреки архитектурному замыслу бельем.

– Здесь мы должны были бы снимать, – продолжал режиссер, – но, увы, время не заботится о нуждах кинематографа. Это место последнего подвига Константина Пряхина.

«Здесь? Неужели здесь?»

Лаврентьев обернулся, но и через заднее стекло не увидел ничего знакомого.

– Бывший Рыночный спуск... Тут Константин в самый день взрыва похитил и уничтожил шефа гестапо.

– В самом деле?

– Да... Чертовски красивая операция! Точный расчет, дерзость и хладнокровие. Все внимание немцев привлечено к театру, а здесь, на полупустынной окраине, пока силы охраны стянуты в центр, Пряхин выслеживает и фактически без труда ликвидирует, считайте, главного карателя!

Нет, так считать Лаврентьев не мог. Но он знал, как возникло заблуждение. Не ему было роптать на него. Это заблуждение спасло Лаврентьеву жизнь.

– Тут была старая церковь, заброшенное кладбище, булыжные мостовые. Представляете, какая натура? А застроили бетонками...

И этого сожаления Лаврентьев разделить не мог. Теперь он вспомнил, где они находятся, и то, что помнилось, никак не вызывало щемящей грусти по прошлому.

– Он ведь погиб...

– Пряхин? Да. В тот же день, но это трагическая случайность.

– Вы так думаете?

– Конечно. Хотя в сценарии иначе. Мы решили не вводить случайные причины, отойти от фактической событийной канвы. Хочется показать смерть Константина в связи с его характером, притом кинематографически выразительно.

- То есть?
- Будет погоня. Немцы пытаются взять Константина живым и освободить гестаповца. Это дает нам целый ряд возможностей...
- И чем кончается?
- Константин, заблокированный преследователями, бросает машину с откоса в море.
- А гестаповец?
- Они погибают вместе.

Немцы тоже считали, что гестаповец погиб в машине, сброшенной в море. Но все остальное происходило иначе...

Там, где они только что проехали, действительно были когда-то и церковь, и кладбище, и бульжник. Кладбище закрыли еще в двадцатые годы, и местные газеты много писали о планах переустройства запущенной окраины, носившей название Рыночного спуска, куда до революции крестьяне из близлежащих деревень везли свой нехитрый товар. Сначала в газетах говорилось об огромном, призванном поразить капиталистическую Европу Рабоче-Крестьянском Дворце культуры имени Диктатуры пролетариата. Печатались даже снимки, изображающие смелое сооружение, внешним видом напоминающее гусеничный трактор. Потом, в общем-то справедливо, сочли неуместным воздвигать очаг культуры в прямом смысле на костях и стали писать то о проекте не менее замечательного парка-дендрария, куда предполагалось свезти уникальные растения из разных стран мира, то просто о городском парке с фонтаном и бетонными скульптурами физкультурников.

Однако и железобетонные спортсмены остались в проекте до самого начала войны, и в оккупацию спуск окончательно захирел, только восстановленная церквушка привлекала немногих богомольцев да умножающихся с каждым днем нищих. Их-то и имел в виду Шумов в качестве нужных Лаврентьеву свидетелей похищения. И Константин согласился с ним, также полагая нищих свидетелями наиболее безобидными. Откуда ему было знать, что любой полицай был ему меньше опасен, чем тот, кого встретит он среди этих сломленных жизнью убогих людей?

Константин пришел на Рыночный спуск с некоторым запасом времени, чтобы осмотреться и подготовиться. У давно бездействующей железнодорожной ветки он мимоходом проверил, двигается ли старый шлагбаум. Шлагбаум колыхнулся, и, довольный, Константин не спеша направился мокрой бульжной мостовой к церкви. Этого Шумов ему не поручал, так как шлагбаум был достаточно хорошо виден с паперти, но Константин решил запечатлеться в глазах свидетелей в том самом рыжем парике, который использовал при нападении на бургомистра. Ему хотелось, чтобы обе операции были связаны между собой, чтобы немцы знали, что их неуловимый враг продолжает сражаться...

У входа в церковь он снял кепку, однако внутрь не вошел, а двинулся неторопливо вдоль длинного ряда сидящих на мокрой земле нищих. Одно лицо показалось ему знакомым. Константин остановился и посмотрел сверху на бородатого старика с круглой плешью. Положив перед собой старую военную фуражку со сломанным лакированным козырьком, старик угрюмо ждал подаяния, не протягивая руки и не канюча, как большинство сидевших рядом. Константин порылся в кармане и, бросив в фуражку несколько алюминиевых немецких монет, отошел, уверенный, что ошибся, что на самом деле старика не знает.

А старик между тем натужно слезящимися глазами смотрел вслед Константину, в свою очередь стараясь вспомнить, где видел он этого щедрого на подаяние парня. Нищий старик был тот солдат Степан, который некогда вынес своего молодого командира из-под огня под Ляояном, а потом верно служил ему всю жизнь до последнего дня, пока не настигли его пули, выпущенные Константином из немецкого парабеллума. Но и прежде видел Степан молодого Пряхина. Было это в кабинете у бургомистра, где Константин чинил электропроводку, а Степан словоохотливо рассказывал ему о пристрастии барина к конному экипажу, что и натолкнуло Константина на мысль о покушении. Однако, когда соскочил он с мотоцикла в парике и мундире, Степан в немецком офицере монтера не угадал. Слишком уж был потрясен. И не зря. Дела его

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

стариковские после смерти бургомистра пошли хуже некуда, никому он оказался не нужен и в короткое время очутился под захудалой кладбищенской церковью, опустившийся и заросший неопрятной бородой, с которой и не узнал его Константин.

А Степан напрягся и вспомнил. Сначала вспомнил, что парень этот – электрик, чинил свет покойному барину, и воспоминание согрело его симпатией к Константину. Последнюю встречу он, однако, не помнил – сверлило только занудливо: «Где-то я его еще видел!» И может быть, как и Константин, не догадался бы, если б не появился немецкий автомобиль с офицером за рулем. Автомобиль не очень быстро развернулся, поворачивая в Сторону спуска, к шлагбауму, где все стоял знакомый Степану монтер. И тут монтер повел себя неожиданно.

Когда Лаврентьев выехал на спуск, Константин, как и было положено, рывком опустил шлагбаум. «Опель-капитан» тормознул, и Лаврентьев выскочил, вернее, выбрался из машины ровно настолько, чтобы Константин, стреляя в воздух, мог навалиться на него, втолкнуть назад в автомобиль и, продемонстрировав таким образом дерзкое похищение, сесть за руль...

Тогда-то Степан понял все. Пробилось в его старческий мозг последнее четкое воспоминание, и ясно сличил он три лица – монтера в кабинете, «немца» с парабеллумом на улице и этого налетчика, только что кинувшего в его фуражку алюминиевые монетки. И все три лица слились в одно, в лицо человека, убившего его барина и самого его пустившего по миру, загнавшего на эту паперть, где суждено сидеть ему до недалекой уже смерти.

– Ан нет, ан нет, – бормотал Степан, поднимаясь с забытой уже почти подвижностью, – мы еще посмотрим, бандит большевистский, кто раньше богу душу отдаст.

И он с отвращением вышвырнул из фуражки бандитское подаяние.

Степана не обескуражило, что машина с Константином уже исчезла в ближайшей улице. Он помнил, откуда приглашали к бургомистру монтера...

Погони не было. Они проехали по городу разными улицами. Машина с Константином и Лаврентьевым – к морю, чтобы инсценировать там гибель Лаврентьева. Машины с немецкими солдатами – к дому Пряхина.

К несчастью, Константин и Лаврентьев добрались домой раньше...

Впервые за бесконечно долгое время Лаврентьев находился среди своих, и это было так ошеломляюще радостно, что даже боль его притупилась, посветлело на сердце.

Максим Пряхин с некоторым удивлением уважительно рассматривал молодого «немца», думая про себя: «Нет, не одолеет фашист, вишь, сколько народу против него, в самом гестапо наши...»

А Константин с удовольствием ел горячую картошку с солью, проголодавшись за время ожидания на спуске, и, не допуская мысли о плохом, прислушивался, ожидая Шумова. Он первым уловил гул моторов.

– Что это?

Они переглянулись с отцом. Ясно было: приближались машины.

– Спокойно, ребята, – сказал Максим. – Если к нам, вы уходите первыми.

Они еще надеялись, что шум пройдет стороной, но он уже катился по улице.

– В колодец! Быстро! – скомандовал Максим.

Приоткрыв шторы, он увидел в окно, как из первой остановившейся машины выпрыгивают вооруженные солдаты.

– Быстро! – повторил он, понимая, что происходит худшее: за сыном его пришли.

– Батя!

Константин стоял с прилипшей к пальцам картофельной шелухой.

– Цыц! Уговор помнишь? О деле думай! – Он махнул рукой в сторону Лаврентьева.

Они не простились и не обнялись перед смертью, каждая секунда была на счету.

Когда Константин и Лаврентьев выскочили во двор и нырнули в черную дыру, в парадное уже громыхали приклады, вышибая запертую на засов дверь.

Максим взглядом окинул дом, где предстояло ему на короткие, но необходимые минуты задержать превосходящего врага. Это был его дом, фотографии жены и сына смотрели со стен зала, и ему стало легче. Снова, как в молодости, понятно было, за что нужно биться, и ушли сомнения, сменившись решимостью...

Дверь затрещала, выбитые доски полетели внутрь, в темный коридор, но засов еще держался, и один из немцев просунул руку и отодвинул его. Однако солдаты замешкались на пороге. Если бы Максим понимал по-немецки, он разобрал бы такие фразы:

– Здесь никого нет.

– Они спрятались. Разве ты не видишь, что дверь заперта изнутри?

– Из дому можно уйти через двор.

– Вперед, вперед!

Максим не понимал их языка. Не нужен ему был и перевод. Отступив в спальню, он стоял за портьерой, сжимая в руках оружие.

– Эй, рус! Сдавайс!

Он не ответил, дожидаясь, когда они пройдут в дом.

И они вошли, помешкав еще чуть-чуть, но команда подхлестнула солдат, и они ринулись вперед, опустив автоматы, готовые к немедленной стрельбе в случае сопротивления.

Быстро наполнялась пустая комната, солдаты вновь замешкались в непонятной тишине, а Максим, не видимый ими, шептал про себя:

– Ну еще, еще...

Весь он был уже во власти боя, когда забывается все, кроме единственного: враг перед тобой, и ни тебе от него, ни ему от тебя пощады ждать не приходится.

– Собрались, гады!

Стоявшие вокруг стола с недоеденной картошкой солдаты разом повернулись к двери в спальню, и тогда он, отбросив портьеру, нажал на спусковой крючок пулемета. Стальная машина задрожала в его руках, изрытая пламя, полетели веером горячие гильзы, и Максим вдохнул пороховой дым, сладкий запах его героической молодости.

Струя свинца смела солдат, столпившихся в комнате, и он двинулся через зал, поливая огнем тех, кто успел выскочить в прихожую.

– Вон отсюда! Вон, сволота!

Вдруг наступила тишина. Смертоносный запас, собранный в круглом диске, кончился, и Максим остановился посреди комнаты, победитель в последнем бою, изгнавший врага из своего дома. Он собирался вставить новый магазин и оборонять освобожденный дом, но не успел.

Среди тех, кого не убил Максим, был молодой солдат, почти мальчик, родители которого и младшая сестра погибли во время английской бомбежки. Солдат этот всем сердцем ненавидел англичан и всех, кого считал наймитами английских плутократов. Недавно он видел карикатуру, на которой был изображен дикого вида бородатый

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru человек, символизирующий Россию. Бородатого человека колотил прикладом бравый немецкий солдат, а тот в мольбе протягивал руки к мешку, из которого сыпал золото толстый Джон Буль. И мальчик чувствовал себя таким бравым солдатом и готов был ежеминутно лезть в самое пекло, чтобы побеждать и убивать врагов своей страны. Несмотря на молодость, он был опытным и сообразительным солдатом и не растерялся под пулеметным огнем, а, отскочив в безопасное место, выбрался на улицу, обошел дом и увидел в окно замершего в комнате Максима. Сноровистым солдатским движением рука его нащупала гранату на длинной деревянной ручке.

Граната пробила стекло и упала к ногам Максима.

– Что это? – не понял он, возбужденный боем и победой, и посмотрел не на гранату, а недовольным хозяйским взглядом на разбитое окно.

Грохочущий огонь ударил его снизу и убил наповал.

А следом в окна летели другие, ненужные уже гранаты, которые бросали теперь со всех сторон, и дом дрожал от взрывов, разносивших вдребезги все, что недавно еще было так дорого Максиму Пряхину.

...Услышав пулемет, Лаврентьев и Константин остановились.

– Батя! – сказал Пряхин.

Непрерывная очередь в доме точно преградила им дорогу. Оба не двигались в короткой тишине.

Потом они услышали взрывы. Сначала один и следом сливающийся грохот многих. Все снова затихло. Константин опустил голову.

– Все. Прикончили. У бати гранат не было.

– Идем, Костя, – попросил Лаврентьев.

– Не пойду.

– Мы должны...

– Ты должен, а не я. Я должен расквитаться.

– Ты не имеешь права...

– Имею. Это мой дом и мой отец. А ты иди. Немедленно, слышишь? Ты нужнее. Будешь их изнутри... А я отсюда. Сейчас.

– Константин!

– Молчи. Нашим скажешь, что не дезертир Константин Пряхин. Иди. – Он прислушался. – Самый раз... Они меня не ждут. Да иди же ты, иди! Не висни на душу. Прощай! У меня тут ящик с «лимонками». Они свое получают. За все. За батю.

Он нагнул и стал рассовывать по карманам тяжелые гранаты.

Через несколько минут одна из них чугунным осколком перебьет переносицу и оборвет жизнь молодого солдата, убившего Максима. И будет много других убитых и раненых, прежде чем окруженный, плавающий в крови Константин Пряхин не прижмет слабеющей рукой к сердцу пистолет и не израсходует последний в этом бою патрон...

Машина подъехала к месту съемки за считанные минуты до того, как солнце снизу, из-под земли, коснулось горизонта. Все уже были на объекте, и Базилевич, с демонстративным спокойствием лузгавший семечки, говорил своему помощнику из администрации:

– Посмотри на часы, Сема. Я уверен, что он опоздает. Если съемка сорвется, немедленно телеграмму в Москву...

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Но съемка не сорвалась. Актер первым вышел из машины и спросил, оглядывая площадку:

– Как боевая готовность?

Базилевич не удержался, буркнул:

– Заждались.

– Все нормально, – возразил режиссер.

Актер улыбнулся. Он много снимался и давно выработал иммунитет к подобным стычкам.

– Тогда к оружию, – сказал он примиряюще.

Унылый Прусаков, который считал, что всегда добросовестно исполняет служебные обязанности, и был по этой причине постоянно недоволен собой, полагая, что «другие умеют устраиваться», а он нет, подтащил тяжелый для него пулемет с диском.

– Давненько не брал я в руки шашек, – сказал актер, принимая оружие.

– Знаем, как вы плохо играете, – в тон ему ответил режиссер.

Он знал, что во время войны актер был пулеметчиком.

Все быстро занимали свои места, все смотрели на восток в последнем коротком ожидании солнца. И оно не подвело. На горизонте возникла неровная в утренней дымке темно-красная кромка и тут же стала превращаться сначала в полукружие, а потом и в огненный, светлеющий постепенно шар.

Хлопушка отбила кадр, и актер повел перед камерой загрохотавшим стволом. Это выглядело странно: вокруг не было никаких немцев – их предполагалось снять отдельно – вокруг стояли люди, в большинстве не нюхавшие пороха, в модных рубашках и джинсах; стояла неуклюжая осветительная аппаратура – жаркие диги, стояла совсем не воинственно стрекочущая камера; стояли неизвестно откуда взявшиеся в столь ранний час зеваки – все это было так непохоже на то, что помнил Лаврентьев, и все-таки... Подойдя поближе, он посмотрел в лицо актера, и неожиданно остальное, мешающее, отступило, на несколько секунд он увидел только это лицо, и пулеметный ствол, и тяжело нависший за спиной актера солнечный круг и поверил, что видит Максима Пряхина. Минуты из прошлого и нынешнее мгновение слились, прошли перед ним короткой серией кадров: Максим, улыбаясь, с любопытством разглядывает его на пороге дома: жилистые руки подкладывают ему в тарелку горячий, прямо из чугуна, картофель; суровые складки на лице Максима, когда он вслушивается у окна в гул приближающихся машин, и вот это... то, что он не увидел тогда, – человека, возвысившегося наконец над сумятицей и невзгодами путано прожитой жизни, обороняющего своего сына, свой дом, свою землю и это неласковое к нему солнце...

А солнце быстро уходило ввысь, не оставляя времени на подстраховочные дубли. Но, кажется, в них и не было необходимости.

– Один дубль, зато какой! А, Генрих? – воскликнул режиссер.

Генрих открыл рот, чтобы произнести свое обычное «экран покажет», но сказал другое, тоже, впрочем, скептическое:

– Только бы пленочного брака не было.

– Брак не будет, – заверил актер, внутренне тоже ощущающий удачу, – я на брак везучий. Меня редко переснимают.

Лаврентьев подошел к Сергею Константиновичу:

– Хочу поблагодарить вас и попрощаться.

– Неужели пора?

– Да, есть удобный рейс.

– Что поделаешь... Рад был с вами познакомиться.

– Я тоже. Сегодняшняя съемка произвела на меня впечатление.

– В самом деле? И у меня такое ощущение... Послушайте, как вы намерены добираться в аэропорт?

Лаврентьев пожал плечами.

– Понятно. Леня! – позвал он шофера. – Ты куда занаряжен?

– Андрея Федоровича отправляю.

– Прекрасно. Поедете в аэропорт вместе, – сказал он Лаврентьеву. – Вас это устраивает?

– Вполне.

– Тогда счастливого пути. Не забывайте нас.

– В гостиницу едем? – спросил шофер, хотя это и было очевидно.

– Конечно.

Шофер попался словоохотливый.

– Ну, как командировочка? Довольны?

У Лаврентьева заломило в виске, и он ответил, усмехнувшись:

– С запчастями туго.

– Запчасти! – воскликнул Леня, оторвав на секунду руки от баранки, так задела его проблема. – Это вы не говорите! Это всесоюзный дефицит. Вот нас взять даже... Вроде студия – фирма. Правда?... А что получается?

Не дождавшись ответа, он начал горячо говорить о наболевшем; волнует ли это Лаврентьева, его мало заботило. К счастью, на пути от гостиницы в аэропорт он переключился на актера, спешившего снова в Одессу.

– Андрею Федоровичу почет и уважение! – приветствовал он артиста.

– Успеет, Леня?

– Домчим с ветерком. Говорят, вас в народные выдвигают?

– Я заслуженный всего год.

– Значит, выдвинут. Поверьте, Андрей Федорович, у Лени глаз-алмаз.

– Твоими устами да мед бы пить.

– Моиими все можно. И коньячок и беленькую... пока здоровье позволяет. – И он захохотал собственной шутке, предвкушая с удовольствием, как будет рассказывать далеким от кино приятелям о разговоре со знаменитым актером.

А тот повернулся к молчавшему Лаврентьеву и спросил вежливо:

– Вы тоже улетаете?

– Да, вышел срок.

– Вы случайно оказались среди нас?

– Совершенно, – ответил Лаврентьев искренне.

– Наверно, странное впечатление? Хаос? Трудно ориентироваться на кухне, если сам не повар. К тому же так много плохих картин. Вернее, посредственных.

– Потому и хочется надеяться на хорошую.

– Да вы оптимист!

– А вы? Разве не надеетесь?

– Не знаю, – поделился сомнениями актер. – Сыграть хочется, понятно, хорошо, но материала не хватает. Дырки же латаем отсебятиной, штампами, которые так охотно поносим на словах... А куда денешься? Хотя бы с Шумовым... Конечно, главное то, что он выполнил свой долг. Но мы даже не знаем, как он погиб...

Это было правдой. И Лаврентьев не знал.

– Что же остается? Создать правдоподобие. На основе новейших штампов. Помните, как немцев изображали круглыми идиотами? Теперь это не кушается. Они поумнели, бдительны. Вплоть до солдата, что заподозрил Шумова. Разумеется, так могло быть. Это случайность войны. Но искусство боится случайности, если в ней не проявляется личность. Скажем, мужественный человек попадает под машину. Возможно такое в жизни?

– Сколько хотите, – подтвердил Леня, которого никто не спрашивал.

– Однако, если вы оборвете таким образом жизнь храбреца на экране, я вас не пойму. Другое дело, когда он бросается под колеса, чтобы спасти случайного мальчишку, пусть оболтуса, которого двадцать раз предупреждали, что гонять мяч на мостовой опасно. Тут я верю и понимаю, хотя нужный обществу герой погиб, а оболтус спасен и благополучно вырастет обыкновенным алкашом и тунейдцем. Верю не в разумность происшедшего, а в его убедительность, неизбежность, если хотите. Знаете, я сжился с Шумовым, мне кажется, что его погубила не бдительность часового, а нечто драматическое... – Актер улыбнулся смущенно. – Фантазирую, конечно. В порядке бреда...

– За несколько минут до взрыва в здании была убита артистка, – сказал Лаврентьев, хотя и не собирался об этом говорить и понятия не имел, каким образом смерть Веры могла быть связана с гибелью Шумова.

– Какая? – удивился Андрей. – Неужели наша? Та, что Наташка играет?

– Да.

– Ну и ну! А мы ее с гитарой под флагом снимаем. Не зря говорят, что там, где кончается здравый смысл, начинается кинематограф.

– В данном случае, пожалуй, наоборот. Кинематограф следует здравому смыслу. Неизвестно ведь, кто убил артистку. Может быть, подвыпивший ревнивец...

– А хотя бы... Выстрел, суматоха, – оживился актер. – Впрочем, это уже было в «Приваловских миллионах».

– Вот видите. Не Шумов же ее убил?..

– А они знали друг друга? – спросил Андрей.

– Это было одно из неизбежных знакомств в среде, в которой он вращался.

Лаврентьев видел их вместе в театральном кафе, но на вопрос, знали ли они друг друга, ответить было трудно.

Им и самим было бы нелегко сказать, да или нет, хотя каждый спрашивал себя. И когда Шумов в тот последний час шел к ней с артистическую комнату, он понимал, что твердого ответа не знает, но шел он не в заблуждении, а в необходимости, в той внутренней драматической необходимости, о которой догадывался теперь Андрей Федорович.

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

Он увидел ее лицо в зеркале, возле которого уже стоял букет от нетерпеливых поклонников, хотя основное выступление предстояло ей после антракта.

– А где же твои цветы? – спросила она и заметила, взглянув на его руки, то, что он не успел смыть, – угольную пыль. – Что это?

– Немного испачкался.

– Где?

Не отвечая, он открыл кран умывальника и подставил ладони под тонкую струйку холодной воды. Она поняла, что происходит необычное.

– Что случилось?

Она встала из-за столика.

– Я хочу спасти тебя, Вера.

– Ты шутишь?

– Нет.

У Шумова было очень мало времени, часовой механизм под штыбом отсчитывал немногие оставшиеся минуты и секунды, и сказать было нужно так, чтобы она сразу поняла.

– Если ты немедленно вместе со мной покинешь театр, то сможешь начать жизнь сначала.

Вера была потрясена:

– Я так и знала, я чувствовала, кто ты... Но почему немедленно? Почему сразу?

– Потому что я ухожу сейчас.

Он еще надеялся убедить ее, не упоминая о взрыве.

– Мы можем встретиться позже... после спектакля.

– Ты не хочешь уйти со мной?

– Нет, нет, я не сказала. Но это же неожиданно. На это нужно решиться.

– Решайся.

– Так сразу? – повторила она.

– Речь идет о твоей жизни. В таких случаях не медлят.

– Но кому я нужна там? А здесь мне обещали...

– Берлин?... Они будут разбиты, Вера. И ты погибнешь вместе с ними. Даже в Германии.

– Меня же никогда не простят! – выкрикнула она.

– Положись на меня.

– Кто ты? Кто?

– Положись на меня. Собирайся.

Он вытирал мокрые пальцы ее полотенцем.

– Я приду после спектакля.

Шумов посмотрел на часы. Время летело стремительно. Что ж, он мог счесть, что

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
сделал все возможное, и уйти. Она, конечно, не побежит сейчас к немцам. Но именно поэтому он и не мог уйти.

Знал ли он ее в самом деле? Шумов понимал многое. Она не обманывала его, она была почти искренней, разве что чуть подыгрывала себе. Но она была слабым человеком, который с детства привык, чтобы ему было хорошо. Всегда-всегда, как говорят малыши. И понять, что хорошо бывает не всегда и человеческое достоинство заключается в том, чтобы мужественно принять эту жестокую истину, она не могла, не в состоянии была даже во время войны...

Вера ненавидела войну всей душой, она никогда не ждала немцев и охотно сбежала бы от них на край света, но потому лишь, что война нарушила благополучно складывающуюся жизнь, потому, что из подававшей надежды актрисы, любимицы родных и поклонников, она превратилась в обыкновенную полурабыню, вынужденную существовать в вечном страхе и голоде. А Вере так хотелось, чтобы ей было хорошо!

Подточенная собственной слабостью, пришла она к мысли, что стать актрисой в немецком театре если и не вполне хорошо, то, во всяком случае, гораздо лучше положения, в котором она оказалась с приходом немцев, не догадавшись, что это гораздо хуже. И она почти убедила себя в том, что поступила правильно, когда появился Шумов.

Вера не врала, говоря, что видит в нем «другого» человека, непохожего на «своих», однако в душе надеялась, что Шумов все-таки «свой», то есть, как и она, связал судьбу с немцами. Надежда эта укрепила ее. Ведь если Шумов, человек иной породы, чем окружающая Вера мразь, не стыдится служить у немцев, то, стало быть, и она может и имеет право без угрызений совести жить лучше, чем живут ее соотечественники.

Рискуя, Вера делилась с ним потаенными мыслями, и его спокойная сдержанность, так непохожая на вечно полуистерическое состояние людей вроде Шепилло, успокаивала ее и утишала страхи. Однако не муки заблуждения и надежда искупить вину прорывались в ее беззащитной откровенности, а прежде всего страх слабого человека, не имеющего решимости изменить свою судьбу.

По натуре Вера была не способна к самостоятельному действию, к какой-либо борьбе, к сознательным переменам в собственной жизни. Она мечтала лишь о таких переменах, которые бы сами по себе, без ее непосредственного участия изменили ее положение от так называемого полухорошего к лучшему, и такой счастливой переменной представлялась ей поездка в Германию, куда, как надеялась Вера, никогда не доберутся «красные» и где цивилизованная публика признает талант, которым, как ей казалось, она обладает.

Все это понимал или почти понимал Шумов, которого жизненный опыт и профессия научили разбираться в людях; и не в наивном заблуждении пытался он спасти ее всеми возможными, а точнее, оставшимися в его распоряжении средствами, а четко видя трудность своей попытки и риск, на который идет. Он мог бы остановиться на полпути и отступить, убив ее вместе со всеми; суровые законы войны не только оправдали бы его, но и прямо требовали такого решения – однако Шумов не остановился.

– Ты не сможешь прийти после спектакля, – сказал он, решившись на последнее.

– Но почему? Какая разница – лишний час?

– Часа нет. Вера. Тем более лишнего. Остались считанные минуты, и все это, – он провел рукой вокруг, – взлетит на воздух.

– Ты с ума сошел! – прошептала она в ужасе.

– Нет. Успокойся. Нам хватит времени. Мы выйдем через котельную. Там нет охраны. Дверь заперта изнутри, но у меня есть ключ. Вот он. Одевайся.

Ошеломленно она смотрела на ключ в его руке.

– Этого не может быть... Ты убьешь их всех?

– Вера!

– Понимаю, понимаю. Это война. Ты хочешь спасти меня...

– Вера! Время не ждет.

Она будто пришла в себя:

– Сколько у нас времени?

– Очень мало.

– Но мне нужно переодеться... Не могу же я... – Она провела руками по длинному, расшитому бисером платью. – Нас сразу схватят на улице.

– Немедленно переодевайся.

– Выйди, пожалуйста.

– Я жду тебя в нижнем фойе. Но не больше пяти минут. Взрыв уже невозможно предотвратить.

Он вышел.

– Конечно, Шумов убить актрису не мог, – рассуждал актер, ехавший с Лаврентьевым в аэропорт. – Это было бы полной бессмыслицей. Знать о его планах она не могла, а убивать по другим соображениям за четверть часа до взрыва нелепо. Но ведь он мог попытаться спасти ее?

Лаврентьев подумал и покачал головой:

– Вы мыслите сегодняшними категориями. Шумов был прежде всего человеком долга. А время было суровым.

Так и было – суровое время и суровый человек Шумов, много лет назад в письме матери прочитавший и до конца дней усвоивший, что «дело прочно, когда под ним струится кровь». Всю жизнь Шумов не сомневался в праве посылать людей на смерть, потому что великая цель требовала жертв и потому что сам он первым шел в огонь, не щадя себя и не укрываясь за спины тех, кого посылал. И Лаврентьев, чувствуя это, не подозревал, как поразил он Шумова в тот вечер на берегу моря, когда сказал, что не захотел прийти и выслушать единственно возможный приказ, снимающий ответственность за жизнь девушки, спасти которую они не могли. Не пришел, чтобы избавить Шумова от этой ответственности, потому что полагал ее тяжелой и не видел утешения в том, что приказ действительно целесообразен и даже гуманен, если рассматривать его с точки зрения высших соображений – ускорения победы над врагом и вытекающего отсюда спасения многих человеческих жизней. В словах Лаврентьева о том, что жизнь у человека только одна, заключался в общем-то очевидный смысл, и Шумов сознавал его, может быть, яснее, чем сам Лаврентьев: простой истиной было то, что в будущей счастливой жизни уже не будет Лены, да и для этого подстреленного войной мальчика жизнь никогда не станет такой счастливой, как мечталось ему совсем недавно в московском дворе.

Все это не значило, конечно, что во взглядах Шумова произошел неожиданный поворот. Он остался тем, кем и был, но какие-то точки отсчета сдвинулись, стали отчетливее, и его главная убежденность, что живет он и воюет для того, чтобы другим людям жилось лучше, переместилась из будущего в настоящее, а вытекающим из нее следствием было единственное, что он мог сейчас делать, – не убивать того, в чьей смерти не было крайней, неизбежной необходимости. Такой необходимости не видел он в смерти Веры, человека, заблуждавшегося по слабости духа, а не злонамеренного.

И в убеждении, что риск его оправдан и поступает он правильно, Шумов спустился в фойе, ожидая Веру, но не дождался ее...

Едва за Шумовым закрылась дверь, Вера начала спешно и беспорядочно собираться; но тут ее забило, как в лихорадке, и она вопреки здравому смыслу опустила на

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
стул и замерла с шубой в руках, не чувствуя сил подняться и бежать.

Эти короткие потерянные в нерешительности минуты и погубили ее.

В комнату вошел Сосновский.

– Вы куда-то собрались? – спросил он, останавливаясь на пороге.

– Что вам нужно? – испугалась Вера и очевидной своей нервозностью укрепила его подозрения.

Но он еще не сориентировался.

– Я зашел, чтобы присоединиться, так сказать, к хору почитателей... Однако вы чем-то взволнованы... Не поделитесь ли?..

– Я очень спешу.

Сосновский преградил ей дорогу:

– Как лицо, призванное охранять общественный порядок, я хотел бы знать, куда?

– Пустите!

– Куда? – повторил он жестко.

– Да ваше-то дело какое?

– У меня до всего есть дело. Особенно до тех, кто якшается с людьми подозрительными.

– Какая ерунда! Пустите меня.

– Шумов был здесь?

Вера почувствовала, что теряет сознание. Она покачнулась. Сосновский схватил ее за руку, сжал, точно клещами.

– Пустите, – шептала она. – Я буду жаловаться.

– Сколько угодно,

Он подвел ее к стулу и усадил, потом повернулся и, заперев дверь, положил ключ в карман.

– Что здесь делал Шумов?

Она в ужасе молчала.

– Забыли? Постарайтесь вспомнить. Я подожду. – Он сел на свободный стул. – У меня есть время. И у вас. Целый антракт. – И, словно демонстрируя свою неторопливость, он достал коробочку с монпансье и положил в рот конфетку. – Не желаете?

Но она смотрела не на столик, куда он поставил металлическую коробочку, а на ходики, на маятник, мерно и бездумно отсчитывающий секунды.

И Вера не выдержала:

– Да уберите же ваши идиотские леденцы! Мы сейчас погибнем!

– Так уж и сейчас? – спросил он недоверчиво, а сам поверил сразу, увидел по ее лицу.

– Сейчас театр взорвется!

– Ты что городишь? – вскочил он.

И она вскочила, бросилась к запертой двери, но Сосновский перехватил ее, навалился, зажимая ладонью раскрывшийся в крике рот.

– Шумов?.. Говори!

Она повела головой, но это было последнее сопротивление.

– Говори! – И выкрутил ей руку. – Сколько минут осталось?

Вера затрясла головой, показывая, что времени нет.

Он понял. Понял, что нет времени предупредить немцев, схватить Шумова и предотвратить взрыв, но, наверное, еще остались минуты, чтобы спастись самому. Только самому. Пока никто не знает. А для этого она должна молчать.

Пальцы Сосновского скользнули вниз, перехватили горло Веры и сжались...

Шумов посмотрел на карманные часы.

Ждать больше было нельзя.

И он пошел назад.

Дверь в комнату Веры была приоткрыта.

«Сбежала?» – мелькнуло у него.

Но она не сбежала.

Она лежала на полу.

Мертвая.

На столике он увидел коробочку с монпансье и все понял.

– Хенде хох! – В дверях стоял немец из охраны в каске и с автоматом, направленным на Шумова.

Шумов поднял руки.

Отныне в нем осталась одна мысль: взрыв должен быть!

Он шагнул к солдату, не опуская рук, и ударил его ногой в живот.

Солдат скорчился, и Шумов, выхватив автомат, ринулся в коридор.

Немец, покачиваясь, приподнялся и, дотянувшись до окна, распахнул его.

Внизу под окном другой охранник педантично рассматривал удостоверение Сосновского.

– Я работаю в полиции. У меня срочное дело...

– Момент.

– Быстрее, пожалуйста!

Часовой смотрел внимательно, но документы не вызвали сомнения, и он протянул удостоверение Сосновскому.

И тут из окна раздался крик по-немецки:

– Никого не выпускайте! Убили артистку.

Сосновский понял. Он шагнул вперед.

– Стой! Назад!

Он согнулся и побежал.

Часовой вскинул автомат.

– Стой!

Пули догнали Сосновского, вонзились ему в почки, перебили позвоночник.

И почти одновременно в здании прогремела другая очередь. Шумов расчищал дорогу от немцев, заполнивших коридор. Они шарахнулись к стенам, и он проскочил. Несколько пистолетных выстрелов не принесли им пользы. Они опасались попасть друг в друга.

Окованная ржавым железом дверь в подвал скрипнула и пропустила Шумова. Закрывать ее было нечем, и он просунул в скобки ствол автомата. Все равно патронов в магазине больше не было.

В дверь сразу же застучали. Среди общего гама он слышал:

– Зачем он убил ее?

– Какой-то маньяк.

– Возможно, ревность?

– Не морочьте голову. Это партизан.

– Почему же он не покушался на генерала?

– Мы заставим его рассказать.

– Его нужно пристрелить немедленно. Он убил часового.

– Нет! Его нужно взять живым. Он в ловушке.

Нет, в ловушке были они. Расцарапывая в кровь руки, Шумов искал взрывное устройство.

А они не знали этого. Стучали чем-то тяжелым в дверь, вместо того чтобы бежать, спасаться. Он понял, что Сосновский не предупредил, и обрадовался. Все в порядке. Правда, он уже не приложит пальцы к козырьку фуражки и не доложит сам, что полученный им приказ выполнен, и не обнимется с теми, кто послал его... Но ведь он знал, на что идет, знал много лет и никогда не сомневался, что выбрал свой путь правильно.

Под ударами дверь поддалась и вылетела из петель.

В освещенном пространстве он увидел немцев. Они толпились, заполняя коридор. Их было много.

«Хорошо!» – подумал Шумов и сделал последнее необходимое движение...

Лаврентьев почувствовал толчок под ногами за квартал от театра.

Он возвращался туда, откуда так мечтал уйти навсегда. Но после боя в пряхинском дворе он думал иначе. Жизнь была оставлена ему, чтобы продолжать войну там, где он может принести наибольшую пользу. Конечно, это был почти безумный риск. Но на войне безумному риску иногда сопутствует безумное везение.

– Отто! Где ты был? Сегодня ужасный день, – крикнул ему кто-то из покрытых копотью сослуживцев. – Ко всему прочему бандиты похитили Клауса!

«Похитили Клауса? Что за бред?..»

И вдруг он понял. Он ведь уехал на машине Клауса! Клаус, раздавленный и обгоревший, лежал, погребенный под обломками, а в гестапо думали, что именно его похитили партизаны на Рыночном спуске.

Андрей Федорович тепло простился с Лаврентьевым в толпе людей, ожидающих вылета, и остался с ними, а Лаврентьев поднялся в кассовый зал и, к приятному удивлению, без хлопот взял билет на Москву. Ждать оставалось совсем недолго.

– Владимир Сергеевич! – крикнул ему кто-то.

Он обернулся и увидел Марину.

– Как я рада, что успела, – сказала она, прерывисто дыша.

– Почему вы здесь, Мариночка?

– Я узнала, что вы уехали. И решила проводить вас... Такси так удачно попало.

– Спасибо, Марина. Но, право, не стоило...

– Наоборот. Я должна была сказать вам...

Она вдруг остановилась и улыбнулась смущенно.

– Что вы хотели сказать?

– Мне кажется... у меня получится. Я сыграю хорошо.

– Спасибо, – повторил он и протянул ей руку.

«Начинается посадка на самолет, следующий до Москвы рейсом...»

– До свиданья! Обязательно посмотрите нашу картину.

И, привстав на цыпочки, она неожиданно поцеловала его.

Посмотреть картину Лаврентьеву не довелось. Осенью он умер. Как говорили в дни его молодости, скорострительно, от разрыва сердца. Многие считают, что смерть эта хорошая.

ОБ АВТОРАХ

Долг и совесть – крупным планом

В свое время К. Чуковский писал о Блоке: «Нет, в сущности, отдельных стихотворений Блока, а есть одно сплошное, неделимое стихотворение всей его жизни».

Войне были посвящены и поведением человека на войне освещены и первые произведения Василя Быкова («Смерть человека», «Обозник», «Последний боец», «Журавлиный крик») и все последующие. В их числе «Третья ракета», получившая широкое признание читателя, по праву вставшая в ряд лучших произведений о Великой Отечественной войне. Это и «Альпийская баллада», и «Западня», и «Сотников», и «Обелиск», и «Дожить до рассвета» – словом, все творчество серьезного и самобытного писателя неразрывно связано с темой войны. Можно сказать, что это «фронтовые страницы» одной книги, которая началась в июне 41-го и завершилась в мае 45-го.

Писателей, драматургов, поэтов, чье творчество непосредственно связано с тяжелой и трагической страдой военных лет, в советской литературе работает немало. Тем сложнее найти свое место в этом строю.

Василь Быков нашел свое. И нашел на правом фланге.

Василий Владимирович Быков (Василь Быков – это литературный псевдоним) родом

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
из-под Полоцка, из крестьянской семьи. Перед самой войной поступил в Витебское художественное училище, откуда и ушел на фронт восемнадцатилетним добровольцем, пройдя всю войну от первых до последних дней. Это было его школой, испытанием на человеческую прочность. Именно на дорогах войны, в тяжелых боях, где он был дважды ранен, определялось его отношение к жизни, вырабатывались точные критерии солдатского долга и человеческой совести. Этими духовными категориями Василь Быков и станет впоследствии испытывать тех, кто будет жить и погибать на страницах его произведений.

По собственному выражению писателя, его герои действуют в критических ситуациях «на крайнем пределе сил». Так сказать, под током высокого напряжения. Или, как говорят сейчас, в экстремальных условиях.

Быкова прежде всего интересует психологический, нравственный аспект поведения того или иного персонажа в подобных условиях. Слова «герой», «героика», «героический» отсутствуют в его творческом словаре. Но, казалось бы, локальный подход к исследованию характеров на самом деле оказывается крупномасштабным. Понятия – долг и совесть – даются писателем, как принято говорить в кино, крупным планом. Частное приобретает черты общего, личный поступок отражает целое. В любом из произведений Василя Быкова активно проявляющих себя персонажей всегда немного. Ему достаточно нескольких ярких – чаще контрастирующих – характеров и действенного фона, на котором эти характеры были бы видны отчетливо. Масштаб происходящего за пределами данной ситуации укрупняет ее, сообщает ей свои параметры. Проблематика повести или рассказа таким образом расширяется, и локальный подход к конкретному случаю, событию логически приводит к созданию характера героического склада, к изображению героического действия или поступка.

Несколько лет назад на страницах «Литературного обозрения» (1973, № 7) Василь Быков, рассказывая, как создавалась повесть «Сотников», писал: «Прежде всего и главным образом меня интересовали два нравственных момента, которые упрощенно можно охарактеризовать так: что такое человек перед сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств? На что он способен, когда возможности отстоять свою жизнь исчерпаны им до конца и предотвратить смерть невозможно?»

Необходимо отметить особо: писатель никоим образом не предлагает упрощенной схемы – вот человек, способный и перед лицом смерти остаться человеком, и вот трус и подонки, изначально готовый выбить опору из-под ног казнимого товарища или выстрелить в спину женщине. Все гораздо сложнее психологически, все четко мотивировано, но исподволь, не в лоб.

Рыбак в повести «Сотников» предстает перед читателем как смелый, лихой партизан и надежный товарищ, который и огнем прикроет раненого и не оставит его одного. И в Голубине («Пойти и не вернуться») мы не увидим на первых порах никаких отталкивающих черт – человек как человек.

Тревожащие наше отношение к происходящему, к действующим лицам черточки, чуть заметные штрихи накапливаются постепенно. В какой-то из моментов их движение и масса вдруг обретают свою страшную осязаемость. Человек еще сутки назад вызывавший у нас чуть ли не симпатию, становится предателем и палачом, а другой превращается, по существу, в зверя.

Но ведь существовали определенные предпосылки к подобной психологической альтернативе, что-то сформировало ранее поведение одного и другого в адекватной ситуации. Быков поступает в данном случае как подлинный художник – он ставит в равные условия и читателя, и Сотникова, и Зоську: у всех до самого последнего предела еще живет вера в человека. Еще точнее: читатель уже все понял, разглядел сущность Голубина, страшный он, не человек, а нечеловек. Зоська же, по существу, спасает его от партизанского суда, давая Голубину возможность вернуться к человеческому состоянию.

И еще: отбить танковую атаку врага, взорвать склад боеприпасов – это в понимании Василя Быкова не столько подвиг, сколько обыкновенная солдатская работа на войне, воинский долг. Подвиг – другое, подвиг – остаться на войне человеком, не потерять, а выявить свою нравственную сущность, которая и в предсмертный миг остается непоколебимой. Два человека, поставленные в одинаковые обстоятельства, должны сделать самый главный в человеческой жизни выбор – умереть с честью или купить себе жизнь ценой подлости и предательства. Проблема героического как бы

вырастает из художественного исследования нравственной устойчивости Сотникова, Ивановского, Зоськи и многих других, помогающей понять закономерность их мужества и стойкости в самых крайних ситуациях.

В повести «Дожить до рассвета», спрессованной по времени до предела (одна ночь), происходит непоправимое: фашисты передислоцировали склад боеприпасов, и рейд группы лейтенанта Ивановского во вражеском тылу оказался бесполезным. Задание невыполнимо, часть бойцов погибла, сам лейтенант дважды ранен. Ивановский не помышляет ни о каком подвиге. Для него, как для Сотникова, как для Зоськи, важно одно – идти до конца. Гибнет ушедший на разведку красноармеец Пивоваров, оставшийся с лейтенантом. И в конце концов последней гранатой Ивановский подрывает и себя и немецкого обозника, действуя в полном и прямом смысле выражения «на крайнем пределе сил».

Он думал дождаться штабной машины, грузовика с солдатами. А судьба послала в его последние минуты повозку с сеном и двух нестроевых солдат. Так в чем же здесь героическое? В уничтожении обозника? Даже второй остался цел, убежав обратно в деревню.

Но это – зимняя ночь сорок первого года. Это – движение фашистских полчищ на Москву. Это – понимание Ивановскими и Пивоваровыми того, что враг не должен пройти к столице. Это – полное и ясное сознание того, во имя чего они отдают свои двадцатидвухлетние жизни. И потому это – подвиг.

В этом томе приложения «Подвиг» читатель познакомится еще с одним произведением Василя Быкова – повестью «Пойти и не вернуться». Как уже говорилось, в творчестве этого писателя невозможно что-либо рассматривать изолированно от остальных вещей. Будь то рассказы или повести, независимо от их жанровой принадлежности, все они сцементированы накрепко одной духовной идеей (не просто тематически), в любом произведении исследуются важнейшие нравственные категории. Но не отвлеченно, а сугубо конкретно. Плоть героев уязвима, кровь горяча и красна, характеры их отчетливы и динамичны. Они – живые, конкретные, осязаемые люди. Хотя они всего лишь литературные персонажи. Они – плод творческих усилий художника. Но он не только с первого до последнего дня войны впрямую сталкивался с ними, а сам был одним из них. И потому его подлинно художественная проза обретает характер документа, его непреложность и убедительность.

В повести «Пойти и не вернуться» юную партизанскую разведчицу Зоську посылают на очень ответственное задание, о котором, кроме нее и руководства отряда, никто не знает и знать не должен. Но обстоятельства складываются так, что в самом начале ее маршрута Зоську догоняет боец из того же отряда Антон Голубин. Можно сказать, что восемнадцатилетней Зоське он не совсем безразличен. Там, в отряде, между ними протянулась даже какая-то ниточка, возникло что-то вроде интереса друг к другу. И вот теперь они оказались вдвоем. Несмотря на свой немалый уже партизанский стаж и опыт разведчицы, Зоська, в сущности, еще девчонка. Ей, естественно, импонирует внимание такого лихого и смелого, сильного и пригожего парня. И в то же время осторожность партизанской разведчицы не позволяет ей быть открытой и доверчивой во всем. Почему Антон пошел за ней? Откуда он знает, что ее послали на задание? А если его отправили на подстраховку, то почему позволили взять с собой оружие – ей-то даже компаса взять с собой не разрешили? Эти и другие вопросы Зоська задает и себе и Антону, но тот как-то ловко и легко успокаивает ее тревогу.

Может быть, отчасти этому способствует то, что Зоська, спасаясь от преследующего ее ночью человека (она еще не знала, что это Голубин), проваливается в воду. Голубин заботится о ней, всячески подчеркивая, что она еще несмышлениш, куда такую в разведку посылать, что ей непременно опека нужна и потому она теперь без Антона никуда. Но у Зоськи своя задача, и как бы ни была она признательна Антону за заботу, но пути у них разные.

Вот здесь и начинают завязываться узелки коллизий, которые постепенно приведут события к драматической развязке.

Как уже говорилось выше, Голубин поначалу не вызывает никаких особых опасений. Партизан как партизан. Смелый, смывленный, побывавший в переделках. Это для читателя. Для Зоськи же и того больше. Они из одного отряда, вместе трудности делят, вместе смерти в глаза смотрят. К тому же и симпатичен он Зоське. И чего греха таить, с ним не так страшно зимней ночью, одной-одинешеньке среди снега и

тьмы.

В экспозиции Быков только раз, и то почти неуловимо, нажимает на тревожный клавиш: как-то Голубин невольно был свидетелем разговора двух партизан, один из которых был до войны милиционером, а другой, прибившийся к отряду, называл себя майором. Так вот, разговор шел о том, как далеко зашли немцы, и что если они возьмут сейчас Сталинград, то оттуда рукой подать до Баку, а без нефти какая война...

Голубина, слушавшего этот разговор, поразило, как все, оказывается, близко друг от друга, как далеко проник фашист на нашу землю, что Сталинград немцы возьмут непременно, как взяли уже Минск, Киев, Харьков и многие другие города. И у Голубина рождается вопрос: «Тогда зачем мы тут, в этом лесу? Что нам тут делать? И что нас ждет в скором будущем?»

Уже в пути он в разговоре с Зоськой роняет, что, дескать, немцев наперло – сила! И здесь хочется привести одну цитату, существо которой и есть лейтмотив бытия и действия быковских героев: «Зоська смолчала. Сила – это конечно; она знала, видела и чувствовала эту силу. И как сладить с ней, с этой силой, захватившей половину России, как вернуть все обратно – этого она не могла себе представить. Зато она отчетливо чувствовала, что в этой войне, кроме как выстоять и победить, другого выхода нет. Иначе не стоит жить...»

На одном из привалов Зоська впервые в жизни слышит признание в любви, слышит от Голубина и уступает его домогательствам. Теперь их связывает не только общность партизанских судеб, но и нечто глубокое, личное. Антон для Зоськи становится не только товарищем по оружию, но и любимым.

Впрямую, в монтажном стыке автор резко ломает начавшееся развитие лирической линии и переводит ее в иной, остроконфликтный план.

Голубин слышит разговор проезжающих мимо заброшенной усадьбы полицаев, точнее, слышит отдельные слова из их разговора: «Сталинград», «взяли»... И в его сознании, настроенном еще раньше на определенный лад, это осмысливается однозначно – немцы захватили Сталинград. Значит, все, значит, дальнейшая их борьба бессмысленна. И он предлагает Зоське «обмозговать», что делать дальше: есть у него дружок в Скиделе, начальник полиции, он на первых порах поможет, а дальше видно будет. А у Зоськи в том же Скиделе мать, вот и будут они жить как муж с женой.

Зоська сперва воспринимает его слова, не до конца вдумываясь в их страшный смысл. «Ты же пошутил, правда?» – не то спрашивает, не то утверждает она. Ведь она любит его. И в другое время, как говорит она Голубину, то, что он предложил ей жить вместе, было бы счастьем, а сейчас это больше чем подло.

И с этого момента события приобретают ускорение. Столкновение двух диаметрально противоположных взглядов на жизнь высекает огонь, который высвечивает, до предела обнажает характеры Зоськи и Голубина. И чем большее мужество и стойкость обретает Зоська, тем быстрее пробуждается то звериное, что составляло сущность души Голубина. Он связывает, а затем жестоко избивает Зоську, которая перед тем хотела зарубить его. Человека, которого она любит, но который предает не только ее, а все то, чем жила и живет Зоська с товарищами.

Партизаны, которых привел хозяин хутора, готовы расстрелять Антона. И Зоська, от которой зависит сейчас его судьба, но находит в себе достаточно сил, чтобы вынести приговор.

Несколько позже хватит на это жестокой силы потерявшему людское обличье Голубину – он выстрелит в спину той, которую он несколько часов назад называл своей любимой...

Высокая драматическая напряженность повести, резкость и отчетливость характеров, честность и мужественность автора в постановке коренных нравственных вопросов не может оставить читателя безучастным к судьбам его героев. Они живут и действуют на самом краю, на последней черте, отделяющей жизнь от смерти, где с полной силой проявляются все свойства и качества человека, его духовная сущность, его лучшее или худшее. Человек и его нравственные принципы проверяются в условиях войны на белом, без черновиков. Есть честность, мужество и добро. Есть ложь,

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
предательство и подлость. И нет никакой середины, никакого компромисса. Уступишь в малом, потеряешь главное. Это стойкое убеждение писателя Василя Быкова, его творческое кредо.

На Кировоградчине есть братская могила, где среди имен погребенных в ней солдат есть и имя лейтенанта Василия Быкова. Его считали погибшим. Но он остался жив. И от имени всех своих восемнадцатилетних сверстников он говорит о том, что было с ними. Говорит как солдат. Говорит как талантливый, самобытный художник.

В. Лессиг

Непримиримость

Имя Павла Шестакова хорошо знакомо любителям приключенческого жанра. Им написаны книги, снискавшие широкую читательскую известность и признание: «Через лабиринт», «Страх высоты», «Игра против всех», «Три дня в Дагезане», «Давняя история», «Рапорт инспектора». По его сценарию снят фильм «Страх высоты».

В произведениях П. Шестакова, как и в книгах других современных советских писателей, работающих в приключенческом жанре, отчетливо вырисовываются характерные особенности нашего детектива. Писатель стремится не просто «закручивать» сюжет, построить головоломную интригу, а, отталкиваясь от традиционных мотивов и коллизий, исследовать важные жизненные явления. Иными словами, мы явственно видим во многом плодотворные попытки тесно сблизить «правила игры» – специфические законы жанра детектива с требованиями, общими для всей литературы.

Важная особенность лучших произведений нашего детектива в том, что разгадка тайны преступления, лежащая в основе сюжета, становится лишь «знаком», «сигналом» серьезных жизненных проблем, встающих в процессе его расследования. Таким книгам свойственны аналитический ход развития сюжета, стремление многогранно выявить особенности человеческих характеров, досконально разобраться в личности преступника и его «оппонентов». Так, в частности, написаны лучшие, на мой взгляд, повести П. Шестакова «Давняя история» и «Страх высоты».

В этих произведениях четко определено направление главного удара. Объектом разоблачения выступают подлость и ложь.

Герой повестей П. Шестакова следователь Игорь Мазин произносит ключевую фразу, проливающую свет на их замысел. Он твердо убежден в том, что «зло, к несчастью, незначительным не бывает, зло всегда зло, и одно из ужасных его особенностей в том заключается, что невозможно предвидеть его последствия, как бы точно ни рассчитал». Сюжеты обеих повестей и строятся как психологическое исследование истоков, мотивов и последствий различного рода социального зла.

В «Давней истории» носителями зла выступают два молодых человека, если можно так сказать, явный и тайный преступники. Воинствующий обыватель, «кулак», «жила» Гусев из ревности убил свою жену, и спустя много лет Мазин установил обстоятельства этого убийства. В ходе следствия был обнаружен и фактический вдохновитель преступления: индивидуалист и завистник Курилов, сеющий вокруг себя ядовитые семена вражды и подозрительности.

В основе сюжета повести «Страх высоты» также лежит история «пустой души». Молодой ученый Антон Тихомиров, трагически погибший при таинственных обстоятельствах, был одержим стремлением к самоутверждению любой ценой.

Он украл открытие своего покойного учителя, блестяще защитил диссертацию, основанную на ворованных наблюдениях и выводах. Антон гибнет вследствие нелепой случайности, казалось бы, в наивысший момент своего творчества. Но случайность эта кажущаяся: в обществе, построенном на основах добра и справедливости, невозможно взойти на высоту, если к ней вел неправый путь. Отсюда и символическое название повести «Страх высоты», что властно полонит душу Тихомирова – это страх неминуемого разоблачения и возмездия.

Пафос повестей «Страх высоты» и «Давняя история» – в непримиримости к подлости,
Страница 297

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
в каком бы обличье она ни выступала, в утверждении ответственности каждого за моральное здоровье общества.

Новый роман Павла Шестакова «Взрыв» на первый взгляд заметно отличается от его прежних произведений. В нем почти отсутствует тот детективный элемент, что в значительной степени определял ход развития сюжетов повестей писателя. В центре повествования оказывается профессиональная среда, весьма далекая от деятельности работников следственных органов. Но и в романе пристальное внимание привлечено к взлетам героической души и к темным бездонным глубинам морального падения.

Подвиг и предательство – эти взаимоисключающие проявления человеческого духа определяют нравственные полюса повествования, лежат в основе его композиции, где в непримиримой контрастности сталкиваются совершенно различные, противоположные человеческие типы, судьбы и характеры. В один тугий узел оказываются связанными в сюжете романа «век нынешний» и «век минувший»: наше мирное время и трудные, грозные дни всенародной борьбы с фашистскими захватчиками. Такое совмещение двух различных временных планов повествования дает возможность автору ярко показать те великие и вечные нравственные ценности нашего народа, которые накоплены им в его героической истории, те ценности, что сегодня наследуем мы.

...В большой южнорусский город прибывает киносъемочная группа для того, чтобы снять фильм о героической деятельности местного подполья во время гитлеровской оккупации. И краевед Саша, написавший сценарий по немногим сохранившимся документам, и режиссер Сергей Константинович, и оператор Генрих, и художник Федор, и молоденькая актриса Марина знают о войне лишь по книгам да по рассказам старших, которые порой представляются молодежи красивыми легендами. «Помнят? – прерывает Марина своего случайного спутника. – А может быть, просто выдумывают? Это их молодость, романтика. Все в голове перепуталось. Мой отчим, например, с каждым годом рассказывает о войне все красивее. Какие они были храбрецы, какие замечательные друзья, какие прекрасные девушки их любили. Не война, а кино какое-то...»

В беседах и спорах о будущем фильме на первых порах чаще всего обсуждается не историческая правда, не психологическая достоверность характеров, которые предстоит воплотить на экране, а чисто профессиональные аспекты. Сергея Константиновича занимают как будто бы чисто изобразительные решения. Будущая картина видится ему «аскетичной», выразительными представляются ему черные готические надписи на фоне православного собора. И главный герой фильма – реальное историческое лицо, руководитель городского подполья чекист Андрей Шумов кажется ему «молчаливым одиноким ковбоем» – героем вестернов. «Он идет по улицам. А вокруг чума. То есть определенная атмосфера оккупации».

В то же время создатели фильма догадываются о том, что подобные бутафорско-романтические представления о грозном времени никак не соответствуют его истинному духу, тем мыслям и чувствам, которыми жили советские люди в годы борьбы с фашизмом. В споре с Генрихом, полагающим, что сила этих людей была в простоте и «незачем навязывать им наш образ мысли», правым оказывается режиссер, который «не верит в примитивность людей, живших тридцать лет назад, и хочет показать их глубоко и цельно, показать то, что не каждый из них может описать образно и четко, но что каждый наверняка пережил и передумал в те годы, когда ценность человека проверялась не словами, а поступками».

О поступках этих людей создателям будущего фильма известно лишь в общих чертах по скудным свидетельствам документов и немногим экспонатам в местных мемориальных музеях. Поступки героев фильма предстоит еще одухотворить мыслью и чувством. И немалую, хотя подчас и незаметную, роль в этом играет один из персонажей романа, который связывает в повествовании прошлое и настоящее. Скромный преподаватель немецкого языка и литературы Владимир Сергеевич Лаврентьев волею случая оказался свидетелем и споров о фильме, и первых съемок. Его ненавязчивые советы и пояснения, немногословные «штрихи к воспоминаниям» помогают «киношникам» рассеять бутафорский флер и приблизиться к постижению истины в жизни и в искусстве. Никто из новых знакомых Лаврентьева не подозревает, что в те самые дни, о которых призван взволнованно рассказать фильм, он, недавний школьник, ставший разведчиком, служил в местном гестапо и хорошо знал героев подполья. Звали его тогда унтерштурмфюрер Отто, и ему не исполнилось еще двадцати двух лет.

Воскресшие в воспоминаниях Лаврентьева события героической деятельности

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru

подпольщиков корректируют строки сценария фильма, облачают их в живую плоть, подобно стрелке компаса указывают верное направление творческого поиска, отделяют истину от фальши, правду героического времени от наивных представлений о нем. И уже не в набивших оскомину жестких рамках кинематографического штампа, а в их истинном свете все явственнее обозначаются дорогие черты прекрасного духовного мира героев – подпольщиков.

Лаврентьев, должно быть, внутренне усмехнулся, слушая разглагольствования режиссера о Шумове – «молчаливом одиноком ковбое». В его памяти запечатлелся совсем другой человек.

«Во внешности Шумова не было ничего героического. У него было простое, грустноватое лицо человека, которому нечасто приходится смеяться. Кроме того, ему уже стукнуло сорок, а в то время сорокалетние выглядели постарше нынешних, что все еще числится, да и сами себя неизвестно почему принимают за молодых. И даже теперь, когда Лаврентьев был на полтора десятка лет старше погибшего Шумова, тот не вспоминался ему молодым, а тем более лихим и отважным. Он был иным, был человеком долга, а это совсем другое, это не так-то легко читается на лице».

В восприятии Лаврентьева Шумов предстает прежде всего как человек цельный и верный долгу, как солдат в том лучшем смысле, который вкладывают в это слово, когда обнажают голову у скромного обелиска.

И еще одно драгоценное качество Шумова благодарно отмечает Лаврентьев – его истинную человечность, всегдашнюю готовность прийти на помощь товарищу. Это он, Шумов, поддерживал участливым словом в трудные минуты его, почти мальчишку, взвалившего на свои плечи непосильную ношу разведчика, вынужденного каждый день улыбаться палачам. Это Шумов нашел путь к сердцам отца и сына Пряхиных, вошедших в его группу. И погиб Шумов потому, что попытался спасти молодую красивую Веру Одинцову, легко и бездумно покотившуюся вниз, развлекавшую своими песенками пьяных гитлеровских вояк. Солдатский долг, действенная человечность Шумова закономерно вели к его «звездному часу», к подвигу во имя Родины. Уже не оставалось времени на спасение, и Андрей Шумов в подвале городского театра соединил контакты глубоко упрятанной мины, взорвав вместе с собой сотни фашистских офицеров.

Хотелось бы отметить существенную особенность романа «Взрыв» – его скрытую полемичность по отношению к устоявшимся уже в литературе и искусстве привычным сюжетным ходам и чертам характеров героев. Не случайно в романе упоминаются имена Клосса и Штирлица, романтизированных героев-разведчиков, которым удаются самые рискованные предприятия. Совсем в ином ключе рисуется Лаврентьев. Упор в обрисовке этого характера сделан не на внешние проявления его разведывательской работы, а на внутреннее состояние героя, на ту колоссальную психологическую нагрузку, которой он испытывается каждодневно. А эта нагрузка требует огромных внутренних сил. Как и Шумов, Лаврентьев прежде всего человек долга, понимающий, что его Сталинград здесь, в оккупированном южном городе, в гестапо. Тяжкие испытания уготовила ему судьба. Во имя долга он вынес эти испытания. И как старый солдат, носящий рядом с сердцем осколок вражеского снаряда, Лаврентьев носит в своем сердце самое горькое свое воспоминание о том, как в силу неумолимых обстоятельств он вынужден был застрелить схваченную гестапо юную подпольщицу Лену Воздвиженскую. «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем». Вот и герой «Взрыва» умирает в финале романа от старой раны, умирает скоропостижно, как говорили в старину, от разрыва сердца.

Той светлой силе, что олицетворяют в романе герои подполья Шумов и Лена, Максим и Константин Пряхины, противостоит иная, злая и мрачная сила гитлеровской оккупации.

Автор обращает наше читательское внимание не столько на самих гитлеровцев, сколько на тех отщепенцев, которые стали их прислужниками. Особенно выделяет он зловещие фигуры следователя «русской полиции» Сосновского и одного из рядовых зондеркоманды Жорки Тюрина. При всем различии этих типов изменников Родины, при всем различии их путей, приведших к службе захватчикам, автор точно вскрывает корни предательства, неизбежную закономерность нравственного падения личности, лишенной идеалов. И Сосновский, и Тюрин, да и гнусный и жалкий «фольксдойч» киномеханик Петька Огородников, ставший переводчиком гестапо Петером Шуманом, до омерзения похожим на них своим зоологическим мещанством, своей бездуховностью и беспринципностью, своей лютой ненавистью ко всем людям, которые не уподобились им и продолжают оставаться людьми.

В романе «Взрыв» вновь возникает важный для многих произведений П. Шестакова мотив безграничности зла и подлости. Тот же Огородников, отбывший срок

Подвиг. Василий Владимирович Быков bykovvasil.ru
заклучения за свои преступления, уже в наши дни пытается выдать себя за одного из героев подполья. Только решительное вмешательство Лаврентьева кладет конец этому кощунственному надругательству над светлой памятью героев.

Герои романа, которым не довелось пережить войну, много думают и говорят о ней. Режиссер Сергей Константинович признается в том, что его беспокоит память. Память-тревога или память-зависть. «Подсознательная тоска по суровому миру, очищенному от шелухи суетности, миру четких координат и ориентиров со своей шкалой истинных ценностей». И Марина, которая должна сыграть в фильме роль Лены, постоянно думает о людях суровой и далекой военной поры, допытывается у Лаврентьева, какими они были, герои борьбы с фашизмом. «Всегда будут хорошие люди», – отвечает Лаврентьев и как драгоценный талисман передает ей реликвию – предсмертное письмо Лены, написанное в гестаповской камере. «Не ради благополучной жизни совершается подвиг и проливается кровь... Они (герои. – Ф. Ч.) оставляют нам человечность, мудрость души... Вот о чем я хочу сделать картину» – так говорит режиссер. И мы верим, что фильм получится, что, как любят повторять герои романа, «экран покажет» мужество и героизм, человечность и великую любовь к Родине, покажет те нетленные духовные ценности, которые передали нам герои великой битвы с фашизмом, обязав нас хранить и приумножать их.

Ф. Чапчухов

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://bykovvasil.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!